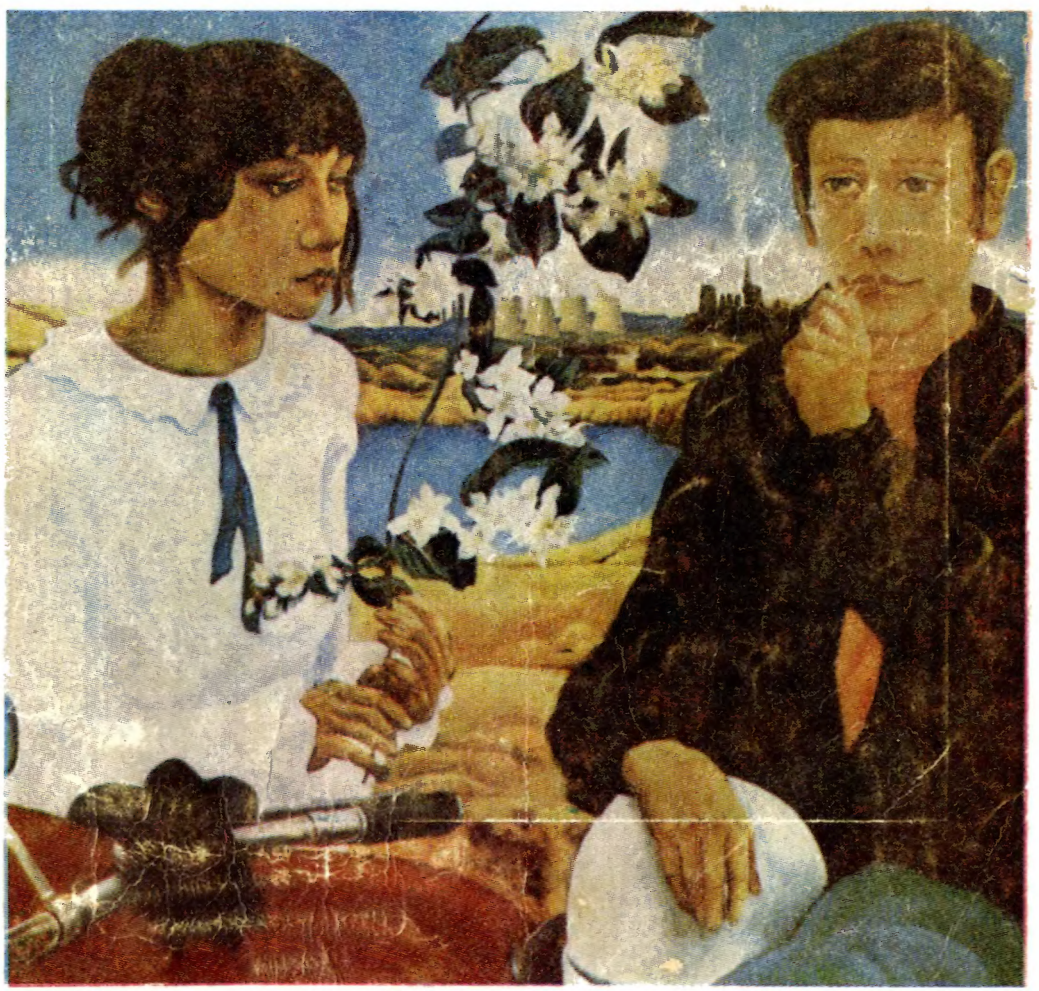
ISSN 0130 – 6545

8.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 Август 1980

Содержание

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ — Извещение в газете *(Роман. Перевод с немецкого И. Каринцевой)* 3

ЖОРЖИ АМАДУ — Возвращение блудной дочери *(Роман. Продолжение. Перевод с португальского Юрия Калугина)* 102

Литературное наследие

ЛУИС ДЕ КАМОЭНС — Стихи (К 400-летию со дня смерти. *Переводы с португальского В. Левика и Владимира Резниченко. Вступление С. Ереминой)* 146

ИРВИН ШОУ — Богач, бедняк... *(Роман. Перевод с английского Иды Басавиной)* 154

Критика

Идеологическая борьба и литература

А. БЕЛЯЕВ — «Парадоксы» Рональда Хинли 188

Писатель и время

Символ целой эпохи, имя тысяч людей... (К 100-летию со дня рождения Премчанда. *Предисловие, составление и перевод с английского и хинди Н. Гаврюшиной)* 196

Заметки писателя

Л. ЭЙДЛИН — Читая старых поэтов... 202

Культура и современность

Заметки на полях

Ю. Богданов — «Восстание все еще ждет своего эпика» 209

Публицистика

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ — Голоса Канады 212

ДЖЕЙМС БОРЕН — Сомневаясь, бормочите! Справочник бюрократа *(Перевод с английского И. Гуровой и В. Воронина. Послесловие Е. Амбарцумова)* 224

Традиции мировой культуры

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Художественное видение мира (О творчестве Яни Хрисопулоса) 239

Антирубрика

ЮЛИАН ТУВИМ — История одного афоризма *(Перевод с польского Зинаиды Шаталовой)* 248

ГЕРМАН БУРГЕР — Визит читателей *(Перевод с немецкого В. Кузавлева)* 249

Среди книг

Издано в СССР

М. Н. Розенфельд — Тудор Аргези снова среди нас ✦ И. Левидова — Древо человеческое в австралийском лесном поселке 251

Издано за рубежом

С. П. Мамонтов — Хроника революции и контрреволюции ✦ Эстер Рандриамамундзи — Писатели Мадагаскара — детям ✦ Уильям Купер — «Уолтер» Дэвида Кука 254

Из месяца в месяц

261

На обложке: репродукция картины ГЮНТЕРА ГЛОМБИЦЫ (ГДР) «Молодая пара»

© «Иностранная литература», 1980 г.

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ

Извещение в газете

РОМАН

Перевод с немецкого И. КАРИНЦЕВОЙ

I

В начале августа, в четверг, по всей вероятности в первой половине дня, учитель Манфред Юст покончил жизнь самоубийством.

В это же время мы с Эвой, моей женой, вылетели на самолете Аэрофлота из Москвы в Адлер. Все мои мысли сосредоточились на предстоящих нам трех неделях отпуска, их мы проведем в Гагре, на берегу Черного моря, в доме отдыха московских учителей, и если бы до меня даже дошел тогда какой-нибудь слух о том, что в этот час совершалось в городе П., я никогда бы этому не поверил. Манфред Юст, тридцати пяти лет от роду, жизнерадостный, активный человек, сам покончил со своей жизнью? Я же его довольно хорошо знал, знал, какие проблемы и затруднения его мучают, знал его успехи, его надежды. И главное, знал, как страстно он любил жизнь.

Посмотрев в иллюминатор, я хотел разглядеть под нами землю. Облачная пелена скрывала от меня панораму. Наша машина, как было объявлено по радио, летела на высоте девять тысяч метров. Эва уступила мне место у окна, она не очень охотно летала.

Заходя на посадку, самолет еще над морем протянул за собой длиннющий шлейф, казалось, он собирается сесть на волны. В прозрачной воде мне ясно видна была затонувшая шлюпка.

Посадка прошла именно так, как живо и наглядно описал мне ее Манфред Юст. Да, наш последний разговор в последний день перед каникулами. Юст остро завидовал мне, ведь я отправлялся в один из прекраснейших уголков нашей земли, туда, где он, само собой разумеется, уже бывал. Он еще заметил, смеясь:

© Verlag Neues Leben, Berlin 1978.

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ — GÜNTER GÖRLICH (род. в 1928 г.).

Немецкий писатель (ГДР). Лауреат Национальной и других литературных премий. Печатается с начала 50-х годов. Автор ряда повестей и романов: «Черный Петер» («Der Schwarze Peter», 1958), «Самое дорогое и смерть» («Das Liebste und das Sterben», 1963), «Трудная любовь» («Unbequeme Liebe», 1965), «Чуть ближе к облакам» («Den Wolken ein Stück näher», 1971), «Возвращение на родину, в страну незнакомую» («Heimkehr in ein fremdes Land», 1974) и др., а также рассказов, пьес, сценариев.

В русском переводе вышли повесть «Черный Петер» и роман «Возвращение на родину, в страну незнакомую».

За свою литературную и общественную деятельность писатель удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Предлагаемый читателям новый роман Гюнтера Гёрлиха «Извещение в газете» вышел в Берлине в 1978 году («Eine Anzeige in der Zeitung». Berlin, Verlag Neues Leben, 1978).

— Рад за тебя, старик. Честное слово, от всего сердца рад за тебя.

Уверен, Юст был честен со мной. На мой вопрос, как собирается он провести отпуск, Юст ответил, что никаких определенных планов у него нет, попробует пожить, не думая о завтрашнем дне, пусть жизнь сама преподнесет ему сюрприз.

— Ты же меня знаешь,— добавил он,— я человек неуравновешенный и своенравный, как время от времени говорят обо мне в высших инстанциях.— И он насмешливо улыбнулся.

Я знал, что его замечание относится к столкновению с Карлом Штребеловым в мае, когда Юст, затеяв со своим классом поездку в Польшу на побережье Балтийского моря, не поставил о том в известность директора. Юст оправдывался тем, что их недолгая экскурсия состоялась во время каникул и договариваться о ней он обязан был только с родителями, что он, мол, и сделал.

Карл Штребелов резко возразил, что подобное разделение времени в работе учителя на учебное и свободное он не признает. Я считал, что Карл слишком уж раздувает всю эту историю, но в принципе соглашался с ним. И упрекнул Юста.

— Ну, знаешь, все получилось так быстро, уже перед самыми каникулами мне неожиданно предложили жилье. Не оставалось и минуты, чтобы зайти к Штребелову. Я попросту забыл об этом. Разумеется, письмо я мог ему написать.

— Почему же ты не рассказал всего этого на педсовете?

Он взглянул на меня, видимо в какой-то мере сознавая свою вину.

— А почему нужно все возводить в принцип. Тотчас из всего делать проблему. И ни единого вопросика не задать, как прошла наша поездка в Польшу. А ведь я мог бы рассказать кое-что интересное.

Без принципов в нашей работе не обойтись, возразил я, но тут же понял всю бездарность моего ответа. Оттого-то, быть может, и добавил, что, имея дело с Карлом Штребеловым, всегда нужно помнить о поколении, к которому он принадлежит. Ведь он из той малочисленной когорты, кто тотчас после войны, не имея достаточных знаний и навыков, взялся за работу. В ту пору было совершенно необходимо со всей принципиальностью подчеркнуть все то, что предстояло нам сделать в педагогике. Иначе у нас, мягко говоря, ничего бы не выгорело.

— Если не ошибаюсь, дорогой коллега Кеене, ты тоже принадлежишь к этой легендарной когорте,— заметил Юст.

Надо сказать, поездка в Польшу на Балтийское побережье была для ребят Юста незабываемым событием. Об этом мне сразу же рассказали, когда, замешая его — он попросил на один день отпуск по личным делам,— я провел в его классе урок истории.

Девчонки и мальчишки девятого «Б» положительно бредили этой экскурсией.

Но августовским утром в аэропорту Адлера я начисто позабыл о буднях со всеми их проблемами. Я был рад-радешенек, что Эва хорошо перенесла посадку и на ее лицо постепенно возвращаются краски.

Вдалеке высились горы Кавказа, а по дороге мы обнаружили первые пальмы, листья которых шуршали на теплом ветру. Так начался наш отпуск в южном краю, отпуск, который я никогда не забуду, быть может еще и оттого, что вслед за ним наступило время, резко отличное от этих дней.

Мы пересекли в такси границу с Азией. Тут мы и впрямь исполнились каким-то необыкновенным чувством, и Эва предложила:

— Теперь надо бы повернуть назад и пешком еще раз пересечь границу, она же делит две части света. Как ты считаешь? В конце концов, для нас это историческая минута.

Я считал, что ей, поскольку она хорошо говорит по-русски, стоит сказать об этом водителю, он наверняка отнесется к ее просьбе с пониманием.

Эва, как всегда, сомневалась в своем знании русского языка, но все-таки поговорила с водителем. Он развернулся и пересек границу в сторону Европы. Мы вышли из машины и медленно, взявшись за руки, перешли границу, впервые в нашей жизни вступив на азиатскую землю.

Момент сей был не лишен торжественности.

Но вполне возможно, что именно в эту минуту Манфред Юст в городе П. покончил с собой. Здесь было два часа дня; отсчитав три часа, мы получали среднеевропейское время. Такое совпадение, стало быть, не исключалось.

Начисто, однако, исключалось, что мы хоть в самой малой степени могли предвидеть подобный шаг Юста.

Я, правда, подумал о школе, но подумал я о моем товарище Карле Штребелове, представил себе, что сказал бы он, увидев нас, совершающих такую церемонию. Он сдвинул бы брови, и на лице его, по всей вероятности, не мелькнуло бы и самой легкой улыбки. Карл все это посчитал бы безвкусицей, поступком несерьезным и вообще не соответствующим значению момента. В этом смысле он бы высказался, покачав головой. Быть может, он принял бы во внимание смягчающие обстоятельства, ведь он знал Эву и относился к ней с уважением, поскольку результатом ее труда были книги, а ко всякому печатному тексту Карл Штребелов относился с глубочайшим уважением. Только примириться с ее сумасшедшими идеями он был не в силах.

Я улыбнулся своим мыслям, и Эва поинтересовалась, понятно, чему я улыбаюсь.

— Вспомнил Карла,— ответил я.

Она глянула на меня.

— А знаешь, я бы заставила его выйти с нами из машины.

— Не переоцениваешь ли ты свои силы?

— А я обосновала бы наш поступок чуточку солиднее. Что-нибудь сказала бы в таком роде: сидя, мол, в машине, не ощутить так этого события, ни разумом не воспринять, ни чувствами. Как же, Карл, сказала бы я, как же ты опишешь его своим ученикам?

Я рассмеялся:

— И эту его привычку ты считаешь недостатком?

— Недостатком? — переспросила Эва.— Нет, достоинством.

Да, отношение Карла Штребелова к детям было его достоинством.

Водитель широко распахнул перед нами дверцу.

— Хорошо,— сказал он,— наша Грузия. Расчудесная страна.

Бывают у человека периоды неправдоподобно, фантастически благополучные, когда не верится, что все происходящее — не сон. Так все кругом прекрасно.

Вода в гагринской бухте не всегда прозрачна, предупреждали нас, к берегу чего только не прибивает, и особенно много медуз при ветре. А уж августовская жара! Томительная, знойная, ведь даже самый легкий ветерок не доходит сюда с севера или востока, его не пропускают высокие горы. Столбик термометра может подняться выше 30 градусов. Дышать будет трудно.

Ничего подобного в дни нашего отпуска не случилось. Вода была зеленоватой и чистой, без всяких медуз, температура не поднима-

лась выше тридцати, и никакого зноя не ощущали мы на берегу гагринской бухты.

Мы, видимо, родились в рубашке, Эва, во всяком случае, твердо в это верила, и только сознание, что в недалеком будущем нам придется вновь ехать в Адлер и сесть в самолет, омрачало время от времени ее радость.

Мы жили в комнате с видом на море. И частенько сидели на балконе до поздней ночи.

На балконе же мы прилежно писали открытки друзьям на нашу далекую родину. И, разумеется, среди прочих Манфреду Юсту.

Его я целиком и полностью предоставил Эве. Она испытывала к Юсту симпатию. Думается мне, они составили бы хорошую пару, встреться они раньше. Вполне может быть. Два года назад, когда Юст начал работать в нашей школе, они увиделись в первый раз на вечере в дни масленицы. И с первой же минуты — Юст сидел за нашим столом — нашли тот легкий тон, который мне за долгие годы нашего с Эвой брака давался далеко не всегда. Я уж готов был приревновать Эву, но моя жена, зная меня, опередила события.

— Этот новенький чистое сокровище. Такого второго средь вашей серьезной братии не сыскать. Бесподобно умеет кого угодно поднять на смех, но и себя тоже не щадит. Это мне нравится. А ревновать тебе незачем. Нелепо, право.

И я не ревновал. Какое-то время это удавалось мне с трудом, но Юст очень скоро нашел с нами общий язык и надолго завоевал дружбу Эвы.

Вот, стало быть, я и подвинул Эве на балконе открытку, предложив придумать что-нибудь для Юста. Она, ни секунды не медля, тут же стала писать и прочла мне написанное:

«Дорогой Юст, Манфред, учитель на отдыхе в скучнейшей Европе!

Тебя приветствуют два без-пяти-минут-грузина. Теперь-то мы знаем, что свело тебя здесь с ума. Горы, что сбегают к самому морю? Ну да, они тоже. Вино, что развязывает язык и слегка кружит голову, когда язык начинает слишком развязываться? Возможно, возможно. Нет, Юст, Манфред, это местные женщины околдовали тебя, старик. Красавицы, огненноглазые недотроги. Так, во всяком случае, считаю я, так считает и мой милый муж Герберт, которому я бы очень и очень советовала придерживаться подобной же точки зрения. А может, ты, северный Казанова, исходя из собственного опыта, придерживаешься иной? Опустим лучше завесу молчания над роковыми тайнами. Как бы там ни было, нам чертовски хорошо.

Передавай привет Анне Маршалл, твоей коллеге и соратнице, мы надеемся, что она время от времени скрашивает тебе часы одиночества своим присутствием.

Тысяча горячих боевых приветов от Эвы и Герберта».

— Бог мой, тебе, видимо, хорошо,— сказал я, смеясь.

— Ну конечно, пусть и другим будет хорошо,— серьезно ответила Эва.

Что до Анны Маршалл, которой Эва так естественно передала привет, то — в связи с Юстом — для меня все было не столь однозначно, как это, быть может, выглядело на первый взгляд.

Эта Маршалл пришла в нашу школу год назад, то есть годом позже, чем Юст, прямо из высшей школы в школу среднюю, испытывая немало страхов, но полная энергии, как уж исстари ведется.

Юст занялся выпускницей, стал, не ожидая указания, ее наставником, ничего удивительного: Анна Маршалл — девушка очень красивая. Так образовалось дружество двух белокурых и голубоглазых, и Эва вскоре, по своему обыкновению, уже прикидывала, какими были бы их дети. Еще белокурее, еще голубоглазее. Превосходная степень от «белокурый», превосходная степень от «голубоглазый».

Анна Маршалл поначалу мне совсем не понравилась. Ее докучные вопросы, какая-то нервозная непосредственность вызывали у меня антипатию. Мне приходилось делать над собой усилие, чтобы она этого не почувствовала.

Вдобавок в то время, когда она к нам явилась, мои отношения с Юстом, после некоторой натянутости и резких стычек, стали приобретать дружеский характер. Я опасался, как бы она не помешала этому процессу. Видимо, отношения с Юстом значили для меня куда больше, чем я сам себе признавался.

Я приближаюсь к пятидесяти и принадлежу к тому поколению учителей, которое обстоятельства времени заставили долго быть молодым. Не так-то просто проявлять бодрость и прыть, когда их уже нет у тебя в том объеме, который от тебя требуют. К тому же мы прошли тяжкий путь, нам не хватало знаний. Но мы душой и телом преданы школе.

Эти-то причины и объясняют, почему мы склонны сравнивать все и вся с нашим опытом, мерить все нашими масштабами и нам бывает порой трудно справедливо судить о молодых, о новом поколении. Юст стал для меня чем-то вроде пробного камня. Умный, образованный, он прежде всего — и это мне пришлось вскоре признать — тоже был душой и телом предан школе.

Но тогда я полагал, что Юст иронически хмыкнул бы над этим, пожалуй чересчур эмоциональным, выражением. Для него все было гораздо прозаичнее. Знания, методика, психология — вот что важно.

Оттого-то я, хоть и относился к нему настороженно, вместе с тем восхищался кое-какими его чертами. Убежден, что Карл Штребелов испытывал те же чувства. Только Карл не сближался ни с Юстом, ни с другими подобными ему людьми. Быть может, он поступал верно.

Карл Штребелов подчинял все железному правилу: единодушный и сплоченный учительский коллектив гарантирует воспитание и обучение детей в социалистическом духе.

В принципе против этого правила возразить нечего.

Так вот, Анна Маршалл появилась на нашей сцене как раз в тот период, когда мы с Юстом только-только начали действовать сообща, и сразу же произвела на всех впечатление.

Но очень скоро я с удивлением обнаружил одну особенность: для Юста Анна Маршалл значила примерно то же, что он для меня; она ведь была на десять лет моложе Юста.

Кто знает, что́ видел он в ней и что́ хотел в ней выявить.

А что он прежде всего выявил в ней женщину, казалось мне само собой разумеющимся. Хотя очень скоро меня одолели сомнения, не слишком ли опрометчиво я сужу.

Карлу Штребелову мы тоже послали привет из гагринской бухты.

Вначале я выбрал открытку, на которой изображен был Дворец пионеров, и начал было писать, но порвал ее. Мне пришло в голову, что Карл, не успею я вернуться, начнет спрашивать, был ли я в доме пионеров, установил ли связь для обмена письмами, для взаимных посещений. Конечно же, подобную возможность налаживать контакты на месте нельзя не использовать. Все верно. Но я разленился, меня разморило, я жил бездумно счастливой жизнью, и объяснять это Карлу было бессмысленно.

С точки зрения Карла, упустить подобный случай было смертным грехом. Он, я готов был спорить на что угодно, отправился бы во Дворец и установил бы с ними контакт. Приволок бы домой фотографии и прочий материал, заключил с ними какое-нибудь соглашение. Карл никогда не забывал о своей педагогической задаче. И проявлял в этом обезоруживающее упорство. Одна из его погово-

рок, варьирующая ленинское выражение, гласила: «Настойчивость, настойчивость и еще раз настойчивость, в этом уже половина успеха, товарищи и коллеги».

Услышать поговорку Карла я желания не имел, не говоря уже о том, что не собирался стать объектом нарекания. Я выбрал открытку, на которой изображено было заходящее за мыс солнце. И написал, что живем мы хорошо, что я не могу даже выразить, как много значит для меня этот отпуск, тем более что благодаря ему я избавлен от приготовлений к новому учебному году... Но я все наверстаю, Карл, написал я. Хотел еще рассказать Карлу об Андрее Платоновиче и его жене Гале, учителях из Москвы, но и этого делать не стал. И что мог я написать, чтобы пробудить интерес Карла? Мы с Андреем Платоновичем до сих пор не слишком-то много говорили о школьных проблемах.

Итак, я написал:

«До скорого, Карл. С сердечным приветом Герберт и Эва».

Мы с Андреем Платоновичем заплыли сегодня, как каждый вечер, довольно далеко, и там Андрей запел.

Его голос привлек наше с Эвой внимание в первый же вечер. Эва тогда позвала меня на балкон.

— Послушай-ка.

С воды к нам доносилось пение, громогласное, торжественное. Кто-то плыл на спине и пел во весь голос.

Очень скоро мы с Андреем Платоновичем по вечерам уже пели, сменяя друг друга. А иной раз и в два голоса, сойдясь на какой-нибудь песне. К примеру, «Калинку», «Вечерний звон» или «По долинам и по взгорьям».

Андрей Платонович, уверен я, пришелся бы по душе и Манфреду Юсту. Мы составили бы неплохое трио на воде в гагринской бухте — Андрей Платонович, Юст и я.

За три дня до отъезда мы с Эвой купили на вокзале немецкие газеты, понятно, довольно старые.

В самом начале отпуска нам повезло, мы наткнулись на столовую самообслуживания, в которой варили также черный-черный, горячий и сладкий кофе по-турецки, десять копеек чашечка.

Пока Эва стояла в очереди за кофе, я занял два стула и полистал газеты. И почти сразу наткнулся на извещение о смерти, в котором было сказано, что «старший учитель Манфред Юст, имевший правительственные награды, скончался в возрасте тридцати пяти лет.— Л., двенадцатое августа.— Дирекция школы — профсоюзная организация — партийная организация. Захоронение урны состоялось в Берлине».

Я прочел краткий текст извещения, прочел его еще раз вполголоса, уяснив себе наконец-то, что речь идет о нашем Манфреде Юсте, что это его нет больше в живых.

Эву я заметил только, когда она поставила чашки на мраморную плиту столика. Видимо, взгляд мой выражал полную растерянность, потому что Эва спросила, не плохо ли мне и с собой ли мои капли от давления.

Я подвинул ей газету. Она отреагировала на нее так же, как и я минуту назад, и ей понадобилось какое-то время, пока она осознала прочитанное.

— Манфред скончался? — переспросила она беззвучно.

— Почему же они нам не телеграфировали! — сказал я резко, но тут же сообразил, что они, конечно же, не хотели портить нам отпуск.

Что изменила бы эта телеграмма? Она все изменила бы. И я вновь, в который раз, понял, сколь эфемерно наше беззаботное счастье.

Похоже, мы с Эвой подумали об одном, Эва даже вслух высказала свою тайную тревогу. Блаженное состояние, заметила она, в какое погрузились мы в нашем идеальном отпуске, всегда вызывает у нее опасения.

— Я начинаю чего-то бояться, понимаю, не подобает это просвещенному человеку, каким я все же себя считаю. Судьба. Экий вздор. И все-таки начинаю бояться. Слишком нам хорошо, слишком покойно. Вот гром и грянул. Что же стряслось с нашим Манфредом?

Вопрос остался для нас открытым, взволнованные, потрясенные, мы толковали о смерти Юста, строили догадки, но по существу не знали, что же случилось дома.

Я предположил, не разбился ли Манфред, чего доброго, на мотоцикле.

— Бывало, он гонит как сумасшедший,— сказал я.

Но тут же взял свое предположение обратно. Юст и правда гонял на мотоцикле, но очень уверенно, я раза два-три ездил с ним. Можно не гнать как сумасшедший, а все-таки разбиться. Кто-нибудь другой, какой-нибудь пьяный водитель долбанет тебя в бок. И конец.

Что еще могло с ним стрястись? Инфаркт? Исключено. Только не у Манфреда. Он занимался спортом, вел здоровый образ жизни. И всегда у него был цветущий вид.

Молча сидели мы за мраморным столиком, а газета с черной рамкой лежала между нами. Об окружающем мире мы забыли.

Только выпив наш горячий кофе, мы мало-помалу вновь поддались очарованию пестрой, шумной жизни на южном побережье, ярких, резких красок, острых запахов.

Нас внезапно коснулось дыхание смерти, как это бывает, когда теряешь близкого человека. Если умирает посторонний, то факт собственной жизни воспринимаешь острее; узнав о смерти чужого человека, испытываешь какое-то странное чувство удовлетворения — сам ты еще жив, а грустный тот факт приключился где-то в дальней дали.

Когда мы вернулись в дом отдыха, а в эти минуты нам показалось, что мы как-то особенно с ним сжились, мы уже пришли к единому мнению, что дома произошла какая-то трагедия.

Всего масштаба трагедии мы не подозревали.

Знали, что последние три дня отпуска наши мысли будут заняты смертью Манфреда Юста, последние дни в восхитительной Гагре будут омрачены скорбью о Манфреде Юсте. Чувствовали, что этот своеобразный человек был нам куда ближе, чем мы до сих пор сознавали. Он жил рядом с нами, беззаботный, насмешливый, веселый, в высшей степени честный, а иной раз удивительно беззащитный. С ним было занятно спорить.

В этот вечер я не поплыл с Андреем Платоновичем в море. Они с женой прекрасно понимали, какое у нас настроение. На море стояла глубокая тишина.

Мы сидели на балконе. Эва отодвинула в сторону столик, хотела, видимо, чтобы мы лучше ощутили взаимную близость.

Мы пили красное вино.

И просидели до полуночи.

В эти часы мы словно бы воссоздавали для себя образ Манфреда Юста. Понимали, что он загадал нам не одну загадку. И делились своими воспоминаниями о нем; так мы прощались с ним, не подозревая, что после нашего возвращения он еще долго будет занимать наши мысли.

Два года назад, в середине августа, в школе маленького городка Л. появился Манфред Юст. Его нельзя было не заметить, хотя бы из-за внешнего вида, который мне не слишком пришелся по вкусу.

Мое мнение разделял и Карл Штребелов. Или я — Штребелова. Не помню уж точно, шла ли речь о внешнем виде Юста или о его — по нашим понятиям — безудержном любопытстве, с которым он разглядывал и оценивал своих коллег, школьников, стенные газеты, меблировку в учительской, вообще все в нашей школе.

Его внешний вид? Белые фланелевые брюки, лимонно-желтая рубашка, открытый ворот и пестрый шелковый платочек на шее. Он то подолгу стоял где-нибудь, то шнырял повсюду, все рассматривал, и всегда с легкой улыбкой на губах.

Жизнь школы текла по заведенному руслу, тогда нам нужно было закончить составление расписания. И еще кучу разных дел.

Карл Штребелов представил новенького педагогическому совету:

— Манфред Юст, старший преподаватель, история, география, государствоведение. Эти предметы он и будет у нас преподавать. Мы рады работать вместе. Опыт, приобретенный им в специальной политехнической школе, без сомнения, интересен и принесет всем нам пользу.

Да, теперь мы знали, откуда явился к нам этот новенький. Из спецшколы, носящей знаменитое имя, из города П., в получасе езды на поезде от нашего города. Но почему он перешел к нам, об этом Карл Штребелов даже словом не обмолвился. Явную настороженность всего собрания Штребелов оставил без внимания, должен был оставить без внимания, ибо сказать ему было нечего.

Он еще до собрания информировал меня:

— Новый коллега перешел к нам из школы имени Эйнштейна.

— Вот как? Что-нибудь натворил? — поинтересовался я.

Сказанное Штребеловым навело меня тотчас на мысль, что уйти с такой работы человек может только из-за каких-то неприятностей. Так уж мы склонны обычно думать. Да и наш жизненный опыт подтверждает это.

— Не знаю, натворил ли он что-нибудь, из характеристики, во всяком случае, ничего такого не следует,— неохотно ответил Штребелов и постучал по тоненькой папке, в которой, очевидно, заключена была вся служебная жизнь нашего нового коллеги.— Характеристика у него хорошая. Сплошные похвалы,— добавил Штребелов.

— А что говорит он сам?

— Я спросил, но он пропустил мой вопрос мимо ушей,— ответил Карл Штребелов.

Да, это плохое начало в отношениях Карла Штребелова и Манфреда Юста.

Карла я знаю уже очень давно и могу сказать, что у нас отношения сердечные, они сложились за долгие годы совместной работы в шестой средней школе города Л. До дружбы, правда, не дошло, слишком уж разные взгляды у нас по некоторым вопросам.

Могу себе представить, что испытал Карл Штребелов, когда Юст просто-напросто не ответил на его прямой вопрос. А Карл любил точность, не терпел никаких туманностей. С нещадной настойчивостью он изживал всяческие темные истории. Больше всего ненавидел расплывчатость, неопределенность. Эта особенность отличала стиль его работы, с ее помощью он добился в своей школе стабильности, хорошо налаженного учебного процесса, что в свою очередь привело к устойчивому уровню знаний учащихся. Карл Штребелов стал директором этой школы в середине пятидесятых годов. Я начинал вместе с ним. В ту пору здание школы было еще новеньким, и мы радовались и гордились, что нам выпала честь в ней работать.

Прямолинейный, трудолюбивый Карл Штребелов определил с самого начала наше направление в работе. И это, без сомнения, правильно; я всегда стоял за него и поддерживал его в чем только мог. Позже меня назначили одним из его заместителей. И уж куда позже у меня иной раз возникала мысль, что господствующая у нас в шко-

ле нетерпимость и постоянное напряжение всех сил, насаждаемые Карлом Штребеловым, весьма утомительны, они не оставляют места для педагогических экспериментов, для рассмотрения новых вопросов и ситуаций. С годами это чувство крепло во мне.

Не могу, однако, не заметить, что в то далекое время в стране совершалось множество перемен, тогда все находилось в движении. И мы шли в ногу со временем под руководством Карла Штребелова, выполняли наш долг и нередко делали даже больше того. Но наши дискуссии о школьной политике, о теории и практике педагогики были поставлены в весьма ограниченные рамки. Карл испытывал отвращение к «бесплодным фантазиям», как он это называл, зато требовал, чтобы мы основательно изучали реальный, конкретный опыт, накопленный в педагогике.

Маленький дом Карла Штребелова на опушке, неподалеку от автострады, и сад перед ним и за ним были образцовыми в смысле порядка и чистоты. Жизнь Карла протекала безупречно, в сознании исполняемого долга. И свои жизненные принципы он последовательно переносил в школу, которой руководил.

Может статься, я сужу несколько односторонне о Карле Штребелове, определенный его образ сложился в моем сознании за долгие годы совместной работы, теперь, может статься, я видел все острее благодаря Манфреду Юсту.

Нужно еще сказать, что Карл Штребелов во многом согласился бы с моими суждениями. Основания для них были те же самые, что и для присуждения ему правительственных наград, которых он удостоился в последние годы.

Оттого-то я прекрасно понимал, как он был озадачен, не получив от Юста ответа на вопрос, почему тот перевелся из знаменитой школы имени Эйнштейна в П. к нам в Л., в нашу на редкость нормальную школу.

— Терпеть не могу заносчивость,— сказал Штребелов.

Я разделял его мнение. Как иначе можно было назвать поступок нового коллеги?

Разумеется, все наши учителя встретили новенького с любопытством и надеждой, ведь не так уж часто наши ряды пополняются столь необычно.

Прошло немного времени, и я заметил, что наши учительницы стали обращать больше внимания на свою одежду; тут-то вдруг и обнаружилось, что у нас в школе работают красивые, умеющие хорошо одеваться женщины.

Стоял конец лета, случаев менять платья, юбки, костюмы оказывалось сколько угодно. И мы только поражались красоте наших женщин.

Всем этим мы обязаны были новенькому, который беспечно разгуливал в своих лимонно-желтых, красных, черных, зеленых рубашках, повязывал шею разными платками, ярким пятном выделяясь на фоне наших скромно одетых мужчин.

Первый обмен любезностями произошел у нас с Юстом еще в последние дни каникул. В мои обязанности входил инструктаж классных руководителей и закрепление их по классам, я должен был объявить Юсту, что ему предстоит классное руководство в одном из восьмых классов. Прежняя классная руководительница ждет ребенка и вскоре уйдет в отпуск, лучше будет, если он сразу же, с начала года, возьмет эту работу на себя. Как он относится к моему предложению, спросил я.

— Мрачновато, не правда ли? — сказал он.

— Что вы имеете в виду? — не понял я, отнеся его замечание к своему вопросу.

— Здесь, в комнате,— ответил он.

Кабинет директора выходил на северную сторону, узкая комната, обставленная просто, разумно: письменный стол, за ним шкаф для бумаг. Ведь главным в работе Штребелова были осмысленность, скромность.

— Я не мог бы здесь работать,— добавил Юст.

— Вам это и не потребуется,— сказал я.

— Но заходить-то сюда мне придется. А это повлияет на мое настроение. И ученики, которым нужно будет к директору, воспримут эту комнату так же.

— Здесь не клуб, коллега Юст.

Юст посмотрел на меня открытым взглядом, покачал головой. А у него голубые глаза, подумал я, именно такие представляешь себе, когда речь идет о голубых глазах. Сидит непринужденно на стуле и уже высказал свое мнение о кабинете директора, более того, раскритиковал его. Ну, с этим господином не соскучишься, подумал я, разглядывая его шелковый платок, и не мог не признать, что выглядит он очень неплохо.

Э, черт побери, сейчас ведь речь не о директорской келье, сейчас речь о классном руководстве. Времени у нас перед началом учебного года в обрез. Это надо бы знать коллеге старшему преподавателю.

Но он не спасовал.

— Однако вы согласны, коллега Кеене, что помещение воспитывает.

— Разумеется,— буркнул я не слишком дружелюбно,— вот это, в котором мы столь оживленно беседуем, воспитывает скромность, умение сосредоточенно работать.

Юст внимательно посмотрел на меня. В его глазах забегали смешинки, и вот уже улыбалось все лицо. Улыбкой сияющей, обезоруживающей, с которой нам еще не раз придется иметь дело.

— Ах вот как вы отбиваетесь? Ну что ж, это мне по вкусу. Но я не сдаюсь. Вы еще не раз кое-что от меня услышите.

— Я бы хотел услышать от вас что-нибудь о классном руководстве, коллега Юст,— сказал я весьма сухо.

Улыбка исчезла с его лица.

— Восьмой класс. До сих пор я преподавал только в девятых и десятых.

— Знаю. Но тогда оставались бы там, откуда пришли.

— Вы же спросили мое мнение,— холодно ответил он.

— Я полагал, вы поинтересуетесь классом, который принимаете,— сказал я и приподнял классный журнал, приготовленный заранее.

— Можно мне заглянуть в него? — спросил он.

— И даже должно.

Он открыл журнал. Теперь я как следует разглядел его лицо. Выразительное. Вокруг глаз и рта легкие морщинки. От смеха ли только? Я уже пожалел, что разговаривал так резко, это, вообще говоря, не в моих правилах.

Читая, Юст слегка прищуривался.

Выпиши себе очки, парень, подумал я, нечего форсить. Ты и в очках будешь хорош собой.

Я удовлетворенно хмыкнул, подумав так, и настроение у меня опять поднялось.

Тут Юст вскинул глаза и сказал:

— Довольно высокий средний балл. Не слишком ли высокий для восьмого класса?

Настроение мое тотчас упало.

— Как можете вы так говорить, не зная класса?

— Из опыта. Слишком часто я замечал, что ученики с хорошими и даже очень хорошими оценками, переходя в девятый класс нашей школы, не отвечали требованиям.

— У нас есть собственный опыт,— довольно запальчиво ответил я,— и вы теперь здесь, а не там.

Он посмотрел в журнал.

— Прекрасно. Ларс, Биргит, Рамона и как вас еще назвали ваши родители, скоро мы познакомимся. Тогда и поглядим, чего вы стоите.

Он аккуратно положил журнал на стол.

Нет, его нелегко поддеть, он тут же расквитается, умеет ловко отразить удар.

Впоследствии мы как-то вспоминали эту нашу первую встречу, и Юст сказал:

— Ты восседал в штребеловском кресле, точно Марс собственной персоной. Господи, до чего же мрачно-напряженное лицо было у тебя. Такие маневры меня, уж извини, только смешат. В этом и было наше спасение, старик, не то мы бы еще подрались в святая святых Штребелова.

Нет, мы не подрались, мы поговорили подчеркнуто деловито, и ясно было, что каждый ищет приемлемое отступление. А что Юст внутренне подсмеивался надо мной, я не заметил. Возможно, все протекало не совсем так, как он изобразил позднее. Юст был человек с фантазией, и она кое-кому из нас, а прежде всего ему самому, частенько доставляла массу хлопот.

Как ни странно, но я не рассказал Карлу Штребелову о нашей стычке, я только сообщил, что Юст согласился взять восьмой и теперь знакомится с ситуацией в классе.

— Значит, будешь им впредь заниматься,— сказал Карл Штребелов.

— Тебе он, видимо, не по душе? — спросил я.

Этого Карл не признал. Но и я мог бы воздержаться от реплики, я же помнил о том разговоре, когда вопрос Карла остался без ответа.

Чтобы успокоить Карла, я сказал:

— Все будет в порядке.

Вполне, таким образом, закономерно, что следующий обмен любезностями между мной и Юстом не заставил себя ждать.

Случилось это в первый день нового учебного года.

В тот день погода внезапно и резко изменилась. Осень рано, словно бы желая облегчить нам и ученикам прощание с теплым летом, дала о себе знать.

Карл Штребелов держал на площадке перед школой речь, невзирая на порывистый ветер, и ничуть не сократил свое выступление; нет, это было бы нарушением всех его принципов. Что нужно сказать, должно быть сказано. Ветерок, дождичек. Ну и что? Мы привыкли и худшее терпеть.

Он представил всем и нового учителя, нового коллегу, господина Юста.

Мысленно я восстанавливаю всю картину — огромный школьный двор, четырехугольником построенные классы, в двух шагах от флагштока директор. Для нас, правда, картина привычная, но — дождь, но — ветер гонит с севера тучи. А наша школа стоит как раз за автострадой, проложенной по высоченной дамбе. Тучи так и валят через нее без передышки.

Рядом со Штребеловым, на котором штормовка с капюшоном, стоит Юст в коричневой замшевой куртке. В открытом вороте светится лимонно-желтая рубашка, на шее развевается шелковый платок. Он все пытается справиться с ним, но ему это никак не удается.

На мрачном фоне дамбы и черного неба Юст выглядел пестрой пичугой, ненароком залетевшей в наши холодные широты из дальних теплых стран.

Штребелов невозмутимо продолжал свою речь. А беззащитный Юст был отдан на растерзание ветру, и я только диву давался, что

он не съежился, даже рук в карманы не сунул. Немало хлопот доставляли ему и волосы, ветер то и дело швырял их ему в лицо.

Я не испытывал злорадства. Напротив, мне было жаль Юста. Такого и злейшему врагу не пожелаешь. Чего уж говорить о коллеге, пусть своенравном, но ведь ты намереваешься воспитать в нем скромность и сдержанность.

Битых полчаса стоял Юст рядом со Штребеловым. После двух-трех фраз, которыми Штребелов его представил, он сделал шаг вперед, постоял секунду и опять отступил к директору.

Заметно было, что Юст сей маневр совершил не без усилий, по всей видимости, ему в таком действе участвовать не приходилось. А может, он просто замерз на холодном ветру, таким казался он одеревенелым, такими скованными были его движения.

Когда кончилась линейка, я подождал Юста, чтобы представить новому классу.

— Вам бы надо потеплее одеться,— пожурил я его.

— Кто мог такое предвидеть. Вчера еще я валялся на лужайке в лесу, мечтал, глядя в голубое небо. А сегодня — полярный ветер.

Он снял свою замшевую куртку и стряхнул с нее брызги дождя, потом заново завязал платок на шее, концы которого опять лихо взметнулись вверх.

В школе стоял нормальный, неизбежный шум, порожденный не одной сотней ребятишек и молодых людей, которым после каникул нужно было много, очень много порассказать друг другу. Такой шум устранять не следует, если, конечно, не считать, что идеальной для школы была бы больничная тишина.

Мне хочется еще упомянуть сумку Юста. Сшитая из грубого холста, она была родом из Польши. И хоть на вид не очень большая, вмещала уйму всякой всячины, носил ее Юст на ремне, перекинутом через плечо. Учитель с туристской сумкой в школе? Непривычно. Во всяком случае, нам непривычно. Строгий портфель, по молчаливому уговору, был нашим неизменным атрибутом, этого уговора придерживались и женщины, которых у нас большинство.

Вот так и случилось, что в последний день перед занятиями, когда началась учительская конференция, Карл Штребелов ткнул в синюю холщовую сумку, висевшую на крюке, и, не скрывая неудовольствия, спросил:

— А чья это там торба?

— Это моя сумка,— невозмутимо ответил Юст.

Больше ничего. Торба эта, или сумка, висела до конца совещания на крюке, то и дело привлекая, однако, к себе взгляды.

Крамольная сумка висела на плече Юста и тогда, когда он передо мной поднимался по лестнице, легко шагая вверх через две-три ступеньки, а я с трудом поспевал за ним. Если тебе под пятьдесят, ты уже не так скор на ногу, ничего не поделаешь.

Наверху Юст дождался меня.

— Извините,— сказал он,— видите, я в нетерпении. «За работу!» — вот мой девиз.

Он что, иронизирует? Судя по выражению лица — нет. Хотя с этим человеком ни в чем нельзя быть уверенным.

— Как мы теперь поступим? — спросил он.

— Я вас представлю.

— Только не слишком торжественно.

— Не вижу для того повода.

— И что же вы скажете?

— Но послушайте, разве это вы определяете?

— Вы меня не поняли. От первого шага в новом классе многое зависит.

— Кому вы это говорите!

— Но ведь мне работать с классом. И я не позволю испортить себе старт.

— Вы что, приписываете мне дурные намерения?

— Э, вы все принимаете на свой счет. У вас вообще, кажется, так повелось, что любая шутка или откровенное замечание вызывают обиду. Ну конечно, вы не хотите испортить мне старт. Думаю, однако, это может случиться из-за недоговоренности. А если я верно понял коллегу Штребелова, дух коллективизма и у вас ведь альфа и омега вашей работы.

— Вы верно поняли директора Штребелова.

Мы все еще стояли у лестницы. Мимо нас протискивались ученики, расходились по классам. Они обтекали нас точно остров, и хоть мы пикировались вполголоса, мне казалось, что мы кричим во все горло.

Звонок положил конец нашему пребыванию на лестнице. Поразительно, как быстро воцарилась в коридоре и в классах тишина. Я гордился этим как результатом нашей работы, на такой тишине упорно многие годы настаивал Карл, считая, что вместе со звонком должна начинаться работа и воцаряться тишина. Каждый, кто имеет хоть малейшее представление о жизни школы и о ее трудностях, знает, что осуществить это требование можно, лишь затратив немало сил, проявив настойчивость, забыв о снисхождении.

Наши шаги гулко отдавались в коридоре, теперь я уже не отставал от Юста.

И удивился, когда он сказал:

— Здорово, однако. Такая тишина вместе со звонком. Даже нам это давалось нелегко.

Третью фразу я как-то пропустил мимо ушей, с таким восхищением сказаны были первая и вторая. Я ничуть не сомневался в ту минуту, что Юст высказал свою похвалу без всякой задней мысли, что это не жест примирения или что-то подобное. Подтверждением тому служила третья фраза, это «даже нам».

У дверей, за которыми восьмой «Б» ждал своего нового руководителя, Юст меня остановил, он пригладил гребнем волосы, поправил еще раз шейный платок и рубашку, разгладил отвороты куртки, на которых виднелись следы дождя.

Тут и мне передалось то своеобразное чувство, какое испытывает каждый учитель, получивший новый, незнакомый ему класс, передалась та стартовая лихорадка, которую не подавить, которую подавлять и не следует. Это чувство присуще учителю, если он со всей серьезностью относится к своему делу, если точно знает границы своих возможностей и понимает, что в работе его поджидает много непредвиденного и неожиданного, ибо он имеет дело с людьми.

Я всегда настораживаюсь, если кто-нибудь из коллег объявляет, что ему чуждо подобное чувство, что он считает его неразумным и сентиментальным, если кто-нибудь утверждает, что это чувство следует подавлять, оно, мол, притупляет ощущение реальности, порождает неуверенность.

В категорию этих людей можно, думается мне, зачислить и Карла Штребелова, хотя я не раз наблюдал, как он нервничает. В этих случаях ему маневр подавления не удавался. Но признать, что он нервничает? Нет, ни за что. В этом могли усмотреть слабость, а она повредила бы его авторитету.

Юст, напротив, не скрывал своей стартовой лихорадки. Он даже побледнел. Кожа его лица, загоревшая на летнем солнце, на мгновение показалась мне жутковато серой. Он сделал глубокий вдох и, смущенно улыбаясь, сказал:

— Вечно это дурацкое чувство, словно перед премьерой. Но что поделаешь.

А ведь он, как было мне известно, преподает в школе уже десять лет.

— Ну, теперь пошли, коллега Юст,— сказал я.

Он переступил порог. Впервые встретился со своим классом. Мне этот класс был хорошо знаком, я довольно долго вел у них немецкий язык.

Тридцать пар глаз уставились на Юста с напряженным любопытством. Ребята видели его уже на линейке, они, конечно же, обратили внимание на его внешний вид. Вот только какое впечатление произвел он, стоявший рядом с директором под дождем и ветром, я не знал. Видели они его таким же, каким видел его я, беспомощным, неуверенным и даже чуть смешным?

Как справится он с ребятами, что сидят перед нами? Не надо ли было все-таки подробнее, основательнее познакомить его с положением дел у нас в Л., ведь оно оказывало сильное влияние на взгляды и нравы здешней молодежи.

Надо было? Да, надо было мне, надо было Штребелову, это было бы правильнее. Но чем мои рассуждения могли помочь в данную минуту? Со временем Юст узнает наш город. Молодой город неподалеку от Берлина, до которого поездом добираешься примерно за час. Вдобавок поблизости от окружного города П.

Наш город со всех сторон обступают леса и озера. До войны это была деревня, нежданно-негаданно обратившаяся в промышленный городок, потому что здесь, среди лесов и степей, один из концернов упрятал военный завод. После войны городок пережил демонтаж завода, мертвый сезон и раскачку, которая длилась довольно долго. А когда отстроен был новый завод, он много раз менял специализацию, пока наконец не стал автомобильным. Этот завод не загрязнял окружающую среду и не заволакивал своим дымом небо.

А люди в Л.? Пестрая смесь, очень разные. Старшие — берлинцы, силезцы, померанцы, швабы. Те, кто оказался здесь уже после войны, тоже были из Силезии, Померании, Чехословакии, одни — беженцы, застрявшие в наших местах, другие — переселенцы. Более молодые были выходцами из Тюрингии, Саксонии, Магдебурга. Дети этих молодых и внуки старших сидели сейчас перед нами. Полезно было Юсту это знать? Он, возможно, даже знал. При его-то дотошности.

Юст поставил свою холщовую сумку на стул рядом с учительским столом. Внимательным взглядом окинул доску, шкаф, наглядные пособия на стенах и окна, помутневшие от дождя. Не поверить, что их вымыли перед самым началом учебного года. Разумеется, школьники и учителя. Откуда взять в Л. уборщиц, если завод постоянно ищет людей.

Предельная чистота и порядок в школе были нашей гордостью. Полностью исключалось, чтобы какая-нибудь инспекция застала нас врасплох; а если нас предупреждали о гостях, то нам не нужно было принимать никаких экстренных мер. Пожалуйста, пусть приезжают. К нам можете явиться в любое время дня и ночи, сделайте одолжение. Понятно, оборудование у нас не новое, но в конце-то концов школа существует уже не одно десятилетие. Ремонтирует мебель наш завхоз вместе с учениками из тех, кто любит столярничать. Частенько можно встретить в мастерской у верстака и Штребелова. Он был когда-то столяром.

Мне доводилось видеть школы со сверхсовременным оборудованием, вот уж где грязь и беспорядок прежде всего бросаются в глаза. Все это, конечно, мне нужно было сказать Юсту; сейчас меня раздражал его, как мне казалось, критический, оценивающий взгляд, каким он оглядывал класс. Тогда я еще не знал его привычки везде, куда бы он ни приходил, без всякой деликатности и церемонии все разглядывать.

Я шагнул к первому ряду парт — ведь это мне нужно представить его классу. Все здесь было мне хорошо знакомо, я заместитель директора школы. И Юсту нужно с этим считаться. Мне предстоит обеспечить ему удачный старт. Но что он понимает под этим? Хотел он с самого начала продемонстрировать свое превосходство, задать свой тон?

Он стоял в стороне, сунув одну руку в карман куртки.

— Дорогие друзья,— начал я,— прежде всего я хочу пожелать вам успехов в новом учебном году. Вам предстоит отпраздновать свое совершеннолетие и вместе с тем познакомиться с проблемами, имеющими значение для вашей будущей жизни.

Я говорил еще о школьных делах, затронул политические вопросы последнего времени, короче, постарался показать Юсту, кто здесь хозяин. Я чувствовал, что он, неотрывно глядя на меня, с явным нетерпением ожидает конца моей речи, и подумал: пойми, Юст, экстравагантность у нас не в чести.

Затем я представил кратко Юста ученикам, упомянув последнее место его работы в П., школу имени Эйнштейна, о которой я отозвался как о превосходном учебном заведении. Пусть теперь гадают, с чего это господин Юст перешел именно к нам.

Замолчал я как-то неожиданно, ничего больше не приходило мне в голову, я почувствовал, что, кажется, был не на высоте, да-да, не на высоте.

Юст, встав за учительский стол, сказал улыбаясь:

— «Довольно слов, довольно споров... Пора за дело взяться нам»[1]. Начнем наш первый урок.

Он поглядел на меня, словно приглашая к действию, потом взгляд его выразил сомнение, неуверенность, удивление. Играл он комедию? Я не понял, но если да, то играл он здорово.

— Может быть, вы еще не кончили, коллега Кеене? — спросил он.

— Разумеется, кончил,— ответил я, с трудом подавляя досаду. Он меня вышвыривает, выпроваживает самым недвусмысленным образом.

В дверях я еще раз оглянулся. Ребята не смотрели мне вслед, все их внимание поглощено было новым учителем. Юст встал с левой стороны стола, позже, посещая его уроки, я заметил, что это его излюбленное место. Он тоже не проводил меня ни единым взглядом. Но внезапно словно бы подтянулся, словно бы ощутил приток необычайной энергии. Небрежной позы как не бывало. Однако не ощущалось и натянутости, судорожного напряжения. Юст был хозяином положения, он начал работать. Я видел: да, он учитель опытный и умелый.

У нас он новенький, но он не новичок.

Стоя в пустом коридоре, я понял это особенно ясно. Собственно говоря, мне нужно было зайти к Карлу Штребелову, я знал, что он работает у себя в кабинете, еще и еще раз проверяя расписание. И уверен был, что он меня ждет. Кое-что еще нужно нам обсудить, и о Юсте он наверняка захочет узнать. Но не с первого слова, нет, это не в его правилах. Только когда наша секретарша принесет кофе, он выскажется откровенно. Но я сейчас не в состоянии говорить с Карлом Штребеловым о Юсте. Почему он сам не представил классу этого Юста? Обычно именно директор школы знакомил класс с новым учителем.

Не припоминал я, чтобы Карл хоть раз отошел от этого правила. Почему же для Юста он сделал исключение? Чувствовал, что в чем-то уступает учителю? Быть этого не могло. Карл Штребелов умел преодолевать любые трудности. Когда нужно было чего-то добиться, на чем-то настоять, он не увиливал и не пасовал.

[1] Иоганн В. Гёте. Фауст. Пролог в театре (перевод Н. Холодковского). *(Здесь и далее прим. перев.)*

Что же побудило Карла Штребелова на сей раз отойти от правил? Неужели его неприязнь к Юсту так велика, что он опасался потерять контроль над собой? Неужели отказ отвечать на его вопрос так его уязвил? Как бы там ни было, действия Штребелова оставались для меня загадкой.

Юста же пренебрежение директора, если этого хотел Штребелов, нисколько не затронуло. А может, он его и вовсе не заметил?

Стоя у окна, я смотрел на пустой школьный двор, такой унылый в дождливую погоду. Именно в этот сентябрьский день у меня внезапно родилось предчувствие, что вместе с Манфредом Юстом в мою жизнь вошло нечто, чего я еще не умею определить. Как следовало расценить это нечто — положительно или отрицательно?

Сейчас оно вызывало у меня беспокойство.

Наш открытый школьный двор, буднично суровый под серым небом, я внезапно увидел другими глазами. Никогда до сей поры не находил я в нем недостатков. Двору полагалось быть чистым и отвечать своему назначению. Но проволочное ограждение, отделяющее школьную территорию от автострады, выглядело безобразно. Отчего мы за все эти годы не додумались посадить там кустарник? Или быстрорастущие тополя? Они скрыли бы ограду, шевелили бы листвой на ветру; и даже в самый мрачный день, глядя на такой двор, на душе не ощущался бы мрак.

В первый час нового учебного года, а у меня он был свободным, я бродил по всему школьному зданию, спустился в котельную, поговорил там с завхозом. Но кабинет Штребелова обходил стороной. Все это время у меня из головы не шел Юст, я охотно посидел бы в его классе, чтобы видеть, как он дает первый урок.

И собой я был недоволен. Пустяковое нарушение порядка — и я уже в тревоге, уже пытаюсь осмыслить породившую его ситуацию. А кончится тем — если я как можно скорее не справлюсь с этим нарушением,— что дам самой ситуации отрицательную оценку. Я спрашивал себя, неужели всему виной моя успокоенность и малейшее нарушение нагоняет на меня ужас?

Да, поистине странный свободный час, час размышлений о Герберте Кеене. Когда-то раньше, совсем еще молодым человеком, я частенько во многом сомневался и, смотря по обстоятельствам, то подавлял свои сомнения, то высказывал их, горячился, а иной раз садился со своими суждениями в лужу. Но не страдал от этого.

А теперь, во второй половине жизненного пути, сомнения и беспокойство стали внушать мне серьезные опасения.

Неужели так должно быть?

На перемене мы с Карлом Штребеловым столкнулись возле учительской. Я заподозрил, что он меня ищет. Отведя меня в сторону, он спросил:

— Ну, как восьмой «Б»?

Почему же тебя там не было, подумал я, тогда ты знал бы. Хотел сказать ему это, но воздержался и ответил:

— Все в полном порядке.

— А реакция учеников?

— У Юста не возникнет трудностей.

— Вот как! Не слишком ли поспешно делаешь ты выводы?

— Почему же?

— Разве на линейке он не выглядел смешным?

— Может, это нам так кажется, а ученики думают о нем иначе.

Он с удивлением глянул на меня, он явно не понимал, о чем я говорю.

— Такого рода люди недоступны моему разумению. Что еще он тут у нас учинит?

— Поживем — увидим, Карл. А свежий ветер нам не повредит.

Карл Штребелов отступил на полшага. Я стоял спиной к окну, с улицы свет падал прямо ему на лицо, и я увидел, как оно замкнулось, стало холодным, непроницаемым.

— Что это значит? — спросил он.

Тут я понял: беспокойство охватило и его. Только он заранее составил себе по этому поводу вполне определенное мнение. Манфред Юст из города П. вносит в наш коллектив такие настроения, которые могут иметь отрицательные последствия. В этом Карл не сомневался. Да и не мог он иначе думать. Он руководил коллективом слаженным, не раз испытанным в трудных обстоятельствах. Нам нужно было работать, упорно, настойчиво, не отклоняясь в сторону. А человек, даже внешне склонный к экстравагантности, мог только нарушить привычный распорядок нашей школьной жизни, результат упорного коллективного труда.

Все это я понимал и понимал моего старого боевого соратника Карла Штребелова.

Я тронул его руку:

— Подождем, Карл. Через полгода нам все станет ясно. Мы-то с тобой знаем, что к чему, мы-то с тобой стреляные воробьи, Карл.

Он слабо улыбнулся:

— Но ты остаешься при нем, это уж бесспорно.

Я решил, что указанию Карла буду следовать в самом прямом смысле слова. Я и раньше намеревался остаться при этом своеобразном новеньком. С пользой для себя, с пользой для всего коллектива — и не в последнюю очередь с пользой для Манфреда Юста, считал я. Надо, однако, думать, что эти соображения не встретили бы у Карла Штребелова сочувствия.

Дни и месяцы бежали быстро. Мы уже привыкли к Манфреду Юсту, разгуливающему летом в модных рубашках и в замшевой куртке, а зимой — в польской меховой куртке. Как вдруг в конце мая загорелся сыр-бор с заявлением.

Все это время я «оставался при нем». Но старался не навязываться ему, чтобы у него не создавалось впечатления, будто я выполняю при нем особую миссию. Да я и не выполнял никакой миссии. А просто с интересом — в той мере, в какой это было возможно,— наблюдал, как работает этот человек. Оценить работу учителя обычно нелегко. Слишком многое в нашей профессии ускользает от непосредственного наблюдения. Инспекция же — всегда дело чрезвычайное, мало встретишь учителей, кто бы держался при этом естественно. Это дается только самым лучшим, самым честным или самым пройдошистым.

Всякий раз, как только представлялся случай — я бы даже сказал: когда было уместно,— я присутствовал на уроках Юста, и у меня создалось впечатление, что мое присутствие ни в малейшей степени не влияет на него. Иной раз мне даже казалось, что он поглядывает на меня насмешливо, но я не давал сбить себя с толку, я хотел знать, что он собой представляет.

Юст отвергал авторитет мнимый и оттого пользовался авторитетом подлинным.

Впоследствии я признался ему, что хотел бывать у него на уроках как можно чаще и что у меня с самого начала имелось на то указание Штребелова.

— Ты никогда не возражал. Разве я не мешал тебе?

— А ты был более или менее симпатичным надзирателем.

Я сказал, что постепенно из надзирателя превратился в заинтересованного слушателя.

— Так почему ж ты рта не раскрыл? Мы бы уже тогда начали наши знаменитые дискуссии.

Нет, тогда я этого еще не мог, тогда во мне еще любопытство и восхищение сменялись недоверием и предубеждением.

Сидя в последнем ряду, я порой забывал, что я коллега Юста, и с интересом слушал, к примеру, его уроки истории, видел многое хорошо мне знакомое другими глазами, с новой стороны. Юст вплетал в свое подчеркнуто сухое, деловое изложение вопросы, которые подхлестывали учеников на споры, а ведь они, видит бог, далеко не все проявляли интерес к давно прошедшим временам.

И уж вовсе отдельного разговора заслуживает способ Юста добиваться дисциплины. А дисциплина у него на уроках была просто хорошая. Но добивался он этого не на манер укротителя, когда учитель в иных ситуациях просматривает весь класс до последней скамьи, а то даже и под скамьи мысленно проникает, чтобы держать всю свою ораву в руках.

Юст остро ощущал сиюминутную ситуацию в классе, знал, когда нагрузку следует сменить разгрузкой, предъявлял чаще всего высокие требования, но не перегибал палку, не отделял лучших учеников от тех, кто не отличался быстротой, усваивая материал.

Да, Юст и его работа интересовали меня очень и очень.

Не стану скрывать, иной раз меня пугали его решительные воспитательные методы. Однажды случилось вот что. Долговязый Ромайзель, один из самых трудных в классе, ленивый и тупой парень, должен был отвечать, пользуясь исторической картой. Но он стоял у карты молча, нагнув голову, словно собирался поднять на рога потенциального противника.

Юст выждал минуту-другую. Ромайзель молчал. Весь класс тоже молчал. Должен сознаться, мне стало жарко от возникшей в классе напряженности.

Ясно было, что ждать ответа — значит терять время, это ничего не даст. Ход урока нарушен, восстановить его будет нелегко. Но Юст спокойно смотрел на Ромайзеля и ждал.

Спустя некоторое время он сказал:

— Садись.

Ромайзель недоверчиво поглядел на учителя, потоптался и пошел на место. Юст вызвал другого ученика. Я был уверен, что этот наверняка справится с вопросом, я его хорошо знал, это был Виктор Шульц. Юст получил умный, обстоятельный ответ.

Так что же, этим дело и кончилось? Ромайзель отделался легким испугом?

Урок продолжался, словно затянувшейся паузы с Ромайзелем и не было. Но в конце урока Юст подошел к парню и сказал:

— Встань, Ромайзель!

Ромайзель поднялся, это был высокий, сильный парень, чуть ниже ростом, чем Юст. Юст внимательно и задумчиво разглядывал его.

Я видел лицо Юста, на нем не было ни тени иронии ни тени насмешки или чего-нибудь подобного. Он очень спокойно сказал:

— Я давно уже задаюсь вопросом: бестолков ты или ленив? Сойдемся вот на чем: лень довела тебя до бестолковости. Сомневаюсь, что нам удастся тут что-нибудь изменить.

Юст отвернулся и не спеша зашагал к своему столу. А Ромайзель как-то нерешительно сел.

В этот же миг прозвенел звонок, словно Юст все точно рассчитал.

Я не удержался, чтобы не упрекнуть Юста, что с Ромайзелем он все же перегнул палку.

— Вы окончательно списали мальчишку.

— Но я в самом деле считаю, что из Ромайзеля ничего путного не получится,— сказал Юст.

— Еще рано делать подобный вывод.

— Я много внимания уделил парню. Его воспитание, видимо, шло вкривь и вкось. Да и сейчас дело обстоит не лучше. Вы знакомы с его родителями?

— Нельзя подходить к нему со слишком высокими мерками.

Здесь у вас нет такого выбора, как в прежней школе. Вы торопитесь с выводом. Кому от этого польза?

— Я привык высказывать свое мнение,— возразил Юст,— и терпеть не могу неискренности. Лучше открытый спор учителей, чем их спокойствие, скрывающее противоречия.

— Но сейчас мы говорим не об учителях и о каких-то противоречиях, мы говорим об ученике, о Ромайзеле,— взволнованно сказал я.

— Ну да, о Ромайзеле,— сказал Юст внезапно вполне миролюбивым тоном,— его я не выпущу из поля зрения. Да и не собирался, собственно говоря.

Мы стояли в коридоре у окна. Внизу, у опорного столба забора, задумчиво жевал бутерброд объект нашего спора, Ромайзель. Широкой спиной он ритмично раскачивал столб, можно было не сомневаться, что с его силищей он быстро его раскачает и забор рухнет.

— Спущусь-ка я и спасу забор,— сказал Юст.

— Лучше уж мне спуститься,— возразил я.

Не знаю, понял ли он тогда, что я хотел ему помочь. Думаю, вряд ли. Он сделал вид, будто ничего не заметил, умел держать себя в руках.

Еще до того, как в мае случилась вся эта история с заявлением, у нас был учительский бал на масленицу, в первый день зимних каникул, о котором я уже упоминал. Юст познакомился там с Эвой, а я чуть не приревновал ее.

На этот раз он был в темно-синем свободном пиджаке, светлых брюках и с черной, в белый горошек, бабочкой. Опять, стало быть, достаточно крикливо одетый. Он, думается мне, слишком серьезно отнесся к нашему «балу», все остальные, кроме Эвы, отнеслись к нему проще.

Юст подошел к нашему столику. Да и к кому же было ему сесть? На таких праздниках все садятся за столы уже привычными компаниями. Женатые занимают свои постоянные столики, и у тех, кто не успел еще связать себя узами Гименея, тоже есть свои места. Косвенное задание Карла Штребелова сделало меня наставником Юста, его близким знакомым против собственной воли. Но к этому времени взаимное раздражение переходило уже во взаимное расположение, я даже думаю, что то были зачатки дружбы, хотя со стороны их еще нельзя было заметить. Да и не нужно, считал я тогда, я всегда против того, чтобы выставлять напоказ как дружеские чувства, так и другие эмоции.

А Юст еще потому подошел к нашему столику, что ему понравилась Эва, на этот вечер она оделась весьма экстравагантно. Длинное платье, глубокий вырез и цветок в волосах.

Юст целый час ошеломлял нас фейерверком остроумия. Я злился, но молчал. Пока Эва не положила этому конец репликой, после которой у меня не было оснований ревновать. Но потом не удержалась, пошла танцевать с Юстом. Как они танцевали! Да и ансамбль показал чудеса исполнения.

Я выпил три двойных порции водки и великодушно подумал, что Эва с этим партнером наконец-то напляшется, чего ей со мной, никудышным танцором, было не суждено.

Эва вовсю веселилась, один раз даже остановилась посреди танца и долго, чуть не до упаду чему-то смеялась. Еще одна причина, чтобы оказаться в центре всеобщего внимания.

Заметив, что Карл Штребелов смотрит в мою сторону, я поднял рюмку, приветствуя его и его жену Ингу. Та, как мне показалось, поглядывала на меня печально и сочувственно. А может, мне это только почудилось, ведь я одну за другой проглотил три двойных порции водки.

Карл и Инга явно винили в моей необычной скованности Юста и Эву,— с их точки зрения, они вели себя немыслимо,— а также водку и жалели меня, разнесчастного. Они не знали, что я уже преодолел приступ ревности. Почему? Да потому, что знал Юста лучше, чем кто бы то ни было здесь. Потому, что уже готов был защищать Юста. Да, был готов.

Ну, ладно, ладно, три порции водки. На брудершафт мы тогда еще не пили, мы оставались еще долго на «вы».

В тот вечер и мне представился случай посмеяться. Но к столику, за которым сидел Карл Штребелов, я ни разу не подошел. Не хотел объяснять, как отношусь к Юсту, мне самому были еще неясны наши взаимоотношения. Мне следовало спокойно оценить свои противоречивые ощущения, и я побаивался опрометчивых разговоров о Юсте, что не пошло бы на пользу ни ему, ни нам.

К тому же мне не хотелось портить вечер.

Было уже довольно поздно, когда мы, чуть под хмельком, вышли из клуба. Юст, прощаясь с Эвой, галантно поцеловал ей руку. Ночь была холодная, а Юст не застегнул свою меховую куртку. Теперь только, вспомнив, что ему нужно ехать в П.— он еще жил там,— я хотел было пригласить его к нам, но Эва, запахнув ему куртку, сказала:

— Нельзя быть таким легкомысленным, Юст. Вы же заболеете.

Неудивительно, что я воздержался от приглашения.

А Юст ответил со смехом:

— «Закаляйся — и будешь здоров»,— говаривал мой дедушка. Но спасибо за заботу, прекрасная дама. Ведь вам, коллега Герберт, доставляет удовольствие, когда вашей жене говорят комплименты? Благодарю за приятный вечер.

— Не мешало бы вам подойти и к другим столикам,— сказал я.

Юст доверительно коснулся моей груди.

— Я и хотел. Однако замысел остался замыслом. Но, знаете ли, все еще впереди, все впереди. Ко мне ведь тоже мог кто-нибудь подойти. Как вы считаете? Наш коллега директор, к примеру. Долго смотрел он на нас мрачным взглядом, но не подошел. Отчего это? Имеет коллега директор что-нибудь против меня? Я пришел к вам с чистым сердцем и лучшими намерениями. Да, с чистым сердцем. Нужно ли учителю чистое сердце? Не знаю сам, дорогой коллега Герберт. Знаю одно: об этом никогда не говорят. О чем угодно говорят. О таких важных делах, как партийность учебного процесса, пример учителя, коллективное мышление, развитие личности, об идеологии и о чистом носовом платке. Обо всем говорят. Но о чистом сердце учителя никто нигде не говорит. Вам это понятно, коллега Кеене? У вас чистое сердце? Наверняка вы сейчас думаете: ну и трепач этот Юст. Чистое сердце, холодное сердце — что за чушь. Нужно, пожалуй, объяснить вам, что́ я понимаю под чистым сердцем. Не так уж много в этом выражении романтики, как может на первый взгляд показаться. Ваша жена меня поймет. Женщины такие вещи лучше понимают. А в вашей школе много женщин. Просто страшно становится, как много женщин. Но мне грустно. Поймут ли они, что я имею в виду под чистым сердцем? «Чистое сердце»,— говорил мой дед. Его вы, к сожалению, не знаете, коллега Кеене, и вы тоже, моя прекрасная дама. Давно уже лежит он в земле, мой дед. А я его любил, не могу вам сказать, как я его любил! Он был столяром. И философом. Отец же мой, ну, отец — его прямая противоположность. И профессию избрал совсем другую, всю жизнь по металлу работает. Чинит локомотивы. Знаете, как это делается? Надо бы вам глянуть. Каким-то выдастся февраль? Таким же тихим, как в прошлом году?

Юст, видимо, чуть перебрал. А тут свежий воздух. Мы постояли с ним, пока не подошел автобус, и он еще раз поцеловал Эве руку.

Молча шагали мы домой. «Чистое сердце» не шло никак из головы. Юст хотел объяснить, что́ он под этим понимает, но, видимо, забыл.

— Что это происходит с Юстом? Какая-то сказка о чистом сердце. В наше-то время,— сказала Эва.

История с заявлением, о которой я упомянул, выбила меня из роли наблюдающего наставника, чего я никак не ожидал.

Однажды, когда уроки уже кончились и я собирался домой, секретарша попросила меня зайти к директору, ему-де нужно обсудить со мной какое-то срочное дело. В ее словах звучала непривычная официальность, а ведь я был заместителем Штребелова, и мы, естественно, постоянно соприкасались по работе. В школе же вечно что-то приключается.

Позже я понял, чем была вызвана официальность. В заявлении речь шла о происшествии в восьмом «Б», стало быть, о Манфреде Юсте, с каковым наша секретарша держалась все еще весьма холодно. Он как-то раз неосторожно пошутил по поводу картины в ее комнате.

Штребелов пододвинул мне через стол письмо, написанное четким, красивым почерком. Слово «заявление» было подчеркнуто красным. Да, наш гражданин знает свои права, мелькнуло у меня в голове.

Гражданин звался Роберт Фолькман, проживал он по Ратенаштрассе, 10, служебный телефон 20—32, контора мастера.

Я знал его. Он работал в цеху коробок передач. Не он ли был недавно награжден орденом? Да-да. Его заслуга — в значительной экономии материалов и времени.

Учитель Шмидт, отвечавший у нас за политехнизацию, как-то рассказывал о Фолькмане, который помог организовать практику школьников на заводе. Позже я прочел очерк о нем в заводской газете. А на Первое мая у клуба висел его огромный портрет. Высокий лоб, чуть ироничный взгляд на фотографа, когда тот нажал на спуск.

Мы с Эвой даже остановились у этого портрета и пришли к заключению, что фотографу он удался, что он многое говорит о человеке и вызывает интерес к нему.

Фолькман, стало быть, обратился в школу с заявлением:

«Уважаемый коллега директор!

Меня зовут Роберт Фолькман. Я работаю мастером на автомобильном заводе, в цеху коробок передач. Наша дочь, Моника, учится в вашей школе, в восьмом классе «Б». Насколько могу судить, успеваемость у нее хорошая, и мы с женой в общем и целом ею довольны. Ну, что не все в школе идет гладко, так это нормально. О школе — еще двое наших детей учатся у вас — мы самого высокого мнения. Она удовлетворяет всем требованиям, у вас царят порядок и чистота. На ваших учеников, что приходят на завод, в большинстве своем можно положиться, они трудолюбивы и добиваются успехов.

Но вот нас обеспокоил случай, о котором мы узнали от дочери Моники.

Фактическая сторона: в последний по расписанию экскурсионный день их класс отправился на осмотр окрестностей нашего окружного центра. Как рассказывает дочь, все шло прекрасно, ребята были в восторге от классного руководителя, коллеги Юста, шутками и выдумками он превращает такие мероприятия в памятные события для ребят. Однако вдруг обнаружилось, что ученик по имени Марк Хюбнер тайком ото всех напился до бесчувствия. Он едва держался на ногах и лепетал что-то бессвязное. Все перепугались. Дочь говорит, что Марк вообще-то хороший парнишка, один из лучших в классе. Колле-

га Юст прервал экскурсию и повел весь класс к себе домой, куда-то на окраину города. Там он положил Марка Хюбнера спать, а ребят оставил у себя. Они, рассказывает дочь, очень веселились. Пели под гитару. Господин Юст показывал им фильмы, которые снимал, путешествуя. Дочь говорит, что это очень интересные фильмы, господин Юст побывал в Советском Союзе, Польше и даже на Кубе. Под вечер Марк Хюбнер пришел в себя, и они поехали домой. Коллега Юст сказал ученикам, что поговорил с Марком Хюбнером и тот раскаивается в своем поступке. Учитель предложил этим ограничиться. Понятно, все ребята с ним согласились. Дочь, рассказав нам об этом, была в полном восторге.

Мы с женой долго обсуждали происшедшее. И считаем, что коллега Юст поступил в данном случае неверно. Подобный проступок ученика не может пройти без последствий. Нельзя же такой проступок просто-напросто перечеркнуть. Подозреваю, что коллега Юст не доложил вам, директору школы, об этом случае. Мы ничего не сказали дочери о наших опасениях, не хотели ставить ребят в трудное положение. Отвечает ведь за все учитель. Но меня тревожит вопрос: что еще может воспоследовать, если ребята будут чувствовать себя безнаказанными? Обдумал ли это коллега Юст? В какую историю он попал? Я знаю по собственному опыту. Правдивость в отношениях — главное для нормальной жизни рабочего коллектива. Если ее нет, тотчас возникает нетерпимое положение. Прошу вас, коллега директор, разобраться в этом деле. Нельзя, чтобы эта история оставалась на совести у ребят, ведь прошло уже много времени. Вы, конечно, обсудите это дело по-товарищески с коллегой Юстом.

С глубоким уважением
Роберт Фолькман».

Я вернул письмо Штребелову.

— Дело было, значит, две недели назад,— сказал я.

— Да, точно две недели,— подчеркнул Штребелов,— а ты о нем знаешь?

— Как это тебе пришло в голову!

— Вполне могло быть.

— Мне ничего неизвестно.

Штребелов сложил письмо.

— Что думал при этом коллега Юст? Подобного случая в моей многолетней практике не бывало.

— Как же теперь поступить?

— Я созову на завтра педсовет,— сказал Штребелов.

— А нужно ли? Через пять дней у нас совет по расписанию.

— Совет соберем завтра,— решительно объявил Штребелов.

— Тем самым ты придашь этому случаю слишком большое значение,— сказал я.

Он нагнулся к столу, снял очки.

— У нас имеется заявление. Но независимо от этого я отнесся бы к этому случаю со всей серьезностью. Ты говоришь — слишком большое значение. Да, этому случаю. А не учителю Юсту. Учителя требуется низвести с облаков на землю. И безотлагательно.

— А не разумнее ли изучить вопрос, прежде чем проявлять такую решимость.

— Ты же читал письмо. Тебе этого мало?

— Фолькман просит по-товарищески разобраться в случае, который его беспокоит. И ты только на этом основании принимаешь решение?

Штребелов поднялся, положил письмо в папку, а папку запер в сейф.

— Но ты предупредишь коллегу Юста, что завтра будет обсуждаться этот вопрос? — спросил я.

— Надеюсь,— ответил Штребелов,— что завтра ты выскажешься о своем подопечном непредвзято.

— Непредвзятости желаю тебе в этом деле и я.

Мы помолчали.

Я поднялся, холодно сказал:

— До завтра.

Впервые прощался я так с Карлом Штребеловым. А за Юста вступился, словно приходилось защищать его от коварных нападок. Справедливо ли?

Возвращаясь домой, я никак не мог выкинуть из головы эту странную историю. Я сделал даже большой крюк, прошел по лесной дороге вдоль автострады, углубился в лес и тут стал понемногу успокаиваться. Стоял чудесный майский день, теплый, с легким ветерком. Светло-зеленые березовые листочки колыхались словно вуаль, выделяясь на фоне темных сосен. Я присел на поленницу в лесной просеке и, подняв глаза, стал следить за проплывающими в синеве легкими облаками.

Так я скорее всего успокаиваюсь. Я уж себя знаю и поэтому люблю окрестности нашего городка.

С чего же напился Марк Хюбнер? Я знал его родителей, уважаемые люди, оба работают на заводе, отец — инженер, мать — в администрации. У Марка есть еще старший брат, он моряк. Был моим учеником. Марк тоже хотел связать свою судьбу с морем. Неужели он напился до бесчувствия? Может, Моника Фолькман преувеличила?

Но... что было, то было. И реакцию учителя, Манфреда Юста, не перечеркнуть. Фолькман считал, что Юст поступил в корне неверно. Если он, предположим, собрался утаить этот случай, то я его не одобрю. Но все ли разыгралось именно так? Какие были у него причины? Хотел он — а Штребелов не колеблясь объявит о том на совете — скрыть свою несостоятельность, халатное отношение к учительским обязанностям? Очень сомневаюсь.

Юст не из тех, кто увиливает от ответственности. Я его уже достаточно хорошо знал и был в этом уверен. Но что же толкнуло его на столь необычные действия?

Неужели не мог хоть мне слово сказать? Ведь мы же сблизились с ним. Так во всяком случае казалось мне в последнее время, и Карл Штребелов не случайно назвал Юста моим подопечным.

Значит, не так уж сблизились, как мне представлялось. Я переоценил свое влияние. Но разве не было того вечера в «Старом кабачке»? И Юста Манфреда с Кеене Гербертом за одним столиком?

В тот день я опять сидел у Юста в классе. Хотел побывать на его уроке государствоведения, нет, не для контроля, а чтоб услышать и узнать что-то для себя новое.

И сказал ему об этом с глазу на глаз. Он посмотрел на меня то ли задумчиво, то ли насмешливо. Возможно, я ошибаюсь. Мое инспекционное усердие, когда дело касалось Юста,— и я это понимал — выглядело довольно-таки странно.

— Пожалуйста, приходите. Но может случиться, что я сегодня чуть отступлю от плана. Это, с моей точки зрения, необходимо. И ваш визит, как я понимаю, тоже отступление от инспекционного плана.

— Просто мне интересно,— быстро сказал я.— Все зависит от вашего согласия.

Особенной сенсации у ребят мое присутствие на уроке не вызвало, вернее сказать, больше не вызывало. Они к этому привыкли, тем более что Юст не выказал ни малейшей неуверенности, да и вообще никак не проявил своего отношения ко мне.

Урок и впрямь начался необычно. Ни вопросов, ни повторения, ни обобщения. Нет, Юст просто стал рассказывать ученикам одну историю.

Не знаю, был ли он свидетелем истории, которую рассказал ребятам, или выдумал ее для большей наглядности. Да это и не так важно,

внимание он обеспечил. Видимо, такая форма урока обещала ученикам что-то из ряда вон выходящее, что-то сногсшибательное.

Юст рассказал, что на днях проходил мимо стройки, дело было под вечер, никого на площадке уже не осталось. Надлежащего порядка на стройплощадке явно не соблюдали, мешки с цементом валялись как попало, видимо, их просто скинули с грузовика, два-три мешка при этом лопнули. К тому же цемент не накрыли. Шел дождь. Ясно, цемент пропадет. У мешков остановились двое, какие-то посторонние. Один, не стесняясь в выражениях, поносил беспорядок и разгильдяйство, перевод материала, никуда не годную работу руководства на стройплощадке. Надо бы тут навести порядок, ругался он, привлечь людей к ответственности. Но, покричав, махнул безнадежно рукой, сказав: сознательности-де у них тут не хватает. У капиталиста такого не случится, он не позволит пускать на ветер свое добро.

Второй с ним согласился, но так, вообще, и заметил, что вряд ли здесь делу поможешь, однако он знает, как спасти то немногое, что еще можно спасти. Он предлагает подогнать грузовик и забрать мешки, те хотя бы, что еще уцелели. Строительный материал следует употребить с пользой. Многим сейчас цемент очень нужен, а этот к тому же бесплатный, можно дорожки в саду проложить, столбы в огороде укрепить, фундамент и тому подобное. Да-да, горячо доказывал он, это было бы разумно, и никакое это не воровство, ведь материал все равно гибнет, значит, его спишут, он пропадет. А так — не пропадет. В конце-то концов, цемент, который здесь гибнет,— общее достояние.

Первый только поглядел на него этаким тяжелым взглядом, но ни слова не обронил, и оба ушли. Остались под дождем плохо сложенные мешки цемента, который скоро перестанет им быть.

Вот примерно то введение, которое сделал Юст. Должен признать, он рассказывал мастерски, конкретно, образно. Ученики словно побывали с ним на беспризорной стройплощадке, слышали мнение тех двоих, и я уловил, что краткий рассказ Юста был воспринят весьма противоречиво.

Теперь Юст предложил ребятам высказать свою точку зрения, и не только высказать, но и обосновать ее. Он шутя предупредил, чтоб они высказывались ничего не скрывая, откровенно.

Дискуссия стала самой интересной частью урока. Никто и не скрывал своих взглядов. Одни одобряли предложение разуверившегося — они уже знали о случаях подобного рода; другие становились целиком на сторону человека деловитого. И они, видимо, кое-что знали, то ли из собственного опыта, то ли из опыта родителей.

Два-три ученика не согласны были ни с тем, ни с другим.

Но вот вызвался Марк Хюбнер, он сказал:

— Первый ругается, болтает, но ничего не делает. Если бы он хоть написал куда следует. Ругаться, но пальцем не шевельнуть, чтобы покончить с недостатками,— разве это правильная позиция? А второй хочет взять что плохо лежит. Ну да, в его словах есть видимость правоты. Но к чему это приведет? Общее достояние? Да, но в другом смысле. Получается замкнутый круг, и дела с места не сдвинуть. Точно как у нас. Когда урока не выучил и пытаешься втереть учителю очки. Потом приходится плутовать все чаще, а в конце концов оказывается — обманул сам себя.

Ребята ожесточенно заспорили, они, кажется, позабыли, что у них урок, да и я порой о том забывал.

А Юст не вмешивался, уселся за свой стол, давал ребятам слово, внимательно следил за их спором. В конце урока, когда я уж начал опасаться, что Юст так и отмолчится, он подвел итоги, сформулировал, не поучая, основные пункты спора. Речь шла, стало быть, о собственности, о морали, о честности и мужестве, обо всем этом ребята и дискутировали на уроке Юста.

И даже обобщая, Юст оставил кое-какие вопросы открытыми, не все разъяснял до конца, оставил ребятам возможность подумать еще, поспорить — на перемене, после уроков, может, даже дома.

Урок был последним, ребята быстро разошлись. Я с трудом вылез из-за парты, едва разогнул поясницу и колени. Юст запихивал свои материалы в холщовую сумку. Когда я подошел, он поднял на меня глаза, и я с удивлением заметил, что он не слишком в себе уверен, ждет моего суждения об уроке.

Тем не менее он опередил меня:

— Ну-с, мой строгий коллега, скажете, пожалуй, что для таких экспериментов я мало каши ел?

— Ну, каши-то вы, сдается мне, съели порядочно, хоть я еще и не совсем понял, соответствуют ли все ее компоненты и метод ее приготовления моим представлениям.

Юст рассмеялся и доверительно пожал мне руку:

— Прекрасно сказано. Значит, можете, когда захотите. Вы торопитесь? Давайте посидим часок где-нибудь. Поболтаем. О приготовлении каши и вообще. Как вам мое предложение?

Мне его предложение было по вкусу, и «часок» растянулся на целый вечер в «Старом кабачке».

А кабачок этот — фахверковый дом прадедовских времен — примостился под прадедовскими деревьями, говорят, здесь переночевал Наполеон, когда его войска шли на Берлин. Отсюда же он будто бы поспешил отбыть на запад, когда прусский ландвер и казаки наголову разбили его при Гроссбеерене.

А раз уж эта история и «Старый кабачок» единственные в некотором смысле исторические памятники в нашем городке Л., то ей охотно верят.

Мне давненько не приходилось бывать здесь, и я увидел, что ничего тут не изменилось. Юст, похоже, был в кабачке постоянным гостем, он как старый знакомый приветствовал хозяина и многих посетителей. Мы пили хорошо охлажденное пиво и положенную к нему «пшеничную».

В этот вечер я, к моему удивлению, принимал во всех спорах сторону Юста. Почему это я так домогался его доверия?

Поначалу мы говорили об уроке. Я высказал кое-какие сомнения. При всех, мол, преимуществах такой формы уроков государствоведения страдает все же научная сторона предмета. Но сомнения мои рассеялись, когда Юст произнес страстную речь в защиту — как раз для этого предмета — чередования эмоциональности и научности.

— Как иначе нам воздействовать на ребят? Политическое воздействие — вот наша задача. Я не против научной стороны вопроса, но я против сухого изложения научных фактов, оно не оставляет следов. В знании фактов, сообщенных нами, и в выработке точек зрения на основные вопросы я вижу единство, причем знание фактов должно как можно лучше служить именно второй задаче. Отметки за лицемерные ответы я не ставлю. Я добиваюсь искренности, только на такой основе я могу работать успешно. Лицемерие может только загубить нашу воспитательную работу. Я бываю удовлетворен и откровенно о том говорю, если ученик, пусть он даже не помнит наизусть все пункты основного закона, понял суть нашей конституции.

Я слушал его речи точно откровение, а ведь и сам в подобном духе размышлял над этими вопросами. Я прекрасно понимал, что все требования Юста чрезмерно категоричны, их не так-то легко претворить в жизнь. Но я был под впечатлением его урока-дискуссии, как старший восхищался беспристрастностью младшего, его самостоятельностью, его умелостью.

Нам было труднее, думал я.

Оказало на меня действие и холодное пиво, и не менее холодная «пшеничная» из Нордхаузена. Вообще приятно было посидеть в уют-

ном уголке с приглушенным светом, на деревянной скамье, опираясь на старинный деревянный стол, и просто болтать друг с другом. Отчего это люди так быстро отвыкают от дружеских бесед?

У меня было прекрасное настроение в тот вечер в «Старом кабачке». К тому же старый фахверковый дом подсказал нам еще одну тему, по которой мы тоже пришли к взаимопониманию. А именно — история родного края и как найти ей лучшее применение в нашей работе.

Юст словно прочел мои мысли, когда, широким жестом показав на старые, потемневшие картины с бранденбургскими пейзажами, сказал:

— Дорогой коллега Кеене, у меня и на преподавание истории есть собственный взгляд. В крупных проблемах мы — мастаки. Их обсуждать нам не возбраняется, тут мы виртуозы и видим тенденции будущего. А что мы делаем в частных вопросах? Дрых тут Наполеон или нет, но извлечь пользу из этой истории мы бы могли. Здесь барон имярек построил железнодорожную станцию, чтобы вывозить продукты своего хозяйства, разве это не превосходное дополнение к уроку, когда мы говорим о юнкерстве? Мы живем в этом краю, и какими бы ни были здешние условия жизни — превосходными или жалкими, косными или революционными,— они для нас вполне конкретны. В этом смысле наши московские друзья нас намного опередили. Они умеют извлечь из своей истории все поучительное. Я этим всегда восхищаюсь. Конечно, у нас ситуация несколько иная, но ваше поколение, на мой взгляд, чересчур боязливо. Порой мне кажется, что для вас история началась только после сорок пятого, а сами вы будто на другой планете родились. Ничего подобного! Все тут родились. Я, к примеру, в Берлине, в городе яростных противоречий, где ничтожество сосуществует с величием. Я очень охотно читаю Теодора Фонтане и Ганса Фалладу. В их книгах все объясняется... Ваше здоровье, коллега Кеене. Ну, разве пиво не величайшее наслаждение? А теперь я закажу копченые колбаски. Здесь подают настоящую, острую горчицу. Я — за все настоящее и острое.

Я тоже был «за», и мы стали как-то ближе друг другу,— во всяком случае, у меня было такое ощущение. Дружеское «ты» уже носилось в воздухе, вертелось на языке, наши локти нет-нет да соприкасались.

Но в тот вечер до «ты» дело не дошло.

Мы выпили, что иной раз тоже нужно человеку, хотя бы для душевного равновесия, как удачно определил это состояние Юст.

В тот вечер, считал я, мне удалось лучше понять, что творилось в душе Юста. И уж по крайней мере, надеялся я, завоевать его доверие.

Как я и предполагал, срочный созыв педагогического совета всех несказанно удивил. Собираться на внеочередной совет для нас дело необычное, и педагоги с полным правом посчитали, что случилось нечто из ряда вон выходящее. К тому же никто не знал, о чем, собственно, пойдет на сей раз речь.

Я не высказывался, но наблюдал на переменах в учительской за Манфредом Юстом. Он, как всегда оживленный, предупредительный к женщинам, рассказывал какие-то анекдоты, над которыми все смеялись.

Ночь я провел скверно, Эва разволновалась, но я ей ни слова не сказал о случае с Юстом. Ведь я и сам еще не знал, что будет решено на совете. Размышляя об этом, я все больше запутывался в противоречивых ощущениях. Предчувствовал, что от меня кое-что может зависеть. За Юста — или против Юста. За Штребелова — или против Штребелова.

Мы постоянно спорили с Манфредом Юстом, он был мой подопечный — или мой пробный камень, не знаю, что точнее. Педсовет подвергнет меня и Юста новому испытанию.

О чем предупреждал Карл Штребелов? Чтобы я высказался о моем подопечном Юсте беспристрастно. Но это же немыслимо, дорогой Карл. В подобных вопросах нет беспристрастия. Иллюзорно также мое желание, чтобы и ты был беспристрастным.

До чего же нелепо обострилась эта история! А по Юсту ничего не заметно. Как это понимать? Неведение или чистая совесть?

На большой перемене я отвел Юста в сторонку.

— Вам известно, что сегодня на повестке дня педсовета?

— Наша экскурсия. Я читал письмо.

— Я его тоже читал.

— Так я и думал.

— Нам надо бы поговорить об этом.

— Да, надо бы. Вот и поговорим сегодня.

И все.

Почему Юст так отнесся к моим словам, было и вовсе необъяснимо. Что с ним? Может, он тяготится моим интересом к его личности и работе? Считает, что я его опекаю? Сознаюсь, его отношение, хотел он того или нет, меня обидело, но он не заметил мою обиду, может, ему и в голову не пришло, что он меня обидел. А может, его спокойствие и невозмутимость были напускными, может, ему немалого труда стоило выдержать эту роль и мысли его уже были заняты предстоящим обсуждением.

Но тогда, на большой перемене, я не стал предаваться таким размышлениям. Я отошел от Юста и хотел даже сходить к Карлу Штребелову, ощущая потребность еще до педсовета сгладить наше вчерашнее столкновение. Но и к Штребелову я не пошел.

Я был в нерешительности, вообще-то говоря, мне несвойственной, тем более когда речь шла о работе.

Много лет назад, познакомившись с Эвой, я пережил подобное состояние нерешительности, и оно запомнилось мне как нечто мучительное и жуткое.

Однажды на курсах усовершенствования в Берлине нам, старым докам, прочла лекцию о литературе для детей и юношества молодая женщина. Лекция мне очень понравилась, в ней не содержалось поучений, не анатомировалась литература, нас просто информировали о процессах в этой области, о намечающихся тенденциях. Впечатление усиливалось тем, что лекторша, молодая, изящная, иной раз казалась не слишком уверенной, но именно неуверенность придавала ей обаяние, ибо происходила не от недостатка знаний, а наоборот, от того, что лекторша прекрасно понимала: столь обширную область, как литература, нельзя достаточно полно осветить в отведенное ей краткое время. Мне такие люди неизменно симпатичны, а самоуверенных, строящих из себя этаких всезнаек, людей, у которых всегда наготове решение, людей, которым, кажется, уже в колыбели все было ясно, для которых нет вопросов и проблем, я терпеть не могу.

Так случилось, что я задавал много вопросов, а молодая женщина живо, с полемическим задором отвечала мне. Разговор мы продолжили в кафе. Вскоре я решил встретиться с ней еще раз и почувствовал, что и ей это тоже доставляет удовольствие. Но позднее меня стали одолевать сомнения, неуверенность и нерешительность, наступило мучительное время. Я был старше Эвы, за два года до нашей встречи от меня ушла первая жена, не с другим человеком, нет, просто со мной она не хотела больше жить. Может статься, определенную роль сыграла бездетность, не знаю. Одно знаю точно: это меня подкосило, я потерял уверенность в себе, стал замечать за собой признаки депрессии, которые сменялись бурными вспышками. А тут Эва.

Хорошо, что период нерешительности и колебаний благодаря ей, да, именно благодаря ей, вскоре кончился. Такое состояние долго выдержать трудно, оно может причинить человеку огромный вред.

Карл Штребелов открыл заседание педсовета, объявив, что прочтет заявление, полученное от гражданина нашего города, отца троих детей, которые учатся и воспитываются у нас в школе, Роберта Фолькмана по поводу случая в восьмом классе «Б».

Еще до начала заседания в кабинете царила необычная тишина. После вступления Штребелова все взгляды обратились на Юста, а тот сидел на своем обычном месте спокойный и невозмутимый, как и в полдень, на большой перемене.

По голосу Карла Штребелова было заметно, что он взволнован. Он говорил с какой-то необычной настойчивостью, выделял отдельные слова, будто учил школьников произношению по слогам. Нельзя не признать, это производило порой комическое впечатление. Письмо Роберта Фолькмана он, однако, прочел невозмутимо, хотя изложенные факты его вновь взбудоражили, их он собирался обсудить в самой резкой форме. К этому он был готов, наверняка много раз перечел письмо-заявление, подчеркнул главное и сделал пометки на полях.

Письмо я уже читал и потому наблюдал за коллегами. Поначалу трудно было распознать их реакцию, они слушали, дополняли услышанное своими соображениями, кое-кто, может, вспоминал Марка Хюбнера, которого почти все знали, как и его отца, инженера, начальника цеха Герхарда Хюбнера.

Я полагал, что теперь Карл Штребелов спросит наше мнение, как он обычно поступал, и это мне нравилось.

Но сегодня он нарушил свое правило. Он сразу высказал свое мнение, даже Юсту не дал слова. То ли он был так раздражен, что не мог сдержать себя, то ли не доверял нашей настроенности и хотел предупредить оправдание Юста, кто бы его ни высказал.

Штребелов довольно часто поглядывал на меня, значит, я не ошибся, считая, что он и от меня ждет выступления в защиту Юста и, пожалуй, опасается этого выступления.

— Должен признать,— сказал Штребелов,— что поступок коллеги Юста — явление в нашей школе исключительное. Он, за спиной учительского коллектива и дирекции, прибегает к воспитательному методу в высшей степени спорному. Хочется спросить коллегу Юста: к чему это приведет? Так вот, сегодня это уже привело к тому, что мы занимаемся сей в высшей степени неприятной историей, это уже привело к тому, что безответственные действия учителя стали предметом обсуждения общественности, ибо я не думаю, что господин Фолькман будет молчать в кругу своих коллег или где бы то ни было, когда речь зайдет о школе и проблемах воспитания. И он будет прав, он имеет на то право. У нашей школы, можно смело сказать, в течение многих десятилетий было доброе имя. Таков наш принцип. Таким он был, таков он есть, таким он и останется. Коллега Юст, нарушив наш порядок, повредил хорошей репутации школы. Мы обязаны сделать из всего этого необходимые выводы.

Сидящие за столом беспокойно задвигались. Это уж чересчур. Таких резких слов нам еще не приходилось слышать.

Меня огорчило, что Штребелова, видимо, не волновало ничего, кроме репутации его школы. Ни слова не сказал он о Марке Хюбнере, об учениках восьмого класса, о проблемах, связанных с выпивками ребят, проблемах не столь уж новых и для нас.

На танцевальном вечере в десятом классе, совсем недавно, мы обнаружили тайком принесенные бутылки со спиртным, довольно крепким. Мы, правда, вовремя приняли меры, и вечер кончился благополучно. Тогда же договорились, что будем строже наблюдать за

ребятами во время школьных вечеров, но главное, примем меры, чтобы исключить подобные происшествия в школе.

Конечно же, я не против того, чтобы раз и навсегда решить, что предпринимать в школе в том или ином случае, существует же школьный порядок. И сказал тогда, что прежде всего следует исследовать причины тех или иных проступков, дабы оказывать действенное влияние на учеников, но заседание кончалось, меня выслушали, а времени подробно обсудить мое соображение уже не оставалось.

Теперь, на внеочередном педсовете, мы опять коснулись больного вопроса. Я уже готов был дать волю чувствам, знаю, я сумел бы повлиять на собравшихся, настолько-то я в состоянии оценить свои возможности. Удержал меня от этого Юст. С явной скукой глядел он куда-то перед собой, удобно откинувшись на стуле. Казалось, что эта история его вообще не касается, что тяжкие обвинения Штребелова относятся к кому-то другому, только не к нему, учителю Манфреду Юсту.

Это отрезвило меня, я вспомнил наш короткий разговор на большой перемене. Обороняется он таким манером? Показывает свое к нам отношение?

Карл Штребелов попросил Юста высказаться и добавил, что рекомендовал Юсту представить свое объяснение в письменном виде, такое объяснение лишь помогло бы нам до конца разобраться в этой истории. Но его предложение, сказал Штребелов, было отвергнуто.

Манфред Юст поднялся, положил ладони на стол, словно показывая, что ему не нужны ни записи, ни тезисы для памяти, и сказал:

— Что до внешней стороны дела, то все было именно так, как изобразил в своем письме господин Фолькман. Его дочь Моника рассказала ему все верно, пожалуй, лишь в одном преувеличила, в степени опьянения Марка Хюбнера. Он не напился до бесчувствия, он только слегка опьянел. И неудивительно, парень, не привыкший к алкоголю, выпил почти целую баклажку водки. Да, мы все испугались, слишком неожиданно все случилось. Мы были неподалеку от моего дома, и я решил, что ребята зайдут ко мне, а Марк там вздремнет. В данной ситуации так поступить было самое разумное. С Марка хмель слетел очень быстро, хотя, конечно, чувствовал он себя прескверно. Я поговорил с ним с глазу на глаз, обстоятельно, и пришел к выводу, что покончить с этим инцидентом надобно именно так, как сообщил вам в письме господин Фолькман. Право на такое решение педагог должен иметь.

Говорил он хладнокровно и четко. И не выказал ни малейшей почтительности к тяжким обвинениям Карла Штребелова.

Объяснение Юста произвело, по-видимому, на собравшихся различное впечатление.

Не стану скрывать, мне его объяснение понравилось, но в тоне его, хотя к нему я был подготовлен, звучали, на мой взгляд, непримиримость, едва ли не заносчивость. И это меня задевало.

Штребелов поднялся и подошел к окну. В этом было что-то необычное, ни разу при мне не покидал Карл во время заседания своего места. Похоже, ему надо было собраться с силами, заставить себя успокоиться. В кабинете воцарилась какая-то тягостная тишина. Она ощущалась почти физически.

Теперь следовало выступить мне, следовало найти слова, которые разрядили бы обстановку. Но у меня не было на это сил, я сидел как парализованный и ждал концовки, которую уже предвидел. Члены педсовета словно отошли на второй план, вся сцена разыгрывалась между Штребеловым и Юстом, а виноват в происходящем был только директор.

Штребелов вновь занял свое место.

— И это, стало быть, все?

— Я полагаю, что все.

— Я полагаю иначе,— заявил, явно волнуясь, Штребелов.— Вы, стало быть, считаете свое решение, коллега Юст, верным и вполне законным?

— Что значит — верным? Я уже сказал, что разговаривал с Хюбнером довольно долго и подробно, после чего принял такое решение. Для этого имелись веские основания.

— Невероятно. Где мы находимся? Как вы разговариваете! Я требую, чтобы вы внесли полную ясность в этот вопрос.

— Я тоже могу спросить — где мы? — ответил Юст.— К подобному тону я не привык. Я внес полную ясность в этот вопрос.

Штребелов кинул взгляд на листок — письмо Фолькмана, словно ожидал от него помощи.

— О чем говорили вы с Хюбнером с глазу на глаз? Почему он вообще пил водку? — едва слышно спросил Штребелов.

— Нечто вроде приступа депрессии. Я с трудом выудил из него несколько слов о причинах его поступка. И обещал Марку, что никому ничего не скажу. Доверие за доверие. Вы понимаете, такое обещание я обязан сдержать. Я готов когда-нибудь впоследствии, когда представится случай, дать более подробные объяснения. Я уверен, все сидящие здесь за столом в подобном случае поступили бы точно так же.

Собственно говоря, педсовет закончился конкретным разъяснением Манфреда Юста, в чьей искренности никто не сомневался. А если кто и сомневался, так в эту минуту не сумел бы свое сомнение высказать. Мы получили разъяснение не совсем обычное, с этим я согласен, но вполне возможное.

Педсовет заседал еще около часа, поднимались разные вопросы, отдаленно, правда, связанные с обсуждаемой проблемой, но ничего не меняющие в исходе заседания.

Было ясно — поспешно созванный педсовет никому не нужен. Я жалел Карла Штребелова, который тщетно пытался обрести уверенность. Он все снова и снова заводил разговор о заявлении, об ответе на письмо, который, согласно закону, должен быть послан в кратчайший срок.

— Может мне кто-нибудь сказать, что я должен написать Фолькману? — спросил он.

Юст объявил, что готов помочь ему при составлении ответа. Штребелов резко отклонил его предложение, вызвав у всех недоумение.

Да, у Юста со Штребеловым все пошло наперекосяк, отношения были испорчены, и даже надежды не брезжило, что они когда-либо улучшатся.

В обсуждении я участия не принимал, что, думается мне, все заметили.

Я не в состоянии был выступить. Разве я не пытался удержать Штребелова от поспешного решения — созвать внеочередной педсовет? И ничего не добился.

Но главное, я молчал, чувствуя несвойственную мне нерешительность, от которой не мог избавиться. Знаю наверняка одно: формальный обмен мнениями, когда вопрос уже заранее решен, вызывает у меня острое недовольство. Но я же мог вмешаться, у меня была возможность придать разговору верное направление. А я молчал, хоть и заметил испытующий взгляд Юста и растерянный — Карла Штребелова.

Как только педсовет кончился, я поторопился покинуть школу.

Через два дня мне нужно было уладить с профорганизацией завода вопрос, касавшийся работы учащихся во время каникул. Возвращаясь из завкома, я зашел в цех, где мастером был Фолькман. Здесь

я чувствовал себя как дома, я тут работал и вместе с заводом пережил все этапы восстановления.

Никогда не забыть, как мы с лопатами и кирками разгребали горы развалин во взорванных цехах бывшего военного завода. А потом, в пятидесятых годах, когда без конца меняли специализацию завода, все неудачи, от которых люди падали духом, через наших учеников отзывались и на нас, учителях. В промышленном районе все зависит от основного предприятия, оно накладывает отпечаток на все сферы жизни. Это мы поняли по работе в нашей школе и поддерживали с заводом самую тесную связь. Карл Штребелов был в этой области пионером, он никогда не ждал указаний свыше, он выступал за связь с промышленностью еще до того, как были изданы соответствующие законодательные документы. Исходил он при этом из практических соображений.

Первое время Карл Штребелов обосновывал свои соображения перед меняющимся руководством завода очень просто:

— Хотите иметь учеников, чтобы жили рядом, а это, без сомнения, самое разумное при нынешнем положении с квартирами, так заинтересуйте еще сегодня школьников вашим производством. А мы, со своей стороны, вам поможем.

На нас навалилось много дополнительной работы, с чем не каждый педагог поначалу соглашался. Но работа эта приносила успехи, а главное, мы добились тесной связи с заводом, хорошо узнали его заботы.

Сейчас, когда я вошел в цех коробок передач, на меня, как всегда, сильное впечатление произвела особая атмосфера металлургического завода, запахи раскаленных металлических деталей, машинного масла, огни сварки, ритмичный шум движущихся металлических частей, грохот кранов и транспортных средств.

Фолькмана я нашел на материальном складе. Он поздоровался со мной и вновь занялся своей работой. Принимал детали, поступившие с опозданием на завод. Фолькман действовал спокойно и четко и всем своим видом выражал уверенность в себе, да, он не допустит никаких недоразумений. Да, связь между работой Фолькмана здесь и его заявлением директору школы явно существовала. Он не мог себе позволить неточность и неопределенность, он их терпеть не мог и требовал того же от других.

Фолькман поинтересовался, привели меня к нему особые обстоятельства или меня привела сюда старая любовь к его цеху. Он намекал на те времена, когда и мы, учителя, трудились в году месяц-другой на заводе. Я тогда работал у него в цеху и узнал разницу между профессией строителя и металлурга. Стройка была мне знакома, на стройках я уже работал. А в цеху я узнал много нового. Позднее от такого вида связи с производством отказались. Но работа на производстве имела — во всяком случае для меня — большое значение.

Зная Фолькмана — а он терпеть не мог дипломатических подходов,— я сразу же заговорил откровенно:

— Вы написали нам заявление. В связи с этим я и пришел. Но не официально. По собственному побуждению.

— Коллега Юст тоже заходил ко мне по этому поводу,— ответил Фолькман.

— Вот как,— я был ошарашен,— когда же?

— Позавчера, вечером. Я работал во вторую смену.

Значит, Юст после педсовета поехал на завод к Фолькману. Я ломаю себе голову, как воспринял он то, что сказано было на педсовете, этот злосчастный вопрос о воспитании воспитателя, я злюсь на него, что он не посвящает меня в свои замыслы, ничего мне не говорит, а он, оказывается, действует, едет к Фолькману, человеку, который все заварил, хватает, так сказать, быка за рога.

Фолькман удивленно взглянул на меня, свое недоумение я скрыть не сумел. Да и зачем?

— Что же между вами было?

— А что могло быть, коллега Кеене? Он объяснил мне, почему на экскурсии поступил с Марком Хюбнером именно так, а не иначе.

— Ну и почему же? — настаивал я.

— Вы разве не знаете?

— Нет. Нам он объяснил только, что посчитался с состоянием ученика, тот был чем-то явно подавлен. Большего-де он сказать не вправе.

— Коллега Юст намекнул, что в семье мальчика появились кое-какие закавыки. Тут меня осенило. Я же знаю, что у его родителей в данный момент нелады. Вот где причина.

— Вы получите от школы ответ на ваше заявление,— сказал я.

— Полагаю, после разговора с коллегой Юстом это без надобности. Хотя на заявление нужно, кажется, дать письменный ответ.

— Значит, все теперь в порядке,— сказал я и вновь ощутил разочарование.

Манфред Юст во мне не нуждался. Вот она, благодарность за мои усилия, вот что я получил за мои попытки помочь такому «экстра-педагогу».

Да, он меня глубоко обидел, и оттого я был несправедлив к нему. Но тогда я даже сам себе в этом не признался. Хотя и подозревал, что с Юстом и с волнениями, которые он внес в нашу жизнь, я не справлюсь теми средствами, какие казались мне поначалу пригодными. Беседами с глазу на глаз, с примерами и выводами, которые только для меня имели ценность, ничего достичь нельзя. Дело обстояло куда сложнее. И все это касалось нас всех, включая Карла Штребелова.

Подозрению своему, которое могло бы приглушить мою обиду, я не желал уступать. И сказал Фолькману:

— Так, значит, вы расстались с коллегой Юстом в полном согласии?

— Он пришелся мне по душе. Интересный человек,— сказал Фолькман.

— Что же интересного вы в нем нашли?

В тоне вопроса сквозила горечь, меня удручало отношение ко мне Юста, и кажется Фолькман это заметил.

— Знаете, коллега Кеене, я терпеть не могу, когда кто-то чересчур увлекается самокритикой. Такой человек чаще всего просто хочет увильнуть от трудностей. Мне больше по вкусу, когда у людей есть чувство собственного достоинства и они готовы защищать дело, в правильности которого убеждены. Даже если другие считают, что они заблуждаются. Таким вот, на первый взгляд неприятным, неудобным человеком я вижу коллегу Юста. Он сразу же энергично стал на меня наскакивать. Что это, мол, такое, зачем из любого пустяка делать государственное преступление и почему, мол, я не поговорил хотя бы с классным руководителем. Я, конечно, тоже вскипел, заявил: это, мол, мое дело, что̀ и когда я объявлю государственным преступлением, у меня есть кое-какой собственный опыт. Так мы препирались, пока коллега Юст не улыбнулся и не сказал: ничья, согласны? Перед такой искренней улыбкой и перед таким предложением трудно устоять.

И еще кое-чем расположил меня к себе коллега Юст. Он упомянул педагогическую сторону этого случая и говорил со мной как с человеком, разбирающимся в этой области. Он считает, что в педагогике почти каждый разбирается, и он прав. Я терпеть не могу, когда со мной говорят покровительственно, старательно выбирают выражения, как бы снисходят до меня, опускаются ниже обычного уровня, дабы быть понятыми.

К тому же коллега Юст на удивление хорошо представляет себе нашу работу, я бы даже сказал, способен делать ценные замечания. Он подробно меня расспрашивал, и не просто хотел внимание мое привлечь, таких людей я без церемоний выставляю за дверь, нет, у него я почувствовал истинный интерес. Он очень быстро, и тут я даже удивился, распознал наши слабые места, к примеру проблему с транспортом.

Когда он со мной прощался, я сказал, что, конечно же, должен был прежде всего обратиться к нему по поводу Марка Хюбнера. Он засмеялся и сказал: а я тоже мог бы давно заглянуть к вам сюда. Вот у нас опять получилась ничья. Вы удовлетворены, коллега Кеене? Юст — парень что надо, поверьте мне.

— Да, это я и сам знаю,— ответил я.

Фолькман рассмеялся, хотя до конца моих слов не понял.

Взяв меня за руку, он сказал:

— Пойдемте, я покажу вам цех. Кое-что у нас изменилось.

Он повел меня по своим владениям, показывая новые машины, говорил о новой технологии, называл цифры и проценты, рассказывал о сэкономленных часах и упрощенных операциях. Я узнал кое-кого из наших ребят, поздоровался с ними. Меня тоже узнавали и здоровались со мной. В этом цеху работало много бывших учеников нашей школы, и я — тут я почувствовал удовлетворение — помнил почти все имена.

Распрощавшись у дверей цеха с Фолькманом, я зашагал к заводским воротам. Встреча с моими бывшими учениками укрепила во мне сознание важности нашей профессии. Да, мы кое-что значим, мы свою работу делаем хорошо, мы остались у них в памяти.

Подумал я и о том, расскажет ли мне Манфред Юст что-нибудь о своих выводах в связи с заявлением, о своем ученике Марке Хюбнере и о мастере Фолькмане.

Нет, в ближайшее время мы об этом не говорили.

Отношения с Юстом в школе наладились, дни шли, да и работать нужно было.

Карл Штребелов так и не сумел переварить эту историю, хотя справедливости ради должен сказать, что замечал это только я, иной раз по пустячной фразе, иной раз по обидному словечку, когда речь заходила о Манфреде Юсте. Карл Штребелов старался держать себя в руках. От Манфреда Юста он сознательно отгораживался, относился к нему с особой осторожностью, никогда не хвалил его, но и не ругал. А это как раз плохо. С разных точек зрения — плохо.

Юст во многие наши дела внес интересные новшества. Это было очевидно. И никакого отклика со стороны директора.

Штребелов только со мной говорил о Юсте. Так случилось и в тот раз, когда пошли слухи, будто Юст ввел у себя в классе новую систему оценок. Он будто заявил, что ему нужны «реальные отметки», а это означало одно — он не согласен с существующей у нас системой оценки знаний.

Штребелов обратился ко мне:

— Выясни, что там делается. Парень только сеет панику. Всем он недоволен, все хочет любой ценой перекроить.

— Это задание? — спросил я.

— Разумеется,— буркнул Штребелов.

Я вспомнил мнение Юста о средней оценке в восьмом «Б» прошлой осенью, когда он заглянул в классный журнал.

Без обиняков объявил я Юсту, какое получил задание и от кого, чтобы между нами была полная ясность.

— Так кто же у нас против реальных отметок? — поинтересовался он.

— Никто,— сказал я,— но разные люди понимают под этим, видимо, разное.

— Конечно,— согласился Юст,— вообще оценка знаний — самая сложная часть нашего дела.

— Ее можно усложнить еще более.

— И вы, судя по всему, считаете, что этим я и занимаюсь?

— Я ничего не считаю. Я хотел бы знать, что вы собираетесь делать и собираетесь ли вообще, ведь беспокоятся школьники и родители. Вот и все.

— Странно. Кто беспокоится?

— Ничего странного.

Ну, подумал я, Юст не желает облегчить мне задачу. С его манерой не так-то легко справиться.

— Ученики и родители беспокоятся оттого, что я хочу заранее поделиться с ними моими размышлениями об отметках и общей оценке успеваемости? — спросил он.

— Выскажитесь яснее. Что значит — заранее поделиться?

— Заранее — значит заранее, и если иметь в виду учебный год, то вполне поддается уточнению.

— Но, может, вы все-таки потрудитесь высказаться менее загадочно?

— Сразу же после зимних каникул я обработаю оценки за полугодие и сделаю из этого выводы.

— О, это и впрямь заранее, что верно, то верно. Я бы даже сказал — очень уж заранее.

— Отчего же?

— Тем самым вы повлияете на оценки. А ведь многое еще можно сделать.

— Кеене, это на вас непохоже!

Я взглянул на него, на лице его написано было высокомерие, чего я терпеть не мог. Он закусил удила и способен был наговорить бог знает что. Зачем пустился я с ним в эти рассуждения? Зачем спорить с Юстом о деле, в котором мне прежде всего следовало разобраться самому? Даже задание Штребелова не требовало от меня поначалу ничего другого. И вот мы вернулись на исходные позиции, хотя уже сблизились в последнее время. Отчего? Не оттого ли, что я хоть и желал, чтобы Юст расшевелил нас, но, когда он сделал решительный шаг, испугался?

От Штребелова я получил определенное задание: призвать этого возмутителя спокойствия, сеющего панику, к порядку. Не без умысла дал Карл Штребелов это поручение мне. Для меня Юст уже давно не возмутитель спокойствия. Не знаю, что происходило с Юстом, но уяснить себе это было мне в ту пору чрезвычайно трудно. По временам какое-то отчаянное любопытство побуждало меня сблизиться с ним, пусть ценой собственного спокойствия и равновесия.

— Зачем нам спорить, коллега Кеене,— вполне миролюбиво сказал Юст.— Проверьте все сами. Завтра я собираю родительский актив. На следующей неделе — собрание родителей. Мы обсудим успеваемость ребят и оценки. Самое обычное мероприятие.

— Хорошо,— согласился я.— Я буду.

На собрании актива ничего особенного не произошло. Юст представил меня, и, конечно же, никто не удивился, что к ним пришел заместитель директора. Со многими родителями я был знаком, умные, ответственные люди, почти все они работали на заводе.

Юст хорошо подготовился, говорил без вывертов и иронических отступлений. На меня вновь, в который уже раз, произвели впечатление и его способность ясно выражать свои мысли, и его умение ими распорядиться, если он считал, что в том была нужда. С его деловым, продуманным анализом уровня успеваемости родители согласились, этот анализ должен был послужить основой его вступительного слова на родительском собрании.

Мне здесь высказываться не было нужды. Должен признать, что Юст вполне деликатно и очень умело подошел к вопросу о том, как провести необходимую с его точки зрения проверку успеваемости учащихся и как выставлять отметки.

Когда кончилось собрание, он еще довольно долго оживленно разговаривал с родителями, а я попрощался и ушел, не поделившись с ним своим впечатлением.

Но уже по пути домой пожалел об этом, вспомнив его напряженный взгляд, он не в силах был скрыть своего разочарования, когда я с ним прощался.

Всю неделю до родительского собрания мы с Юстом не нашли случая поговорить о результатах актива. Мы даже избегали друг друга. У меня совесть была не совсем чиста, в чем, однако, я не хотел себе признаваться, а его обуяла гордость. Но ведь одно слово, может, фраза одна моя придали бы ему уверенность, поддержали его.

Настал день собрания. Странное впечатление производят родители, рассаживаясь за парты. В этот вечер пришлось даже поставить дополнительные стулья. Необычный наплыв. Как сказал Штребелов? «Он сеет панику».

Ну ладно, поглядим, считать ли этот усиленный интерес отрицательным явлением или положительным.

Я здоровался со знакомыми, так, например, с Хюбнерами, пришли отец и мать, видимо, в их семье опять все образовалось. И Фолькман пришел, он представил меня своей жене.

Попытаюсь рассказать, как проходило родительское собрание.

Юст, как мы решили, произнес вступительное слово. И хотя в основу его сообщения лег одобренный активом анализ успеваемости, я почувствовал, что так авторитетно, как в узком кругу неделю назад, его слова не прозвучали. Он то увлекался ненужными подробностями, то неожиданно обрывал себя ироничными замечаниями. Сегодня он был явно не в форме. Быть может, его смущало большое число присутствующих, быть может, в некоторых вопросах он все-таки был менее уверен, чем хотел показать. Но самое неприятное, что только могло быть на таком собрании — у него время от времени прорывался поучительный тон, он на всех смотрел словно сверху вниз, словно хотел сказать: да вы же ничего в этом не смыслите, вот сейчас я вам все растолкую. Но иной раз давала себя знать и его блестящая манера изложения, которая мне так по душе, его точность и уверенность.

У меня сложилось впечатление, что из всего сказанного Юстом большинство родителей поняли следующее: до сих пор успехи ваших детей оценивали слишком высоко, из-за этого создалась искаженная картина успеваемости. А вот я приступлю к делу иначе, буду строже, точнее, и вы приготовьтесь к тому, что в конце года, выставляя оценки, я не поскуплюсь на критические замечания.

Но совсем не то обсуждали мы на активе и не о том договорились. Результатами нововведения должны были стать и более правильная оценка знаний учащихся, и, соответственно, более точные отметки, что пошло бы только на пользу ученикам. Обидеть никто никого не хотел.

После небольшой паузы Юсту все-таки похлопали. Он стал нервно собирать свои листки. Воцарилось долгое, мучительное молчание, и только после настойчивых приглашений председателя родительского актива кое-кто решился взять слово. Поначалу выступавшие говорили осторожно, все больше общими фразами. Да, конечно, всегда нужно искать лучших решений. Реальная оценка успеваемости, разумеется, принесет школьникам пользу, как в процессе обучения, так и в дальнейшей их жизни, и тому подобное.

Но вот робко прозвучало первое возражение: сказанное, мол, хорошо и прекрасно, но во всем следует знать меру. Это выступление

послужило сигналом к восстанию против классного руководителя Юста.

Чей-то отец, я с ним не был знаком, поднялся и заявил:

— Чего вы, собственно говоря, хотите? Из ваших слов я понял, что метод оценки прежних учителей устарел. Но вот пришли вы, и все пойдет иначе. У вас в кармане, надо понимать, лежит философский камень, которым вы излечите все недуги. Получается, значит, что наших детей и нас, родителей, все это время морочили. Но сейчас нам и нашим детям надо думать об их будущем, выбирать профессию. А вы хотите единым махом перечеркнуть всю предыдущую работу, именно сейчас собираетесь снизить отметки. Это же полная нелепица и безответственность, так дело не пойдет.

Другие родители тоже выступили с возражениями. Все яснее становилось, что они не принимают концепцию Юста.

Я с удивлением заметил, что при этом все дальше на задний план отодвигалась суть проблемы, которую Юст, хоть и неудачно сформулировав, предложил для обсуждения. Осталось лишь опасение родителей, что аттестаты их детей будут выглядеть хуже, чем они ожидают, и надежды, связанные с выбором профессии и многие другие, поставлены под угрозу.

Юст никого не прерывал.

Я еще подумал: Юст, теперь тебе необходимо высказаться, теперь покажи, на что ты способен. Говори же, Юст!

А почему я не выступил? Я ведь тоже сидел там, и не случайным слушателем, заглянувшим на собрание из любопытства. Я — представитель дирекции, опытный педагог, который тоже сталкивается с подобными проблемами и преодолевает подобные трудности. Я, как никто другой здесь, хорошо знал, какое значение имеет правильная оценка знаний для самого учащегося. Меня возмущало непонимание родителей, но я молчал.

А натиск тех, кто был против концепции Юста, все усиливался, и они даже начали выступать против педагога Юста. Тот отец, который первым повел наступление, теперь опять подал сигнал. Тут я понял, откуда у Штребелова информация, почему он утверждал, что Юст сеет панику.

Председатель, явно обеспокоенный и растерянный, попросил Юста все-таки выступить, сказать свое слово.

Но Юст, не поднявшись даже с места, каким-то неестественным тоном сказал:

— У нас идет обмен мнениями. Всем, кто хочет высказаться, следует предоставить эту возможность.— Он хлопнул по папке, в которой лежали его материалы, и продолжал: — Должен, однако, заметить, что мой анализ положения, а с ним можно в любую минуту ознакомиться еще раз, его можно проверить, следует при обсуждении больше принимать во внимание. Одними эмоциями многого не добьешься.

Его слова, однако, никого не успокоили. Доказательством тому служили ропот и возмущенные выкрики.

Ах, Юст, ну почему ты так небрежно откинулся на стуле? Это же создает прескверное впечатление. Ты ведь психолог. Самые лучшие свои намерения ты сам и губишь.

Но вот взял слово Фолькман, сидевший в последнем ряду, я его даже не видел все это время, не знал, как он реагировал на происходящее. Когда Фолькман встал, все смолкли. Как знать, о чем они подумали. Может, кое-кто решил, и среди них самый ярый противник Юста, что теперь концепции заносчивого учителя будет нанесен решительный удар.

Фолькман тщательно подбирал слова:

— Когда у нас, в промышленности, выполненная работа получает оценку «хорошо», мы все довольны. И каждый знает, что за этим

ясным словом «хорошо» стоит огромная затрата сил. Удовлетворительно выполненная работа — это именно удовлетворительная. Она нас удовлетворяет. Конечно, в этом случае речи не может быть о самоуспокоении. Но очень хорошо выполненная работа — это уже нечто особое. «Очень хорошо» — значит: лучше вряд ли сделать. С оценкой «очень хорошо» надобно обходиться экономно. Всякое легкомыслие в этом деле отомстит за себя. Нельзя нам лгать себе, раздавая неоправданные похвалы. Пусть это делается зачастую с лучшими намерениями, но мы рискуем утратить всякие критерии. С чем мы выйдем тогда на мировой рынок? А разве в школе оценки понимаются иначе? Я думаю, что точно так же. Поддерживаю коллегу Юста и считаю, что нам следует одобрить его замыслы.

Фолькман сел, слышно было, как скрипнул стул, такая стояла тишина.

Тут я заметил, что тот человек, который начал атаку на Юста, собирается вновь взять слово — уже в четвертый раз.

Я решил предупредить его выступление, не дать ему свести на нет воздействие слов Фолькмана. И поднявшись, поймал напряженный взгляд Юста.

Мне было легко начать, я мог опереться на замечания Фолькмана, мне не нужно было реагировать на эмоциональные выпады, сделанные до него. Я постарался как можно объективнее осветить проблему с точки зрения педагога, при этом я всего-навсего повторил мысли Юста в более приемлемой форме. Разумеется, я привел как доказательство и собственный опыт. Заканчивая выступление, я еще раз подчеркнул, что речь идет о судьбах молодежи.

— Мы с вами знаем,— сказал я,— что нашим детям придется отвечать очень высоким требованиям. Мы обязаны их к этому подготовить. Показухи у нас быть не должно. Вот о чем у нас сегодня речь.

Думается, мое выступление оказало действие.

Одного я тщательно избегал — упоминания дирекции школы.

Я взглянул на Юста, и мне показалось, что он улыбается чуть насмешливо. Он, видимо, подумал в эту минуту: Кеене, за этим ли ты пришел? Разве не дано тебе было задание проконтролировать меня? В свою очередь и я с досадой подумал: Юст, если б не такой серьезный вопрос, тебе следовало бы задать жару. Пух чтоб и перья летели, отучить тебя надо от себялюбия, от зазнайства.

Родительское собрание дало сносные результаты.

Когда все уже расходились, Юст как-то второпях, на ходу сказал мне:

— Благодарю вас, коллега Кеене.

Ни грана иронии не было в его словах. Вот и пойми этого малахольного по имени Манфред Юст.

Летом Эва надумала позвать гостей, я по ее совету пригласил Юста. Он стал, как и следовало ожидать, душой общества.

Мы с ним пили крюшон, а уже ночью выпили на брудершафт.

— Давно пора,— сказал я, слегка опьянев.

— Как раз вовремя, великий магистр,— ответил Юст,— и это мне по душе. Без принуждения. Не по обязанности. Как сегодня.

Он поднял бокал, глянул на меня странновато, и я решил, что он собирается выдать мне порцию своих мудреных поучений. Может, это из-за освещения его взгляд показался мне странным — цветные фонарики в саду легонько раскачивались от ветра.

А в сентябре к нам в школу пришла на работу Анна Маршалл.

Мне она, и об этом я уже упоминал, не понравилась, и я признавал, что связано это было с Юстом.

В первый же день он уделил ей много внимания, что было естественно. Он уселся рядом с ней, тотчас завязал разговор и не скрывал,

что она ему симпатична. Да, Анна Маршалл была хорошенькая, пожалуй, можно даже сказать — красивая девушка.

Однако она казалась беспомощной, подавленной и в то же время сверх меры самонадеянной. Мое впечатление от Анны разделяли и другие коллеги. А может, они только соглашались с моими напористо и многословно высказанными суждениями? Трудно наверняка что-либо сказать, когда речь идет о новом коллеге. Со Штребеловым я об Анне Маршалл не разговаривал. Меня удерживали от этого мои отношения с Юстом. Карл поглядел бы на меня многозначительным взглядом, вслед за чем последовало бы очередное длинное объяснение или жалобы на Юста.

Лишь через месяц-другой рассказал я Эве о том, как отнесся к новенькой Юст. Был уже вечер, мы с ней потягивали вино, и я довольно подробно излагал события. Эва внимательно слушала меня, не прерывала.

В заключение я едва ли не с горечью сказал:

— Наставничество я рассматриваю несколько иначе. Его нужно строить на деловой основе, нельзя, чтобы оно держалось на полуэротической базе. Нет, правда же, нельзя.

Тут Эва сказала:

— Эй, парень, да ты ревнуешь. Ну-ка, выкладывай.

Кажется, я покраснел. Такого со мной не случалось уже давно. К счастью, Эва этого видеть не могла: я сидел в тени. Я, понятно, отверг сие обвинение, возражал, хохотал подчеркнуто громко — но знал в душе, что Эва права. Она дала мне высказаться, мы сменили тему, заговорили на другую, поистине неисчерпаемую тему — «наши дети», которые в этот полуночный час уже спали.

Эва помогла мне пересмотреть мое мнение об Анне Маршалл, взять себя в руки и вновь наладить отношения с Юстом. Думается, он вообще не заметил, что между нами намечалась отчужденность. В первые недели нового учебного года у всех работы хватает. На Юста же свалилась еще дополнительная нагрузка — Анна Маршалл.

Перестав теперь заблуждаться, я взглянул на все трезво. И вскоре с удивлением обнаружил, что у Маршалл есть свои взгляды на проблемы образования и воспитания. Разумеется, многие ее рассуждения были чисто теоретическими, абстрактными, но все же они заслуживали внимания. Юст живо ими интересовался, как я в свое время интересовался его личностью и его работой. Оттого и любовная сторона их отношений — чего греха таить, было это — отошла для меня на второй план.

Как-то раз, я уже не помню повода, мы с Юстом заговорили об Анне Маршалл. Дело в том, что Штребелов по вполне понятным причинам не поручил ей классного руководства; ее это, видимо, обижало, она считала — и готова была отстаивать свое мнение,— что учителю нужно знать семью ученика, в этом залог успешной воспитательной работы.

Что ж, никто с ней и не спорил.

— Я позволил Анне проверить ее теоретические положения в моем классе,— рассказывал Юст,— ну, скажу тебе, она надумала такую затею, сложность которой недооценивает. В свое свободное время она ходит в семьи моих учеников. Составила огромную картотеку. До чего только она не докопалась. Понадобись мне, и я узнаю, когда чей отец болел корью и у кого от какой болезни скончалась прабабушка. Я ей говорю: милая девушка, твои материалы производят тягостное впечатление. Как так тягостное, отвечает она, моя работа ведь схожа с работой врача. Он тоже должен все знать, чтобы поставить диагноз пациенту. Но, парировал я, у врача пациенты — больные люди, а у тебя — ученики и их семьи. Да это я для сравнения, ответила она. И ты не дал мне договорить. Врач свои познания держит при себе. И я держу их при себе. Однако они позволяют мне лучше

понять положение вещей, а потом эти познания лучше использовать. А время, дорогая, спросил я, откуда ты его возьмешь, когда выйдешь замуж и сама народишь детей, да еще муж будет и квартира. Что тогда? Для работы время у меня всегда найдется, возразила она, при этом так на меня взглянула, точно думать о времени вообще стыд и позор. Поверишь ли, кое-что из подобранных ею материалов и впрямь помогает мне лучше разобраться с моими ребятами.

Юст улыбнулся задумчиво.

— Но ты ведь ее полюбил не только за работу,— сказал я и тут же разозлился на себя за неестественный тон.

Юст не выказал ни малейшей досады, все его мысли, кажется, были заняты Анной Маршалл.

— Да, конечно. Не так, однако, все просто. Она кое в чем напоминает мне первую жену. Часто, пожалуй, даже слишком.

Впервые заговорил он о своей жене. Она — это все знали — жила в П. с двумя детьми, была доцентом Педагогического института.

Юст упомянул о жене первый и последний раз в наших с ним разговорах.

Возможно, Анне Маршалл было известно больше.

Даже моя любопытная Эва ничего не узнала, хотя мы довольно часто встречались с Юстом. Видимо, до конца понять человека трудно, существует какой-то предел, переступить который мы с Эвой не смогли, не сумели.

Весной, к тому времени Анна Маршалл и Юст уже, похоже, были близки, мы с Эвой как-то отправились прогуляться, дорога привела нас в кафе «Сан-Суси». Было начало мая, теплынь стояла необычайная. При кафе уже открыли сад. Мы решили выпить пива и сели за столик в сторонке. Эва с огорчением сказала, что нам уже очень давно не доводилось сюда заглядывать. На бетонной площадке две-три пары танцевали под магнитофон, что-то очень современное, для нас уже недоступное. Я поделился своими мыслями с Эвой. Она снисходительно улыбнулась.

А потом мы обнаружили на площадке Анну Маршалл и Юста. Музыка на этот раз была очень медленная, пары едва двигались, люди на площадке словно заснули. Анна Маршалл сомкнула руки вокруг шеи Юста и рассеянно улыбалась, глядя ему прямо в глаза. Он положил руки ей на бедра — в черных, обтягивающих брюках она казалась еще стройнее, чем обычно. Юст тоже улыбался как-то странно. Они в самозабвении двигались по площадке, словно остались одни на белом свете.

Следующий номер музыканты исполняли не то в стиле бит, не то в стиле рок. В жизни мне не понять разницы, хотя мои ученики пытались мне ее растолковать. Все стали танцевать совсем иначе.

Анна Маршалл отпустила Юста, они танцевали теперь порознь. У нее получалось очень хорошо, посчитал я, выразительно, умело. Белокурые волосы кружились и летали вокруг ее головы. Юст тоже пытался держать темп, но это ему не очень удавалось. Отдалившись от партнерши, он, казалось, потерял и необходимое чувство ритма. Но Анну это не останавливало, она увлекала его своим темпераментом и при этом задорно смеялась.

Юст улыбался какой-то застывшей и деланной улыбкой.

— Бог мой,— сказала Эва,— вот кто удержу не знает.

— Ты ее порицаешь? — спросил я.

— Да что ты,— ответила она, не отрывая глаз от площадки,— просто совсем другое поколение. Яснее всего это видно во время танцев.

— Ну-ну,— сказал я, развеселившись,— Юст скоро обучится отплясывать по-новому.

— Но этот стиль противоречит его складу,— упрямо настаивала Эва.

— А ты что, знаешь, какой у него склад?

— Себя же я знаю, разве этого мало?

— Но я тоже не отвечаю всем требованиям, какие твое поколение предъявляет мне,— сказал я.

— Ну, это дело другое,— возразила Эва, окинув меня быстрым взглядом.

Она что, ревновала к Анне Маршалл? Возможно, сама того не сознавая.

Девушка на площадке была восхитительно беззаботна. Ну и хорошо, подумал я, отметив, что могу смотреть на Анну Маршалл гораздо объективнее, чем раньше.

Вот она, разница в летах, ничего не поделаешь.

Быть может, Эва имела в виду, что Юсту, с грехом пополам танцующему с Анной, было бы с ней, Эвой, или ее сверстницами лучше. Возможно, сложись жизнь иначе. Но сложилась она именно так. Те двое вместе.

Манфред Юст и Анна Маршалл были странной парой. Все скоро привыкли, что они вместе, хотя, уверен, относились к этому факту по-разному.

Теперь этих отношений больше не существует. Как же Анна? Конечно, мы с Эвой ее поддержим. Так мы решили в Гагре и нашли в этом утешение. Поддерживать, действовать и тем самым преодолевать боль и печаль.

Звезды сверкали низко-низко, над самыми горами и морем.

В тот вечер, когда мы прочли извещение в газете, мы впервые, глядя на них, не испытали удовольствия.

II

Приехали мы домой уже во второй половине дня, последнего дня августа, а вечером я отправился к Карлу Штребелову.

— Что случилось с Манфредом Юстом? — спросил я, поздоровавшись.

Карл пригласил меня сесть. А сам поднялся из-за письменного стола, выйдя при этом из освещенного круга. На столе я увидел лист бумаги. Надо думать, его речь на открытие нового учебного года, которую он произнесет послезавтра. Мы сидели с ним в старомодных добротных креслах, с которыми, как ни настаивала на том его жена, он не желал расставаться. Ей хотелось приобрести новый гарнитур, стыдно ведь держать в доме такое старье, считала она. Но стыдиться ей было нечего, кресла были удобными и мягкими.

— Так ты уже слышал об этом? — удивился Карл.

— Мы прочли в газете, еще в Гагре.

— А,—сказал он,— да, конечно, вполне возможно.

— От чего он скончался? — спросил я нетерпеливо.

— Избыточная доза снотворного,— сухо ответил Карл Штребелов.

Я подумал, что ослышался.

— Снотворного?

— Да, избыточная доза. Слишком много проглотил зараз.

— Значит, он покончил жизнь самоубийством?

— Не так громко,— попросил Карл,— дети еще не спят. Юст не оставил посмертного письма. Ни строчки, ни какого-либо объяснения, которое подтверждало бы это.

— А отчего он принимал лекарства? Разве он был болен? Я всегда считал, что Манфред — здоровяк. Он же не болел. Нет, быть того не может.

— Да, он был болен.

— И все-таки почему он убил себя? — спросил я.— От меня, Карл, тебе незачем скрывать причину.

— Я ничего не могу сказать тебе другого. Ничего еще не выявлено.

— А если бы он оставил письмо?

— Тогда все было бы ясно,— ответил он с досадой.

— Но, Карл, вы же провели расследование, иначе ведь нельзя.

— Разумеется, дело расследовали. И все-таки никаких доказательств самоубийства не имеется.

— Ошибка, стало быть? Несчастный случай?

— Да, так мы и предполагаем.

Я уставился на пеструю скатерть — какие-то на ней вытканы узоры — и покачал головой.

— Но почему ты думаешь, что это было самое худшее? Кстати, еще кое-кто так думает,— сказал Штребелов.

В его вопросе слышалась горечь, подтверждавшая в моих глазах тот факт, что и он думал о худшем. Внезапно я понял: он же рад, что нет доказательств самоубийства.

— Стало быть,— сказал я, с трудом сдерживая волнение,— нам можно успокоиться — трагический случай. Перейдем к очередным делам, до этого факта нам дела нет. Несчастный случай. Увы, еще часто случается. Весьма огорчительно.

Штребелов, надеялся я, резко одернет меня.

Но он сказал только:

— Да, так я сохраню добрую память о моем коллеге Манфреде Юсте. Все мы сохраним ее. Нам не придется стыдиться, что учитель нашей школы таким образом обнаружил свою несостоятельность. Прояви он подобного рода несостоятельность, ему не было бы никакого оправдания.

— Тем самым, стало быть, мы с этим делом покончили,— со злостью сказал я.

— Да, в главном вопросе — с этим делом покончено. Покончено.

— Но я не успокоюсь. Нет, такое объяснение меня не успокаивает. Самоубийство не доказано, но и несчастный случай тоже не доказан. Юст же нам товарищ. Два года жил и работал с нами. Что мы о нем знали? Что его угнетало? Может, мы оставили его в тяжелую минуту? Может, он попал в отчаянное положение? Может, страдал от одиночества?

— Ты же его хорошо знал,— жестко ответил Штребелов,— кто, как не ты, мог заметить первые признаки неблагополучия, если твои предположения верны. Ты был наставником, да еще образцовым. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Чего же ты хочешь? Задним числом займешься самобичеванием? Дешевый прием. Для меня обязательна принятая версия. Для всех в нашей школе она обязательна.

Да, удар сильный, но я не сдавался.

— Ты не вдумался глубоко в суть происшедшего,— сказал я.— О худшем варианте ты не желал думать.

— Так-то ты меня знаешь? — с горечью ответил Карл.— Я думал о нем, все взвешивал. Ночи напролет не находил себе покоя. Теперь принята определенная версия, о которой я тебе сказал. К счастью, и это я хочу подчеркнуть, все разрешилось приемлемо.

Мы помолчали. Я бы охотно глотнул сейчас чего-нибудь, шнапса или водки.

— Тебя я понимаю,— сказал Карл,— я уже почти месяц мучаюсь. Для тебя же извещение в газете было громом среди ясного неба. И никаких объяснений. А теперь ты их получил, но таких объяснений ты не ждал. Похоронили его в Берлине. Так хотел его отец.

И этому ты тоже рад, подумал я. Здесь, в Л., нет его могилы. Ничто не будет напоминать нам о Манфреде Юсте. Мало кто его знал, да и те скоро о нем забудут, все смягчится временем, все отдалится.

Жизнь продолжается. И нет больше среди нас этого сумасбродного оригинала.

Возможно, я несправедлив к Карлу. Но в голове у меня все перемешалось, мне даже казалось, что я заболеваю.

Карл хотел дать мне свою речь, в которой, разумеется, говорилось и о смерти Юста. Скорее всего, он хотел, чтобы я прочел ее, обратив внимание на абзац о Юсте. Но я сказал, что сейчас не сумею сформулировать свое мнение, ему это должно быть понятно. Он ничего не ответил, но не проводил меня до садовой калитки, как обычно. Да мне и не нужно было. Может, он только потому не пошел со мной, что уличный фонарь потух. Помню, Карл как-то жаловался на «куриную слепоту». Однако не так уж было темно в тот вечер, всходила полная луна, а небо едва-едва затянула легкая дымка.

Я не пошел сразу домой, не в силах был. Мне хотелось привести в порядок чувства и мысли.

Юст покончил с собой. Самое простое объяснение его внезапной смерти. Но отчего же, отчего?

А если это все-таки несчастный случай? Каких только удивительных случайностей не бывает в жизни, счастливых и, что говорить, несчастливых совпадений. Каких только историй не наслушаешься... Неужели и правда не осталось прощального письма?

Тут у меня вспыхнуло подозрение, я даже резко прервал свой стремительный марш, задышал тяжело, словно мне не хватало воздуха. Мысленно я представил себе Штребелова — вот он сидит в кресле, непоколебимо решив придерживаться версии, что это, к счастью, был несчастный случай. К счастью! Да разве не чудовищно произносить эти слова в связи со смертью Юста?

Все помыслы Карла Штребелова направлены на то, чтобы репутация школы и ее учителей не была запятнана. Ни единым пятнышком. Прощальное письмо все изменило бы. Это была бы правда, а не удобное, к счастью, решение проблемы. Но зачем что-то менять? — могут меня спросить. Кому от этого польза? Юст умер. Тут ничего не изменить. Зачем было ему отягощать совесть живущих своим решением, отвечать за которое он больше не может и не должен? Другие должны теперь держать ответ. Карл Штребелов, я, Анна Маршалл. Та женщина в П. с детьми, которую он оставил, а может, она его оставила, кто в этом разберется.

Если именно по этим причинам нет письма, если его сожгли в пепельнице?

Но это было бы поистине черным делом.

Я вновь вызвал в памяти Карла Штребелова, еще раз напряженно вслушивался в его ответы, его аргументы.

Нет, Карл не тот человек, кто уничтожил бы письмо, последнее живое слово ушедшего из жизни, чтобы отделаться от возникающих затруднений. До чего же я себя взвинтил! Подобные действия начисто противоречат принципам Карла Штребелова.

Нет никакого письма Юста к Штребелову, к коллективу школы, ко мне. Да, и ко мне нет ни единой строчки.

Я пошел медленнее. Несчастный случай, цепь неблагоприятных обстоятельств, как считают, а потому не может и быть никакого прощания, даже со мной, хоть я и полагал, что Юст мой друг. Стало быть, я не обманулся и могу не сомневаться в его дружбе.

Стало быть, я попал в положение Карла Штребелова, и мне представляется, что трагическая случайность, приведшая к смерти Юста, прекрасно все объясняет, позволяет мне грустить и бессильно досадовать на тот факт, что человека до сей еще поры постигают несчастные случаи и катастрофы.

Ну, что ж, Кеене, отправляйся домой, расскажи все именно так, а не иначе Эве, уверенно настаивай при этом на том, что речь идет о трагическом сцеплении обстоятельств, не дай зародиться сомнениям

ни у Эвы, ни у твоих коллег, тем более у твоих учеников, у которых тоже возникнут вопросы.

Я уговаривал себя всю дорогу и подошел уже к самому дому. Но внезапно мое смятение улеглось, я успокоился, понял, что не годится так распускаться. С подобными мыслями я ни себе, ни другим не смогу смотреть в глаза.

Мне хотелось, чтобы у нас в памяти остался четкий образ Манфреда Юста, и воспоминания о нем, наверняка весьма противоречивые, не должны омрачаться фальшью. Версией, хоть и удобной, я удовольствоваться не имею права.

Значит, верно то чувство, которое час назад пробудилось у меня, когда я сидел в кресле напротив Карла Штребелова?

Я усомнился в его версии. Речь идет не о частностях, речь идет о принципиальном вопросе — что есть жизнь и как относится к ней человек. Наша позиция, наши взгляды — вот что мы обсуждали, и не вообще, не теоретически, а вполне конкретно, в связи со смертью Юста.

Самое дорогое у человека — это жизнь...

Эти слова были программными, они выражали нашу точку зрения. Их мы понимали... Кто это — мы?

Мне нужно разузнать до точности, как могло случиться, что наш Манфред Юст добровольно лишил себя жизни. Я не стану уточнять обстоятельства дела, будто я прокурор, в этом плане все было сделано, что сделать надлежало. Самоубийство однозначно не доказано, но и вторая версия тоже.

Эта версия не снималась.

К другим вопросам, однако, было нелегко подступиться, они ускользали от конкретных определений. Эти вопросы были тысячекратно связаны с нашей моралью, нашими идеалами, нашей работой, нашей любовью и нашей ненавистью. Нашими возможностями и нашими пределами.

Войдя в гостиную, я застал Эву на ковре у чемодана, из которого она доставала вещи. Она тут же подняла на меня глаза, ее загорелое лицо показалось мне бледным. Возможно, в том виноват был свет, она ведь включила люстру.

— Так что с Манфредом?

— Юст покончил с собой.

Но я же не хотел ошарашивать Эву! Скрывать не хотел, но и ошарашивать не хотел.

Эва поднялась, глянула на меня пристально и сказала нечто меня поразившее:

— Я подозревала это. Поверь мне, еще в Гагре я об этом подумала, сразу, когда ты передал мне газету. Подозрение не оставляло меня и позже. Я пыталась подавить его, хотела взглянуть на дело разумно. И вот — все оказалось именно так.

Она села в кресло, закрыла лицо руками.

Я же, поглядев на нее, подумал: опять ты витал где-то и ничего не заподозрил. Ни малейшей мысли о том не мелькнуло у тебя в голове. А вот Эва заподозрила.

Теперь я наконец достал водку, которая нужна была мне еще у Штребелова, бутылка «Московской» лежала в чемодане. Откупоривая ее, я обломал ногти, так дрожали у меня пальцы.

— Откуда у тебя это подозрение? — спросил я.

— Знаешь, я тоже выпью рюмку, Герберт,— сказала Эва, поправляя волосы.

Ни намека на слезы. Их-то я ждал. Но их в эту минуту не было. Возможно, они уже были. В Гагре, когда она лежала рядом со мной. Возможно, я уже спал, а она лежала рядом и оплакивала Манфреда

Юста. Ее горе вдруг показалось мне обидным. Почему она так горюет? Я — да, у меня есть право на Юста. Нас с Юстом тесно связывали пусть даже весьма противоречивые, но дружеские отношения. Но Эва? Между ними ничего не было. Она это не раз подчеркивала. А если тем не менее что-то было?

Я достал две рюмки и наполнил их до краев. Эва не возражала. Обычно она против того, чтобы я наполнял рюмку до краев. Дурная, мол, привычка. Верно, дурная, она вела свое начало от тех времен, когда нужно было, если уж выпадал случай выпить, побыстрей наполнить рюмку, чтобы не остаться с носом.

Правда, тогда мы глотали какую-нибудь дешевую сивуху, а не чистую, отменную «Московскую».

Я уселся в другом кресле и единым духом осушил рюмку. Эва пила медленно.

— Откуда у тебя это подозрение? — переспросил я раздраженно.— Ведь никаких оснований для него не было. Никаких, понимаешь. У меня — никаких.

Я еще раз наполнил свою рюмку. Приятного тепла в желудке я уже не ощущал. А мне хотелось ощутить его, любой ценой. Эва отодвинула рюмку.

— Не знаю, почему я заподозрила это. Право же, не знаю. Основания? Нет, их у меня не было. Но подозрение было.

— Все вздор,— резко сказал я.— Если у тебя не было оснований, откуда же явилось подозрение? Может, сова прокричала в Гагре? Так наша комната выходила на море. Даже чайки у нас не показывались. Разве что кузнечики. Но они не предвещают смерть, как известно мне еще от бабушки. Это должна сова прокричать.

Эва испытующе глянула на меня, опустилась опять к чемодану на ковер и стала вынимать мои чистые рубашки. В Гагре она часто стирала, на балконе вещи очень хорошо сохли.

— Какую рубашку ты наденешь завтра? Вот эта подойдет к серому костюму. Ты ведь его наденешь завтра?

— Я завтра, пожалуй, надену кожаную куртку. Хоть какое-то разнообразие. И желтую рубашку, ярко-желтую. И повяжу на шею платок. У тебя ведь есть красный шелковый платочек. Чтобы развевался по ветру.

Эва поднялась, подошла к шкафу и положила стопку рубашек на мою полку. У нее опять появилась волнующая, медленно покачивающаяся походка. Да, этой походкой и молчанием в определенных ситуациях она сводила меня с ума. Когда она вернулась, я увидел, что она плачет.

Поднявшись, я с трудом проговорил:

— Извини.

Я вышел из комнаты, пошел в мой крошечный кабинет и, встав там у окна, стал глядеть на автостраду, где фары время от времени выхватывали из темноты то одно дерево, то другое.

Мне опять вспомнилась вечеринка в начале лета. Наш садовый участок лежит у самого леса. Сосна и березняк. Из сосновых досок я смастерил маленький домишко. Изнутри тоже отделал его деревом. Люблю чистый пряный запах сухих веток.

Возня с домом долгие годы поглощала все часы моего досуга, теперь он стал предметом моей гордости, а иной раз моим прибежищем.

Эвина вечеринка пришлась на теплый, сухой июньский вечер. У жаровни, которую я тоже сам смастерил, рядом с Эвой стоял Юст в моем кожаном переднике и, конечно же, в яркой рубашке. Выполняя при Эве подсобную работу, он шутил и смеялся. Вдобавок он служил и виночерпием при Эве: разливал крюшон, который всем пришелся по вкусу, так что крюшонница в два счета опустела. Юст тут же объявил, что ставит две бутылки шампанского, за что и получил от Эвы поцелуй. А кто-то сходил за шампанским в кафе «Сан-Суси».

Стоя в своем темном кабинете, я вызывал в памяти картины того летнего праздника, последнего, в котором Юст принимал участие. У полыхающего огня — от капель жира иной раз вспыхивало пламя — стояли Эва и Манфред Юст. Казалось, они здесь хозяева праздника. Я сидел довольно далеко, у стола, который тоже сам соорудил, на пнетабурете, по временам поглядывая на эту пару, оказавшуюся в центре внимания всех гостей. Но только по временам. До меня доносился смех Эвы, вызванный, верно, остроумным или ироничным замечанием Юста, каких у него изрядный запас. Я же беседовал с главным редактором издательства, в котором работала Эва. Его заинтересовали мои познания в деревянных постройках, он получил в наследство земельный участок и хотел поставить там домик, не слишком дорогой, но удобный, и, конечно же, хотел, чтобы домик хорошо смотрелся. Мы заговорили о деревянном зодчестве, родина которого была на севере России. Редактор бывал там, с восхищением вспоминал дома и церкви, возведенные русскими плотниками без гвоздей и вообще без металлических частей. Каждая постройка была искусно сооружена с помощью насечек, чек и втулок. Я решил тоже как-нибудь съездить туда, посмотреть эти дома. Беседуя, мы попивали крюшон, ели шашлык и жареные сосиски, и каждый раз, когда я смотрел в сторону жаровни, видел неизменную картину — Эва и Юст в центре внимания, они смеялись, чокались друг с другом и с окружающими, пили и танцевали под магнитофон.

Усилием воли я заставил себя отогнать эту картину. То, что я воскресил в памяти, ровно ничего тогда не значило. Но, может, мое великодушие было наигранным?

Я включил свет. На письменном столе, сложенные аккуратно в стопку, лежали газеты за последнюю неделю — работа нашего старшего, Александра, приверженца строжайшего порядка. Это у него от матери. Он и в двенадцать лет не утратил любви к порядку, не мешали порядку и разнообразные интересы Александра, что доказывала его комната — марки, спичечные коробки со всего мира, коллекция насекомых, самые разные фотографии. Никогда в его комнате не было беспорядка. А вот Марлис, она всего на год моложе Александра,— его полная противоположность. Она возвела беспорядок в принцип, однако с ходу отыскивала все, что надобно, обезоруживая свою аккуратистку-мать.

Я брал одну газету за другой из стопки, перелистывал, так сказать, время назад, пока не наткнулся на номер, который купил на вокзале в Гагре и развернул на столике у моря, когда Эва стояла в очереди за кофе. Я вновь прочел извещение в газете. Размноженное в тысячах экземпляров, оно вышло за границы нашей страны. Быть может, не одна сотня человек прочла это извещение, а те, кто знаком был с Манфредом Юстом, прочли его особенно внимательно.

Я снова сложил газеты в стопку, стараясь возвратить столу первоначальный вид, я понимал, что Александру захочется самому передать мне дело своих рук, что-то, может быть, пояснив, и в этом, вплоть до оборотов речи, он удивительно походил на мать.

Пришли дети, что дало мне желаемый повод выйти из кабинета. Радость встречи, подарки, которые дети тут же разворачивали, сумятица, когда все, перебивая друг друга, спрашивают и отвечают одновременно, помогли мне восстановить в какой-то мере свое душевное равновесие. Все шло у ребят своим чередом в три недели нашего отсутствия. Бабушка о них заботилась, но, по словам Александра, это и не нужно было, они и одни бы справились, и с квартирой и вообще со всем.

За ужином мы болтали, шутили, вечер получился таким, какие я любил, в каких испытывал потребность. Ничто не напоминало сейчас о том, что в этой комнате за каких-нибудь полчаса-час до того между мной и Эвой что-то разыгралось, мы не прояснили это «что-то»

и, видимо, никогда не сумеем прояснить. Да и как? Все было зыбко, неявно, об этом тяжело говорить. А заговоришь — только накличешь беду, и потом не распутать путаницу.

Возможно, поэтому мы и растянули ужин сверх обычного, выслушивали рассказы детей, отвечали на их вопросы, и я обстоятельно доложил им о нашей жизни на Кавказе. А поездку на озеро Рица описал во всех подробностях. Так разговорился, как со мной еще не бывало. Меня подхлестывали пытливые вопросы Александра, и я еще раз проехал по дороге к горному озеру и по сумрачным ущельям, стены которых, казалось, смыкаются где-то в поднебесье над нашими головами. С энтузиазмом рассказал я ребятам и об обезьянах в Сухуми, показал брошюры, фотографии. И вдруг заметил, что Эва не принимает участия в разговоре, иной раз улыбается слабо, но, видимо, мысли ее витают где-то далеко.

В этот вечер мы как никогда поздно засиделись с детьми. У них завтра — последний день каникул, и у Эвы еще день отпуска. Только мне не давалось роздыха.

Но вот, наконец, в нашей комнате воцарилась тишина. Наш первый вечер дома. Я поставил на стол початую бутылку водки и две чистые рюмки.

— Видишь, все прошло отлично,— сказал я,— они у нас совсем самостоятельные.

— Хорошо, что мы всегда об этом заботились,— ответила Эва.

— Да, твоя заслуга.

— Пришлось волей-неволей.

Я поднял рюмку:

— За наше счастливое возвращение. И за будущую работу. За наших детей. За нас.

Эва залпом осушила рюмку. Она сидела в тени, мне кажется даже, она нарочно отодвинула кресло подальше, чтобы оказаться в тени.

— Наш последний разговор,— сказал я,— мы его забудем, да?

Эва промолчала. Я хотел еще раз наполнить ее рюмку, но она прикрыла ее рукой.

— Спасибо, Герберт, не хочу.

Я выпил водки. Перелет, ошеломительная правда о смерти Юста, открытая мне Карлом Штребеловым, и «Московская» — все давало себя знать. Равновесие, с таким трудом мною достигнутое, было под угрозой.

И тут заговорила Эва. Я сейчас изложу сказанное ею довольно стройно, но тогда все звучало иначе. Она говорила порой тихо-тихо, запиналась, искала подходящие слова, искала более точные выражения. А я сидел в кресле, не прерывал ее и даже тогда не заговаривал, когда она на минуту-другую умолкала.

— Все, что между нами было,— начала Эва,— не вычеркнуть так просто из памяти. Да и непорядочно это. Ты обидел меня своей ревностью. Известие, что Юст покончил жизнь самоубийством, потрясло меня. Мне же это не безразлично. Да, он произвел на меня впечатление. Но ведь и на тебя тоже. Да, в самом начале, когда мы познакомились, он приударял за мной. А я восприняла это не без удовольствия. Ты такие вещи не признаешь, Герберт, смотришь на эти вопросы однобоко. Женщине доставляет удовольствие, когда она нравится мужчине. А больше ничего и не было, ты знаешь. Мы с Манфредом были слишком мало знакомы. Наши встречи с ним и разговоры можно по пальцам сосчитать. И все-таки мне никогда не представлялся верным тот его образ, который ты рисовал, хотя ты знал Манфреда уже два года и вы даже подружились.

Да, он взбудоражил вас своим характером, даже своей одеждой, но, главное, своим педагогическим талантом. У него есть блеск и свежесть, говорил ты, уверенность в победе и беспечность, право на которую признается только за очень молодыми людьми. Но отчего же

только за молодыми, Герберт? Юст озадачивал, нравился, притягивал, отталкивал, ставил проблемы и вызывал конфликты. Сам он, насмешливый, ироничный, казалось, всего этого не замечал. Посмеиваясь, шел своей дорогой, беспечный, экстравагантный. Посмеиваясь? Ты рассказал мне о парнишке, что напился на экскурсии. Ты тогда еще не определил для себя, правильно ли повел себя учитель Юст. А уж мне и вовсе незачем было разбирать и расценивать педагогическую сторону вопроса. Я сочла, что Юст повел себя просто по-человечески. Живой педагогике без этого не обойтись, считаю я. Многое еще нравилось мне в Юсте, но из-за твоих зачастую противоречивых рассказов о нем он оставался для меня загадкой. Видишь, я действительно заинтересовалась Юстом, но это был интерес к необычному человеку. Его экстравагантность все больше и больше казалась мне маской, за которой он скрывает истинное лицо. Иной раз я задумывалась, не циник ли он. А ты знаешь, я терпеть не могу циников. Они не способны на человеческие чувства, не испытывают ни радости, ни печали. Но вполне может быть, что у меня слишком упрощенный взгляд на этот вопрос, может, такое поведение и нельзя назвать циничным. У Юста — это я очень скоро подметила — подчеркнутая бесцеремонность, пренебрежение к чувствам были просто-напросто защитной реакцией. Он не желал ничто и никого подпускать к себе.

Как-то раз я встретила Юста в Берлине, на Унтер-ден-Линден, неподалеку от советского посольства, в мае. Стоя на бульваре, что посреди улицы, как всегда кричаще одетый, смахивающий на туриста, он задумчиво разглядывал Бранденбургские ворота. Я заговорила с ним, подшутила над его мечтательным видом. Он рассмеялся, взял меня под руку и сказал: «Вот хорошо, что вы пришли. А то я бы еще час тут простоял. Выпьем кофе?» Вообще говоря, я торопилась, но в конце концов любопытство пересилило. Поведение Юста пробудило у меня психологический интерес. С чего это учитель стоит средь бела дня на Унтер-ден-Линден и разглядывает Бранденбургские ворота? Что ж, мы выпили кофе и по рюмке коньяку, у Юста было прекрасное, как всегда, настроение, он наговорил мне кучу любезностей, но при этом хитро подмигивал, чуть-чуть насмешливо — не смотри на меня так мрачно, Герберт, дело было уже во времена Анны Маршалл. А потом я его спросила, отчего он так внимательно разглядывает Бранденбургские ворота, ведь он берлинец, и это сооружение ему наверняка хорошо известно. Как ни странно, но он смутился, видимо загрудняясь ответить на мой вопрос.

«Видите ли,— сказал он,— я готовлюсь к уроку. Знаю, это накладно — так расходовать время. Понимаете, Бранденбургские ворота... Что только не связано в истории нашего времени с этим сооружением. Мне вам объяснять не нужно. Конечно, историю ворот я хорошо знаю во всех подробностях, как и положено учителю истории. Но я, и, пожалуйста, не смейтесь, нуждаюсь иной раз в чувственном впечатлении, мне необходимо такое вот созерцание, за которым вы меня и поймали. Мне это нужно, чтобы передать затем мои ощущения ученикам. Как учитель истории, я всегда имею наготове факты и знания. Да, их мне не занимать, как, впрочем, и большинству моих коллег, они все хорошие учителя. Но вот другое, что тоже очень важно,— эмоциональная сторона истории, наглядность, перенесение истории в нынешний день — передать куда труднее. Оттого-то мне время от времени нужно получать зрительное впечатление, а для этого, в свою очередь, нужны досуг и время. Вот какое дело. Как официальный — этот метод уязвим с точки зрения, к примеру, глубокоуважаемого коллеги Штребелова».

Меня его рассуждения удивили и заинтересовали, я охотно послушала бы его, но Юст явно не хотел больше распространяться на эту тему. Он стал расспрашивать меня о моей работе, показал неплохое знание новейшей литературы, хотя суждения его были довольно

странными, они резко противоречили его взглядам на другие вопросы, отличающимся широтой и терпимостью. Так, например, он начисто отвергал некоторые эксперименты наших молодых литераторов, которые я считаю важными и нужными. Он считал, что книги их сверхусложнены, а так называемые проблемы формы, возникновение которых наши молодые писатели объясняют изменившимися условиями действительности, не скрывают ничего, кроме пустоты мысли и беспредметности их произведений. По его мнению, и тут Юст не склонен был уступать, литература в нашей стране должна быть доступна значительному большинству. Самоудовлетворение при помощи литературы он отвергал. Я перебила его, мы крепко поспорили. Я же, Герберт, ты знаешь, вовсе не восхищаюсь слепо литературным направлением, которого придерживается сейчас кое-кто из молодых, я вообще против всяких «направлений», но на сей раз я выступила их защитником. А Юст — вот уж никогда бы не подумала, что он так недифференцированно подходит к литературе,— защищал крайне упрощенные, схематические взгляды на литературу и ее воздействие. В конце концов, посмотрев на него, я подумала: неужто он и впрямь так считает? И он посмотрел на меня и, может, то же самое подумал. Но вскоре он оборвал разговор, заказал еще кофе, отметил, что злость и волнение мне очень даже полезны, это видно по цвету лица и горящим глазам, и стал болтать обо всем на свете. Мне же трудно было так быстро перестроиться, и я отвечала односложно.

Выйдя из кафе, мы попрощались. Я отправилась в издательство, Юст исчез за углом соседней улицы. Должна признать, он оставил меня в замешательстве. Что все это значило? Что он говорил серьезно, а что — в шутку? Или у него все в равной мере — и в шутку и всерьез? Как же относится он к жизни?

А теперь такой финал. Тут концы с концами не сходятся. А может, все-таки сходятся? Только мы в этом не разобрались?

Не сердись, Герберт, я заговорилась. Но мне хочется, чтобы между нами не оставалось никаких неясностей.

Эва смотрела куда-то мимо меня, из темноты она опять выдвинулась в светлый круг лампы.

Я окинул ее взглядом и вновь, в который раз, убедился, что она — красивая женщина. Неприязнь моя исчезла, уступила место чувству горечи и печали. Да разве мне когда-нибудь в последние годы и вообще когда-нибудь приходило в голову поговорить с Эвой так заинтересованно о ее работе, как сделал это Юст в маленьком кафе на Унтер-ден-Линден? Я с уважением относился к ее работе, но без должного понимания. Литературные направления, прекрасно, они, конечно, есть, но меня они никогда не интересовали. Я, сдается мне, нормальный читатель, который судит о книге только так: нравится или не нравится. Ничего не скажешь, удобная, если не сказать ограниченная, позиция для человека, жена которого занимается литературой. Должен в придачу признаться, что Эва активно интересуется моей работой в школе и всеми связанными с педагогикой проблемами. Мое самодовольное тому объяснение: у нас дети. Они же ходят в школу, а какая мать не проявит к этому интерес?

Юст все-таки больше значил для моей жены, чем она полагает. В минуты раздумья, в тиши нашей комнаты, глядя на ее бледное красивое лицо, я в этом не сомневался. Встреча с Юстом — пусть она этого не признает, да и не нужно, ей не в чем себя упрекнуть — была для нее чревата опасностью. Я мог бы сказать, что теперь, когда Манфред Юст ушел из жизни, опасность миновала. Мысль такая мелькнула у меня, но я, устыдившись, тотчас прогнал ее. Это же самообман. Угрозы нашему браку, которая могла исходить от Юста, более не существовало. Но взгляды его не ушли вместе с ним, сила его воздействия не исчезла.

— Почему ты молчишь, Герберт? — спросила Эва.

В первую минуту я собирался сказать все откровенно, выложить все, что думал, все, все собирался я сказать. Но не произнес ни слова — не хватило мужества, к тому же я опасался, что переврy или коряво передам свои мысли. А мысли мои не лишены были горечи. Поможет ли нам это? Вернее говоря, поможет ли это мне? Мне хотелось спокойно поразмыслить о нашем браке с Эвой, хотелось отвратить потенциальные опасности. В конце-то концов мне нужно благодарить мертвого Манфреда Юста, он помог мне очнуться от толстокожего самодовольства.

И потому я сказал:

— Кое-что в смерти Юста не прояснено. Да и как ее прояснить? Он умер, не оставив никакого письма, говорит Штребелов. Как нам поступить? Сохранить о нем добрую память?

— А как же еще? Конечно, сохранить о нем добрую память,— подчеркнула Эва.

Было поздно, день выдался напряженный.

Когда Эва уже лежала, я еще раз обошел нашу квартиру. Заглянул сначала в комнату детей, включил свет — хотел увидеть их лица, ведь нашу встречу, хоть я и болтал без умолку, омрачала смерть Юста. Дети, как всегда, спокойно спали.

Затем зашел в свой кабинетик, осмотрел книги и брошюры, хотел успокоить нервы, обрести душевное равновесие в привычной обстановке.

Это мне не удалось. Юст самым разным образом оказывал влияние на мою жизнь, жизнь уже почти пятидесятилетнего человека. И этому влиянию — в чем я был теперь уверен — конца не будет.

Нет, я еще не вырвался из сферы воздействия Юста, мне еще предстояло занять определенную позицию в этой истории. Нужно подготовиться, чтобы взглянуть в глаза фактам, возможно не слишком мне приятным. Юст еще участвует в наших делах, и даже больше, чем когда-либо в последние два года.

Наконец победила усталость. Не успел я лечь в постель, как мгновенно заснул и не видел никаких мучительных снов.

На следующее утро школа встретила меня хлопотами, полной неясных надежд суетней, свойственной каждому началу нового учебного года, нервозным настроением премьеры, которое даже многолетняя рутина не в состоянии заглушить. Ну и слава богу. Со мной здоровались, трясли мне руку, коллеги завидовали моему черноморскому загару, сравнивали расписания, наводили, разумеется, на то и на се критику, хоть директор составил их с обычным хитроумием. А проверив на прочность новые стулья в учительской, разумеется, нашли, что они какие-то хлипкие.

Прекрасно чувствуя себя среди этой суеты, я отметил, что о Манфреде Юсте никто не сказал ни слова, что его отсутствие не создавало чрезвычайного настроения, что в школьных буднях даже для трагического события находится надлежащее место и оно не оказывает никакого особенного влияния. Признаюсь, я вздохнул с облегчением, этого я никак не ожидал.

Да, время сделало свое дело. Для меня событие это обладало еще новизной, все происшедшее словно сосредоточилось на двух-трех днях. А для моих коллег оно уже было отдалено прошедшим месяцем, и даже те, кто услышал об этом позднее, все-таки знали о событии уже более десяти дней.

Я подошел к окну и глянул вниз, на пустой и тихий двор. Завтра он будет выглядеть привычно, им завладеет живой, иной раз, пожалуй, чересчур живой, народец — школьники.

Погода сегодня стояла прекрасная, над школьным двором раскинулось ясное небо, хоть чуть-чуть, но уже отличавшееся по цвету от летнего.

А два года назад шел дождь, было довольно холодно, и Манфред Юст в тонкой замшевой куртке мерз на резком ветру.

Я вернулся в учительскую. Педагоги заняли свои места за столом. Место напротив меня, почти два года принадлежавшее Манфреду Юсту, было занято и сегодня. Молоденькая учительница, которую я еще не знал, положила перед собой блокнот. Хорошенькая, она казалась застенчивой, Манфред Юст, без сомнения, порадовался бы, глядя на нее.

Штребелов тоже уже сидел за столом, он кивнул мне, привел в порядок свои бумаги, казался спокойным, уверенным в себе, собранным.

А перед самым началом совещания пришла и Анна Маршалл. О встрече с ней я думал с тягостным чувством, даже с каким-то страхом. Надеялся — может, она больна, ведь смерть Юста должна тяжело на ней отразиться, в этом не было сомнения.

Однако движения ее были, как всегда, быстрыми, целенаправленными, она выглядела слегка взволнованной, но владела собой.

На какой-то миг я замер, не знал, как мне поступить. Встать и подойти к ней? Но она уже шла ко мне. Вставая, я едва не перевернул новый стул, да, они явно слишком легкие.

— Привет, ты хорошо выглядишь,— сказала Анна Маршалл, подавая мне руку.

— Но что здесь стряслось...— беспомощно пробормотал я.

— Не будем об этом, Герберт. Смысла нет.

И она так взглянула на меня, словно мне следовало тотчас опровергнуть ее. Мне надо было сказать: нет, смысл есть. Смысл должен быть, слышишь, даже если он сейчас скрыт от нас. Да, я бы охотно сказал ей это. Но что я знал? Если уж она не знает? Кто же еще мог мне все разъяснить?

Значит, и она не может.

Наверное, она что-то другое имела в виду, сказала просто так, поскольку здесь не место и не время было говорить о Юсте.

— Как перенесла Эва путешествие? — спросила она.

— Хорошо, очень хорошо,— ответил я.

— Спасибо за открытку. Мне тоже надо бы туда съездить.

— Это же очень просто,— подхватил я,— нужно только вовремя позаботиться. На Пицунде очень красиво.

Штребелов постучал по столу своим «шариком». Заседание начиналось. Анна Маршалл пошла обратно.

Совещание Штребелов открыл как обычно.

Вначале обсудили расписание. В нынешнем году мне не пришлось принимать участие в этой кропотливой и сложной работе — впрочем, впервые за долгие годы. Тем вернее мог я оценить умелость Штребелова. Он блестяще справился со своей задачей, увязав самые разные интересы и нужды. В соответствии с этим проходило и обсуждение, если вообще можно назвать это обсуждением, просто выступавшие предлагали отдельные дополнения и поправки. По лицу Карла Штребелова было видно, что он вполне удовлетворен, ему опять удалось составить безукоризненное расписание. Карлу доставляло истинное удовольствие решать организационные вопросы. Кроме него, я не знал ни одного человека, кто хотел бы составлять расписание, включая и собственную персону. Да, в нашей школе учителям оставалось выполнять лишь подсобную работу, Штребелов никому не доверял главного.

Вынужденный бездействовать, я отчетливее замечал многое и обратил внимание на то, что большая часть вопросов, обсуждаемых сегодня, непосредственно перед началом учебного года, были органи-

зационные. Питание детей в школе, распорядок на переменах, уборка помещения, общественная работа, отчеты, сроки на следующее полугодие, главные проблемы общественной жизни школы.

Организационные вопросы Карл Штребелов ставил во главу угла и не жалел сил, доказывая нам нашу ответственность за них. Не признавал он также никаких увертюк, никаких обтекаемых отговорок, в этой области каждый знал, что он должен делать и в какие сроки. Все можно было рассчитать, все можно было проконтролировать, по-деловому и без лишней болтовни.

Одна из любимых поговорок Штребелова гласила: «Если дано направление, все решает организация». В этом сомневаться не приходилось. Безусловная надежность во всех отношениях — вот сильная сторона нашей школы, именно в надежности был залог наших успехов и секрет нашего доброго имени.

И все же, пока я следил за обыденным, деловым ходом совещания, мне пришло в голову, что направление в нашей работе, которое по Карлу Штребелову само собой разумелось, следовало подвергнуть сомнению. Все выходило слишком просто, без внимания остались многие факторы, какие преподносит нам наша противоречивая жизнь.

Юная выпускница института, ничего не подозревая, заняла место, на котором еще недавно сидел Манфред Юст. В определенных ситуациях, припомнилось мне, я усвоил себе привычку поглядывать на Юста. И сразу замечал, когда он готовил возражения. Я видел это по мимике его лица, по скептическому взгляду, брошенному на Штребелова, и вопросительному — на меня.

Штребелов, ожидавший возражений Юста, досадливо предлагал ему высказаться:

— Ну, что ж, слово имеет коллега Юст.

Это стало привычной формулой, которой Штребелов подчеркивал свое отношение к Юсту.

Но тот не давал сбить себя с толку и, улыбнувшись иронически, невозмутимо высказывал свое мнение.

Никогда уже не бывать этому, никогда не придется Штребелову использовать свою формулу, никогда уже Юст не блеснет острым словцом, никогда не выскажет свои замечания, предложения, пусть даже не до конца продуманные, иной раз даже фантастические, но всегда благотворно действующие на нас, воодушевлявшие всех нас, собравшихся в учительской.

Выпускница добросовестно записывала все, что изрекал директор. У нее, наверное, аккуратный почерк, подумал я, и пишет она очень мелко, приучившись к этому еще в институте.

Совещание, стало быть, проходило по плану и, должен признать, действовало на меня успокаивающе. Жизнь продолжается, работа вновь целиком нас захватила, привычка — великая сила. Ничто не может быть эффективней порядка в жизни и работе, он нас поддерживает, позволяет нам справляться с тягостными ситуациями.

Штребелов перешел к политическим вопросам, имеющим в настоящее время для нашей педагогической работы принципиальное значение.

Все, что он говорил, было верно, все очень точно, логично и продуманно, создавалось, как обычно, впечатление, что Штребелов взвесил каждую мелочь и что, собственно говоря, нам ни добавить нечего, ни спрашивать.

Но как раз на совещании перед началом нового учебного года, подумал я с чувством внутреннего протеста, такого рода логика и ясность лишают слушателей возможности мыслить.

Я то играл своей шариковой ручкой, едва не обломав зажим, то чертил какие-то нелепые фигурки в блокноте. Выпускница аккуратно все записывала. А я, вырвав листок, уничтожил свою мазню

К чему приведет мое недовольство? Я, конечно, вправе взять слово, высказать свою досаду.

Может быть, я один воспринимаю все так болезненно? Может быть, я все еще в отпуске?

Что было возразить против строгого ведения рабочего совещания? Разве не я сам частенько выступал против бесплодной болтовни на собраниях?

И на этот раз, по своему обыкновению, Штребелов предложил присутствующим высказаться. Как я и ожидал, говорить никто не рвался, все ведь уже сказано, и каждый из нас стремился не затягивать без нужды совещание.

Так Штребелов подошел к последнему пункту, который, однако, не был указан в повестке дня.

— А теперь, коллеги, я хотел бы сказать два слова о смерти коллеги Юста.

Штребелов объявил, что завтра в своей речи коснется трагического события, известного всем,— смерти коллеги Манфреда Юста. В последние дни, сказал он, мы много говорили об этом, за этим самым столом подробно все обсудили. Это обсуждение и его собственные раздумья дали ему основание следующим образом сформулировать соответствующий абзац.

Карл Штребелов поправил очки.

— Я скажу вот что: дорогие ребята, в дни летних каникул трагически скончался господин Юст. Мы все его высоко ценили. Сохраним же об учителе Юсте добрую память... Вот что я скажу. После чего мы почтим его память минутой молчания.

Штребелов снял очки, оглядел всех и продолжал:

— Хочу еще раз подчеркнуть, что именно так и следует отвечать на возможные вопросы учеников. У нас в этом деле должна существовать единая точка зрения.

Слова Штребелова меня не удивили, все это он сказал мне еще вчера вечером. Меня удивило молчание, царящее за столом, и еще больше удивило, что большинство учителей начали сразу убирать свои ручки и записи.

Все, значит, ясно? Я посмотрел в сторону Анны Маршалл. Она не отрывала глаз от пустого стола перед собой, избегала, видимо, моего взгляда. Значит, все ясно. Мне пришлось это принять как должное. Они уже обговорили все без меня. Штребелов вчера ничего мне не сказал, спокойно выслушал мои нападки. А я-то старался вовсю. Зачем?

Возможно, он хотел, чтобы и я продумал свое отношение к этому делу, как продумали они этот вопрос здесь, за этим столом, продумали все, включая и Анну Маршалл, а продумав, пришли к убеждению, что о смерти Юста можно и должно говорить только так. В интересах школы, в интересах умершего.

Анна Маршалл тоже молчала. А я? Что мне было сказать? Меня все еще одолевали сомнения. И даже усилилось ощущение, что таким путем мы не продвинемся ни на шаг. Возможно, я все воспринимал слишком болезненно, не успел освоиться с данным фактом, у меня было какое-то тревожное чувство, что нам еще придется столкнуться с трудностями и простые, слишком простые объяснения не помогут нам их преодолеть.

Анна Маршалл, так и не взглянув на меня ни разу, сложила свои бумаги в портфель.

Может быть, я только внушил себе, будто Анна Маршалл упрямо избегала моего взгляда, может быть, я только от волнения заподозрил это или хотел, чтобы мнение Анны о смерти Юста совпадало с моим.

Карл Штребелов, заканчивая совещание, напомнил, что завтра нас ждут наши обязанности, а сейчас он желает нам приятно провести последний день отпуска.

Он полагал, без сомнения, провести день где-нибудь на лоне природы. Под вечер Карла Штребелова можно будет наверняка застать в саду, за работой.

А почему бы нет? Он заслужил эти часы, он сделал все от него зависящее, чтобы благополучно начать новый учебный год.

Уходить я не торопился и поэтому не столкнулся с Анной Маршалл. Зачем? Раз она не хочет. Вечером я собрался было зайти к Анне Маршалл. Она жила в районе новостроек, не очень далеко от нашей квартиры, как, впрочем, все недалеко в нашем маленьком городе, во все концы — не более получаса ходьбы. Но я оставил эту мысль, не хотел больше сегодня думать о деле Юста.

Я накачал шины велосипедов — единственное, чего не сделали ребята,— и мы всей семьей покатили через лес к озеру.

Мы с Эвой сидели на берегу, наслаждаясь тишиной последнего летнего дня на озере, ребята играли неподалеку. И тут мы поняли, какая же родная нам — в противоположность югу, с его сочными, яркими красками,— окружающая нас суровая и скромная природа. Родство с этой природой мы теперь ощутили куда глубже.

О Юсте мы не говорили.

И вечером тоже избегали этой темы.

На следующее утро на линейке я стоял против ребят десятого «Б», классным руководителем которого был Манфред Юст. Последний учебный год им предстоит пройти без него. Ребята держались необычно тихо, и это было вполне понятно. Видимо, они только сейчас по-настоящему осознали, что их учитель ушел из жизни.

Класс передали преподавателю физкультуры Тецлафу — человеку энергичному, деятельному. Наша школа обязана не одним спортивным дипломом его настойчивости, его организаторскому таланту и его фанатической любви к спорту. Все дипломы можно было видеть на стенах наших коридоров.

Тецлаф стал преемником Манфреда Юста. Карл Штребелов в разговоре со мной обосновал это весьма логично:

— Коллега Тецлаф — самая подходящая кандидатура для десятого класса «Б». Он не сентиментален. О Юсте у него не так уж много воспоминаний. Ты ведь знаешь, ему не по душе был характер Юста. Они не поддерживали никаких отношений. Тецлаф гарантирует, что последний год ребята завершат благополучно. А это в конце концов главное.

Может быть, Карл прав. Но на линейке я увидел в первом ряду бледного Марка Хюбнера, и мне показалось, что он ничуть не отдохнул за каникулы. Возможно, о смерти обожаемого учителя — а именно так он относился к Юсту — он узнал только что, перед линейкой. Я вспомнил, Марк еще до начала каникул говорил о путешествии, которое они с отцом запланировали на август,— поездка на машине, с палаткой, в Польшу.

Марк не спускал глаз с директора, пока тот произносил речь.

Когда Штребелов дошел до абзаца, в котором объявлял о трагической смерти учителя, вся линейка замерла.

В минуту молчания многие не знали, как им держаться, кое-кто не снял шапок, другие поспешно сорвали их с головы.

Еще не было случая, чтобы в первый день учебного года на линейке чтили память умершего минутой молчания. Такого за многие годы моей работы в школе еще не бывало. Разумеется, пожилые учителя, наши бывшие коллеги, умирали. Но это не очень нас затрагивало, было в общем-то явлением естественным.

Анну Маршалл я на линейке не видел, она стояла со своим классом с моей стороны, и мне пришлось бы повернуться, чтобы увидеть ее.

Штребелов прочел слова о смерти Юста четко и спокойно, он заранее рассчитал все интонации. Такая уж была у него манера завер-

шать какой-либо вопрос. А выражение «трагически скончался» соответствовало фактам. Да, это была правда. И я начал понемногу примиряться с тем, что случилось, соглашаясь с аргументом, что жизнь продолжается, что жизнь предъявляет свои права.

Но все же втайне, в глубине моего сознания, у меня зарождался вопрос: разве не вправе, разве не обязаны мы, живущие, задуматься над необычной смертью человека, чтобы по возможности предотвратить преждевременный уход человека из нашего сообщества? С такой трагедией нам здесь негоже смиряться. Мы обязаны тщательно разобраться в том, какие причины привели к этому, и задать себе, пусть даже мучительные, вопросы.

На линейке в то сентябрьское утро я, правда, не стал развивать свою мысль, ее вытеснили другие мысли, вызванные речью Штребелова. А говорил он о конкретных задачах школы в наступающем году.

Вот это жизнь, настоящая жизнь, думал я. Она требует от нас напряженных усилий и работы.

В рядах школьников опять началось движение. Они то ставили свои портфели на землю, то брали их в руки, украдкой подталкивали друг друга, подшучивали друг над другом.

Исключение составлял десятый класс «Б». Марк Хюбнер, оцепенение которого пугало, так и не изменил своего положения.

Я кинул взгляд в другую сторону, на тополя. Всего год назад посаженные, они на удивление разрослись. От легкого ветра шелестела их листва. Этой отрадной картине мы обязаны были Юсту. Какой же нынче прекрасный день, совсем, совсем другой, чем два года назад. Сегодня Манфред Юст в пестрой рубашке и легкой замшевой куртке не обратил бы на себя внимания. И уж наверняка он бы не замерз.

Линейка кончилась, но я оставался на дворе, пока последний ученик не исчез в здании,— старый обычай, действующий успокоительно на наш школьный народ, вернувшийся после долгих каникулярных месяцев.

Ко мне подошел Карл Штребелов, держа, словно щит перед собой, папку, в которой лежала его речь. Этим утром мы еще не виделись — я пришел в последнюю минуту — и потому только сейчас поздоровались.

— Немножко резковатый переход, а? — сказал Карл.— Из отпуска — сразу в нашу суматоху.

Он поглядел на меня испытующе и, как мне показалось, чуть озабоченно. Конечно же, он заметил, что я сегодня явился так поздно. Как он это расценивает, я мог лишь догадываться.

— Прямое попадание,— ответил я, пытаясь держаться непринужденно.— Всего три дня назад я купался в Черном море. В теплой летней воде и где-то вдалеке видел снежные вершины. Слишком резкий переход. А ведь мы не самые здоровые. Да, Карл, мы не молодеем.

Карл поморщился. Подобные разговоры о нашем физическом состоянии он не жаловал. Странных придерживался он взглядов в этом вопросе. Пытался доказать, что именно в нашем возрасте можно быть в добром здравии, если наладить должным образом свою жизнь.

Видимо, он всегда чувствовал, что я, довольствуясь малым, просто хочу покоя в работе. А покой и вовсе ему не по нутру. Но на этот раз я был доволен, что сумел его отвлечь. Надо было отвлечь его, чтобы он не задал мне прямой вопрос: почему сегодня утром я не сидел у него в кабинете уже в половине седьмого, как повелось за долгие годы.

Пришлось бы мне, не захоти я лгать, ответить: Карл, у меня пропала охота спорить с тобой. Я выбился из сил, не хочу больше говорить о смерти Юста, мы ведь придерживаемся на этот счет противоположных мнений.

Я решил еще раз сослаться на возраст и сказал:

— Э, Карл, сам бы попробовал. Махни-ка на Кавказ, а потом раз — и обратно. Тогда поймешь. Нам с тобой незачем друг перед другом притворяться.

— Мне думается, то, что я сказал о Юсте, произвело должное впечатление,— заговорил Карл Штребелов.

Ну вот, мы все-таки вернулись к этому делу.

— А ты видел десятый «Б»? — спросил я.— Ребята потрясены больше других. В нашей практике случая такой смерти еще не бывало.

— Верно, не бывало.

Мы с ним стояли на огромном школьном дворе, два товарища по работе, люди уже не первой молодости. А видел я себя мальчишкой, который поругался с приятелем и ни за какие коврижки не хочет признать, что готов мириться. Это ощущение вызвал у меня, надо полагать, облик Карла — костюм не модный, но на вид как новенький, папка, прижатая к груди, и напряженное лицо. Меня захлестнуло доброе, сердечное чувство к Карлу.

Какие чувства испытывал в эту минуту Карл, я не знаю. Возможно, не подозревал даже, что бурлило во мне, считал, верно, что резкая смена климата и впрямь подействовала на меня. Был озабочен моим состоянием, но испытывал удовлетворение, что он, благодаря своему размеренному, дисциплинированному образу жизни, здоров и не подвержен подобным напастям. Я же был убежден, что он сам себя обманывает, просто его железная воля, умение желаемое принимать за действительное порождали видимость крепкого здоровья. Знаю это по себе. Еще два-три года назад я так же был уверен в себе и так же фанатично увлекался спортом, перенапрягая свои физические возможности. Результаты были плачевны, я свалился. Позже я нашел подходящую для себя меру. Не слишком много, не слишком мало, спорт должен быть не насилием, а скорее приятной привычкой.

Со здоровьем у Карла дело обстояло не лучшим образом. Его жена как-то разговорилась со мной по душам. Он себя убивает, сказала она, заставляет себя испытывать непомерные физические нагрузки. Хочет держаться на высоте, быть всем примером. А этого от него никто не требует. Он себя убивает.

Она просила поговорить с ним, бережно, осторожно. Напрасная попытка. Я встретил решительный отпор, он задал мне головомойку.

Ах, Карл Штребелов. Вот ты прижимаешь папку со своей речью к груди. Не болит ли у тебя сердце? Не стоили ли тебе последние дни слишком дорого? Все стоит тебе дорого. А ты не желаешь этого признавать, упрямая ты голова.

Уже перед дверью своего кабинета он сказал:

— Побереги себя, Герберт. Не перенапрягайся в первые же дни, слышишь? — Он погрозил мне пальцем и с трудом улыбнулся.— Больше работай в саду. Поверь, пробежка по лесу тебе тоже будет полезна. Но только хорошая, с нагрузкой.

Дверь за ним закрылась.

А я подумал: я-то занимаюсь бегом. Правда, не допускаю физической перегрузки, как ты. Я получаю удовольствие. Иной раз, когда чувствую, что устал, переключаюсь на ходьбу. Для тебя же все — обязанность. Все. Пробежка по лесу, школа, семья. Туго тебе приходится. Но самое скверное, что ты этого не замечаешь или не хочешь замечать. А еще хуже, что свои взгляды ты навязываешь другим. Разве понять тебе такого человека, как Манфред Юст? Знаешь, Карл, если говорить о существе дела, он не хуже тебя сознавал, что́ такое долг. Но сознание долга не исключало у него удовольствия от исполнения долга. Этому нужно учиться, Карл. Мне тоже пришлось этому учиться. У Эвы, в первые годы нашей жизни, и признаюсь, порой мне было чертовски трудно. У Манфреда Юста я тоже учился. Жадно

подглядывая, как он это делает, как превращает обязанность в удовольствие.

Медленно проходил я по зданию школы, у меня первый урок первого школьного дня был, по обыкновению, свободен. Может, Карл Штребелов сознательно так составлял мое расписание — я не спрашивал никогда,— чтобы я мог сделать контрольный обход. Тем самым он с первого же дня закреплял в моем сознании обязанности заместителя.

Свободный час я действительно использовал всегда для контрольного обхода.

Сегодня все было как обычно — в полном порядке. Тишина, только приглушенный гул из классных комнат. Минуту-другую я постоял перед дверьми, за которыми шел урок в десятом «Б».

Я не помнил, кто из учителей вел у них первый урок, и не мог, стоя перед дверью, определить. Да, трудно приходится сейчас ей или ему. Может, первый урок в десятом «Б» надо было провести мне? Разве не обязан я был сделать это для моего друга Манфреда Юста? Но чего должен был или мог бы я добиться? По своему обыкновению, я сошел и вниз, в подвальный этаж, где в мастерской застал нашего завхоза Эриха. Утром я только издали с ним поздоровался, однако этим ограничиться — нет, с ним так нельзя поступить, он у нас очень обидчивый. Я съездил в дальние края, а Эрих был страстным коллекционером видовых открыток и жадным слушателем путевых историй. Я не забыл послать ему открытки с Кавказа.

На доске рядом с дверью, куда он приклеивал открытки, я нашел и одну из моих. Я послал ее в первый же день по приезде в Гагру, и даже авиапочтой. Свой долг я, стало быть, выполнил и потому с чистой совестью вступал во владения завхоза.

Эрих, человек примерно моего возраста, был отличным слесарем и вообще мастером на все руки, на заводе он зарабатывал бы гораздо лучше, но вот не хотел менять школу на завод, ни за какие деньги не хотел.

Многим были мы ему обязаны. Он умел найти общий язык с ребятами, и с Карлом Штребеловым у него были прекрасные отношения. Вот уж верно, идеальная пара — наш директор и наш завхоз.

Доведись мне давать совет школьным директорам, я бы им обязательно порекомендовал подыскать себе хорошего завхоза, относиться к нему должным образом, видя и уважая в нем педагога.

Эрих как раз обтачивал ключ и хоть приветствовал меня — как от века повелось — сдержанно, но явно был мне рад. Видимо, ждал меня. Я стал ему рассказывать о поездке, о гагринских сапожниках, часовщиках, золотых дел мастерах, что показывают на улицах прохожим свое умение. Эрих вспомнил о подобных же сценах в Болгарии, где он побывал в прошлом году. Такой разговор — его стихия, при этом он не забывал действовать напильником.

Я надеялся, что поговорю с Эрихом о Юсте, намеревался это сделать, спускаясь вниз. История эта мучила меня.

Эриха я считал человеком с так называемым здравым смыслом. Разумеется, я прекрасно понимаю условность этого понятия. То, что для одного здравый смысл, для другого — взбалмошность. Трудно сказать, сколько тут возможно различных толкований и как часто, ссылаясь на это понятие, злоупотребляют им.

Но Эрих не давал повода к подобным сомнениям. Высказываясь о людях или проблемах, он чаще всего бывал прав. Его заключения, зачастую ошеломляюще простые, помогали разобраться в запутанных педагогических ситуациях.

Я уселся в старое плетеное кресло, что стояло рядом со станком и предназначалось для посетителей. Несчетное число раз я уже здесь сиживал. Карл Штребелов также. Точнее говоря, он не сидел здесь.

Он всегда находил себе тут работу, всегда старался помочь своему завхозу.

В нашей школе нет учителя, который бы хоть разок не почтил старое кресло. Юст, видимо, не составлял исключения. А может, все-таки? Внезапно я заколебался. В наших с Манфредом Юстом разговорах завхоз Эрих никогда не упоминался. Случайно? Но и здесь, внизу, я ни разу не встретился с Манфредом, а ведь кое-кого из коллег встречал, порой даже двух-трех сразу, в пору было открывать педсовет.

Похлопав по ручке кресла, я сказал:

— А коллега Юст здесь тоже иной раз сиживал?

Эрих, не прерывая работы, бросил на меня быстрый взгляд.

— Он никогда здесь не сидел,— буркнул он.— У него на то выдержки не хватало, он только мешался.

Эрих вынул ключ из тисков и стал рассматривать его против света.

— Да, история с Юстом тебя здорово задела, а?

— А кого из нас она не задела?

— Правда, правда,— согласился Эрих, вновь вставляя ключ в тиски,— но каждого по-своему.

Он продолжал опиливать ключ, и пронзительный визг металла был мне сейчас особенно неприятен.

Я насторожился, в словах Эриха слышались раздражение и досада.

— Что значит — каждого по-своему?

Эрих отложил напильник в сторону. Худощавый, с живым смуглым лицом, он смахивал на южанина. А на самом деле был родом из Штральзунда.

— Трус, свою жизнь — да псу под хвост, и еще сколько вреда принес. Ребятишкам.

— Но ведь обстоятельства нам неизвестны, Эрих,— озадаченно возразил я.

— Обстоятельства? Знаешь, я могу порассказать тебе об обстоятельствах, в которых, к примеру, оказался я, когда не раз и не два вполне мог расстаться с жизнью. Э, разве тебе такие обстоятельства не знакомы?

Над этим я как-то не задумывался, считал, что мне еще не приходилось попадать в столь безвыходное положение, когда ничего не остается другого, как расстаться с жизнью.

А ведь были и в моей жизни ситуации, когда я не видел выхода, когда мне одного хотелось — околеть. Я вспомнил особенно отчетливо три дня мучительной жажды летом сорок пятого. Мы, военнопленные, проезжали по территории, все колодцы и источники которой были заражены. Каждый из нас получал в день одну-единственную кружку воды. Но как-то раз наш вагон прицепили сразу же за паровозом. И на какой-то станции в котел стали заливать воду, негодную для питья, смертоносную. Я чуть не свихнулся за своим решетчатым окошком. И напился бы этой воды, если бы до нее дотянулся, я пил бы и пил ее, хоть и знал наверняка, что подохну. Я был тогда в одной из тех пограничных ситуаций, судить о которых человек может только куда позже. Но мои обстоятельства были иными, чем у Юста. Иными? Я же не знал, в какой ситуации оказался Манфред, какие его угнетали обстоятельства. Этого никто не знал.

Эрих сказал:

— Три дня меня носило на плоту по Северному морю. Мне надо было только разжать пальцы, и я бы отмучился.

Я промолчал, он, пожалуй, оказался в такой же ситуации, что и я. Нет, все-таки нет. Нельзя недооценивать самообладания Эриха. Едва не помешавшись от жажды, я бы выпил отравленной воды. А Эрих не разжал пальцы, он боролся за свою жизнь.

Эриху мое молчание, видимо, не понравилось. Он довольно резко сказал:

— Трагической назвал Карл эту смерть. Что в ней трагического? Трагической бывает смерть в авиакатастрофе. Вдобавок ребята должны сохранять об этом человеке добрую память? Да им же отводят глаза. Какая может быть добрая память о Юсте!

— Э, ты все упрощаешь, Эрих,— возразил я.— Я хорошо знал Манфреда Юста.

— Полагаю, я тоже хорошо его знал. Да ладно, оставим этот разговор,— сказал он и, повернувшись ко мне спиной, стал искать что-то в шкафу с инструментами.

Я спросил, что он имеет в виду, разве он так хорошо знал Юста? Но он уклонился от ответа, пробурчал что-то неопределенное, явно не желая откровенничать.

Юст своим самоубийством, так объяснял я себе отношение Эриха, нарушил жизненные принципы Эриха. Эрих осуждал легковесное отношение к человеку и тем самым к жизни. За долгие годы я узнал и оценил Эриха и его работу. Никто из нас так справедливо и так деликатно не поступал с детьми, как он. Он любил детей. Я не слышал, чтобы он на кого-нибудь кричал. Даже с самыми отъявленными озорниками он проявлял терпение и спокойствие, получая зачастую в ответ неблагодарность, но никогда из-за этого не изменял своей позиции.

Он был истинным провозвестником грядущих времен.

Именно этим объясняется его странная горячность и осуждение Манфреда Юста.

Кое в чем все-таки прав был я, хотя кое в чем и ошибался. Но тогда, в котельной, я еще не знал, что прав, и даже не подозревал. Это я узнал чуть позднее.

Из подвального этажа я снова поднялся в основное здание, поднялся, так сказать, из мира подземного в мир земной.

Хотел, как обычно, зайти к Карлу Штребелову, но раздумал и пошел в учительскую, где сейчас никого не было.

Медленно обойдя стол, я сел на место Штребелова, в директорское кресло.

Мне случалось, сидя на этом месте, вести совещания. Но эти случаи за последнее время можно было по пальцам сосчитать, Штребелов очень редко отсутствовал. А болеть в течение учебного года — нет, такого я вообще не помню. Болезни он откладывал на каникулы.

Чистая, но от частых стирок неказистая скатерть сдвинулась в сторону, пошла складками. Вот досадовал бы Штребелов. Учительской всегда полагалось быть в полном порядке. Состояние этой комнаты отражает состояние школы. Все посетители: школьники или взрослые, представители завода, родители или общественные инспектора из органов народного образования — все они, когда бы ни зашли в школу, находили эту комнату в образцовом порядке.

Разглаживая складки на скатерти, я едва не перевернул вазу, стоявшую посреди стола. Я знал, что ваза эта не получит одобрения Штребелова. Пестрый букет частично закрывал председателю обзор, а главное, отвлекал внимание. Зато астры скрашивали чересчур уж деловую обстановку комнаты.

С председательского места Штребелова я попытался представить себе людей за столом, как они сидели здесь накануне, учительницы и учителя, которые в эту минуту в классах отвечают на вопросы учеников, помогают им приобретать знания, будят их мысль, развивают их чувства.

С этого места школа в каком-то смысле просматривается насквозь, как здание из стекла, отсюда видны все девятьсот ее учеников на своих местах, вместе с учителями. А девятьсот — это уже мощь, это уже сила, хотя осмыслить этот факт все они еще не в состоянии.

Школа — это силовое поле и поле напряжений. Стало быть, ответственность человека, сидящего здесь, в кресле, не так уж мала. И ее следует правильно понимать. Все девять сотен — молодые люди, девятьсот отдельных личностей. Различные характеры должен примирить этот человек, но ведь и семьи накладывают на детей отпечаток, поэтому их подход к жизненным вопросам и, конечно же, к такому событию, как смерть учителя Юста, будет неодинаков.

Я испугался, поймав себя на раздумьях, в этом кресле совершенно неуместных. Ведь я сел сюда, чтобы воздать должное Карлу Штребелову, по крайней мере я пытался это сделать.

По многим вопросам я полностью соглашаюсь с Карлом. Разве я, как и он, не понимаю значения связи школы с заводом? Разве утверждение традиций в школе не было моей заботой в той же мере, что и Карла Штребелова. Я мог бы перечислить еще великое множество вопросов, которые я с этого вот места решил бы не иначе и уж ни в коем случае не лучше, чем Карл Штребелов.

Но разобраться в вопросе, который не дает мне покоя с первого дня,— в этом вопросе мне не помог разобраться и фокус с директорским креслом.

Смерть Юста оставалась для меня загадкой.

Вот и все.

По крайней мере, это я осознал. Звонок я, видимо, прослушал. И вздрогнул, когда кто-то повернул ключ в двери, у которой снаружи не было ручки.

Я едва успел встать и отойти к окну.

В комнату вошла учительница, фрау Зоммер, близорукая, она много воображает о своей внешности и поминутно стаскивает с носа очки, вот и не заметила меня сразу, не разгадала моего неловкого маневра.

— Ох уж этот первый урок, коллега Кеене, право истинная мука,— пожаловалась фрау Зоммер.

— У меня все впереди,— ответил я.

Но одни мы в учительской оставались недолго.

Перемена еще не кончилась, когда я отправился в девятый, в котором у меня был урок истории.

Удивительное дело, но, идя с папкой под мышкой по школьным коридорам, я стряхнул с себя нерешительность последних часов. Я шел, так во всяком случае мне казалось, целеустремленно, бодро, сочиняя мысленно свое вступительное слово. Я рад был предстоящей работе, чувствовал себя в своей стихии. К чему понапрасну ломать голову? Что случилось, того не поправишь. Только работой преодолевает человек минуты отчаяния. Открыв дверь в класс, я увидел знакомые и все-таки изменившиеся лица моих учеников. Ощутил привычное чувство собранности. И — спокойствие. Стало быть, все в полном порядке.

Но прошло два дня, и моего искусственного спокойствия как не бывало. Мне пришлось подменить заболевшего преподавателя в десятом «Б». Не так уж обязательно было именно мне подменять больного, были и другие учителя. Но я хотел, меня словно что-то гнало в этот класс, мне нужно было самому увидеть, какая там сложилась обстановка после смерти Юста.

Урок прошел организованно, что я приписал своему умению подать материал. Но не было ли иной причины? С уверенностью я сказать не мог, хотя вел урок спокойно. У меня создалось впечатление, что ребята ждут чего-то от меня, ждут чего-то из ряда вон выходящего.

Когда кончился урок и я уже собирался выйти из класса, дорогу мне преградил Марк Хюбнер. Парнишка за лето вытянулся, перерос

меня на полголовы. И худущий был невероятно. Сейчас лицо его покрывала какая-то неестественная бледность.

— Господин Кеене, можно мне вас кое о чем спросить?

— Разумеется, можно, Марк.

Мы с ним стояли посреди класса, загораживая путь к двери, а началась уже большая перемена.

— Здесь нам неудобно,— сказал я,— выйдем в коридор.

Мне показалось, что мое предложение пришлось ему не по душе, он медлил, бросая по сторонам растерянные взгляды. А вокруг тем временем уже столпились ребята, выжидательно поглядывая на нас. Нет, это не случайно, дошло тут до меня, они еще раньше надумали поговорить со мной — может быть, хотели даже во время урока. Да так и не решились. Но сейчас, в подобной обстановке, у меня охоты не было отвечать на их вопросы, не мог же я позволить им загнать себя в угол. Мне нужно было сохранить за собой плацдарм, чтобы спокойно все обдумывать и отвечать четко и убедительно. Мы с Марком вышли из класса, и я повел его в конец коридора, подальше от лестницы. Мое подозрение, что и другие ребята хотели принять участие в разговоре, кажется, подтверждалось. Марк беспомощно оглянулся, поглядел на ребят, а они, потоптавшись в дверях класса, двинулись все-таки к лестнице и спустились во двор.

Я взгромоздил портфель на подоконник.

— Ну, Марк, что вы хотели спросить?

Я встал спиной к окну, так что свет падал прямо на паренька. По его лицу пошли красные пятна.

— Так что же у тебя на сердце, мальчик?

— Почему нас обманывают, господин Кеене? Господин Юст покончил жизнь самоубийством. Мы это знаем. Так зачем нас морочат? Мы ведь не малые дети.

Предчувствие не обмануло меня. Этот вопрос они хотели задать мне еще на уроке. Волнение парня передалось и мне. Конечно же, они все узнали. С Юстом их многое связывало, может быть, не всех, но таких, как Марк. Неужели внезапная смерть еще не старого человека, весело, с шутками проводившего их на каникулы, могла оставить ребят равнодушными? Ах, Карл Штребелов, из-за твоего неразумного упорства ты многого не замечаешь и очень важные факторы недооцениваешь!

Но сказал я по возможности спокойно:

— Никто вас не обманывает, Марк. Господин Юст трагически скончался.

— Господин Кеене, пожалуйста, хоть вы не разочаровывайте меня. Я помню, как было сказано: господин Юст трагически скончался. Это мы все слышали. Но трагически скончаться можно по разным причинам. Мотоциклетная авария со смертельным исходом — тоже трагическое происшествие.

— Ты, разумеется, прав,— сказал я и ничего больше не мог придумать.

Марку же, наоборот, моя беспомощность придала силы, лицо его, помрачневшее было, вновь оживилось.

— Мы очень ценили господина Юста. Может, вы даже этого не знаете.

— Нет-нет, знаю,— ответил я,— вы все его любили.

— Да, я действительно его очень любил,— смущенно подтвердил Марк.

— Но что поделаешь,— решительно сказал я,— его не вернешь.

— Почему он это сделал? Скажите мне правду!

— Не могу, я сам ее не знаю.

Марк отступил на шаг.

— Вы не знаете?

— Нет,— сказал я,— я ее не знаю. И господин Штребелов тоже не знает. Никто не знает, никто.

— Это неправда! — крикнул парнишка.

Тут мне бы насторожиться. Но у меня были свои соображения, и я не хотел, чтобы мне мешали.

— Возможно, виной тому злосчастное стечение многих обстоятельств, которые никому теперь знать не дано. Поверь, Марк, ничего другого я тебе сказать не могу.

— Что же нам думать о нем? — спросил он словно бы про себя.

Я понимал, что это он о себе говорит, это его вопрос. Он хотел получить ответ.

А что мне отвечать ему? Разве меня не мучил этот вопрос, именно этот, после вечера у Штребелова? Я пытался отогнать свои мысли, избавиться от них. Все уже не раз взвесил, обдумал, хотел по-деловому все решить, рассмотреть историю гибели Юста с точки зрения своего немалого жизненного опыта. Но это мне не удавалось. И если я полагал, что обрел какое-то спокойствие, так теперь оно исчезло бесследно. А причина тому — горе паренька, его упорные вопросы. Я пожал ему руку.

— Марк, мнения своего о господине Юсте тебе менять не надо. Пусть он останется в твоей памяти таким, каким ты его знал. Это будет правильно.

Но почему он вдруг уставился куда-то мимо меня в окно? Он, задав мне вопрос, какого ответа ждал?

— Что же ты хочешь знать о господине Юсте?

Он опять глянул на меня, но уже удивленно. Скорее так, словно вернулся откуда-то издалека со своими мыслями.

— Я хочу знать, что было на самом деле с господином Юстом. Даже если это огорчит меня, даже если мне будет больно.

— Значит, ты не веришь, что я тоже не знаю большего?

— Но вы же должны знать. Учителя наверняка думали об этом,— пробормотал парень.— Просто от нас вы отгораживаетесь, относитесь к нам как к малышам.

Марк опустил голову, и мне показалось, что он сейчас заплачет. Я его искренне жалел. Но как ему помочь? Он отвернулся и пошел, высоко подняв плечи, как-то странно покачивая одеревеневшими вдруг руками.

Я глянул вниз на школьный двор. Там, как всегда, бегали, толкались, сновали туда-сюда ребята. Дежурный педагог, фрау Зоммер, стояла в дверях, конечно же без очков. Что уж она заметит?

Тут я спохватился, что не выполнил указания Штребелова — отрицать самоубийство Юста. Вдобавок я не спросил, откуда же, собственно, у Марка и других ребят из десятого «Б» такая уверенность, что учитель Юст добровольно ушел из жизни? От кого они это узнали? Или сами додумались, недоверчиво отнесясь к нашим словам?

Э, не все ли равно.

Как бы отреагировал Карл Штребелов, если бы кто-нибудь из учеников задал этот вопрос ему? Повторил бы свои слова из вступительной речи? Да, вполне возможно.

У Карла были очень строгие понятия о дисциплине. Распоряжение — дело святое. Но если бы Марк Хюбнер стоял перед ним бледный, взволнованный, с таким отчаянием в глазах? Не смягчился бы тогда Карл?

Все мои раздумья, однако, бессмысленны, Марк Хюбнер пришел ко мне, а не к директору.

Я спустился на первый этаж, собираясь зайти к Штребелову. Лучше сразу же, не оттягивая, выяснить, в чем тут дело. Только не медлить. Кто-нибудь придет к Штребелову и ложно истолкует вопросы, возникшие у учеников десятого «Б» о смерти их учителя.

Но я опоздал. И понял это, увидев Тецлафа.

— А, ты как нельзя кстати,— сказал Карл Штребелов.

— Кое-кто у нас начинает играть в дурные игры,— заметил Тецлаф.

— Коллега Маршалл пренебрегла моим указанием,— пояснил Штребелов.

— Что случилось? — спросил я.

Я-то знал, что случилось, затем ведь я и пришел. Мне вдруг все происходящее показалось каким-то странным. И замечание Штребелова, что Анна Маршалл пренебрегла его указанием.

В десятом «Б», услышал я, Тецлаф настоятельно потребовал, чтобы ему сказали всю правду, и узнал, что фрау Маршалл говорила с ребятами о смерти учителя Юста. Почти весь урок.

— В каком я оказался положении,— продолжал Тецлаф,— только накануне я решительно пресек все их попытки обсуждать эту тему. Согласно указанию и собственному убеждению. В каком же я теперь положении?

Видно, создавшаяся ситуация очень и очень беспокоила Тецлафа. Так вот, стало быть, с чего он начал как классный руководитель? Теперь я обязан был поинтересоваться, правильно ли было вообще отдавать такое указание.

— Меня они тоже спросили,— сказал я как можно спокойнее.

Оба посмотрели на меня, Карл даже приподнялся.

— Они, значит, хотят все знать,— проворчал Тецлаф, а подумал он, без сомнения, что это проба сил и вызов ему. Я повторил его слова с совсем другим ударением:

— Да, они хотят все знать.

Штребелов решительно объявил:

— Коллега Маршалл нарушила обязательное для всех указание. Мне придется привлечь ее к ответу. И вынести ей взыскание.

— Надо прежде как следует во всем разобраться,— предостерег я.— Мы же не знаем, как было дело. Коллега Тецлаф, тебя они спрашивали за день до этого. Стало быть, рассказ Анны Маршалл не мог послужить причиной.

— Не в этом дело,— возразил мне Штребелов.— Дело в самом факте — Анна Маршалл не выполнила указания. И еще одно: почему она не выступила на нашем совещании, когда мы обсуждали этот вопрос? Тогда она ни слова не сказала.

Меня на том совещании не было, но я помнил педсовет перед началом учебного года, тогда, сидя напротив Анны Маршалл, я недоумевал, почему она молчит, когда говорят о смерти Юста. Что тут происходило в предыдущие дни? Обсуждали они, вообще говоря, этот случай? Сомневаюсь. Если у Штребелова складывалось о чем-то мнение, он этот вопрос не ставил на обсуждение.

Вывод суровый, дорогой мой Кеене, но всего-навсего вывод, который ты не высказал. А что предпринял ты, чтобы изменить ход вещей? Мало, слишком мало. А что ты делаешь сейчас? Тоже слишком мало. Дипломатничаешь. По сути же, сам не видишь выхода, сам с собой не в ладах.

— Может, неплохо бы мне еще разок поговорить с Анной Маршалл. Я ведь ее хорошо знаю,— сказал я.

Штребелов, вновь усевшись в кресло, вскинул на меня глаза и постучал карандашом по столу, словно подавал какие-то сигналы.

— Я бы не смог. Взбалмошная она какая-то,— сказал Тецлаф.

— Вздор,— возразил я,— есть у нее своеобразные черты характера. Но у кого из нас их нет.

— Ее своеобразие я почувствовал на своем горбу,— язвительно заметил Тецлаф,— второй раз не желаю.

— Ты ее хорошо знаешь,— раздумчиво сказал Штребелов и после короткой паузы многозначительно добавил: — Ты ведь и Юста хорошо знал.

— Так говорить мне с ней или нет?

— Что это изменит? Впрочем, я не возражаю,— согласился Штребелов.— Сделаем все, что положено, пусть нам не в чем будет себя упрекнуть, а ты успокоишь свою совесть.

— Лучше прежде во всем разобраться, когда речь идет о таком суровом наказании, как дисциплинарное взыскание,— сказал я.

— К чему эти церемонии,— запротестовал Тецлаф,— я вправе требовать, чтобы случай в классе рассмотрели как можно скорее. Вы передали этот класс мне. Не желаю я маяться из-за мертвого господина Юста.

Тецлаф скрестил руки на груди. Всегда подтянутый, в спортивном костюме, энергичный. Да, он был хорошим учителем физкультуры.

Можно ли обижаться на него, если он хочет для себя ясности?

Но я при виде Тецлафа, скрестившего руки на груди, самоуверенного, убежденного в правильности своих взглядов, вспомнил Марка Хюбнера, я попытался представить себе, какой ответ получил бы парень от Тецлафа, у меня стало как-то нехорошо на душе.

— Поговорю с ней все-таки,— сказал я.

— Сегодня же,— настоял Штребелов,— не откладывай дела в долгий ящик.

Я вспомнил, что ребята из десятого «Б» и меня спрашивали о смерти Юста, вспомнил, уже выйдя из кабинета. Но мое признание потонуло в нашем разговоре, вернее, споре. Забыл о нем Штребелов? Или не пожелал меня подробнее расспрашивать? Собственно, и на меня должно обрушиться взыскание. Строго говоря, я сам обязан настоять на нем, если я допущу, чтобы его вынесли Анне Маршалл.

После шестого урока я подождал Анну Маршалл перед школой. Примерно с час пришлось мне погулять по лесу за автострадой, там, где во время войны стояли цеха авиамоторного завода. За десятилетия, прошедшие после войны, здесь выросли березы и сосны. Бетонные развалины цехов поросли мхом и травой, потеряли свой серый, унылый вид, походили теперь на простые каменные глыбы. Скалистый уголок посреди нашего степного простора.

Поджидая Анну Маршалл, я увидел Марка Хюбнера, выходившего из здания школы. Заметив меня, он поспешно изменил направление — так мне, во всяком случае, показалось — и свернул в боковую улочку, что было ему вовсе не по пути. Я пытался убедить себя, будто это чистая случайность. Он может ведь зайти к приятелю или к приятельнице. Почему столь поспешно сменил он направление? Ну, бывает же, вспомнишь, что тебе куда-то нужно, и свернешь... Однако во мне крепла щемящая уверенность, что Марк избегал встречи со мной. Не хотел больше сталкиваться со мной в этот день. Значит, я его разочаровал? А может, произошло что то уже после нашего с ним разговора в коридоре, и он ставит это в связь со мной? Предпринял Тецлаф уже какие-то шаги, позаботился на свой манер о ясности в десятом «Б»?

Я все больше и больше сознавал, что вопросы Марка Хюбнера прозвучали для меня предостережением и обвинением. Ради него, а не из абстрактных принципов обязан я начать борьбу.

Я разочаровал парня, и нечего себя успокаивать. Разве я ответил на его вопрос? Отделался общими словами, отеческим утешением. Не думай плохо о своем учителе...

Лжи в моих словах не было, но и правды тоже. Я скрыл от парня свое потрясение, свою растерянность. А должен был поделиться с ним. Он не отвернулся бы от меня.

Отчего мы считаем, что с молодежью нельзя делиться нашими волнениями и тревогами? Не обязательно жаловаться на безвыходность положения и безнадежность, не обязательно ныть, но правди-

выми мы быть должны. У нас великие цели. Как часто повторяем мы известную формулу: надо воспитывать из молодежи борцов. А значит, надо привлекать их к борьбе с трудностями.

Да, Кеене, все это тебе известно, обо всем ты многие часы размышлял, значит, и действовать тебе следует, когда дело того требует, сообразуясь с собственными взглядами. Не притворяйся, что тебя эта история не касается. О тебе идет речь в первую голову. Исключишь себя, Кеене, так станешь равнодушным, потеряешь волю к борьбе. Негоже это, дорогой мой Кеене, педагог и человек, а вернее говоря, человек и педагог.

Анна Маршалл не сразу меня заметила. Вполне понятно, ведь я спрятался, точно грабитель, за кустами, разве могла она подумать, что я собираюсь ее здесь перехватить.

Она удивилась, когда я вышел из укрытия. Мной овладели противоречивые чувства. Я сознавал, что мое поведение может показаться странным. Поэтому не дал Анне Маршалл рта открыть, а произнес сам полушутя-полусерьезно:

— Минуточку, коллега! Приглашаю тебя на чашку кофе. Поговорить нужно.

Мы отправились в ресторан городского клуба. Я давно здесь не был и, обратив внимание, что заведение нуждается в ремонте, стал говорить, как часто у нас, увы, тянут с ремонтом, а вот потом он обходится значительно дороже. Да, конечно, нет людей, нет людей. Но куда в нашем городке пойти, если вздумаешь выпить с коллегой чашечку кофе...

Я болтал и болтал точно заведенный. Анна Маршалл молчала. Кофе нам подали вполне приличный. И тут Анна сказала:

— О Юсте мне говорить не хочется.

— Но мне нужно знать, что с ним произошло,— сказал я.

— Я не хочу, потому что это не имеет смысла.

— В десятом «Б» ты об этом говорила. Там смысл был?

Анна посмотрела на меня, а до сих пор сидела уставившись в чашку. Девушка отличалась какой-то своеобразной красотой. Голубые спокойные глаза придавали ее тонкому лицу холодность и сдержанность, но чувственный рот выдавал темперамент.

— Ребята спросили меня о Юсте, и я ответила им правду.

— Правду?

— Да. Все, что я об этом думаю. Лучше мне было солгать? Я вообще не лгу. А в этом случае и подавно.

— Штребелов собирается вынести тебе взыскание,— сказал я.

— За что? За то, что я не солгала ребятам?

— Но ты же слышала его указание на педсовете. Почему ты там промолчала?

Анна подозвала официанта и заказала две порции коньяку.

— Значит, Штребелов поручил тебе со мной поговорить? — сказала она.— Почему он сам не побеседует со мной?

— Ничего он мне не поручал. Это я просил его, чтобы он разрешил мне говорить с тобой, прежде чем он объявит взыскание.

— Я остаюсь при своем мнении.

Официант принес коньяк. Она выпила.

— Какая уж польза ребятам от твоей правды? — сказал я.

И подумал о Марке Хюбнере, которому я изложил «свою правду» и который сегодня, выйдя из школы, постарался избежать встречи со мной. Вот он результат. А я ведь пытался придать мыслям парня правильное направление, посоветовал ему сохранить об учителе Юсте самую добрую память. Может, прав Карл Штребелов, когда настаивает, чтобы мы говорили только о том с ребятами, что поддается фактической проверке?

Человек трагически погиб. Разве в этом утверждении не больше

правды, чем в туманных, запутанных рассуждениях? Ведь они ничего не проясняют, а только возбуждают еще больше сомнений.

Анна сказала, словно бы про себя:

— Да разве я собиралась нарушать его указание? Нет, я тоже считала его разумным, мне оно как раз очень нужно, ведь я в этом деле куда пристрастнее, чем все остальные, чем даже ты, Герберт. Страшный случай именно так рассматривать, вот в чем я видела утешение и помощь. Извини, я не очень точно выражаюсь, за последнее время я много пережила. Но вот, когда я стояла лицом к лицу с ребятами из десятого «Б» и они спросили меня о Манфреде Юсте, все внезапно обрело иную окраску. Тут я поняла, что указание Штребелова невыполнимо, оно безнравственно. Чтобы тупо следовать этому указанию, мне пришлось бы самой себе изменить, пришлось бы отказаться от своих взглядов на профессию учителя. Когда множество глаз устремляется на тебя, ты не вправе увиливать. Может, не все так восприимчивы, а может, многолетняя рутина вытравляет из них эту восприимчивость. Я ребятам отвечала не по наитию, они не захватили меня врасплох, нет, я прекрасно сознавала, что, говоря им о возможном самоубийстве Юста, пренебрегаю указанием. Но иначе поступить я не могла.

— И что же было?

Она удивленно уставилась на меня:

— А что должно было быть?

— Как расценили ребята твой ответ? Что они теперь думают о Юсте?

— Не знаю,— тихо сказала она.— Но я им не солгала. Пусть взглянут правде в глаза. Ошибкой было бы оберегать их от сложностей жизни, даже если мы им добра хотим. Оборачивается это недобрым.

— Но ты же могла все это раньше высказать.

— Тогда я еще всего не продумала. Кое-что было мне еще не так ясно, как сейчас.

— Что ты имеешь в виду? — быстро спросил я.

— Все, что касается Юста и моего отношения к нему. И его отношения к другим, к его бывшей жене, к его детям.

Мне показалось, что ей хочется высказаться, хочется поговорить о том, что и у меня вызывает жгучий интерес. А именно — о Юсте, о таком Юсте, каким она его знала. Я был уверен, что ей известно больше, чем нам.

Опершись локтями о стол, она сжимала в руках рюмку с коньяком, крутила ее.

— Все с Манфредом Юстом обстоит иначе, чем многие предполагают. И ты, Герберт, знаешь лишь какую-то часть его духовного мира. Не хочу сказать, что я его очень хорошо знала, но, пожалуй, лучше узнала за последние полгода. Разумеется, у меня о нем свои суждения: они претерпели кое-какие изменения, когда я с ним ближе познакомилась. Я не осмеливаюсь сказать, что я его любила. Нынче я и вовсе не могу так сказать. Чего только порой не вобьешь себе в голову. А на поверку что? Понимаю, он умер. Как же мало я знаю о нем, ах как мало. Он, конечно, тоже в этом виноват. Он же был умница и насмешник, человек неотразимый, удачливый, обаятельный, со своими идеями, с оригинальной системой в работе, и всех, весь мир он озадачивал своими экстравагантными выходками. Это правда, но сущности его натуры не раскрывает. Сущность свою он тщательно скрывал, не хотел, чтобы кто-нибудь докопался до нее, нет, пожалуй, так сказать нельзя, но стоило ему только заподозрить, что кто-то пытается заглянуть в его внутренний мир, и он тут же занимал круговую оборону. Ты знаком с его бывшей женой и его детьми? Хотя откуда же. Сложная ситуация... Да, я кое-чем обязана Юсту. Знаю, что такое боль, отчаяние. Но и многое другое открыла я для себя благо-

даря Юсту, прекрасную сторону жизни и сложную. Возможно, я преувеличиваю. Мне нужно, Герберт, чтобы прошло время. Вот мое объяснение к случаю в десятом «Б». Надо вдобавок сказать, я терпеть не могу, когда меня считают младенцем и преподносят мне красивые слова о всякой чепухе. Не выношу этого. Ребята из десятого «Б» тоже так думают, в этом я уверена. Понимаю, подобного объяснения я никому дать не могу, коллегам не могу, а уж о нашем Штребелове и подавно говорить нечего. Не знаю, сгодится ли оно тебе.

Она выпила коньяк и улыбнулась беспомощно и печально. Я сказал, что понимаю ее. Она взглянула на меня с благодарностью и вместе с тем строго, испытующе. Не поверила мне? Неожиданно она задала мне вопрос, которого я до сих пор всячески избегал:

— Как все это могло случиться? Мы в этом виноваты?

— Мы? — переспросил я.

— Ну, тогда я. Как мне надо было поступить? Я глупо себя вела, это часто со мной бывает. Глупая, незрелая, неопытная девчонка.

— А он,— возразил я резко.— Если критиковать, так начнем с него.

— Почему? Он умер. Но ты спроси себя, нет ли в этом и твоей доли вины? Ты же не трус.— Она сердито посмотрела на меня.

— Кому от этого польза.

— Тебе в любом случае. Нам. Или вы все такие совершенные, что для вас не существует подобных проблем?

— Что ты хочешь этим сказать? Говори же,— настаивал я, надеясь, что теперь-то она скажет о трудностях, пережитых Юстом, и возможных причинах его смерти.

Но она больше ничего не сказала. Ее словно разбудили ото сна, и сон этот она никому не хотела доверить. А может, это я себе вообразил?

Скорее всего, она сочла, что и так много наговорила, разоткровенничалась со мной. Скорее всего, она стыдилась своих чувств, чем и объясняется ее замечание, что она многое преувеличила. Верх взяли ее сдержанность и скрытность, нам хорошо изв гные.

Меня это огорчило, но я не решился настаивать. Ничего бы не получилось.

У выхода из клуба наши пути разошлись.

— Привет Эве и детям. Как-нибудь на днях загляну.

— Готовы будут диапозитивы о нашей поездке, мы всех позовем.

Я поглядел ей вслед. Безупречная фигура и какая-то особенная походка. Не то чтоб вызывающая, но все же такая, что на нее оборачивались.

А год назад? Какой была она год назад? «Чистый лист», как говорят. Простая душа. Никакой симпатии я к ней не почувствовал. Беспокойная молодая учительница с преувеличенно высокими требованиями в некоторых вопросах, а в чем-то другом неуверенная. А Юст, наоборот, сразу стал ей симпатизировать, и я по разным причинам злился.

Как это получилось, понимал ли Юст, что, беря ее под свою опеку, он взвалил на себя тяжкую обузу? Однако почему Анна Маршалл была обузой? Не моя ли это выдумка, не предвзятость ли с моей стороны? Скорее уж она была для Юста, благодаря своей принципиальной позиции, будоражащим элементом. Она держалась с большим достоинством, и достоинство свое ей не приходилось судорожно утверждать или постоянно его доказывать. Просто оно у нее было.

Меня, а возможно и Юста, удивляла ее резковатая манера судить о стране, в которой она живет, и о ее трудностях. Никакой она не проявляла благодарности. Историю она рассматривала именно как историю, не отягощенную воспоминаниями.

Анна Маршалл в своей принципиальной позиции была честнее, чем я и Юст. Такая позиция помогает четче выявлять конфликты и

противоречия, не замазывает их, но и не накладывает на них позорного пятна. При этом — что вполне закономерно — не обходилось без утрировок, преувеличений и жестких позиций.

Хоть и с оглядкой, но я должен был признать то, над чем уже не раз задумывался: на арену выходит новое поколение учителей. Оно, это поколение, совсем иное, чем поколение Юста. У него свои особенности и свои заботы. Нам следует это признать и поставить на службу нашему делу.

Вполне может быть, Юст пришел к таким же выводам, когда свел дружбу с Анной Маршалл? Вполне может быть.

Как бы там ни было, я твердо решил приложить все силы и не допустить, чтобы Анне Маршалл выносили взыскание. Кому оно пойдет на пользу? С указанием поспешили. Разговоры об учителе Юсте не закончились. Указанием их не пресечь. Наоборот, оно лишь дает этим разговорам дополнительную пищу.

Но главное было в живущих, в ученике Марке Хюбнере, к примеру, у которого вся жизнь впереди, и в Анне Маршалл. И во мне дело было, в возможностях, которые открывались еще для меня в моей профессии. А разве не в Карле Штребелове было дело? Да, в нем и в Тецлафе, людях, думающих иначе, чувствующих иначе, они были неправы в этом случае, нельзя, чтобы они оказались правыми.

Дома я до вечера работал, готовился к урокам, кое-что нужно было наверстать, кое-что продумать, мне пришлось отложить подготовку, когда мы уехали в отпуск.

Я почувствовал прилив новых сил и решимость, поборол себя, освободился от парализующего воздействия последних дней.

А вечером отправился к Штребелову, которого, как и предполагал, нашел в саду. Он готовил сад к осени. Прислонясь к забору, я наблюдал за ним, но он меня не видел.

Перекапывая грядку, Карл работал ритмично и ловко, выдирал — в этом я убежден — каждый корешочек, каждый сорняк. Все делал без спешки, но без перерывов и неуклонно продвигался вперед. Я вновь, в который уже раз, восхитился терпением и упорством Карла. Стоять наклонившись, ему, видимо, никакого труда не составляло. Сам я вполне равнодушен к садовым работам, правда, всегда восхищаюсь садами, разбивка и урожай которых говорят об усердии создателей, но зависти к ним не испытываю. Куда охотнее я гуляю часами по лесу, сижу у озера на рухнувшем дереве и поглядываю на водную гладь и облака, любуюсь их диковинными формами, переливами цвета.

Я всегда брожу по лесу до усталости, но именно так я отдыхаю.

Я пошевелился, Карл поднял голову.

Нельзя сказать, чтоб он обрадовался. Он понимал, что я тут не случайно. Наш утренний спор он, видимо, еще хорошо помнил.

— Заходи, — пригласил он, — но через забор вряд ли у тебя получится.

Хорошо смазанная калитка не пискнула, когда я ее открывал. Шагая с одной каменной плиты на другую, я старался не наступить на взрыхленную землю. Карл указал мне на скамью, что стояла в густых сиреневых кустах, словно в беседке. Я знал — это любимое место Карла, отсюда он обозревал свой сад и видел всю улицу.

На скамье места было для четверых, но я сел на один ее конец, Карл Штребелов на другой — нам нужна была дистанция

— Я поговорил с Анной Маршалл.

— Что ж, ты сам хотел.

— Наказывать ее — ошибка, и последствия будут только отрицательные.

— Таково, стало быть, твое мнение после разговора с ней?

— Наш разговор утвердил меня в моем мнении. И указание не обсуждать смерть Юста — тоже наша ошибка.

Карл Штребелов смотрел куда-то в глубь сада, который постепенно окутывали серо-голубые тона наступающих сумерек. Локтями он оперся на колени и оттирал руки от земляных комков. Он явно был взволнован. Я тоже волновался. Но я принял решение. Наконец-то.

— Указание, стало быть, тоже ошибка. Что же тогда мы делаем правильно? Пусть указание ошибка. Но почему?

— Его нельзя провести в жизнь, Карл. Все факты известны. А мы молчим, уклоняемся от разговора, а подозрения и слухи множатся. Нам перестают верить. Может быть, уже перестали.

Штребелов взглянул мне прямо в глаза. Я почувствовал, что он тоже принял решение.

— Мое указание остается в силе. Анне Маршалл будет вынесено дисциплинарное взыскание. И вполне может быть, что в случае необходимости кое-кому еще.

Я сознавал, что в эту минуту отвечать аргументированно не в силах. Но должен был показать Карлу, что не пойду на уступки. Я не имел на то права — не только из-за себя. И обязан был разъяснить это Карлу сейчас, сию минуту. Его угрозу не ограничиться одним взысканием я понял, но это не могло меня запугать.

— Мне придется выступить против тебя, Карл.

Он вскочил, забегал взад-вперед, опустив голову, сунул руки в карманы, чего за ним раньше не замечалось. Наконец встал передо мной, глянул на меня сверху вниз. Лицо его, на которое я смотрел снизу, казалось застывшим, морщинистым, мне было неприятно, что он смотрит на меня сверху вниз, словно учитель, грозно стоящий перед партой, за которой сидит озорной ученик. Он так близко подступил к скамье, что коленями едва не касался меня.

— Я уже давно понял, что ты против меня. Этот Юст заморочил тебе голову. Только он начал у нас работать, и твоя намечавшаяся ранее неустойчивость стала крепнуть. Мы с тобой ровесники, немало у нас за плечами опыта, но он взял над тобой верх. У тебя, видно, в последние годы оставалось слишком много свободного времени. Да, надо было мне взять тебя покруче в оборот. Нельзя позволять всем вам пустых речей и заносчивого умничанья о педагогике. Особенно тебе. Вернее говоря, именно тебе. Ты, видно, уже давно стыдишься нашего прошлого. Но в нем — источник нашей силы, оттуда все мы вышли. Тогда мы достигли успехов, на которых все выстроилось, и клянусь, пересмотреть наше прошлое я не позволю. Тебе мои соображения, верно, кажутся слишком простыми, слишком примитивными. Дискуссии, дискуссии, споры, проблемы, глубокие размышления, психология — о, все это хорошо и звучит прекрасно, но при этом — прости-прощай дисциплина и порядок, основы правильного воспитания. И вот явился он, теперь своей смертью показавший нам, какое такое современное направление он представлял. Кем он оказался в действительности? Человеком, спасовавшим перед трудностями, болезненным, слабовольным, рафинированным, мечущимся туда-сюда, неустойчивым. Он колебался, точно тростник на ветру. И все это едва ли не возвысил до мировоззрения, придал всему вид взыскательности, усложненности. Ахинея, а не сложность. За всем этим крылись слабость и желание уклониться от насущных проблем. Да и ты оказался вместе с ним. Вон, брови у тебя вечно вскинуты, седина день ото дня прибавляется, все от раздумий о нем. А о чем тут думать? Он на том свете. Сам себя туда отправил. Пренебрег обязанностью педагога — прежде всего трудиться ради утверждения жизни, не говоря уже о прочих обязанностях учителя в социалистической стране. Зачем ты пытаешься защитить его еще сегодня? До чего хочешь докопаться? Он замолчал навеки. Пользуясь дружбой с тобой, он водил тебя за нос, пытался выставить себя, мягкотелого слабака, личностью крупной и интересной. Ты этого не заметил? Неужели

он так тебя обморочил? Ни слова больше обо всем этом, конец. Ради нашей молодежи и ради тебя самого. Потихоньку улизнуть из жизни — нет, этого мы не одобрим. Мы, учителя нашей школы, не одобрим, пока еще мое слово что-нибудь значит. А пока оно еще значит. И если нужно будет, я не остановлюсь перед схваткой. На карту поставлены наши принципы. На карту поставлено наше будущее. Твое и Анны Маршалл тоже. И твоя Маршалл, это я тебе обещаю, не станет последовательницей господина Юста, нет, не станет. Либо она будет учительницей, как я это понимаю, либо ей придется уйти. А тебе придется пойти на попятный и на старости лет не сходить с ума. Ты, человек авторитетный, не будешь поддерживать всякие сомнительные воззрения. А если не возьмешься за ум, я всыплю тебе по первое число. Ты меня внимательно слушал? Больше я тебя щадить не стану.

Тут я вскочил со скамейки — дальше от него, еще дальше. Штребелов тоже отступил на шаг.

Так стояли мы друг против друга, старые боевые товарищи, а теперь непримиримые противники, решившие не щадить друг друга. Да, на карту поставлены принципы нашей работы. Это я понял и ощутил ледяной холод, как уже не раз у меня бывало, и означало это глубочайшее волнение. Позднее появится боль в сердце.

Ничто, даже вид Карла Штребелова, человека, которого я знал уже не одно десятилетие — его покрасневшее, все в пятнах лицо, его потертые вельветовые брюки с пузырями на коленях, тяжелые руки, беспомощно повисшие,— не могло растопить льда в моей душе.

Не прощаясь, прошел я мимо него и, ни разу не обернувшись, не обращая теперь внимания на разрыхленную землю вокруг каменных плит, вышел из сада. Словно оглушенный, шагал я по улице. И только почувствовав запах смолистого дыма, очнулся. Кто-то жег хворост. Не слишком ли рано? Да мне-то какое дело, мне жечь не очень-то много.

Я растер левую сторону груди, но боль, увы, не проходила. Остановился — оказывается, сам того не замечая, я шел к школе. Теперь я двинулся обходным путем, через лес, стараясь дышать медленно, чтобы избавиться от этой чертовой тянущей боли.

Каким-то отрешенным взглядом смотрел я на темную зелень сосен и на березы, листья которых исподволь уже меняли краску, да еще не слишком заметно, но скоро, скоро процесс этот усилится, листья вспыхнут на краткий миг золотом, начнут опадать. А когда ударят первые ночные заморозки, они станут облетать все быстрей, позже холодные струи дождя превратят их в невзрачную массу, и постепенно они сгниют на сырой лесной земле.

Так что же случилось? Нет, он не прав. Обвиняет меня в склонности к авантюрам в педагогике и всерьез полагает, что я попался Юсту на удочку. На какую удочку? Юст для него человек, спасовавший перед трудностями, шарлатан, опасный элемент, он пагубно влиял на окружающих и влияет еще сегодня.

Вздор, Штребелов. Твое упрямство, твоя ошибочная позиция порождены твоей беспомощностью. Ты где-то остановился, стал избегать сложных вопросов, воздвигать вокруг себя стену из странных традиций. Хочешь отгородиться от неудобных новых проблем. Твоя деловитость оказывается на поверку весьма уязвимой. Ты смотришь все время назад. Да, если бы ты в прошлом хотя бы обретал силы, о чем постоянно возглашаешь. Так нет, ты там ждешь только подтверждения твоим отжившим взглядам. От твоих воспоминаний о нашем прошлом веет ностальгией. А сложности первых лет, заблуждения, схватки и конфликты ты забываешь, в твоих рассказах порой прорываются интонации сказочника, да ты еще с умилением восклицаешь: «А помнишь!»

Но почему я не сказал всего этого тебе в саду?

Нельзя было, ты слишком далеко зашел, слишком, но и я в своих

мыслях тоже зашел слишком далеко. Когда же речь идет о принципиальных вопросах, нужна выдержка, а не взволнованность, порождающая несправедливость.

Лес начал на меня действовать. Теперь я перешел на свой обычный шаг — не очень медленный, не очень быстрый. Такой ритм приносит успокоение, помогает размышлять.

Да, я успокоился, но непримиримость не исчезла. Я твердо решил обмозговать ситуацию со всех сторон. Последствия, какие бы они ни были, буду нести я один. Я поклялся себе, что все тщательно исследую, трезво взвешу все «за» и «против». Главное, мне необходимо понять поступок Юста. Но кто мне поможет? Анна Маршалл не хочет ничего говорить. У нее ко мне нет доверия. Хотя знает она больше, чем сказала.

Погуляв с час по лесу, я добрался до дома и, как мне казалось, пришел более или менее в себя. Однако Эва озабоченно спросила, не болен ли я.

Я поспешил заверить ее, что просто устал, гуляя в лесу. Изумительное сейчас время — конец лета, но осень уже дает о себе знать.

— Почему ты решила, что я болен? — удивился я.

— А ты глянь-ка в зеркало.

Да, по мне все сразу видно, глубокие тени легли под глазами, резче обозначились морщины вокруг рта.

Слабо, но все еще ощущалась боль в левой стороне груди.

— Прими капли,— сказала Эва, доставая пузырек.

Я плюхнулся в кресло и почувствовал, что только теперь начал освобождаться от ледяного холода, сковавшего меня, от шока, обрушившегося на меня в саду у Штребелова.

— Так что же стряслось? — допрашивала меня Эва.— Таким я тебя давно не видела.

Я рассказал ей о споре со Штребеловым, о намерении Штребелова вынести взыскание Анне Маршалл.

Эва, примостившись с ногами в кресле, внимательно слушала меня. Мне же возможность выговориться принесла облегчение. Я уже начинал смотреть на всю эту историю со стороны, становился объективнее.

Когда я кончил и мы немного помолчали, Эва неожиданно сказала:

— Да, Манфред задал нам нелегкую задачу.

— Но ведь дело уже не столько в нем,— возразил я.

— Нет, Герберт, это он не дает нам роздыха. Мы не знаем, что произошло с ним в действительности, никто этого наверняка не знает, ни ты ни Карл и я тоже не знаю, оттого мы и не находим покоя А что волнует нас больше всего? Дай мне наконец-то сказать. Вопрос вины. Кто виновен в его смерти или что виновно.

— Вопрос вины? — повторил я пораженный.— Но такого вопроса и не возникало.

— Такой вопрос всегда возможен, Герберт, когда приключается подобная беда.

— Мне хотелось бы иметь такой ответ для Марка Хюбнера,— сказал я, волнуясь,— чтобы он не избегал меня.

Эва тронула мою руку:

— Успокойся, Герберт Подумай о своем здоровье. Ведь все можно обсудить спокойно. И очень даже нужно. Сдается мне, рассудительности вам не хватило. Вы разно судите обо всем, связанном со смертью Юста, и защищаете свои взгляды, яростно споря. Но при этом невозможен объективный подход к делу. Отчего избегает тебя Марк? Да оттого, что ты не дал ему ответа, который бы его удовлетворил. Может, ты не в состоянии его дать. Но парню этого не понять. Он думает — они нам лгут, они знают больше, они какое-то участие во всем этом принимали, а молчат потому, что совесть нечиста.

Я поднялся, подошел к окну, выглянул на темную улицу.

— Почему же молчит Анна Маршалл? — пробормотал я.

— Может быть, знает не больше,— запинаясь, ответила Эва, сама не очень-то веря этому.

— Она знает больше,— сказал я и вспомнил, как в кафе Анна внезапно замкнулась; высказав поначалу несколько туманных догадок, она вдруг замолчала, словно это была сфера, в которую по каким-то причинам она не желала никого допускать.

Эва тоже подошла к окну. В туфлях без каблуков она была мне едва до плеча, хрупкая, нежная.

— Поберегись, Герберт. Подумай о детях... и обо мне.

Я обнял ее за плечи.

В эту минуту я не помнил ни о своей болезни, ни о том, что подвергаюсь опасности. О тянущих болях в левой стороне груди нельзя, конечно, забывать. А об остальном?

Вечером Эва прочла мне два стихотворения. Первое написал Сергей Есенин, поэт, о котором я знал лишь понаслышке. Один из самых талантливых русских поэтов, сказала Эва. В 1925 году он покончил жизнь самоубийством. И Эва прочла мне его прощальное стихотворение:

До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей

Строки эти взволновали меня, наполнили печалью. Возможно, раньше я воспротивился бы подобному их воздействию. Безысходность, пессимизм оттолкнули бы меня. Но сегодня? Чего стоят две заключительные строки: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

— Маяковский,— сказала Эва,— ответил на это стихотворение своим стихотворением. В тысяча девятьсот двадцать шестом году. Самоубийство талантливого поэта глубоко поразило Маяковского. У него стихотворение длиннее. Я прочту тебе начальные и заключительные строки:

Вы ушли
как говорится,
в мир иной
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка,—
в горле
горе комом,
не смешок.

Маяковский, потрясенный, задается вопросом о причинах этого самоубийства. Находит он их? Недостаточный контакт с массами? Возможно. Возможно, однако, что-то совсем другое. Непонимание противоречивого, но большого таланта. Возможно и это. Абстрактные представления о путях к социализму. Пожалуй. И под конец Маяковский говорит:

К старым дням
чтоб ветром
относило
только путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.

Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

Эва читала медленно и тихо, тем самым подчеркивая трагический смысл стихотворения.

Да, Владимир Маяковский, его боль и его мучительные поиски причин этой тяжелой утраты...

Я еще размышлял над этими строчками, когда Эва сказала:

— А через пять лет он сам застрелился.

Я вздрогнул, хотя и знал об этом, но сейчас как-то выпустил из памяти. Впервые услышав о самоубийстве Маяковского, я усомнился в поэте революции. Я не допускал мысли, что такое может случиться. И сегодня тоже об этом не вспомнил, так не хотелось мне признавать чудовищный факт.

— И все-таки он остается бессмертным,— сказала Эва.

Но можно ли сравнивать смерть Маяковского со смертью Юста? А почему нет? И можно и должно, когда дело идет о человеке. Эва по-своему помогла мне это понять.

Штребелов, как же легко ты находишь определения — слабовольный, неустойчивый и что там еще. Ты не прав. Так нельзя судить. Слишком просто. Ты, правда, гордишься своей простотой. Но ты путаешь простоватость с простотой, Карл. Твой упрощенный взгляд на жизнь и на людей, Карл, изолирует тебя, отгораживает от более глубокого познания фактов, помогает тебе уйти от вопросов, которые поставили бы под сомнение твою позицию.

Отчего ты не думаешь, что такой человек, как Юст, не сумел, быть может, преодолеть тяжелый кризис? Ты, Карл, не допускаешь даже подобной мысли, считая, что никаких кризисов у человека в нашем мире быть не должно. Подобная мысль могла бы подорвать твои незыблемые взгляды.

Я хочу разобраться в этом вопросе. Я обязан это сделать. Теперь я понимаю: он меня мучил до нынешнего дня, потому что и я всеми способами пытался уберечься от него. И моя доля вины есть в том, что произошло с Юстом. Я обязан был поддержать Юста, да так, чтобы всем стала ясна моя точка зрения. А я медлил, сомневался, боялся лишних забот, проявил нерешительность.

Стоп! Никаких самоистязаний. Это же самое простое, это можно себе позволить, чтобы потом вздохнуть с облегчением: я, мол, все осознал.

Нет, на другом полюсе Юст. Ведь против некоторых черт его характера, не слишком-то приятных, я тоже не выступал с достаточной решимостью. Что это за черты?

Быть может, склонность к резкой смене решений; как часто он отметал чужое мнение, в какой обидной форме защищал свои, пусть даже верные, взгляды. И такие же резкие смены настроения.

И это все? И это причины такой смерти? Вот вопрос, который не дает мне покоя, который будет возникать все снова и снова.

Эва помогла мне, напомнив о Есенине и Маяковском. Эва могла бы помочь и Юсту. Во всяком случае, это мог бы сделать просто сердечный человек, взгляд которого не замутнен предубеждением или вечными колебаниями. Такой человек помог бы ему.

Возможно, однако, что все надо рассматривать совсем иначе. Что известно нам порой о человеке рядом с нами, о друге, о товарище, о женщине?

В последующие дни не произошло ничего, что указывало бы на наши с Штребеловым разногласия в деле Анны Маршалл. Карл проявлял сдержанность, и никто не подумал бы, что у нас дошло до разрыва.

Школа работала бесперебойно, словно хорошо смазанный часовой механизм. Мне кажется, этот механизм работал даже точнее, чем обычно. Директор создал наилучшие условия для педагогов. Но разве не в этом его главная задача? Никто не может этого отрицать, в том числе и я. Мне, его заместителю, следует прилагать все усилия, дабы соответствовать требованиям нашего коллектива.

Но за кажущимся спокойствием, подозревал я, идет подготовка к стычкам, которые вот-вот вспыхнут. Карл не такой человек, чтобы остановиться на полпути, он не такой человек, на которого можно нагнать страху, даже выйдя из его сада с окаменевшим лицом, не прощаясь.

Карл уверен в правильности своих педагогических взглядов, уверен, что защищает разумные идеи и что свой школьный корабль проведет сквозь все и всяческие опасности.

В те сентябрьские дни он приготовил нам приятный сюрприз. За школьным двором, ближе к автостраде, лежал большой пустырь, он зарос крапивой, сорняком, корявыми, низкорослыми сосенками.

В одно прекрасное утро на пустыре появились бульдозеры и выровняли участок. Директор специально созвал линейку, на ней школьники и педагоги узнали, что наша давнишняя мечта осуществляется: здесь будет создана спортивная площадка для школы. План добровольной помощи строительству нашими силами уже имелся. План разумный, дельный, вышедший, конечно же, из-под пера нашего директора.

Теперь до самой зимы у нас было общее дело. А уж раз мы получили экскаватор, бульдозер и рабочих специалистов, то сомневаться в успехе не приходилось.

Как Карлу Штребелову удалось заполучить технику и людей вне очереди — оставалось его секретом. Спрашивал кто-нибудь, он только рукой махал и ухмылялся.

Но факт — он своего добился. Результат не замедлил сказаться. Во-первых, у нас появилась спортплощадка, отсюда логический вывод — повысился КПД уроков физкультуры, и коллега Тецлаф воодушевился, его переполняла энергия; во-вторых, такая коллективная задача создала для учеников и учителей и даже для родителей спокойную рабочую атмосферу, авторитет школы вновь поднялся; в-третьих, сами собой прекратились разговоры о мрачном событии, о сомнениях, о смерти, разговоры на темы, обращенные вспять, они перестали преобладать в повестке дня нашего городка.

Все это я очень хорошо понимал, тем более что и сам не избежал положительного влияния этой операции. Я вместе со всеми рыл ямы для столбов на волейбольной площадке и прыжковую яму. Стояла прекрасная осенняя погода, бабье лето держалось необычайно долго.

Львиную долю работы должен был сделать десятый «Б», что и неудивительно. Тецлаф сразу же привел своих парней и девчонок — преследовал он, конечно же, не одну цель. Да, нам предстояла напряженная, активная осень. Случайно все совпало или нет, не имеет значения, но это было ответом Карла Штребелова на пагубное воздействие поступка учителя Юста.

Однажды, прокладывая дорожку, я столкнулся с Анной Маршалл, которая, так мне во всяком случае казалось, избегала меня в последние дни.

Я спросил, чем окончилось дело с взысканием.

— На понедельник меня вызвал директор,— сказала она,— а ты ничего не знаешь?

— Нет. Значит, все-таки!

— Может, речь пойдет о чем-нибудь другом. О новой квартире, к примеру, о повышении оклада.

Я посмотрел на нее, но она, избегая моего взгляда, опять нагнулась и неумело стала рассыпать лопатой щебень. Я собрался было показать ей, как это надо делать, но раздумал. Ей явно не хотелось со мной разговаривать, она не испытывала ко мне доверия.

Юст тоже не испытывал ко мне доверия. Неужели я такой странный, никакого доверия не внушающий субъект. Яростно набросился я на щебень. Вот по крайней мере работа, результат которой видишь незамедлительно. Снесешь гору щебня — и готова аккуратная дорожка. Вполне наглядный результат, на который можно даже ступить.

Мы должны были все кончить к следующему понедельнику, тогда здесь закипит спортивная жизнь. Через неделю, стало быть.

Штребелов на этот раз не торопился. Что было внове для него. Вообще говоря, я считал его человеком, испытывающим отвращение к тактическим маневрам. Но, может статься, он не так уж уверен в своей правоте, как пытается показать. И потому действует по принципу: время лечит все раны. Напрасный труд в данном случае. Рана может слишком быстро затянуться, а под, казалось бы, здоровой поверхностью образуются нарывы, и в один прекрасный день они дадут о себе знать.

В ту неделю мне надо было уладить кое-какие дела в Берлине, и я решил навестить отца Юста. В записной книжке я отыскал адрес, который мне как-то написал Манфред. Его отец жил на Карл-Маркс-аллее.

Я вышел на остановке Франкфуртер Тор. Да, эта улица, бывшая Франкфуртер-аллее, обладала для меня какой-то особенной притягательной силой. Еще студентом педагогического института я помогал убирать здесь развалины. И дома ее, позже охаянные и осмеянные за архитектуру, дома эти произвели на меня тогда ошеломляющее впечатление, показались мне истинным чудом. Они олицетворяли для меня созидательный коллективный порыв. Карл Штребелов тоже принимал участие в этой работе. Голубые знамена над руинами и наши песни. Брехт. «Дружно за дело! Стройка, подымайся ввысь! Из развалин новый мир мы строим смело. Кто там стоит на пути! Берегись!»

Какие это были времена! А вот она, эта улица сегодня. Годы не пощадили тех новых и невиданных зданий, что выросли на месте старых доходных домов и развалин вдоль Франкфуртер-аллее. Довольно долго на нее поглядывали свысока. Но теперь она прочно заняла свое место в картине города. Дома с мраморными колоннами у входа, медленные лифты, паркет в квартирах — мы ко всему привыкли.

В одном из этих домов, на одной из дверей — табличка с именем Юст.

Альфред Юст. Слесарь-железнодорожник. Активист Первого часа [1]. В Руммельсбурге [2].

— Да-да, я веду свой род от древней пролетарской аристократии, дорогой Герберт. Мой старик — слесарь в Руммельсбурге,— как-то раз чуть иронично, но любовно сказал Манфред.

Мне повезло, я застал Альфреда Юста дома. Худощавый, с белыми как лунь волосами, он тотчас мучительно напомнил мне сына.

С недоверием, словно оценивая, смотрел он на меня.

— Что вам угодно?

— Я Герберт Кеене,— ответил я, смешавшись.— Ваш сын... мы были друзьями. Я уезжал за границу...

Он впустил меня.

---

[1] В ГДР так называют людей, с первых же дней после разгрома фашизма принимавших деятельное участие в создании антифашистского демократического строя.

[2] Восточный район Берлина, где на реке Шпрее находится одна из крупнейших электростанций — Клингенберг и железнодорожные ремонтные мастерские.

— О тебе он мне рассказывал,— начал Альфред Юст,— о тебе и о твоей жене. Вы для него кое-что значили.

Альфред Юст провел меня в комнату, обставленную удобной, простой мебелью пятидесятых годов. Круглый стол, уже, видимо, два десятилетия выполняющий свои функции, стоял посередине.

Юст пододвинул мне стул и сел напротив, на диван, руки, сжав, положил на край стола и взглянул на меня испытующе. На стене рядом с пейзажами — степь, лес, озеро — я увидел фото, на нем — локомотив, украшенный флагами. В центре на белом щите начертана цифра 200, и под ней слова «Жел. ремонтн. мастерские. Руммельсбург». Высокий, худощавый рабочий в спецовке, в котором я без труда узнал Альфреда Юста, стоял на небольшом возвышении и передавал человеку в старомодном костюме какую-то бумагу.

Легко было догадаться, что на фото зафиксирован торжественный момент — видимо, юбилей ремонтных мастерских, а может быть, отмечалось восстановление после войны двухсотого локомотива в Руммельсбурге. Пожилой человек, что сидит напротив, надо думать, принимал в этом активное участие.

— Ты, конечно же, хочешь что-то узнать о Манфреде,— сказал Альфред Юст.

— Я хотел бы побывать на его могиле.

— Я так считаю — вы лучше знаете, что с ним стряслось. Он же у вас был, а не у меня. Меня он навещал, да, это верно. «Ну, старик, как живешь-можешь? Все еще с локомотивами возишься? Теперь везде на дизели переходят, видно, пришла пора тебе на пенсию уходить, отец. Ну, что ж. Ты ее честно заслужил...» Так он всегда со мной разговаривал. Такая у него была привычка. Такой уж он был, в мать пошел. О вас он рассказывал скупо и редко. Но, кажется, ему у вас было хорошо. Не то что в П. Проклятые были годы, мученье одно для парня, поверь мне. Ах да, ты ведь толком не знаешь, как он жил в том городе, который и мне был не по душе. Он неохотно рассказывал о жене и о детях. Женитьба стала истинным несчастьем для парня поверь. А я оказался прав. Почему же он не хотел уехать оттуда из П.? В комнатенке поселился — рядом с прежней квартирой, из которой она его вышибла. Я ему предложил сюда въехать. Места хватает. Три комнаты для одного старика. Парень нашел бы здесь работу, в школах нужны учителя, я интересовался. В конце-то концов, он человек способный. Так нет, не пожелал. Он и хотел уехать оттуда и не хотел. Думаю, паршиво ему приходилось. Работать в двух шагах от этого города и в сущности в нем оставаться. Дьявол его знает, поверь мне, я во всем этом не разбирался. Поколотил бы его иной раз. Ему же все само в руки давалось, все ему было легко. А он только усложнял свою жизнь, превращал ее в ад. Такой была и моя жена. Да, он был вылитая мать. Кто тогда, много лет назад, понимал, почему она именно меня выбрала? Красивая, веселая Мария взяла в мужья этого чурбана Юста? Э, нет, невозможно? А вот и возможно. Если она попадала в беду, так ни к кому не бежала за утешением, никому не изливала душу. Да, не изливала, а ведь вовсе не молчунья была. Не хотела быть никому в тягость. Чертовски этого боялась. Но зачем же люди соединяют свои жизни? И как не помочь родному человеку? Почему же парень ко мне не пришел? Эту боль мне не избыть. Понимаю, да, в жизни чего не случается, наш брат многое повидал и пережил, он бы хоть попытался со мной поговорить. Знал ведь, где я живу. Вот здесь, где ты сидишь, было его место, когда приезжал. За этим столом мы частенько веселились, давно, когда они еще оба живы были. Я шумным никогда не бывал, я человек неповоротливый, неловкий. Но они доставляли мне радость. Разойдутся, бывало, парень и его мамочка, так дым стоит коромыслом.

Альфред Юст замолчал, сжал руки. Да, такие воспоминания причиняют боль.

— Водки? — спросил он.

Я согласился, понимая, что ему нужно выпить. Он достал бутылку пшеничной и две рюмки.

Мы выпили, и мне тоже стало легче.

Я оглядел комнату. Радиоприемник старой марки, на столике в углу, прикрыт салфеткой, на нем «Спутник» из Москвы. Я мысленно представил себе, как перед этим приемником сидит Манфред, и мир входит в его комнату. Здесь провел он часть детства и юность. А теперь в комнате как-то холодно и пусто. Такой она останется навсегда, ведь они, та женщина из города П. с детьми, сюда никогда не придут.

Альфред Юст проводил меня на кладбище у дороги, что ведет к Фридрихсхайну. Старик держался очень прямо, куртка на нем была чистая, исправная, хотя носил он ее, видимо, уже не первый год, брюки с широкими отворотами отглажены, башмаки вычищены.

Шапки он не носил, ни к чему она ему.

День выдался ветреный и холодный. Длинная обветшалая кладбищенская стена казалась мрачной и старательно ухоженное кладбище с бессчетными рядами могил тоже.

В ряду урн — свежий холм. Цветы, а венки уже убрали. Я охотно глянул бы на наш, от нашей школы, на ленте которого наверняка был текст, сочиненный Карлом Штребеловым.

Рядом с новым холмом — серый камень, на нем выбито имя: Мария Юст, урожденная Конопа. Жена, мать, умерла в середине шестидесятых. Рано умерла.

Мы молча стояли перед двумя холмиками.

Странно, но только сейчас я окончательно осознал, что Манфред Юст умер. Здесь, на оголенном в эту пору кладбище, расположенном вплотную к красному кирпичному зданию и словно стражами окруженном дымовыми трубами. Здесь, в местах, где вырос, нашел Юст свой покой. Сознаюсь, я был близок к тому, чтобы разреветься.

Старик достал из-за надгробного камня грабли, маленькие игрушечные грабельки, детские, тщательно очистил холмик от листвы, взрыхлил землю вокруг могил.

Отчего он не оставит осенние листья? Пусть бы укрывали оба холма.

На улице я распрощался с Альфредом Юстом.

Подумал было пригласить его к нам в Л. Но тотчас отбросил эту мысль. Альфред Юст не приехал бы к нам. Да и зачем? У него теперь две дороги. К Варшауэр Брюкке, чтобы съездить в Руммельсбург, к коллегам, к любимым своим локомотивам, пока он в силах, ведь только там он еще чувствовал биение своей жизни, и вот сюда, на это кладбище посреди огромного города.

Я пошел к Александерплац и оттуда на Унтер-ден-Линден.

В книжном магазине на улице Либкнехта я поискал книгу для Эвы, хотел найти что-нибудь особенное. Но ничего не попалось. Да и трудно найти подходящее для Эвы. Я купил цветы на вокзале Фридрихштрассе и уехал назад в Л.

Мне было грустно, но я был спокоен.

Я побывал на могиле Юста. Смогу теперь описать все Марку Хюбнеру. Может быть, съезжу туда с ним и с другими ребятами.

Но, может быть, они не захотят? Для большинства история с Юстом была уже в прошлом. В конце концов, так и должно быть. Или я ошибаюсь? А как сам я отношусь к ней?

Я, конечно, хотел, чтобы все успокоилось, чтобы история эта завершилась, но обстоятельства складывались иначе. Оттого я и к могиле на скромном кладбище в Фридрихсхайне шел с тяжелым сердцем.

Да, мне и самому нужно найти какое-то решение, нужно найти слова, подводящие черту, даже если они прозвучат так: это ты, Кеене, ты, человек умудренный, кругом виноват. Пусть никто не упрекнет

тебя в открытую — только Эва могла бы упрекнуть, хорошо тебя зная,— ты не вправе преуменьшать свою долю вины. Из этого случая ты извлек урок и сформулировал принцип, на котором будешь строить свою дальнейшую жизнь. И он гласит: делай отныне все, что в твоих силах, чтобы не пострадал человек.

Но в школе мне еще нужно было урегулировать многое, не говоря уже о дисциплинарном взыскании, угрожавшем Анне Маршалл.

Об Анне Маршалл старик, видимо, ничего не знал. Иначе он заговорил бы о ней.

Да, многое еще оставалось непроясненным.

В тот час, когда все эти соображения теснились у меня в голове, я не догадывался, что мне предстоят два дня — суббота и воскресенье,— когда смерть Юста целиком займет мое внимание и вызовет у меня еще больше противоречивых мыслей, чем я мог когда-либо предположить.

На моем письменном столе я нашел пакет. В нем лежали письма, написанные Манфредом Юстом Анне Маршалл летом. Письма были пронумерованы и аккуратно стянуты резинкой.

К пакету была приложена открытка, адресованная мне.

«Дорогой Герберт, я все-таки решила показать тебе письма, которые Манфред писал мне этим летом — стало быть, незадолго до смерти. Я боролась с собой. Но сейчас я уверена, что тебе их прочесть следует, и никому больше. Одно исключение я допускаю. Если ты считаешь нужным, пусть эти письма прочтет Эва.

Привет,
ваша Анна».

Я взвесил пакет на руке. «Анне Маршалл» — было выведено четким, изящным почерком на каждом конверте.

На обороте стоял обратный адрес — город Н., расположенный где-то на севере, и какая-то улица этого города.

Узнаю я хоть что-нибудь из этих писем? Помогут они мне разгадать загадку Манфреда Юста? Что ждет меня? Новые неожиданности? А Эва? Мне, значит, решать, читать ей эти письма или нет.

В тот же вечер я начал читать письма, которые Манфред Юст написал Анне Маршалл.

III

«Н., 7 июля

Дорогая, любимая моя, Анна,

не рви это письмо, не бросай его в огонь, не откладывай его в сторону без внимания. Прочти его до последней строки со свойственным тебе спокойствием, тем спокойствием, которое действовало на меня столь благотворно и в то же время будоражило меня.

Прощались мы с тобой в последний день занятий довольно холодно, вернее говоря, мы вовсе не прощались. Я не стал говорить тебе, что еду в Н., дабы отдать себя в руки моего друга Иоахима, которого ты не знаешь. Он врач окружной больницы. Не пугайся, в этом есть нужда, но нет ничего трагичного. Мне не хочется да и ни к чему распространяться о том, что мне самому еще не ясно. К счастью, природа изобрела боль, как сигнал, чтобы человек все-таки замечал кое-что и своевременно кое-что предпринимал.

Вот я здесь, в Н., кое-что предпринимаю. Если быть честным, то я лично еще ничего не предпринимаю. Сижу в дивном саду, солнце припекает мне макушку, а я думаю, думаю прежде всего о тебе, и вот пишу тебе письмо.

Как корреспондент я тебе незнаком. Иной раз я пишу длиннющие письма, иной раз ленюсь две-три строчки черкнуть.

Но тебе писать собираюсь прилежно и... сколь можно откровенно. Хочу использовать время, его у меня здесь полно, а вообще-то нам его всегда не хватает. Хочу поделиться с тобой кое-чем, возможно, таким, чем обычно делиться не принято.

Домик, в котором я живу, лежит на краю города, неподалеку от озера и от больницы, в нем живет Иоахим с семьей. Я гость, окруженный вниманием, и единственно, чего бы желал,— провести здесь с тобой когда-нибудь отпуск. Этого, понятно, не случится, ничего у меня не выйдет, да и ты наверняка не захочешь провести со мной отпуск.

Прощались мы холодно, и я намеревался в тот же вечер зайти к тебе, чтобы попрощаться совсем иначе. Но из этого ничего не вышло. Жаль.

Ведь я люблю тебя.

Да, пишу это не дрогнувшей рукой.

Знаю, что сказать тебе это был бы не в силах. О чем горько сожалею. Почему я не могу просто произнести эти слова? Почему у меня всегда прорываются насмешливые нотки? Почему я вечно бью отбой? Скверно. Но уж таков я. Или таковы мы, кому нынче лет тридцать, тридцать пять. Нет, вздор этак обобщать. Хотя какой-то смысл в этом есть.

Смотрю я на Кеене и Штребелова, людей чуть постарше нас, на себя, на людей, как говорится, в расцвете лет и вот на тебя, на молодежь. Ты же у нас совсем юная. Около двадцати пяти. Самому смешно, я ведь чуть не воскликнул: какой счастливый возраст! Ну, дела, и чем все кончится, если я буду сидеть под деревом в тихом саду и дам волю собственному перу. И все-таки я еще раз пишу: я люблю тебя.

Делай теперь с моим признанием что пожелаешь, радуйся или умиляйся, злись, пугайся или смейся, но для меня эти слова значат одно — я полностью все осознал. Теперь, после почти года наших более чем странных отношений. А может быть, именно поэтому. Но ты, может быть, прочтешь эти слова и, усомнившись в них, подумаешь: ну и что? Кого только он не любит.

Знаю, у тебя для этого есть известные основания. Опыт общения со мной — вот что позволяет тебе задаться подобным вопросом.

Помню те два дня в мае, когда мы решили съездить в Дрезден. Все складывалось превосходно. Ты так рада была, что поедешь в чудный город на Эльбе, так рада была, что увидишь его музеи — даже меня своей радостью заразила. Экскурсия обещала быть чудесной Но за два дня я сказал тебе, что поездку придется отложить, я ехать не мог.

Ты тотчас догадалась: «Тебе разрешили повидать детей, не так ли?» Да, мне разрешили повидать детей. Выяснилось, что я ненадолго могу к ним приехать, как, впрочем, уже часто бывало. Моя бывшая жена отправилась на конференцию, и я мог побыть с детьми в нашем загородном домике. Узнав, что целых два дня дети будут только со мной я позабыл все — наши замыслы нашу поездку, твою радость, музей «Зеленый свод», прогулки на берег Эльбы, о которых мы уже мечтали, позабыл, что мы хотели побывать в районе «Белого оленя», посмотреть оттуда на долину Эльбы... Я думать забыл о предстоявших нам двух ночах, о которых мы хоть и не говорили, но которых так ждали.

Да, все было забыто. Я стремился к детям.

И ты это тотчас почувствовала. Женщина такое всегда чувствует, теперь я это понимаю, но в ту минуту мне эта мысль оказалась недоступной Мы поссорились оттого, что ты решила ехать одна. Я обвинял тебя в эгоизме и нежелании считаться со мной. Я, которому безусловно следовало помалкивать, прямо-таки взбесился. Ты ушла и на дру-

гой день уехала в Дрезден. А я поехал к детям и провел, не стану лгать, чудесные два дня. Впервые после долгой разлуки они принадлежали целиком мне одному, мои Ирина и Андре.

Не следует ли мне теперь написать, что я все время думал о тебе, что эти два дня с детьми считаю попусту потраченными? Нет, это было бы ложью, дорогая Анна. Извини мою откровенность, вернее говоря, разреши мне эту откровенность. Я как раз собираюсь внести ясность в наши отношения. Хочу хотя бы попытаться. Быть может, здесь на досуге, вдали от тебя и других у меня что-то получится. Я знаю, ясность — вот что нам нужно. Звучит несколько прозаично, но это так.

Когда я говорю, что считаю тебя гармоничным человеком, то вовсе не собираюсь замалчивать противоречия, которые заметил или почувствовал в тебе. Ты бывала порой беспощадной. Я едва не написал — как Штребелов. Но твоя беспощадность все же иного толка. Это твоя молодость. А молодость имеет право — никуда не денешься — быть беспощадной.

Однако не всякую беспощадность молодежи можно одобрить. Вот и моим отношениям с детьми ты не сочувствовала. Может быть, это ревность? Нам нужно когда-нибудь, а может и скоро, самим родить малыша. Да именно это я тебе предлагаю.

Согласен, тебе нелегко было раньше и сейчас нелегко понять мои чувства. Они достаточно запутанны.

Странно, но в те два дня время словно откатилось назад на два года. Два года на короткий миг словно бесследно исчезли.

В воскресенье вечером «трабант» моей бывшей жены остановился у дома. Она вышла из машины — в светлом костюме, жакет нараспашку, прическа чуть растрепалась,— усталая после конференции и поездки. Дети бросились к ней с криком, повисли на ней. Тут бы мне не сидеть на скамье, отирая пот после игры в мяч, а пойти с улыбкой ей навстречу, как бывало когда-то, выждать, пока дети отпустят ее, поцеловать в лоб и спросить: «Все прошло удачно?» Она ответила бы: «Разумеется. Дело того стоило. Изрядно потрудились. И результаты есть...»

Меня так тянуло к ней, что я действительно шагнул ей навстречу. Она улыбнулась, когда я подошел, улыбнулась искренне и сердечно. Но когда я остановился перед ней, улыбка погасла. Лицо стало холодным и замкнутым, каким я его слишком хорошо знал. А я? Доложил ей, как у нас прошли дни, что все в полном порядке, и попрощался.

Она предложила отвезти меня на вокзал, но предложила явно нехотя. Смотрела на меня недоверчиво и переводила взгляд на детей, уже снова игравших в мяч. Я поблагодарил, но сказал, что мне полезно пройтись по лесу.

Распрощавшись с детьми, я ушел.

Отойдя немного от дома, обернулся, надеялся, что дети кинутся за мной. Я ошибался. Они как раз исчезли в доме, мне слышны были энергичные приказы моей бывшей жены. В доме воцарился привычный порядок.

А я шагал через лес, проклиная себя. Тряпка, дуралей, слабак. Но знал, подвернись в ближайшую субботу такой же случай, опять поеду, а в воскресенье так же покорно удалюсь.

Оттого-то я понимаю, дорогая Анна, любимая моя, что ты правильно делаешь, избегая меня, и относишься ко мне сдержанно. Да и как тебе иначе ко мне относиться? Закрывать глаза на факты? Может, кто и мог бы. Только не ты.

И все-таки я хочу во многом разобраться. Быть может, мне это удастся здесь, в тихом саду, в который как раз входит мой приятель Иоахим и знаками предлагает мне кончать мои письменные излияния. По крайней мере на сегодня.

Прошло несколько минут, может даже полчаса, когда я отвечал на вопросы и выслушивал советы строгого доктора Иоахима. Обычные, разумеется, и очень скучные.

Хорошо ли я себя чувствую, и как провел день, и что завтра они начнут вплотную заниматься моим несчастным организмом.

Покончив с этим, мы выпили пива. Поистине живительный напиток.

В доме есть, понятно, и дети, их трое, они тоже играют с отцом в мяч. Такова участь всех отцов. Вижу, что пачка писчей бумаги тает, завтра отправлюсь за новой. Выберу самую лучшую, «какая только есть», чтобы тебя хоть этим порадовать.

Перечел свою писанину. Не знаю, правильно ли я поступаю? Вот опять сомнения. Я откровенен по мере сил.

Дай о себе знать. Жду от тебя весточки.

Отчитай меня как следует, если сочтешь нужным. Я все приму, все выслушаю, только об одном прошу тебя — не молчи. И если ты выполнила мою просьбу, выраженную в первых строках письма, и, стало быть, прочла его, так прими мою благодарность. Сегодня же я передоверю сие послание почте. Точка.

Приветствует тебя преданный тебе
Манфред».

«Н., 9 июля.

Madam, оказывается, я не в силах спокойно дождаться вашего ответа, хотя твердо решил поступить именно так. Не устаю напоминать себе, что почта, действующая у нас в стране, не самая быстрая в мире. Кто знает, когда мадам получит мое письмо. Быть может, почтовики не доставят его, оно покажется им слишком толстым. Мне следовало, для верности, наклеить двойную марку. Но самое простое решение редко приходит в голову сразу.

Я опять сижу в саду под деревом (груша), и погода все еще великолепная, вид отсюда открывается восхитительный, но в остальном...

Есть исследования, прямо скажу тебе, премерзкие, зато помогают понять, что у нас внутри творится. От этого недолго и захандрить. А главное — осознаешь свою полную беспомощность. Мой друг Иоахим, правда, придерживается иной точки зрения. Во-первых, он недвусмысленно намекнул мне, что исследования эти самые обычные и что для меня все еще только начинается. Во-вторых, он вообще не сочувствует моей хандре, человек, говорит он, так устроен, что представляет собой некое единство, благодаря которому его организм функционирует, забывать этого никак не следует. Да, у врача совсем иные эстетические взгляды, чем у нашего брата. Я согласен с ним и делаю все, что в моих силах, напрягаю свои интеллектуальные способности и пытаюсь разобраться в своих бедах как человек разумный.

Что ж, все идет отлично, «отлично рычишь, Лев!» [1]. Однако до сей поры, стало быть добрых три с половиной десятилетия, я вообще не задумывался над тем, что делается в моем нутре.

Но — хватит об этом.

Едва я бросил первое письмо в ящик, как тут же стал раскаиваться. По своему обыкновению. Что это ты насочинял? Расписался, забыв дисциплину, не контролируя ни своих мыслей, ни своих чувств. Дал волю собственной авторучке. И это называется — мыслящий человек, педагог, якобы что-то разумеющий в психологии.

Не подумай, будто я хочу какие-то свои слова взять обратно, это смысла не имеет. И признание в любви я вновь повторяю, надеясь лишь, что тебе оно, вновь повторенное, не наскучит.

Но сомнительна другая часть письма, сентиментальное описание выходных дней, проведенных с детьми, изображение моей бывшей

[1] В. Шекспир. Сон в летнюю ночь, действие V, сцена I *(перев. Т. Л. Щепкиной-Куперник).*

жены. Уместно ли было писать тебе об этом? Какое тебе до этого дело?

Ты вправе спросить: чего он, собственно, хочет? Любил ведь свою жену, спал с ней, родил двоих детей, была у него семья, а потом он развелся, ушел от детей. Вот его и заела нечистая совесть. Пусть отправляется к ним, резвится с детишками, любит их и время от времени целует в лоб жену. Можно и так жизнь прожить. Многие живут, стоит лишь поглядеть вокруг.

Замечаешь, я, кажется, уловил твой тон. Именно так можешь ты меня спросить. Напрямую, начистоту. Ясность прежде всего — это ведь твой принцип. Ты знаешь, я частенько с твоим упрощенным, на мой взгляд, требованием ясности не согласен. Но признаю его за тобой, поскольку ты такая, поскольку это требование ты предъявляешь и себе. Но не так-то все просто, требование это весьма абстрактно, оно не учитывает всех сложностей в жизни человека.

Это и есть главный предмет спора между моим уважаемым коллегой директором и мной в области педагогики. Однажды, когда тебя еще не было в нашей школе, я не наказал ученика, который напился, и не предал дело огласке. Я знал, какие обстоятельства послужили причиной, и понимал, что только доверием можно вернуть парня на путь истинный. Ох, какой тут поднялся переполох. Пришлось мне проявить характер, когда ко мне подступились с вопросами. И я проявил его, хотя признаю, что вопросы были справедливые. Я мог бы обсудить свои действия с директором и коллегами. Но я не доверял им и, главное, не верил, что Штребелов пойдет на известный риск, ведь я с самого начала ощущал предубеждение, с каким он меня встретил. Я же пришел, как ты знаешь, из спецшколы. Вот и задирал чуточку нос.

Так вот, мое решение оказалось в основном верным, я не требовал от парня четкого ответа, я действовал не по схеме, я принял во внимание все обстоятельства и все сложности этого случая.

Нет такого случая, который целиком и полностью походил бы на другой. Это я не устану повторять себе, дабы не допустить ни единого ложного педагогического шага.

Так что же случилось в тот день, когда напился Марк Хюбнер? Это был наш экскурсионный день. Я со своим классом поехал в окрестности П. Целью поездки я избрал дворец, где после войны было принято то самое соглашение, влияние которого мы ощущаем на всех политических фактах нашей современности. Цель эту я ученикам не назвал. Напряженный интерес ребят, ожидание — этого мы в педагогической практике никогда не должны ни забывать, ни отбрасывать.

Мы еще не доехали до П., когда Марк Хюбнер, один из лучших учеников в классе, стал бог знает что плести, кричать, размахивать руками. Мы подумали поначалу, уж не заболел ли он, но тут же поняли, что он пьян, и нашли у него баклажку с водкой, самой дешевой. Даже его лучшие друзья не заметили, когда он напился. Парень, видимо, выпил, пока мы шли через лес.

Что делать? Поначалу и я растерялся, хотел даже искупать парня в озере, чтобы он отрезвел, но тут же одумался, последствия могли быть тяжкие. До моей квартиры, как тебе известно, можно добраться относительно быстро. Мы повели его ко мне, и я предпринял все возможное, чтобы отрезвить его. На это потребовалось время. Весь класс сидел у меня в большой комнате, в ней, как ты знаешь, полроты уместится, а я постарался, чтобы они не скучали. К чести класса, надо сказать, держались они молодцами. Все, видимо, хорошо относятся к Марку Хюбнеру.

А он свалился как подкошенный, ведь пить-то он не умеет.

Когда он пришел в себя, я поговорил с ним, спросил, что, собственно, случилось. У парня был прежалкий вид. Он глянул мне в глаза и промолчал.

«Отвечай, парень. Ты обязан отвечать»,— строго сказал я.

«Не знаю,— едва пробормотал он,— как это случилось».

Мне стоило немало терпения и труда добиться, чтобы он выложил мне все начистоту.

«Отец,— сказал он тихо,— ударил мать. Но, пожалуйста, господин Юст, никому об этом не рассказывайте».

«И часто такое бывает?» — спросил я.

«Никогда еще не было,— ответил он.— Но сегодня утром случилось. Уже много месяцев они ругаются. Почему — не знаю. Они ничего не говорят, скрывают от меня. А раньше у нас все было в порядке. Сегодня утром я был в ванной, а они уже завтракали. Проходя к себе в комнату, я увидел, что отец вскочил и ударил мать по лицу. Потом он выбежал, а мать застыла на месте. Но когда я вошел, она сделала вид, будто ничего не произошло, хотя щека у нее горела от удара. Отец очень сильный, он и сейчас еще поднимает меня одной рукой высоко вверх. Мать промолчала, приготовила мне завтрак и пожелала хорошо провести день. А я бросился искать отцовский рюкзак. Отец у меня заядлый рыболов. И всегда берет на рыбалку баклажку с водкой. Спасается от холода по утрам. Ее я и взял. Где-то я читал, что стоит выпить водки — и горе позабудется, водка помогает пережить горе».

Я стоял перед ним, не зная, что ему ответить. Но обещал парню, что все останется между нами. И сдержал обещание. Главное в этом деле не водка, главное здесь совсем другое.

Я считаю, что у педагога должно быть право принимать решения, которые могут быть и чрезвычайными. Нет единого рецепта, единого средства против всех бед.

Творчески работать — значит не только произносить правильные речи, нет, от нас вправе потребовать и что-то посущественнее. Ну так позвольте же поймать вас на слове.

О ужас! Ну и отступление. Господи, я вовсе не собирался читать лекцию о педагогике.

Назад, к сути моего письма, я ведь пишу тебе о моем отношении к бывшей жене и бывшей семье.

Я познакомился с женой во время учебы. Это была, как принято говорить, большая любовь. Общие цели, общие взгляды, различное происхождение и разные характеры. Она была девушка красивая, строгая, даже суровая и при этом какая-то беспомощная. Дочь химика, работавшего на заводе искусственного волокна. Ученый, всецело погруженный в свою работу, он не чуждался и политики.

От города П., где мы учились (видишь, опять этот город, он и теперь не отпускает меня), было недалеко до города, где жила моя подруга с родителями. Для тех трудных условий их дом был обставлен с большим вкусом и без всякого чванства. Да, мой будущий тесть понравился мне чрезвычайно. Мы не один час провели вместе, он расспрашивал меня, я расспрашивал его, мы частенько спорили, но вполне дружески. Это было для меня интересное время. Моя будущая жена — очень скоро стало ясно, что мы поженимся, — считала, что я вроде бы олицетворяю ту часть рабочего класса, из которой вырастает интеллигенция. Она обожала моего отца и куда прохладнее относилась к матери. Моя мать ведь была человеком не очень серьезным, заядлой шутницей. Но отец относился к моей жене с самого начала очень сдержанно, чтобы не сказать отрицательно. Теперь я понимаю, чем это было вызвано. Слишком уж была она категоричной, слишком теоретично рассуждала о политике, жизни, воспитании, морали. Да, она именно такая. Но я ничего не замечал, я был влюблен, да и нынче вовсе не считаю ее теоретизирование недостатком. Суждения ее отличались независимостью, за ними крылись знания.

Так вот, окончив институт, мы поженились, нас считали красивой и во всех отношениях счастливой парой. Вскоре мы получили

квартиру, жена осталась работать в институте, посвятила себя исследовательской работе, а я начал преподавать в знаменитой спецшколе. Все у нас выходило образцово. Рождались дети, прекрасные, здоровые, наше благосостояние росло. С помощью ее отца мы получили загородный участок, а потом и машину. Все наши интересы сосредоточивались на работе, у жены даже больше, чем у меня.

И вдруг начали появляться симптомы, в конце концов приведшие к распаду нашего брака. Процесс был болезненный, пренеприятный и длился долгие годы. Сегодня, когда я ищу, что же все-таки лежало в его основе, какие были тому причины, мне трудно найти ответ.

С моей точки зрения, наш брак стал невозможным из-за педантизма жены, она все строже и строже планировала нашу жизнь, в ней не оставалось времени для шуток, непредвиденных случайностей, сумасбродств. Все она разложила по полочкам и распланировала. Любое отступление от строгого распорядка вызывало у нее взрыв неудовольствия. А уж интимная жизнь, постель — для нее вообще дело второстепенное. Кроме работы и связанных с ней знакомых и в свою очередь связанных с ними встреч, скорее каких-то официальных банкетов, мы не знали развлечений. Зато планы у нее были. Защитить докторскую и так далее. У меня таких планов не было, во всяком случае пока, да еще из духа противоречия. Я стал объектом ее нескончаемой критики. Даже моя склонность, к примеру, одеваться по последней моде — а я предпочитал бы по последнему крику — была постоянной причиной ссор. Так и создалась у нас невыносимо напряженная атмосфера, но мы делали вид, что ничего не случилось, и производили, надо думать, хорошее впечатление на окружающих.

Пока я наконец не сорвался. Закрутил любовь на стороне, раз, другой. Нет, настоящего чувства не было, и выглядел я в этих историях не лучшим образом. Но у нас с женой все сломалось. Именно из-за этого. Начались даже недостойные перебранки. В жизни бы не подумал, что мы дойдем до такого. И вот дошли. В конце концов кончили разводом.

Здесь, кажется, самое время прервать изложение своей точки зрения. А что, если на все происшедшее посмотреть с другой стороны?

Красивая, умная, талантливая женщина вышла замуж за человека, которого любит, особенно любит за такие его качества, которых у нее самой нет, она твердо намерена создать семью прочную и, главное, позволяющую целиком погрузиться в любимую работу. Этого, однако, несмотря на все усилия, не случилось. Рядом с ней оказался человек легкомысленный, зачастую невоздержанный на язык, с какими-то затеями, легко поддающийся сиюминутным настроениям, обуреваемый внезапными идеями да еше сам себя восхваляющий — я, мол, с общепринятыми нормами не считаюсь. Оказалось, что она связана с человеком, не умеющим контролировать своего эмоционального состояния, он мешает ее распланированной, упорядоченной жизни, без чего, само собой разумеется, никакой престижной цели не достичь. Она вышла замуж за человека, который весьма непочтительно взирает на ее научные устремления, на ее серьезную работу, а будучи практиком, относится к ее работе скептически и не скрывает своего мнения. Она ложится в постель с человеком, когда ей это вовсе не по душе, да еще в самое немыслимое время, ведь муж не думает ни о самочувствии, ни о готовности партнера. Тут уж интимная жизнь, пусть разумная, сообразная возрасту, не может не потерпеть крах. Человек, который стал ее мужем, разыгрывает на приемах, на пикниках и разных встречах клоуна, ей приходится краснеть за него и через силу сохранять самообладание. Этот человек портит детей своими сумасшедшими выходками, которые никто, хоть мало-мальски понимающий в педагогике, не одобрит. Да еще заводит любовниц, не испытывая ни глубокого чувства, ни истинной страсти, просто так.

Да, вот какой у нее муж. Разве непонятно, что с ним следует расстаться, навсегда, со всеми вытекающими отсюда последствиями?

Вот, дорогая Анна, моя история, которую я не вправе был утаить от тебя, особенно теперь, после первого письма с его романтическим благодушием. Многое в нашем браке осталось нерешенным. Но так оно всегда бывает.

В том же, что касается нас с тобой, я совершил принципиальную ошибку. Я жил все это время только настоящим и хотел создать из него будущее. А так нельзя. Хорошего из этого ничего выйти не может. Прошлое не зачеркнешь, его не утаишь. Мы в том с тобой убеждаемся.

Я допустил ошибку, но все же очень и очень надеюсь, что мы будем когда-нибудь вместе. А сейчас надеюсь, что завтра придет от тебя письмо. И наверняка придут завтра первые результаты анализов. Надеюсь и в этом плане на добрые вести.

Итак, завтрашний день — это день надежды.

Сердечно тебя приветствую, твой
Манфред.

P. S. Погода все еще ужасающе прекрасна.

Так ведь не может долго продолжаться. Как думаешь?»

«Н., 12 июля

Привет, Анна,

благодарю. Твое письмо пришло, долгожданное, с нетерпением жданное. Но только сегодня... Лишь тот, кто страсть познал, поймет, как я страдал, вдохновенно пела моя мать. Твое письмо лежит у меня на столе, я сижу в комнате и гляжу вниз, на свою грушу, что клонится на ветру. По небу мчат серые тучи, море нынче совсем не ласковое, а мрачное и злое и уж ничуть не располагает к купанью. Однако на горизонте я уже вижу узенькую светлую полоску. Ну чем не надежда на голубое небо? Вот от этой-то серебристой полоски на горизонте человеку нельзя отрывать глаз.

Если ты уже получила мое второе письмо, то прочла, что я возлагал огромные надежды на следующий день. Ничего не вышло. Пустой номер. День десятого июля выдался незадачливым. Началось все с погоды. Дождь и холод. Я пошел, подняв воротник, к Иоахиму, он сидел за письменным столом, углубившись в изучение каких-то бумаг. Разумеется, моих анализов. Оказалось, Иоахим как раз из тех врачей, что внушают мне страх. Он что-то прикидывал, скрытничал, подбирал каждое слово. Эй, Иоахим, сказал я, не валяй дурака. Говори со мной как обычно, как с другом, как с приятелем. Но он словно оглох или не желал меня понимать.

Короче говоря, результаты первых исследований, тех «самых обычных», не удовлетворили врачей, нужны дальнейшие исследования. Иоахим говорит, что и не ждал ничего иного. Как так? Не ждал? А чего же он ждал, хотел я спросить, но не решился. О чем не знаю, о том не беспокоюсь. Дурацкая поговорка. В моем случае все как раз наоборот. Именно оттого, что не знаю, я беспокоюсь. Иоахим не проявил ни опасений, не озабоченности, но и утешать не утешал. Все изложил по-деловому, за это я его и люблю.

Говорю тебе, объявил он, и это тебе подтвердит любой мой коллега,— терпение, мой друг, терпение.

Он спокойно растолковал мне мои показатели: сахар, моча, кровь и др. Иоахим весьма современный врач. И поделился со мной воодушевляющей новостью: у меня превосходная ЭКГ, у меня, говорит он, такое сердце и такое давление, что три четверти человечества могут мне позавидовать. Ну вот, теперь я это знаю и буду радоваться своему здоровому сердцу. Только я ведь не из-за сердца приехал к Иоахиму, в этой области меня не точит, не сверлит. Мне известны случаи, когда

сердце у людей было сильным и здоровым, но тем медленнее и мучительнее они умирали.

Но Иоахим отличный врач. Я знал, что делал, когда поехал в Н. Все здесь легче и проще, он знает меня, я знаю его.

Десятого, вернувшись к себе в комнату — дома никого не было, жена Иоахима работает детским врачом, ребятишки кто в школе, кто в детсаду,— я ощутил какую-то смутную тревогу. Состояние, ты согласишься, для меня не слишком характерное. Итак, терпеливо ждать. Но как долго? И разве когда-нибудь в жизни, особенно если речь шла о моем здоровье, мне приходилось терпеливо ждать? Что-то не припомню. Я отличался превосходным здоровьем, собственное тело я, вообще говоря, ощущал, лишь выпив лишнее. Как я теперь понимаю, я знал лишь светлую сторону жизни. Где бы я ни работал, все складывалось так, как я того хотел и желал. Не считая тех случаев, когда я сам себе подкладывал свинью.

Итак, надо запастись терпением. Придется учиться терпению. Иоахим сказал все правильно. Будем надеяться, он еще не опоздал. А знаю я Иоахима уже двадцать лет. Как бежит время. Познакомились мы с ним у нас в Л. Вот ты и удивлена!

Три года моей юности я провел в Л. Тебе я о том еще не успел рассказать. Поэтому я после развода и поехал в Л. Никто не понимал меня. С чего это человек, ни в чем не проштрафившись, уходит из знаменитой спецшколы в П. и едет в обычную школу в Л., едет добровольно и питает какие-то надежды. Кое-кто всполошился. Почему бы это? Но ведь человек, гражданин, учитель, к примеру, имеет право из личных побуждений, о которых он никому не обязан докладывать, добровольно сменить место работы. Так зачем же сразу с подозрением листать его анкету? Ну да ладно. Таковы уж наши обычаи, и порождены они, это я признаю, известным жизненным опытом. Но ведь время от времени мы набираемся и нового опыта. Все-таки кое-кому я задал трудную задачку, орешек был им не по зубам. Признаюсь, мне все это доставило кучу удовольствия, но кое-кто и по сию пору тот орешек не раскусил.

Правда, удовольствие я стал получать уже позднее, в этом смысле вся моя затея оказалась оправданной. Конечно, я не ради удовольствия покинул знаменитую спецшколу и не потому, что мне вдруг пришло в голову сменить место работы. Хоть меня и можно упрекнуть в известной склонности к стихийности, на этот раз решение не было внезапным.

Мой шаг был связан с разводом, с требованиями, которые и вслух и молчаливо предъявляла мне бывшая жена, пока мы жили вместе. Создалась удивительная ситуация. Жена через меня наладила связи со школой, ее работа там не должна была бы отрицательно сказываться на наших отношениях. Но она сумела создать для себя, вернее говоря, для своих исследований определенные условия. Ее влияние в школе росло, а я ощущал себя все больше и больше объектом ее безудержной страсти к экспериментированию.

Вдобавок я начал замечать, да и теперь так считаю, что наше и без того прославленное учебное заведение благодаря крепнущим связям с институтом начало все больше приобретать этакую исключительность. Что, разумеется, сказывалось на нашей работе. Понимаю, я высказал сейчас весьма суровую истину и однажды, высказавшись начистоту, вызвал резкий протест моих коллег.

Случилось это как раз в тот период, когда я собирался уходить, атмосфера в школе стала мне невыносима.

А ведь после развода я хотел остаться в школе. Поначалу у меня и мысли не было бросать там работу. Напротив, я хотел доказать, что я не объект экспериментов жены, что я не пустой фантазер, что я в состоянии вполне научно дать своей высокообразованной бывшей жене отпор. Предприятие, заранее обреченное на неудачу, ибо моя жена

уже пользовалась в школе большим авторитетом, школа наша должна была и дальше упоминаться в ее научных работах и на конференциях, и я был не в силах оказывать этому равнозначное противодействие. Курьезное наступило время. Ко мне стали относиться настороженно, с вежливой сдержанностью, меня старались отстранить от всех дел, связанных с институтом и тем самым с моей бывшей женой. Положение сложилось явно ненормальное.

Я начал искать выход. Да, это было скорее бегство, которое, внешне по крайней мере, я сумел обставить как обычный переход на другую работу, по собственному желанию, там, мол, мне интереснее работать, там я освобожусь от комплексов.

Поэтому-то Штребелов и Кеене напрасно копались, пытаясь выяснить, что со мной стряслось в той школе. Слишком уж невероятным казалось им, что человек сам «спускается» по служебной лестнице.

Но работа в новой школе стала для меня тяжким испытанием, а повинен в этом главным образом Штребелов с его недоверием. Правда, я мог бы оставить всю мрачную сторону без внимания, как я нынче понимаю. В конце концов, переезд в Л. отвечал моим самым горячим стремлениям, о таких нормальных условиях я мечтал всю жизнь, добиться именно здесь наивысших результатов — это и значит принести максимум пользы.

Но я хотел рассказать тебе об Иоахиме. Он вырос в Л. А я приехал в Л. учеником, на тамошний учебный комбинат. Я учился на инструментальщика, короля среди металлистов. Да, я стал королем. Не дурно, а? У комбината была хорошая слава, отец меня туда и устроил. Мне пришлось жить в интернате, что не по душе оказалось матери. Да и мне поначалу тоже, зато потом я полюбил интернат. Через Союз молодежи мы были связаны со спецшколой в Л., где Иоахим был секретарем, а я у себя — членом комитета, так мы и познакомились. Не случайно мы впоследствии служили в одном подразделении в армии, в то время еще два года и добровольно, и с тех пор не теряли связи друг с другом. Нынче наша юношеская дружба сыграла свою роль.

Да, город Л. ... Я мог бы переехать в Берлин. Но мама умерла скоропостижно, очень рано, отец до сих пор не в силах преодолеть свое горе. Да, так тоже бывает. Все для него теперь кончено. Жизнь без Марии — разве это жизнь? Ему остается выполнять свой долг. А я, живя с ним, только напоминал бы ему о матери. Именно потому, что мне хотелось остаться жить в П., я два года назад и очутился в Л., в школе коллеги Штребелова.

Об этом я уже с три короба наговорил. Не буду повторяться. Но ведь и Л. интересен для педагога. Промышленный город, крупный завод, разные люди. Тут многое можно сделать. А я чувствую в себе силы кое-что сделать. Я же учился на инструментальщика, год работал на заводе и, вообще-то говоря, после армии хотел стать инженером.

Но человек предполагает...

Итак, в середине пятидесятых годов я жил в Л. Давненько дело было. Ты в те годы, моя дорогая девочка, как раз готовилась к своему первому школьному дню. На этом примере видно, что за древний старик ведет с тобой беседу.

Как я уже говорил, наш учебный комбинат был совсем особенный. И наш интернат тоже. Бог ты мой, какие это были времена! Там, и это я знаю точно, я решил стать педагогом. Благодаря двум воспитателям в интернате. Одного звали Грегор, другого Фалькенберг. Удивительная парочка, эти два педагога. Они принадлежат поколению Кеене и Штребелова. Поколению зачинателей, те годы были тяжелые, и порой дела наши шли не совсем гладко, но работали все с подъемом.

Стоп, Юст! Не предавайся ностальгии. Молодежь терпеть не может, когда мы расписываем ей то, что и сами уже видим каким-то преображенным.

Стоп еще раз! Ностальгия не разрешена, но воспоминания разрешены.

Итак, я на совести у Грегора и Фалькенберга. Грегор был худощавый мрачноватый человек, говорил иной раз, особенно войдя в раж, много, городил порой вздор, но порой и умные речи вел, вечно носился с какими-то планами, осуществить которые большей частью было невозможно. Ко всему старался приложить руку — играл в гандбол до изнеможения, участвовал в играх на местности и в спортивном ориентировании, дискутировал с нами о политике, литературе, моде и многом, многом другом, однажды даже сел в планер, чтобы с полным правом и об этом говорить, довольно много времени посвятил работе на токарном станке, хотел стать настоящим токарем по металлу, прислушивался к советам своих учеников и вскоре добился заметных успехов. Он был одержимым. Одержимым, но совсем на иной манер, был его коллега и друг Фалькенберг. Ужасающе худой, близорукий, он носил очки с сильными стеклами, без которых казался совершенно беспомощным, и смахивал на Иисуса в очках. Человеком он был тихим, терпеливым, податливым, его легко было недооценить. За внешней мягкостью, однако, скрывались упорство и настойчивость, которые ломали любое сопротивление. А самое главное: он был страстный музыкант, играл на аккордеоне, кларнете, саксофоне, гитаре, пианино и черт его знает на чем еще, по сути — на любом инструменте. Вокруг него собиралась каждый год новая капелла, или джаз, или ансамбль, что, собственно, одно и то же. На всех наших торжественных и танцевальных вечерах, как мы их тогда называли. Фалькенберг играл вдохновенно, не жалея сил. Да, Грегор и Фалькенберг прекрасно дополняли друг друга. Сделать бы из них одного человека, считал я, получится идеальный воспитатель.

Кроме одержимости они обладали еще одним общим свойством — умели внушить нам, ученикам, чувство ответственности за порядок в интернате. Они испытывали к нам огромное доверие. А это ребята чувствуют. Сколько бы раз они горько ни разочаровывались, они от своего доверия не отрекались. В их служебной комнате висел плакат со словами Макаренко: я от тебя требую, потому что уважаю тебя. Хорошие слова, считал я тогда, считаю и сегодня.

Вот по вине этих двух чудаков я стал тем, что я есть — учителем.

А мои вдохновители, виновники всего, где они теперь? В Л. их нет. Я не искал их. Зачем? Где-нибудь они свое дело делают. Мне стоит только поглядеть на нашего коллегу Штребелова и его заместителя Кеене, и я легко представляю себе, какими могут быть мои вдохновители сегодня.

М-да, Карл Штребелов. Подозревает ли он, что я его в известном смысле уважаю и даже иной раз восхищаюсь им? Он этого не знает. Но его методы руководства, которые я начисто не приемлю, его сверхсерьезность и полное отсутствие чувства юмора меня постоянно раздражают. Тут уж ничего не поделать. Может, я его плохо знаю. Надо бы порасспросить Герберта, тот знаком с ним с давних пор. Может, я относился бы к его методам — для меня, правда, неприемлемым — по крайней мере объективно. А сейчас? Когда он в упор смотрит на тебя, ставит тебе вопросы — сухие и скучные, без достаточной глубины, когда он на шутку, на свободное, а порой ироническое замечание реагирует с ужасающей серьезностью, мне хочется хлопнуть его по плечу и сказать: отправляйся-ка на пенсию, коллега. Лучше будет и для тебя и для других.

Знаю, опять меня занесло. Как сочетать мое утверждение, что я его уважаю и даже иной раз восхищаюсь им, с этим желчным выпадом?

Зримые достижения, которых добился Штребелов, результаты, которых он достиг, нельзя не видеть или оспорить! Разумеется, это результаты не только его личные, я это прекрасно понимаю. И все-та-

ки благодаря его упорной настойчивости, его последовательности нашу школу можно действительно назвать хорошей. И еще: он на редкость удачно умеет организовывать коллективные мероприятия, превращать их в настоящие события. Что в свою очередь создает хорошую почву для действенной воспитательной и учебной работы. Порядок и дисциплина в нашей школе на высоте. Поначалу я весьма скептически относился к этому явлению, подозревал муштру и показную дисциплину, очковтирательство. Но убедился, что порядок и дисциплина у нас — нечто само собой разумеющееся.

А этого, моя юная коллега, нужно добиться. Я далеко не все нахожу правильным и не со всем согласен, что мы делаем, дабы удерживать достигнутое, иную кампанию можно бы провернуть иначе, а то и вообще не затевать ее, но я преклоняюсь перед достижениями директора Штребелова.

Да, вот как все противоречиво. Может, наши отношения сложились бы иначе, если бы Герберт Кеене, которого я люблю и к которому ты, как я знаю, тоже хорошо относишься, если бы Герберт не поспешил задраить люки. Да, именно это он сделал. Сурово сказано? Разумеется. Но я понимаю Герберта. Как учитель, он работает с полной отдачей, в нашей области он собаку съел, знает, как надо работать, и добивается, без сомнения, успехов.

В первые же дни в этой школе я почувствовал его повышенный интерес ко мне или моей работе. Было даже забавно наблюдать, как он вторгается в мою работу. Поначалу я не знал, как это понимать. Его что, обязали следить за мной? Или он хотел положить меня на обе лопатки? Очень скоро, однако, я почувствовал: это что-то другое, скорее любознательность творческого человека. Герберт Кеене, хоть он из поколения скорого на добрые советы молодым, сам хочет чему-то научиться, интересуется, как я подхожу к решению тех или иных вопросов.

На этой основе и возникла наша — что ж, назовем это так — дружба. Кое-что, однако, мне не по душе. Герберт Кеене — один из заместителей директора, и это безусловно ответственный пост. Но слишком уж он осторожный, не принимает, а может научился не принимать, чью-либо сторону. Я думаю, он делает это скорее неосознанно. Он преждевременно смирился, а может, недостаточно честолюбив для руководящей работы. Что ж, и такое бывает. Возможно, у меня тоже нет особенно честолюбивых планов, но я полагаю, что справился бы с руководящей работой, если бы хотел или если бы мне довелось ею заняться. Слабое место Герберта в том, что он не слишком соответствует своей должности. Штребелову нужен помощник сильный, умеющий возразить, а не деликатный, уравновешенный коллега, ограничивающий себя обязанностями учителя и пренебрегающий обязанностями руководителя.

Ну, вот видишь, дорогая Анна, какой я умненький. Я попросту приглашу их обоих к себе, открою бутылку вина, а то и водки и выложу им без обиняков мои взгляды на них и на их работу. Они, понятно, со слезами бросятся мне на шею, и все будет в полном порядке. Мы создадим из нашей школы этакое образцовое педагогическое захолустье.

Мечты.

А я все пишу и пишу. Не сердись, это мое любимое занятие здесь, в изгнании. Лучше разве целый день смотреть телевизор? Радио тоже не будешь долго слушать. А читать? У меня сейчас не то настроение, слишком я занят собственной реальной судьбой, чтобы меня могла увлечь вымышленная. Мне хочется поболтать с тобой и хоть немного отвлечься от проклятой неопределенности.

Прочти или не читай все письмо. К счастью, читать письмо в сто раз быстрее, чем писать.

Теперь я надпишу конверт, еще раз поблагодарю тебя за милые, лаконичные строки, из коих я узнал, что у тебя полно дел, заклею конверт и отправлюсь на вокзал, где меня ждут почтовые ящики с указателями направлений.

Под вечер займусь с ребятишками Иоахима, сооружу им дракона и каких-нибудь чудовищ, я это отлично умею делать. Вечером мы с Иоахимом поболтаем обо всем на свете и только одной темы будем тщательно избегать — разговора об истинной цели моего пребывания здесь.

Времена моего неведения миновали.

А когда настанет поздний час, я приму снотворное и, надо надеяться, засну.

Будь здорова,
твой Манфред.

P. S. Мне кажется, к этому письму необходимо дополнение. Я его все-таки не заклеил сразу же и не отнес на вокзал, я его еще раз прочел вечером, и мое ощущение, что письмо выражает какую-то для меня опасную позицию, подтвердилось. Вот я и пишу дополнение.

Ничего не собираюсь зачеркивать из написанного выше, все остается как есть и передает мои мысли и мои заботы. Но кое-чего существенного в письме недостает. Недостает моего отрицания той схематичной узости, которая характерна для Штребелова, которую он, сознательно или бессознательно, всеми силами осуществляет на практике. А это затрудняет развитие, наносит нашей живой педагогике вред.

Я ненавижу эту «штребеловщину», самого Штребелова я нисколько не ненавижу. Я пытался и буду пытаться снова и снова разъяснять себе и другим методы Штребелова. Но разъяснять — не значит извинять. Ну вот, я опять попался. Как можно с этих позиций бороться с порядками, которые ты отвергаешь! Быть может, мое состояние сейчас, мои особые обстоятельства делают меня снисходительным. А где в таком случае начинается безразличие?

Но мы не вправе быть снисходительными, дело ведь не в нас, не в нашем благополучии или неблагополучии, дело в детях и молодежи, за которых мы несем ответственность.

Однажды Штребелов присутствовал у меня на уроке. Было это весной, причины его внезапного посещения я не знал. Я давал урок государствоведения и подготовился по плану, но в тот день собирался затронуть и актуальную политическую проблему. Одна из западных телекомпаний показывала тогда серию научно-фантастических передач, которые могли произвести впечатление на молодежь и увлечь за собой. В фильме были хитроумно отобраны проблемы будущего, поставлены острые вопросы, что обеспечивало интерес к передачам. Я знал, что серия обсуждается и нашими ребятами, что они напоминают друг другу об очередных передачах.

В основе фильма лежала человеконенавистническая философия, человечеству рисовали мрачные перспективы, а человека полностью закабаляла техника, что в свою очередь использовал сверхчеловек, хладнокровно распоряжаясь судьбами людей на планете. Подавалась эта идея подспудно, была ловко завуалирована.

На том уроке, стало быть, когда у меня сидел Штребелов, я попытался косвенно поспорить с этой передачей, и ребята сразу поняли, о чем идет речь. Признаю, обсуждая незначащуюся в плане урока тему, я этого плана и не придерживался.

На перемене ребята, окружив меня, еще долго спорили, и я не заметил, как Штребелов ушел.

На следующий день я заглянул к нему, извинился, что накануне не поговорил с ним после окончания урока. Он не слишком любезно от-

ветил, что все равно собирался вызвать меня, критические замечания по уроку он ни в коем случае не высказал бы мне перед учениками.

Тут я опять не сдержался и буркнул, что его критика наверняка будет разгромной.

Штребелов не колеблясь подтвердил это и заявил, что я не достиг воспитательной цели урока и, стало быть, грубо нарушил учебную программу.

Я запальчиво возразил, разъяснил связь урока с западной телепередачей, назвал свой метод ведения урока государствоведения наступательным, исследующим актуальные политические проблемы. От кого же, как не от нас, получат ученики ответ, сказал я. А разве Штребелов против наступательного метода? Не может того быть, если вспомнить требования, какие он, директор, постоянно предъявляет учителям.

Наступательный? Под этим я понимаю кое-что совсем другое, резко ответил Штребелов, а вы сделали как раз то, что хотят нам навязать с запада... В итоге мы жестоко поспорили.

Я ушел не попрощавшись из его кабинета, узкой, мрачной кельи. Ждал, какие же будут последствия, собирался защищать свою точку зрения. Но ничего не последовало. И я промолчал. Моя ошибка.

Что значит для меня владеть наступательным методом?

Это, разумеется, не значит, что я без конца подставляю себя под сиюминутные атаки противной стороны, это немыслимо, и было бы скорее оборонительной тактикой, тогда мы оказались бы в зависимости от противной стороны. Владеть наступательным методом — значит прежде всего понимать, какие принципиальные проблемы обрушиваются на нашу молодежь, к примеру, вот в такой передаче о будущем человечества, которая вызывает дискуссию. Тут уж мы не вправе стоять в стороне, напротив, мы обязаны защищать наши взгляды решительно, а главное, убедительно. Наступать — это совсем не значит, как представляет себе Штребелов, тупо уставиться в одну точку и, не глядя ни направо, ни налево, заниматься абстрактными рассуждениями, не достигающими цели. Владеть наступательным методом — значит не согласиться с мнением, которое удачно выразил поэт: «Ибо, заключает он, быть того не может, чему быть не должно»[1].

Вот так-то, Анна. Но я не вынес вопрос на обсуждение, когда Штребелов этого не сделал. А теперь спрашиваю себя: был ли в этом вообще смысл? Как же смогу я, как же смогут другие что-либо изменить, если эту самую «штребеловщину» — буду уж так называть это явление — никак не ухватишь, если она уклоняется от настоящей схватки. А может, я виноват, может, это я не умею успешно и действенно защищать свои воззрения? Известно ли тебе, что такое усталость, не физическая, а душевная? Не изматывай себя так. Да тебе и не придется, ты совсем другой человек. Тебе такая усталость не грозит, в этом я уверен. А мне?

Анна, извини меня за это дополнение, но так уж получилось.

Манфред».

«Н., 16 июля

Дорогая Анна,

четыре дня я не прикасался к авторучке. Буквально с ног валился. У меня такое ощущение, словно меня скалками исколотили. Исследования я прошел, связаны они были с малоприятными манипуляциями. Ну, теперь конец, исследования были нужны врачам-специалистам и Иоахиму, которые считают, что без этого не добраться до сути проблемы.

И все же, когда я сижу перед Иоахимом у его письменного стола, вижу, как он перелистывает мою историю болезни — а она день ото

[1] Из стихотворения «Невероятный факт» немецкого поэта Кристиана Моргенштерна (1871—1914).

дня устрашающе пухнет,— я с грустью думаю, как хорошо, что до сих пор у меня, собственно говоря, подобных «историй» не было. Быстро все иной раз меняется. Хотел бы отнестись к происходящему как к чему-то забавному, с юмором, да не очень получается.

Иоахим старается подготовить меня к мысли перестроить жизнь так бережно и деликатно, что опять вызывает у меня настороженность. Что он имеет в виду? Какая перестройка ожидает меня? Какое-то время работать вполсилы? Или всегда? Довольно скучная предстоит жизнь. Все во мне восстает против этого. Но мне еще ничего не сказали. Ничего определенного. Сейчас они отрабатывают мой диагноз и потому не торопятся объясняться со мной. Только намекают, к примеру, вот так: что ж, уважаемый, придется нам настроиться на умеренность во всем.

Умеренность? Может быть, в еде? Ем я с удовольствием, особенно острые блюда. Может быть, в питье? Ни пива, ни водки, ни рюмочки вина? К черту, что это за жизнь! Лучше пусть меня сейчас же засушат. А может, мне и любовь запретят? Тогда я поселюсь в пустыне и по ночам стану считать звезды. А если они объявят меня инвалидом? Что тогда? Я же еще ничего в своей жизни не достиг. Я же, глупец и зазнайка, до сих пор плескался лишь на поверхности жизни. И сам я на поверку оказался совсем, совсем другим. Мне везде, если я того хотел, удавалось производить впечатление. Усилий мне это не стоило. Как часто на совещаниях я только для того брал слово, чтобы еще раз покрасоваться,— и почти всегда имел успех, мне, к примеру, часто удавалось загнать Штребелова в угол или разозлить его. А что из всего этого вышло? Ах, Юст, ах, человек выдающийся, особенный, он всегда приготовит для нас сюрприз. А я был всего-навсего самодовольным и тщеславным мальчишкой.

Чтобы ты не подумала, что я занимаюсь самобичеванием, удовлетворяющим опять же лишь меня самого, я расскажу тебе о моих отношениях с Эрихом, нашим завхозом. Мне кажется, он меня ненавидит, и я полагаю — не без основания. Ты его тоже знаешь, знаешь, что к ребятам он относится как любящий дедушка и этим добивается успеха. Меня его манера всегда раздражала. Я считал ее смешной и даже вредной. Он у себя в подвальном этаже работает как-то по-стародедовски. Однажды я спустился вниз, когда он, собрав ребятню, кажется из шестого класса, сооружал с ними подставку для аквариума. Он как раз сверлил дырки в металлических уголках и делал это весьма обстоятельно, сопровождая свою работу столь подробными объяснениями, что я взорвался. У меня к нему дело, я спешил, но его это ничуть не трогало, он целиком был поглощен сверлом и ребятами. Тут я точно с цепи сорвался, подскочил к нему, отобрал сверло, потребовал, чтобы он тотчас нашел нужную мне вещь, и предложил продолжить его работу. Он, ошеломленный, молча отдал мне сверло. А я смаковал его замешательство, эге, вот я опять довольно лихо — так мне казалось тогда — положил человека на обе лопатки.

Быстро и умело, не тратя лишних слов, просверлил я дырки в уголках. Эрих принес мне удлинитель, глянул на мою работу, но ничего не сказал. Я ожидал одобрения. Он не сказал ни слова. Наступило тягостное молчание. Ученики не знали, куда глаза деть. Эрих стал молча искать шурупы — у него на полке стоит множество жестяных коробок с шурупами всех размеров и видов — и, кажется, позабыл обо мне и об учениках. Я ушел, пожелав им хорошо поработать.

На следующей перемене Эрих остановил меня в коридоре. Он сказал: «Чтоб ноги вашей у меня не было. Вы мерзкий зазнайка...»

Я обиделся, хотел ему ответить, но он повернулся и ушел. С тех пор я не ходил к нему. Теперь я целиком и полностью понял, что натворил тогда. Зачем нужно было его обижать? У него свой подход к ученикам. Мне его метод не по вкусу, ладно, вполне возможно, что я

даже прав. Но зачем я вмешался в его работу, да еще так грубо? Еще один мой эстрадный номер.

Зачем я так поступаю? Мне же это совсем не нужно. Я ведь кое-что умею. Что и доказал своей работой. Но теперь, Анна, когда я сделал для себя выводы, когда у меня есть возможность применять их на практике, именно теперь мне придется работать вполсилы. Или вообще поставить точку? С ума можно сойти.

Прекрасно представляю себе, как стану жить по предложенным мне правилам. Брюзгливый, несносный, склонный к цинизму и меланхолии дядя. А для меня нет жизни без движения, без перемен, в замедленном темпе. Я стану обузой для окружающих. Грустная перспектива. Подобный случай я уже однажды наблюдал. Моя двоюродная сестра несколько лет назад умирала мучительно медленно. Совсем еще юная девушка. Жутко было видеть ее страдания. Неуклонный распад и страстная жажда жизни, которую уже было не спасти. И ложь у ее постели. Все ждали, что она вот-вот отмучается. Но муки ее длились долгие месяцы.

Когда, наконец, мы будем подобные вопросы решать лучше и человечнее?

Эге, дорогая Анна, куда меня занесло! Вот что делает с человеком проклятое ожидание, пухнущая история болезни и молчание Иоахима.

Я опять сижу под моей грушей, в траве порхают бабочки, от леса доносится сильный аромат сухой хвои. Озеро манит, но мне купаться нельзя. Еще одна нелепость и мука.

Да, я и терпение! Напиши, что ты предлагаешь, какая существует метода, дабы научиться терпению. Мне думается, ты в этом смысле больше понимаешь, чем я. Ты — человек уравновешенный, умеешь держать себя в руках. Знаешь, что будет для меня самым действенным средством, дабы избавиться от известных вопросов? Решение просить твоей руки. Ведь я очень люблю тебя.

И знаю, чтобы добиться твоей любви, чтобы завоевать тебя, я должен, во-первых, выздороветь, во-вторых, научиться управлять собой и быть терпеливым и вообще быть хорошим человеком.

Не легкая мне предстоит задача, это я сразу понял. Но цель стоящая, за нее я готов страдать, к ней буду стремиться.

А сейчас я набросаю картину будущего.

Когда-нибудь, в какое-то вполне обозримое время — забавное, однако, это понятие, ведь всякое время обозримо, даже до года трехтысячного, но уже без нас,— да, вполне обозримое время, но в не вполне определенный день худущий господин с одухотворенной физиономией предстанет перед Madame. Волосы у него жидковатые, с проседью, на нем строгий костюм с соответствующей рубашкой и галстуком — даже коллега Штребелов доволен. Вот при таком параде... э, стоп, конечно же, в руках у господина роскошный букет роз... при таком, стало быть, параде и попросит сей господин руки Madame. Madame покраснеет, что, кстати, ей очень и очень к лицу, примет букет, украдкой вдохнет опьяняющий аромат роз и объявит: «Что ж, если так, пошли в загс. Мы оба заждались».

Господин обнимет Madame. Что будет ей весьма приятно. И начнется у них прекрасная жизнь.

Господин стал человеком солидным и спокойным, чуть ли не мудрым. Madame вершит домашними делами и работает в школе. Возможно, господину удастся произвести на свет парочку ребятишек... И если они не умерли, так живут еще и по сей день.

Сказке этой суждено стать реальностью, в чем твердо убежден пока еще не мудрый и не выдержанный господин. Реальность эта будет плодом его усилий в борьбе за терпение и самообладание. А раз уж он поведет эту борьбу и выиграет ее, так и награда не заставит себя ждать.

Прекрасная история, как ты считаешь?

Ее мы с тобой и напишем, ты и я. Согласна? В надежде на ее исполнение приветствует тебя

твой Манфред».

«Н., 20 июля

Глубокоуважаемая фрейлейн,

нынче у меня счастливый день. Получено Ваше письмо. И какое письмо! Огромное спасибо Вам от счастливца. Ты меня поняла, ты приняла мою исповедь именно так, как надо, поняла, что она поможет мне. И она действительно помогла, потому что ты отреагировала на нее разумно, со свойственным тебе спокойствием. Правда, кое на что ты возражаешь, но в общем и целом согласна со мной и тем самым вселяешь в меня мужество и надежду. Видимо, совершенно необходимо время от времени подвергать себя беспощадной проверке. Но считаю в корне неверным, что додумался я до этого только теперь, когда обстоятельства вынудили меня. В будущем все будет иначе. Как раз, когда, казалось бы, все у тебя в порядке, необходимо все пересмотреть и подвергнуть проверке. Тогда ты не окажешься безоружным перед лицом удручающих сюрпризов.

Как и положено, я сижу под своей грушей. Была бы это липа, я бы вырезал на ее коре словечко-другое, к примеру дату сегодняшнего дня и твое имя, ведь сегодня пришло твое письмо.

Ситуация с моими потрохами, собственно говоря, не изменилась, историю моей болезни, видимо, пополняют и пополняют, но никто, в том числе и Иоахим, не торопится. Сдается мне, это добрый признак. Я по крайней мере хочу это так понимать. Будь дело спешным, они насели бы на меня как следует. Вернее, на мое нутро. А в нутре у меня все по-прежнему неприятнейшим образом крутится-вертится, да и с чего бы мне полегчало. Не с анализов же. Надо, чтоб началось лечение.

Но, как я уже сказал, никто не спешит, а к крученью-верченью привыкаешь, притом есть ведь на свете таблетки. Стало быть, в этой области все без перемен. А посему покинем ее и обратимся к чему-нибудь более приятному.

Как ты относишься к небольшой экскурсии в наше будущее?

История господина и его Madame, рассказанная мною в предыдущем письме, звучала как будто ничего, но все же в ней было много от сказки.

А не попытаться ли нам заглянуть в наше реальное будущее?

Ты ждешь, что я сейчас скажу что-то необыкновенное — а я хочу поговорить о нашей работе. В конце концов, это тоже добрый знак, если я, в моем положении, возымел охоту поговорить о работе.

Знаешь, как представляю я себе наше будущее — то время, когда мы будем вместе? А вот как. Где-нибудь в городке, похожем на Л., я стану директором школы. Что? Юст, который так любит независимость, эксперимент, живую педагогику, хочет стать наполовину администратором? Возможно ли? Да, именно на этом поприще смог бы я избавиться от сверхувлеченности своей профессией, порождающей иной раз некоторое легковесное к ней отношение. Вернее говоря, я бы хотел себя дисциплинировать и тем самым осуществить свои педагогические мечтания. В Л. я впервые по-настоящему задумался над этим.

О моем отношении к Штребелову я тебе уже писал. Я хоть и наводил на него критику, но кое-что от его деловитости перенял бы. Понятие это словарь Дудена раскрывает как солидность, прочность, надежность, добротность, а также сдержанность. Эти качества можно приобрести, взяв на себя ответственность за конкретное дело — школа, дело чертовски конкретное,— а также за воспитание воспитателей. Но работать я стал бы — и считаю, что это необходимо,— совершенно

иначе, чем Штребелов. Я работал бы четко, но смело и вообще творчески.

Кто из нас не знает, что многое зависит от воспитания воспитателя. Собственно говоря, все. У нас превосходные планы, у нас благоприятные условия, пособий хоть отбавляй, разветвленная система общественных отношений, мы пользуемся огромным уважением, не исключающим действенной критики. Да, мы продвинулись далеко во многих областях, что еще несколько лет назад казалось нам утопией, наша педагогическая наука достигла больших успехов. Притом, однако, стало особенно заметно, чего нам недостает, где еще у нас царит формализм, где мы пытаемся сплутовать, решая проблемы, которые нам ежедневно подсовывает жизнь, воплощенная в наших учениках.

Нам же первым приходится иметь дело с новыми поколениями. А кто есть мы, воспитатели, учителя? Вот это обобщенное «мы» уже опасно. Ведь и среди педагогов тоже все время появляются новые поколения. Штребелов и Кеене — люди старшего поколения. У педагогов моего возраста совсем иной опыт, за нами идут те, к кому принадлежишь ты. А теперь в институтах учатся молодые люди, которые могли быть моими учениками.

Мне скажут: ну и что? К чему эти глубокомысленные выкладки? Для чего заново открывать Америку?

А может быть, это нужно, может быть, нам следует кое-что открывать заново. Опыт, например,— у Штребелова его хватает, у Кеене тоже, и у меня, а ты уже набираешь опыт, так вот, этот опыт только тогда принесет пользу, когда нам удастся применить его к постоянно меняющимся условиям. А для этого еще многое предстоит одолеть.

При передаче опыта я никогда бы не допускал рутины, никогда не удовлетворился бы отчетами. Нам, педагогам, споры необходимы как воздух. Такие споры должны быть неотъемлемым элементом нашей жизни. Мы не вправе просто утверждать, что тот или иной вопрос труден, что та или иная проблема сложна, нет, мы обязаны обстоятельно заниматься этими вопросами и не жалеть на это время.

Возьми, к примеру, понятие «коллектив». Сдается мне, мы зачастую поспешно и бездумно пользуемся им. Говорим мы, например, об учителях нашей школы, так Штребелов всегда в тот же миг объявляет, что мы превосходный коллектив. А в самом ли деле мы коллектив? Когда мы действуем как коллектив? А когда нет? Не обманываем ли мы сами себя? Не усыпляет ли нас это утверждение? Все в полном порядке, мы превосходный коллектив. Я был бы скромнее, реже пользовался бы этим понятием. Истинно коллективные успехи, а их немало, подлинно коллективные действия я выделял бы, конкретно показывая, как проявил себя коллектив в том или ином случае.

Стоп, что-то я себя не узнаю. Надеюсь, я не наскучил тебе моим докладом? Не слишком ли нудно излагал я свои мысли? А вообще ужасно, что нам приходится быть сухими и нудными, когда мы затрагиваем высокие материи. Я уверен, что это вовсе не обязательно. Я впал в поучительный тон. Но обещаю, когда стану директором, ежели такое случится, то попытаюсь найти удачную пропорцию юмора и серьезности. Я даже изобрету распорядок — и если смогу, так опубликую его,— который создаст условия для столь необходимых нам веселых пауз на любом заседании, любом совещании. И буду поощрять откровенность. Не петь отвлеченные дифирамбы откровенности, это мы делаем предостаточно, нет, я буду поощрять и награждать тех людей — в нашем конкретном случае тех педагогов,— кто берет слово и заявляет, что ему тот или иной вопрос непонятен, что он с той или иной проблемой не справляется, а в таком-то случае придерживается другого мнения. Знаю, приучить людей к этому нелегко. Это дело накладное и длительное, но оно того стоит.

И соответствует нашим идеалам. Мы боремся за такое соответствие, но никогда не достигаем его окончательно. И все же именно нам

следует всеми силами к нему стремиться. Если мы этого не будем делать, то к чему вся наша работа? Тогда проще стать циником или равнодушным обывателем, владеющим определенными правилами игры. И та и другая категория людей у нас, к сожалению, еще встречается.

Видишь, Анна, вот над чем я тут задумываюсь, над чем размышляю здесь, сидя под грушей.

Отчего бы кое-чему из моих мечтаний не осуществиться?

Но увидеть их осуществленными я хочу с тобой, только вместе с тобой.

Какой же сегодня тихий вечер. Воздух чистый-чистый, точно где-то прошла всеочищающая гроза. Я слышу, что подъехала машина. Это жена Иоахима на «трабанте», его выхлопная труба издает весьма своеобразные звуки. Их уже знают во всех деревнях, и всем сразу известно, когда приближается «детская докторша».

На этом кончаю мое весьма значимое послание, сейчас здесь дым пойдет коромыслом — фрау доктор привезла детишек.

Извини меня за педагогические мечтания. Уж такое у меня сегодня настроение. К тому же в них есть тайный расчет — завоевать тебя, ведь я немного знаю твою позицию во всех затронутых мною вопросах.

Мы с тобой, сдается мне, составим вполне приличную упряжку.

Тысяча теплых приветов от Манфреда».

«Н., 23 июля

Дорогая Анна!

Жребий брошен. Все оказалось именно так, как я предполагал, но чему не хотел верить. Мне придется лечь под нож.

Иоахим очень подробно и научно объяснил мне, какой кус нужно у меня вырезать и почему и что еще нужно изменить в моем организме, чтобы жизнь моя продолжалась.

Я понял только одно: под нож. И поскорее. Стало быть, все-таки дело спешное. А потом я понял, что жизнь, какую я вел, какую я любил, миновала. Начинается другая, начинается жизнь инвалида.

Я не вслушивался больше в разъяснения Иоахима, хотя сознавал, что он хочет внушить мне надежду и мужество. Немало есть людей, перенесших ту же операцию, состояние их незавидное, но они живут. Живут? И мне так жить? Не работать? Но почему не работать? Что-нибудь подходящее найдется. Что найдется? Что именно? Перед учениками мне больше не стоять. Когда-нибудь, конечно, все пройдет. Постепенно последствия болезни исчезнут. Когда? И вообще исчезнут ли?

Да, я повержен. Мне это ясно. Мы же всегда за ясность. Я разбит наголову.

Извини, Анна. Не могу не написать тебе этого. С кем же мне еще поделиться?

С Иоахимом я говорил. Через три недели он избавит меня от боли. И сохранит мне жизнь. Что еще может врач?

Но все мечты и надежды мне следует оставить.

Теперь я жестоко расплачиваюсь за то, что играл весьма однообразную роль в жизни, теперь против меня оборачивается тот факт, что я, собственно говоря, был еще совсем недавно счастливчиком. Так что дальше, баловень судьбы?

Довольно, однако. Беру себя в руки.

Нужно сделать еще два-три анализа, кое-какие исследования, после чего я уеду домой, чтобы вскоре вернуться обратно. Здесь все и произойдет. Меня это вполне устраивает. Я возьму себя в руки и буду готовиться к «часу ножа», буду по возможности спокойно размышлять над тем, что воспоследует за операцией, и хладнокровно рассчитаю, как нужно устроить свою жизнь. Зачем же человеку дан разум, натренированный логикой? Да и о многом другом следует поразмыслить.

К примеру, об образе действий человека нашего времени, в наших условиях, которому внезапно придется практически, на собственной персоне, доказать то, что он много лет теоретически проповедовал в своей воспитательной работе. Ситуация достаточно сложная и необычная. Качества, которые следует проявить в необычной ситуации, человеку этому известны. Твердость характера, стойкость, выдержка, оптимизм даже при тяжких обстоятельствах и так далее, и так далее...

Вот теперь человек этот и пораскинет мозгами, как же ему поступить на практике. И попытается справедливо и объективно оценить свою жизнь. Что, разумеется, чертовски трудно. Но нынче уже нет никаких отговорок, придется ему в собственных интересах решать сию задачу.

Он попытается, но он очень хорошо понимает, что свои «педагогические мечтания» в той мере, в какой их можно рассматривать как мечтания, он должен теперь претворить в жизнь. На фантазии он способен, на духовные взлеты он горазд, и в «воздушном пространстве мечтаний» он перемещается без труда, тут ведь царит невесомость. Но как обстоит дело с претворением мечты в жизнь?

Не следует ли ему начать с собственного «я»?

В этом плане он тоже кое-что знает наверняка, этот человек. Но знать кое-что наверняка — это одна сторона вопроса, вторая — предпринять энергичные меры, дабы приучить к дисциплине это норовистое «я». Он должен побороть свою склонность к поспешным, немотивированным акциям, свою тенденцию, он должен это откровенно наконец признать, к анархизму. Самого себя нужно ему одолевать и это всю жизнь, дабы работать разумно и доказательно. Человеку этому, значит, работы будет по горло. Он станет думать о людях, которых он любил, и о других, к которым был равнодушен, хотя не мог избежать общения с ними, и о таких, которых он ненавидел, на время или на всю жизнь. При этом наверняка выявится кое-что удивительное, противоречивое и, конечно же, забавное.

И вот, наткнувшись на забавное, он поймет, что кое-чего добился.

Видишь, так ведь тоже можно жить.

Привет тебе от Манфреда, храбреца против «ножа».

«Н., 26 июля

Дорогая Анна!

Сию секунду почтальонша принесла мне твое письмо. Она положила его сверху, знает, как я жду писем от тебя. Ну вот, ты уже собираешь чемодан, а может, уже на пути в прекрасную Венгрию. Разумеется, ты правильно сделала, поехав сопровождающей с группой молодежи. Желаю тебе провести весело время, быть в хорошем настроении. Желаю тебе также дисциплинированных подопечных, чтобы не было никаких передряг. Да что там, ты хороший педагог.

Чуть-чуть я тебе завидую, но это, надеюсь, разрешается. Эх, вот бы и мне поехать с тобой...

Если тебя уже не было в Л.— ведь ты собиралась к родителям,— значит, ты не успела получить мое последнее письмо. Но я этому очень рад. То письмо, написанное под влиянием дурного настроения, получилось мрачноватым. И хотя мое настроение сегодня ни весельем, ни хорошим самочувствием не объяснить, что было бы странно, я лучше владею собой и стал спокойнее.

Все знакомые собирают чемоданы. Мой дорогой друг Иоахим и его жена тоже. Для их озорников эти приготовления истинная забава. С жилым прицепом к машине и с палаткой они отправляются в Польшу, там сначала поедут в Гданьск, а затем — к побережью. Среди всей суматохи я чувствую себя каким-то потерянным и с грустью вспоминаю свою поездку в Польшу. Я, как ты знаешь, неравнодушен к этой стране. Видимо, все дело в том, что моя мать полька. Мне по душе их

жизненные принципы, предполагающие известную свободу и широту взглядов, вдобавок они люди темпераментные, противоречивые, на них наложила отпечаток их сложная история. Какие только влияния не перекрещиваются в Польше, какие только линии не соприкасаются. Да, надо бы основательно заняться всем этим. (А почему бы нет? Скоро, скоро у меня будет полно времени.) Я говорю немного по-польски, а сейчас освежил свои знания, позанимавшись с ребятишками Иоахима. Они ученики смышленые и усердные. В последний раз, когда я ездил с моим классом в Гданьск, я с удовлетворением отметил, что наша молодежь относится к этой стране без предвзятости, с чистой совестью. Хотя, конечно, не все в этом смысле благополучно, прошлое обладает удивительной живучестью. Но мы уже многого достигли, только нельзя упускать из виду, что наши достижения следует закреплять и охранять. Это и напоминание нам, и наша задача.

Иоахим со своей компанией будет загорать на пустынном берегу. Подлечит нервы и после отпуска благополучно прооперирует меня.

Герберт со своей Эвой тоже, если я не ошибаюсь, укладывают чемоданы, дабы совершить экскурсию на Кавказ, в восхитительную Грузию.

Хорошо, что я сумел рассеять сомнения Эвы, может ли она оставить детей на такой долгий срок. Эти Кеене еще, чего доброго, отказались бы от чудесного путешествия.

Мне дважды доводилось бывать на Кавказе, но я бы еще десять раз туда съездил. Только не по путевке. Просто побродил бы по нехоженым тропам в тех горах. А ты бы поехала со мной?

Сейчас я бы охотно съездил вместе с Гербертом и Эвой. Непосредственность Эвы позволяет вновь воспринимать все свежим взглядом. Ей ничего никогда не приедается. Удивительное дело, острый ум сочетается в ней с неподдельной непосредственностью. Такое нечасто встретишь. О да, она тоже могла бы помочь мне, встреть я ее на год-другой раньше, да не завладей ею этот Кеене.

Разумеется, опять мое наглейшее зазнайство, обо всем я сужу со своей колокольни. Я бы стал, я бы мог. А ведь вполне могло случиться, что женщина меня попросту не захотела бы.

Отчего сия мысль не пришла мне раньше в голову?

Откровенную, дружескую манеру Эвы я, признаюсь честно, довольно долго истолковывал превратно, как мне бы того хотелось.

Но, собственно говоря, все это не имеет значения.

Скоро и я начну укладывать свой чемоданчик. Дорога мне предстоит не дальняя, только до П., чтобы там привести все в некоторый порядок. Затем я возвращаюсь, ложусь в клинику и жду Иоахима, когда он, поздоровевший, отдохнувший, покажет на мне свое искусство.

Время, что придется мне пробыть в П., я кое-как перетерплю. Все разъедутся. А я куда подамся? Может, съезжу разок в Л., навещу Штребелова, он-то, ручаюсь, копается в своем садике. Что ж, может, навещу. Нет, лучше не стоит. Он, чего доброго, встретит меня, и не без основания, с подозрением. Все, что я думаю о нем положительного, ему неизвестно, а я, чертов пес, до сих пор не собрался с силами и, видимо, в будущем не соберусь это свое суждение попросту ему высказать. Вот ведь беда — начни я такой разговор, он, пожалуй, сочтет его за издевку, именно издевки привык он слышать от Юста. Пусть уж, пока меня не будет, он постепенно составит себе лучшее обо мне мнение. Замечаешь, я настроен весьма миролюбиво.

Да, мои летние вояжи в этом году виделись мне совсем иными. К примеру, я мог бы съездить с тобой в Будапешт. Но без шумных, веселых молодых друзей! Я бы тебе кое-что там показал, особенно долго стояли бы мы на мостах. Вкусно бы ели и пили и не экономили форинты. Часами лежали бы в теплой целебной воде, ну хотя бы в

бассейне на острове Маргит. Пишу, совсем забыв, что ты, когда будешь читать это письмо, все уже посмотришь, прочувствуешь, на все наохаешься. Позади останутся незабываемые дни. Да, когда ты будешь это письмо читать, и мои все трудности, надеюсь, тоже останутся позади.

Будь счастлива, моя дорогая,
твой Манфред».

На моем письменном столе в ярком свете настольной лампы лежало последнее письмо Манфреда Юста.

Я аккуратно вложил его в конверт и присоединил к стопке остальных писем.

Разные мысли теснились в моей голове, и даже весьма противоречивые. Но одна мысль была особенно четкой: Марк, тебе нечего стыдиться своего учителя. Он вел тяжкий бой и был побежден.

Не оттого ли, что разъехались все, кто мог бы ему помочь в трудную минуту?

Да, Анна Маршалл уехала. Хотя ей, наверное, не следовало уезжать в прекрасный город Будапешт. Она же читала письма, не все, но первые она читала. Правда, письма эти читаешь совсем иначе после извещения в газете. Видимо, Юст и не рассчитывал на Анну Маршалл. А ведь даже она одна могла быть ему опорой в беде. Он сам отметил, что она принадлежит к гармоничному поколению, которым он восхищен, которое он приветствует, с которым вместе готов горы свернуть. Как-то раз Анна Маршалл спросила меня: кто виноват? Я уверен, она не исключала себя. Но на ней вины нет. Она не обладала еще достаточным житейским опытом. Совершенно неправомочно перекладывать на нее ответственность, что целиком и полностью лежит на всех нас.

Штребелов никуда не уезжал, но к нему-то доступ Юсту был закрыт. Да, Карл, в этом твоя вина, признаешь ты это или нет. Твое упрямство закрыло Юсту дорогу к тебе. Оно в этом случае сыграло бóльшую роль, чем многие думают. Да, признаю, поведение Юста способствовало тому в полной мере, но ты ведь старше. Ты опытнее. Но таков ли ты на самом деле?

И я тоже уехал. А может, и до отъезда Манфред меня не замечал, может, я не стал для него тем, кого он хотел видеть во мне, кто мог бы укрепить его в его борьбе. Я не знаю. Но я тоже виноват. И речь вовсе не о том, чтобы посыпать сейчас главу пеплом, этого в подобной ситуации лучше вовсе не делать. Речь о том, чтобы предупредить повторение подобных случаев. Иного вывода быть не может, Кеене. Из поражений не обязательно выходить павшим духом.

Я вспоминаю о светлых, радостных днях и часах в жизни Манфреда, о которых я узнал из его писем. Разумеется, это еще не вся его жизнь, но нам следует помнить об этих часах.

Я решил свидеться с Марком Хюбнером, даже зайти к нему домой. Многое я ему смогу рассказать, не стану скрывать трудностей и сложностей.

Думая сейчас о Марке Хюбнере, представлял себе его выразительное лицо, вспоминая его вопросы, настойчивость, с какой он эти вопросы задавал, я называю его про себя представителем всей молодежи, с которой мы имеем дело и будем иметь дело сегодня, завтра и послезавтра.

Нам, педагогам, нужны живой ум и чуткость. Мы же понимаем, что значим мы в жизни молодых людей.

Марк и другие ребята той же породы когда-нибудь, как и мы, станут хозяевами жизни, жизни такой, какая она есть, во всей ее противоречивости.

Ничто не должно их миновать — ни сложные проблемы, ни борьба. Иначе как будут они перестраивать этот мир? А ведь наша задача была и остается — изменять жизнь, приближая ее к нашим идеалам.

Парень должен вырасти стойким человеком.

Я выступлю перед коллегами. И только в самом начале буду говорить о Манфреде Юсте, но главным образом речь пойдет о нашей трудной и прекрасной работе.

Придется мне стать беспокойным элементом в нашей школе, пусть это будет мне порой нелегко. Я и сейчас знаю, что мне чаще всего будет нелегко. Но нам нельзя успокаиваться — в интересах нашего дела. Мы должны выступать против застоя и рутины. К себе, если это будет нужно, я буду беспощаден. И если нужно будет, выступлю против Карла Штребелова. Боль в сердце от этого не пройдет, но и хуже мне не станет.

Нет, Манфред, я не задраил люки. Как это тебе пришло в голову?

Мы будем держать люки широко открытыми, и ничто нам в этом не помешает.

■

КАРИНЦЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА.

Советский германист, переводчик; печатается с 1953 г. В ее переводе на русский язык издавались романы Э. М. Ремарка, Л. Франка, А. Зегерс, Г. Канта, К. Вольф, У. Бехера, К. Гайслера, М. Вальзера, Г. Э. Носсака и других писателей ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии.

Из месяца в месяц

ЧИТАЮТ ЭВА И ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

Большую аудиторию собрали чтения в Старой ратуше, состоявшиеся во время Книжной ярмарки в Лейпциге. Из нового сборника «Диалог», который выходит в издательстве «Ауфбау», прочла свои стихи Эва Штриттматтер. Темы ее стихов — общение с природой, впечатления от поездок в разные страны, взаимоотношения людей.

«Новая книга Эвы Штриттматтер — это своеобразная лирическая исповедь»,— пишет газета «Берлинер цайтунг».

«Поэтесса рассказывает о том, что она увидела, о своих чувствах и переживаниях. В ее мелодичных стихах много искренности и прямоты»,— отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

С чтением отрывков из третьего тома романа «Чудодей» выступил также Эрвин Штриттматтер. Этот роман хорошо известен и немецким и советским читателям (см. «ИЛ» № 1, 1974; № 1, 1975; № 5, 1976). Каждый из его томов — самостоятельное произведение, хотя их объединяют общие действующие лица. В третьем томе читатель снова встретится с главным героем — Станиславом Бюднером, человеком сложной и трудной судьбы...

Как пишут рецензенты, книга скоро появится на прилавках книжных магазинов.

ЖОРЖИ АМАДУ

Возвращение блудной дочери

РОМАН

Перевод с португальского ЮРИЯ КАЛУГИНА

На неделе к Тиете зачастили посетители, целое паломничество. Влиятельные лица города, коммерсанты — коллеги Астерио, учительница Карлота, сборщик налогов Эдмундо Рибейро, казначей префектуры Линдолфо Араужо, доктор Кайо Виласбоас и полковник Артур де Фигейредо, который провел за беседой с ней весь вечер.

Ежечасно появлялись какие-то бедные люди, они допускались не дальше столовой, гостиную Перпетуа резервировала для важных персон. Что ни бедняк — своя грустная история, мольба, просьба. Слух о богатстве и щедрости Тиеты распространился по свету подобно семенам сорняков, слух плывет по водам реки, путешествует на спинах ослов, достигает границ штата Сержипе. Перпетуа морщит лоб; она не переносит двух вещей — обмана и транжирства.

— А я не могу оставаться равнодушной, если вижу, что люди нуждаются, голодают,— заявляет Тиета.— Нужду я испытала на собственной шкуре.

Перпетуа, хоть и не желает перечить Тиете, не может сдержаться:

— Деньги твои, делай с ними что хочешь, меня это не касается. Но мне больно видеть такое расточительство, не отрицаю.

— Дочь моя, все они — мошенники, рвачи. Пользуются твоей добротой. Будь моя воля, я бы их всех засадил в тюрьму, вот чего они заслуживают.— Зе Эстевес поддерживает Перпетую. По его мнению, богатая дочь должна была бы помогать только сестрам да племянницам. Сам он живет сейчас мечтой о переезде в комфортабельный дом на приличной улице, который Тиета собирается приобрести, чтобы поселиться в нем на старости лет. А пока Зе Эстевес и Тонья будут пользоваться домом одни, это уже договорено. Не так-то скоро Тиета, красивая, полная жизни, покинет роскошь Сан-Паулу, чтобы похоронить себя в Агресте. Она еще очень привлекательна и вполне может снова выйти замуж, а тогда, может, и вовсе не приедет.

И останется Зе Эстевес хозяином, развалится брюхом кверху, будет у них служанка, чтобы ухаживать за домом, большое ежемесячное пособие. Что еще нужно в жизни? Сделав сбережения, можно будет подумать о приобретении небольшого земельного участка и двух коз, чтобы вновь заняться их разведением. Нет в мире ничего лучше и красивее, чем стадо коз на холмах.

Внимание Тиеты к дому доны Зулмиры привлек Модесто Пирес, владелец кожевенного завода.

Он навестил землячку, о которой был так наслышан, на другой же день после ее приезда. У него сохранилось слабое воспоминание

Продолжение. Начало см. в № 7.

о девочке, пасшей коз, пользовавшейся успехом у мужчин и выгнанной отцом из дома,— теперь она вернулась богатой вдовой.

Несколько дней спустя Тиета в сопровождении Леоноры и Рикардо в сутане отдала ему визит. Модесто и его жена дона Аида приняли их очень радушно и выставили вкусное угощение: ликер из женипапо [1], маисовый пирог, сладости из бананов, драже и галеты.

Богатый человек, владелец крупной плантации маниоки в Росинье, скотопромышленник, занимающийся разведением коз и овец, хозяин кожевенного завода и необъятных земель вдоль реки поблизости от Манге-Сэко, имеет несколько доходных домов, среди которых и тот, где сейчас проживает Элиза, одним словом, никто лучше, чем Модесто Пирес, не может дать совет при покупке дома и земельного участка.

— В Манге-Сэко мне принадлежит значительная территория и даже кокосовая роща; если хотите, я сам могу вам предложить участок. У нас там летний домик, чтобы принимать внуков, только они что-то не приезжают.

— На юге жизнь такая суматошная, ни у кого ни на что не хватает времени. Вот я и хочу купить себе дом здесь и участок на берегу реки.

Они тут же договорились в деталях относительно участка в Манге-Сэко по соседству с землей команданте Дарио, приобретенной также у Модесто Пиреса. Все зависит от того, понравится ли ей там.

— Вы будете в восторге, место красивое и защищено от песка, хотя до дюн рукой подать,— прогулочка пешком, чтобы сохранить форму.

— Там хорошо,— подтвердила дона Аида.— Если бы вы, сеньора, приезжали регулярно, пополнилась бы наша летняя компания. Через несколько дней мы отправимся туда.

— Мы тоже собираемся вместе с команданте в конце этой недели. Не дождусь того часа. Уже более двадцати шести лет я не видела пляж Манге-Сэко.

Модесто Пирес информирует:

— Что касается дома в городе, то я знаю, что дона Зулмира хочет продать свой, она собиралась предложить его мне. Однако я не проявил интереса; приобрести доходный дом в Агресте — значит взвалить обузу себе на шею. Квартирная плата низкая, дома постоянно нуждаются в ремонте, плата за аренду задерживается. У меня есть уже несколько домов, одно мучение с ними. Но дом доны Зулмиры — дело стоящее. Постройка добротная, участок содержится хорошо. Она продает дом, только чтобы пожертвовать деньги церкви. Боится, что племянник после ее смерти добьется того, что родственники покойного мужа доны Зулмиры возбудят дело в суде о признании недействительным ее завещания, по которому она оставляет все свое имущество падре, чтобы тот служил по ней мессы.

— И сколько же она хочет за дом, вы не знаете?

— Сейчас я вам скажу.— Модесто Пирес принес портфель и достал из него бумагу.— Вот сумма, написанная ее собственной рукой.

— Недорого, правда?

— Для вас, возможно. Для Агресте же это приличная цена. Я не скажу, что дорого, но дома здесь сейчас не в цене. Пройдите по улице и увидите, сколько их стоит, заброшенных, разрушающихся. Как говорит моя дочь Тереза, живущая в Куритибе, Агресте — кладбище.

— Кладбище? Если Агресте с его климатом, изобилием фруктов и рыбы, с целебной водой — кладбище, то что же тогда сказать о Сан-Пауло?

— Сан-Пауло, дона Антониета,— это роскошь, с его промышленностью, его движением, зданиями... это могущество. Как вы можете сравнивать Агресте с Сан-Пауло!

[1] Плод растения из семейства мареновых.

— Я не сравниваю, сеу Модесто. Для того, кто хочет зарабатывать деньги, Сан-Пауло — идеальный город. Но чтобы жить, чтобы отдыхать, обрести наконец покой, когда человеку надоело работать и зарабатывать деньги...

— А есть такой человек, которому надоело бы зарабатывать деньги? Скажите мне, дона Антониета. Я не знаю никого.

— Есть, сеньор Модесто.— Тиета вспомнила бывшую хозяйку дома свиданий мадам Жоржет, уехавшую во Францию, когда дело ее было в апогее прибылей.

— Я не верю этому, простите меня.— Он переменил тему.— Я узнал, что вы послали телеграммы в Сан-Пауло с просьбой посодействовать, чтобы гидроэлектростанция предоставила нам освещение.

— Я телеграфировала двум друзьям моего покойного мужа, которые относятся ко мне с уважением. Может быть, это даст результат.

— Дай бог. Говорят, что один из них — доктор Адемар, неужели это правда?

— Да, я с ним в очень хороших отношениях. На последних выборах я обеспечила ему некоторое количество голосов. Фелипе не голосовал за него, это прихоть санпауловца, ставшего знатной персоной. Но они ладили между собой, и доктор Адемар всегда был внимателен ко мне.

— Для меня,— высказал мнение владелец кожевенного завода,— он большой человек. Мошенник, но дело знает. Если бы все поступали как он, мы бы стали конкурентами Соединенных Штатов. А вы как считаете, дона Антониета?

— В политике я не сведуща, сеу Модесто. Скажу только: иметь друзей — большое дело. К счастью, у меня их много.

— Если вам удастся, сеньора, добыть освещение для Агресте, народ поместит ваше изображение рядом с богоматерью Сант'Аны в алтаре Главной церкви.

Идея эта показалась Антониете настолько экстравагантной, что она расхохоталась.

Кто-то посоветовал доне Зулмире продать дом и положить вырученные деньги на алтарь богоматери Сант'Аны, чтобы обеспечить себе место в раю. Как знать, может быть, тот же божественный голос надоумил ее запросить с богачки из Сан-Пауло вдвое больше, чем с Модесто Пиреса?

Если бы Антониета не знала всего, она, возможно, не стала бы возражать даже против удвоенной цифры — просторный и прохладный дом посередине участка с деревьями и садом не показался ей дорогим. Но она не терпела надувательства, знала цену деньгам. Щедрая, но не расточительная. В этом отношении Перпетуа обманывается на ее счет. Тиета помнила свои трудные дни, в ней жива еще горечь бедности. Ее состояние добыто тяжелым трудом, оно требовало больших усилий, ловкости, такта и хитрости, так что она не намерена попусту транжирить свои сбережения. Со смертью Фелипе источник иссяк. Она отвергает предложение доны Зулмиры, соглашаясь на цену, названную Модесто Пиресом. Ответа пока еще не поступило.

За время медового месяца с семьей Тиета вполне разобралась в скрытых интересах каждого из родственников, движимых в большей или меньшей степени завистью; одни лишь племянники пока чисты, скаредность еще не растлила их души. Ее терзают именно родственники, а не просители.

Озабоченная тем, что Астерио приходится дорого платить за квартиру, она предложила в случае приобретения дома доны Зулмиры или другого, подобного ему, равного по удобствам, поселиться в нем отцу с Тоньей и Астерио с Элизой. План обсудила с теми и другими в отдельности.

— Нет, дочь моя, не принуждай меня к этому! — Старик стучит посохом по полу, выплевывает черный комок изжеванного табака.— Элиза думает только о тряпках, радио орет у нее целыми днями. Астерио вообще пустое место, мне приходится следить, чтобы он не запустил руку в деньги, которые ты посылаешь мне. Конечно, если ты настаиваешь, я буду жить с ними. Но пожалей своего отца, избавь меня от такой напасти. Мне придет конец.

Тиета рассмеялась, что же ей было сделать? Старик сильный, здоровый, деспот, а прикидывается слабым и униженным, лишь бы не жить с дочерью и зятем.

— А с Перпетуей, отец? Ты бы согласился жить?

— Боже меня упаси, дочь моя! Скорее смерть. Вонзи мне сразу кинжал в грудь, но не проси об этом.

— Что же ты предлагаешь?

— Вот с тобой я бы мог жить, дочка. Ты справедливая, вся в меня пошла. И характеры у нас похожие.

Не менее категоричной была реакция Астерио и Элизы:

— Пока я могу платить за квартиру, предпочитаю, чтобы мы жили одни — Элиза и я. Не из-за матери Тоньи, но сеу Зе Эстевес — твердый орешек. У нас с ним нелады,— смущенно извиняется Астерио.

— Отец только с тобой обращается вежливо, к нам же он все время придирается. Трудно представить себе, сестра, что будет, если мы поселимся с ним в одном доме, и вообще, у меня нет особого желания жить в собственном доме в Агресте. Предпочитаю даже не иметь его.

Улыбнувшись сестре, бедной Элизе, Тиета не спросила о причинах.

— Если так, не будем об этом и вспоминать.

В пути из Сан-Пауло в Агресте Тиета рассказывала Леоноре:

— Фелипе я любила безмерно...

Даже после того как Фелипе умер, Тиета не убрала из спальни его пижаму и домашние туфли, будто он может вернуться в любой момент. Как всегда — в непредвиденный час, с улыбкой и поцелуем.

— Наша любовь длилась почти двадцать лет. Когда мы познакомились, я еще была молодой, бесшабашной.

— Он тебя безумно любил, Мамочка.

— Он находил в общении со мной веселье, отдых — то, чего ему так недоставало в жизни. Я не знаю, как определить свое чувство к нему. Любовь, дружба, признательность или все эти чувства вместе. Поэтому я и отправилась в эту поездку — он умер, и я снова осталась одна, как вначале. Чтобы взять из мотка два конца нити и связать узлом, соединить начало и конец.

— Конец, Мамочка? Такая молодая, такая красивая, у тебя столько поклонников.

— Я не об этом толкую; конечно, я еще не погасила огонь... Неужели он погаснет в один прекрасный день? Разве что со смертью? Не об этом. Я хочу погрузиться в прошлое, вспомнить, кем была я, узнать, кем бы стала, живи я в Агресте вместо того, чтобы переехать в Сан-Пауло. Я хочу искупаться в «Бассейне Катарины», побродить по песку между дюн Манге-Сэко. Только и всего. И еще наполнить твою грудь чистым воздухом, подлечить малокровие.

— Мамочка, ты такая хорошая!

— Хорошая? Я и хорошая, и плохая; когда злюсь, никто не может сладить со мной, я становлюсь дьяволом.

— Я была уже тому свидетельницей, Мамочка. Но злость проходит, доброта остается.

— Страдание меня научило. Одни замыкаются в горе, другие открывают свое сердце людям, мое распахнулось. И все потому, что я встретила Фелипе. Если бы не он, возможно, я озлобилась бы, горечь

накопилась бы в душе. По правде сказать, сама не знаю. Говорят, я люблю командовать.

— Думаю, что ты родилась такой, какая ты есть, Мамочка. Родилась, чтобы быть пастушкой, стеречь свое стадо.

Тиета развлекается с племянниками. Пето, фантазер, плут, шутник, не отходит от тетки из Сан-Паулo и ее красивой падчерицы, если не торчит в баре, приобретая познания, которых ему не следовало бы еще иметь.

— Этот мальчишка — мой крест. Я его наказываю, нещадно деру ремнем — никакого толку. Нет чтобы учиться, а он вертится в баре, набираясь там всяких гадостей... горе с ним! — жалуется Перпетуа, замечая отсутствие младшего сына.

Пето появляется на веранде, довольный жизнью, у него смиренное выражение лица, зато плутовские глаза наслаждаются видом приоткрытых грудей, выставленных напоказ ног и бедер. Он пришел напомнить о купании в реке, намеченном на это утро. Перпетуа велит Рикардо сопровождать тетку. Они отправятся в «Бассейн Катарины».

«Бассейн Катарины» — прекрасная бухточка в излучине реки, где ее берега широко расступаются. Кристально-чистая вода, галька и скалы. Отсюда видна стоянка лодок, катер Элиезера на якоре. Среди скал — укромные уголки.

Сняв платья, Антониета и Леонора остаются в крохотных бикини. Они растягиваются на камнях. Лежа ничком, спускают бретельки, чтобы лучше загорали спины, становятся видны запретные округлости, достойные того, чтобы ими любовались. Рикардо бросается в воду и уплывает далеко. Пето с удочкой усаживается рядом с загорающими, его глаза бегают без устали. Вечером при луне — вот это купание. Когда наступит полнолуние, они придут сюда с Асканио — уже договорились.

Тиета любуется Рикардо, он плывет, широко взмахивая руками, ныряет, уже почти переплыл реку — молодой атлет с загорелым мускулистым телом. Она встает, смело ныряет и уверенно направляется к середине течения, туда, где Рикардо. Бросив удочку, Пето приглашает Леонору:

— Пошли?

Ныряя, Рикардо спасается в водах реки. Возвратясь с прогулки после купания перед завтраком, игры в мяч или рыбной ловли, он погружается в чтение.

Приняв ванну, тетка усаживается перед зеркалом, распахивает пеньюар, принимается за тюбики с кремом, баночки, флаконы. Аромат разносится по дому щекоча ноздри юноши — старшего племянника, внимательного и скромного. Он всегда готов услужить тетке и кузине («Не забывай, что Леонора — твоя кузина»,— напоминает ему Перпетуа), но не подглядывает за ними, не преследует порочным взглядом, как поступает младший брат. Наоборот, он отворачивается, отводит взор, когда ненароком выглянет грудь, обозначатся контуры тела под пеньюаром или шортами.

Он зарывается в книги, спасается в абстрактных теоремах алгебры. Ему нужно сосредоточиться, не позволять себе отвлекаться, иначе глаза сами собой направляются в сторону комнаты, где прихорашивается тетка, даже не прикрыв дверь и нисколько не стесняясь. О ужас! Он совершит смертный грех, если будет подсматривать за ней. А если увидит невольно, случайно? Как бы он ни старался, трудно избежать расставленных сетей.

Хуже, чем видеть,— думать. Приходится строго контролировать себя, подавлять дурные мысли. А сны? Как справиться с ними?

Темно. Лежа в гамаке, он слышит, почти ощущает тетку за вечерним туалетом, она снимает косметику. Рикардо не решается закрыть дверь, но и при открытой двери доносится лишь тихий шум от переставляемых баночек и флаконов, мало что видно. Когда же дверь закрыта, воображению нет пределов — пеньюар сбрасывается, а рубашка так коротка! Спасение только в молитве.

Так или иначе, ночью или днем нелегка борьба с дьяволом, только бог помогает справиться с ним. Занимаясь перед завтраком, он старается погрузиться в изучение математики или истории, в то время как в комнате напротив тетка подкрашивается и душится. Теоремы, формулы, португальские мореплаватели... Сосредоточиться невозможно, в семинарии запахи убаюкивали, здесь от них кружится голова.

— Кардо!

— Да, тетя.

— Ты занят?

— Я занимаюсь. Но если вам что-нибудь нужно...

— Да, пойди-ка сюда.

Рикардо оставляет книгу, входит в комнату.

— Намажь мне плечи кремом и помассируй. Дай руку.— Она выдавливает ему на ладонь пахучий крем.— Сначала размажь, потом растирай.

Она опускает пеньюар, обнажаются плечи, рукою Тиета прикрывает грудь, сама остается сдержанной, и на том спасибо. Наклоняется, чтобы облегчить задачу племяннику. Рикардо неловко размазывает крем, массирует ей плечи.

— Довольно, сынок, большое спасибо.

Благодаря его, она оборачивается с улыбкой и замечает, что у племянника шевелятся губы.

— Что это ты делаешь? Молишься?

Она разражается смехом, Рикардо смущается, краснеет, вид у него сокрушенный.

— Ты что, боишься меня? Я не дьявол, нет.

— О, тетя.

— И массировать тетку — не грех.

— Я ничего такого не думал. У меня просто привычка молиться, когда мне приходится что-нибудь делать руками,— лжет он.

— Тогда поцелуй меня и иди заниматься.

Приятный отдых продолжается — и как он разнообразен! Веселые беззаботные, счастливые дни; прогулки, беседы, качания в гамаке под щебет птиц, безмятежный покой.

Слушая на веранде трели птички софрэ, Леонора Кантарелли задается вопросом: как может жизнь быть такой чудесной? Асканио по дороге в префектуру заходит, чтобы поздороваться. В городе, рассказывает он, люди спорят: удастся ли Тиете благодаря своим связям в Сан-Пауло помочь провести электричество от гидростанции? Одни верят, другие нет, последних большинство. Никто не сомневается в богатстве, общественном весе вдовы комендадора Кантарелли, но этого недостаточно, чтобы заставить пошевелиться таких сиятельных персон, как губернатор и сенаторы. Так или иначе, это хорошая тема для разговоров, споров, прекрасный способ убить время, бесконечно длящиеся часы — счастливые, по мнению Леоноры.

Поздоровавшись с сеньорами и прокомментировав полемику об электрическом освещении, Асканио направился на работу. Румяное лицо, белокурые волосы, хрустальный смех — Леонора машет ему с порога дома.

Всегда в многолюдной веселой компании Тиета и Леонора катались вверх и вниз по реке на неповоротливой, но надежной моторке команданте, на катере Элиезера или на быстроходной лодке Пирики.

В субботу они поедут наконец в Манге-Сэко, Тиета и Леонора будут гостьями доны Лауры и команданте Дарио. Секретарь префектуры, пришедший в себя, по крайней мере с виду, после разочарования, которое принесла ему поездка в Пауло-Афонсо, объявил прекрасной Леоноре Кантарелли:

— Я уже принял необходимые меры, чтобы заказать для вас в небесной канцелярии ослепительный лунный свет. Полнолуние в Манге-Сэко — самое красивое, что есть на свете!

— Должна быть именно такая ночь, на другую я не согласна.

— Положитесь на меня...

«Ночь для влюбленных»,— хотелось бы ей сказать, но она сдержалась, все так ново и неожиданно, давняя мечта внезапно становится явью. Не поздно ли? Асканио тоже хотелось сказать: «Заказал лунную ночь для влюблённых»,— но разве он осмелится? Бедный мелкий муниципальный чиновник, может ли он рассчитывать на внимание наследницы-миллионерши? Даже и мечтать нечего. «И все же,— думает Леонора и думает Асканио,— это счастливые, благословенные дни».

В середине недели они обедали в доме доны Милу. Дона Кармозина заранее объявила потрясающее меню, все блюда — самого высокого качества, дабы потрафить тонкому вкусу гостей с Юга. О большинстве этих изысканных яств Леонора никогда и не слыхивала.

Приглашенных на обеде было много: помимо тех, в честь кого он устроен,— Перпетуа, Элиза с Астерио, Барбоза, Асканио и вся бильярдная компания. Команданте и дона Лаура пребывали в Манге-Сэко.

Блюда сменяют одно другое, льется пиво, беседа перемежается шутками, смехом. После обеда Леонора и Асканио удаляются на веранду, им хочется остаться наедине. Дона Кармозина растрогана, она обожает сводить влюбленных, переживать успех их любви, устраивать свадьбу — редкий праздник в Агресте.

Дона Кармозина и дона Милу подсаживаются к Тиете и поэту:

— Никогда не видела такого влюбленного, как Асканио.— У доны Кармозины нет другой темы. — Ты думаешь, Тиета, что Леонора отвечает ему взаимностью?

— Не знаю... она много страдала, я тебе уже рассказывала, Кармо. У нее был жених, дона Милу, но ему хотелось лишь заполучить ее деньги. Это было очень большое разочарование, оно оставило глубокую рану в ее душе.

Барбоза верит в силу любви:

— От любви не умирают, любовью живут.

Дона Милу меняет тему разговора:

— Ну, а как дом, Тиета? Нашла другой, по своему вкусу?

Все уже знают о повышении цен на недвижимость по случаю прибытия богачек из Сан-Пауло.

— Наглость! Будто я на самом деле санпауловка, не здесь родилась и выросла... Но если дона Зулмира уступит, я куплю ее дом, он пришелся мне по вкусу. Ни один другой из тех, что я осмотрела, мне не понравился.

В субботу на рассвете Тиета, Леонора и Пето отправились в Манге-Сэко на моторке команданте Дарио, который приехал за ними, оставив дону Лауру в «Тешиной лачуге» еще спящей: когда она проснется, займется приготовлениями к приему гостей. К завтраку будет мокека [1] из свежей, только что выловленной рыбы.

Остальные прибудут в воскресенье: суббота — очень загруженный день в Агресте. У Рикардо — месса, Астерио — в лавке, Элиза хлопочет на кухне, Асканио до самого вечера принимает в префектуре посетителей из отдаленных районов муниципия. Дона Кармозина ожи-

[1] Жаркое из рыбы или моллюсков с растительным маслом и перцем.

дает «маринети», чтобы получить и раздать газеты, журналы, письма, прочесть и поправить некоторые из них по просьбе неграмотных крестьян. Для жителей сельской местности суббота — день покупок, жалоб, претензий и требований к муниципалитету, переписки с родственниками, переехавшими на Юг.

В «Тещиной лачуге» команданте разложил на столе начерченный им самим схематический план земельных участков, принадлежащих Модесто Пиресу.

— Здесь наш участок — «Тещина лачуга». Вам же, Тиета, я советую купить вот этот, по соседству с нами, прямо в кокосовой роще. Это самое красивое место и самое защищенное от заносов песком. Мы можем сходить туда, если пожелаете.

— Непременно, я за этим и приехала.

— Можете и тут договориться. Модесто и дона Аида сейчас на побережье. Кстати, он поручил мне пригласить вас к нему домой на аперитив перед завтраком. Это вон там, ближе к поселку рыбаков.

Тиета ощущает лицом дуновение ветра с моря, ни с чем не сравнимый запах. Ветер принес мелкий песок с той стороны отмели, и он осел у нее в волосах. Солнце жжет кожу.

— Как чудесно! — восклицает Леонора, увидев раскинувшийся перед ней безграничный пейзаж.

Тиета ищет Леонору глазами, ослепленными солнцем, и замечает ее на самой вершине дюны, будто над океаном, овеянную ветром, засыпаемую песком, пастушку коз...

Леонора спускается к ней и сдавленным от волнения голосом произносит:

— Мамочка, я осталась бы здесь навсегда. Не хочу возвращаться в Сан-Пауло.

Ветер уносит безумные слова, Тиета не отвечает.

— Навсегда! — повторяет Леонора.

Лучше бы утонуть здесь, в огромных волнах, в бушующем море.

Леонора, казалось, парила, очарованная пейзажем, внезапно освободившись от прошлого, словно родившись заново, поддавшись магии полной луны, разливающей свет над дюнами и океаном. Ей хотелось бы остаться на вершине, лежать на песке в этом блаженном покое. Но когда команданте напомнил о назначенной встрече с доной Аидой и Модесто Пиресом, Леонора не рискнула показаться невежливой и возвратилась с Тиетой в «Тещину лачугу».

Здесь Антониета энергично, как всегда, когда она желала чего-нибудь, вступила в переговоры о последних деталях, касающихся приобретения участка.

— Можете платить как сочтете нужным, в любые сроки.

— Я хочу заплатить наличными, сеу Модесто.

— Видно, что вы не деловая женщина, дона Антониета: при нынешней инфляции покупать в рассрочку определенно выгоднее.

— Я не люблю быть должной — только поэтому; однако не думайте, что я так уж наивна. Поскольку я плачу наличными, хочу получить скидку.

Модесто Пирес рассмеялся:

— Скидку? Ну что ж. Пять процентов, вы согласны? Не потому, что вы платите наличными, а ради удовольствия быть вашим соседом.

Леонора едва слышит их разговор, она тоже, если могла, приобрела бы участок в Манге-Сэко. Но хотела бы жить здесь не под старость, а уже сейчас.

Чтобы не поступить опрометчиво, ей нужно открыться Мамочке и попросить у нее совета, тем более что Тиета, опасаясь последствий, может ускорить возвращение в Сан-Пауло. Леонора претендует лишь на несколько дней — человек знает, что он смертен, но это ведь не

мешает ему пользоваться жизнью. Имеет же она право на первый поцелуй... Каким он будет?

Со стороны реки доносится гул моторной лодки, кто бы это мог быть? Она прислушивается к шуму, который нарастает, меняется оттого, что катер сталкивается с морскими волнами при подходе к песчаной отмели. Вскоре слышатся шаги, Леонора вскакивает. Появляется Асканио, он выходит из полосы лунного света. Девушка порывисто бросается ему навстречу.

В полумраке они берутся за руки, улыбаются губы, глаза блестят.

— Я приехал на моторке Пирики. Он привез меня и сразу же отправился обратно.— Снова слышится шум мотора, корпус лодки бьется о встречные волны.

— Не утерпели, не дождались утра, а, сеу Асканио? И прекрасно; тому, кого ждут, опаздывать нельзя,— приветствует его команданте.

Молодой человек старается оправдаться:

— Я предпочитаю путешествовать ночью, чем вставать на рассвете.

Он не может решить: присоединиться ли ему к беседе или же уйти с Леонорой? Дона Аида приходит на помощь:

— Почему бы вам не прогуляться с Леонорой, не полюбоваться луной с вершины холмов? Это так...— она хотела сказать «романтично», но удержалась,— так красиво...

Совет принят, девушка повязывает голову платком:

— С вашего разрешения...

Тени скрываются среди кокосовых пальм. Дона Лаура вздыхает:

— Ничто не сравнимо с молодостью. Жаль, что наш роман с Дарио не начался тут, в Манге-Сэко. Когда мы приехали сюда, у нас за плечами было уже лет десять супружеской жизни.

— Это был второй медовый месяц...— вспоминает команданте.

— Воспитанная она девушка... сразу видно — из хорошей семьи,— хвалит дона Аида.

Проводив задумчивым взором обе тени, Тиета возвращается к разговору:

— Леонора — удивительный человек. В жизни ее постигло жестокое разочарование, которое стоило ей здоровья, сейчас она уже оправляется. Мошенник, невестой которого она была, хотел лишь воспользоваться ее приданым. К счастью, я вовремя вмешалась. Но бедняжка очень страдала, она перенесла глубокий кризис, не спала, не ела, у нее даже развилось малокровие. Вот я и привезла ее с собой, чтобы она окрепла на чистом воздухе Агресте.

— Вы правильно сделали, здесь она в два счета поправится. Нет ничего лучше козьего молока, если нужно восстановить силы человека,— согласился Модесто Пирес.

Они усаживаются на вершине дюны, перед ними — океан.

— Спасибо,— говорит Леонора.

— За что?

— За лунный свет. Не вы ли его заказали?

— А! — Его лицо освещается улыбкой.— Нравится?

— Спасибо также и за то, что приехали.

В груди Асканио пожар, юноша немеет. Шум праздника в поселке заглушается прибоем волн, набегающих на дюны. Любая тема годится, чтобы одолеть немоту.

— Это празднуют день рождения Жонаса, главы рыбацкой артели. Он однорукий, акула отхватила левую.

— Здесь есть акулы?

— В открытом море их полно. Иногда и к берегу приплывают. Они наглые и прожорливые. Малейшая неосторожность — и смерть.

Не время вспоминать о смерти — возможно, поэтому к ним снова возвращается сдержанность, робость. Оба замолчали, изредка обмениваются короткими взглядами; и все-таки им очень хорошо. Луна как по заказу, только для них. Лунный свет — для влюбленных, чтобы говорить о любви. А это как раз то, о чем Асканио собирается сказать. Он придумывает фразу, она умирает у него на устах, в конце концов он объясняет:

— По другую сторону — Африка.

— Африка?

Он показывает пальцем вдаль.

— По другую сторону моря.

— А, да! Африка, знаю.— Она не хочет, чтобы разговор замер.— Много было работы сегодня?

Конечно, их интересует не география и не административные проблемы. Но где взять вдохновение для пылких слов, для объяснения в любви, которое еще в ходу у жителей Агресте?

Сегодня было то же самое, что и каждую субботу: просьбы отремонтировать дороги, очистить источники, оказать помощь, соорудить мостик «мата-буррос». Леонора и представить себе не может, как мало средств у Агресте. А ведь в свое время он считался богатым муниципием. Когда префектом был дед Асканио.

— Я слышала, что вы станете новым префектом?

— Надеюсь. И знаете почему? Никто не хочет занять этот пост. Но я согласен. Признаюсь вам, пусть вы сочтете меня фантазером: я уверен, более того, убежден, здесь все изменится и Агресте станет снова таким же, каким был когда-то. Я не могу видеть свой край в оцепенении застоя.

— Хорошо верить, мечтать. Как вы любите свой край!

— Да, это так. Я хочу, чтобы он очнулся от спячки, в которую погрузился, я разбужу его.— Он переводит дух, чувствует себя успокоенным, мужественным.— Жизнь забавна. Еще месяц назад я ни во что не верил, потерял всякую надежду. Слал письма в газеты, обращался к правительству, но не верил, что это даст хоть какие-то результаты. Теперь все мне кажется достижимым. После того, как...

— После чего?

— После того, как вы приехали. Все изменилось, просветлело. Даже я повеселел.

— Это из-за Мамочки — где бы она ни появилась, всюду разгоняет грусть. Она лучший человек в мире.

— И благодаря ей тоже. Но для меня...

Леонора ждет, сердце замирает. Ветер доносит разговор, смех, звуки гармоники. Асканио начинает с жалобы:

— Я был живым трупом, ни в чем не находил радости. Я расскажу вам, если позволите. Звали ее Аструд...

Леонора встает. Лицом к морю. Взгляд устремлен вдаль, туда, где лунный свет поглощается ночным мраком. Поднимается и Асканио, он хочет сказать ей: самая красивая, нежная и чистая из женщин и к тому же богатая. А он?.. Бедный секретарь префектуры Сант'Аныдо-Агресте. Ах, зачем она так богата?

Однако Асканио не осмелился заговорить о бедности и богатстве. Трепещущая, с влажными глазами, Леонора устремляется к нему, касаясь рукою его лица, приближает полуоткрытые уста. Сбегает с дюны, на губах вкус первого поцелуя. Луна и звезды смотрят на нее, счастливую и несчастную.

Асканио не пытается следовать за ней, он прикован к месту, но уж если тронется — завоюет мир. В один прекрасный день он подойдет к ней и скажет: «Я не обладаю состоянием, чтобы жить в роскоши, но зарабатываю достаточно, я пришел за тобой». Луна ушла за море, к берегам Африки.

Пляж Манге-Сэко оживляется. В воскресенье прибыло множество друзей во главе с доной Кармозиной — на ней потрясающий лиловый купальник. Даже Перпетуа собралась с духом и присоединилась к компании, но оделась во все черное — она продолжает соблюдать глубокий траур.

А что же Рикардо? Тиета, которую окружают, обнимают и целуют, в первый момент не замечает отсутствия племянника. Но когда сумятица стихает, она спрашивает:

— А Кардо, где он?

— Он не смог приехать,— отвечает раздосадованная Перпетуа,— Падре Мариано отправился вершить бракосочетания и крещения в Росинье — он туда ездит два раза в год, в июне и декабре,— и взял с собой Рикардо.

Тиета не откликается, не комментирует это сообщение, но Перпетуа замечает у нее на лице разочарование и радуется: богатая сестра сожалеет об отсутствии племянника, значит, она все больше привязывается к ее мальчикам. Это хорошо.

Пусть оба сына проводят с теткой как можно больше времени. Перпетуа хочет, чтобы сестра сделала их обоих единственными своими наследниками, даже усыновив, если потребуется.

Времени мало, следует срочно обратиться к помощи бога, чтобы тронуть сердце Антониеты, привести ее к единственно правильному решению. Правда, Тиета не определила точно срока своего пребывания в Агресте, но, вероятно, оно не продлится более полутора-двух месяцев: ее ждут собственные дела, а уже прошло десять дней. Мало-помалу хитростью и терпением Перпетуа сумела выведать у сестры все о состоянии ее финансов. Она выяснила, что у Тиеты четыре квартиры и целый нижний этаж в центре города, все пять помещений она сдает за очень высокую ежемесячную плату.

Перпетуа еще не получила точной информации относительно того, каким делом непосредственно руководит Антониета. Речь идет не об индустрии, ведь промышленные предприятия управляются сыновьями комендадора и Антониета является лишь компаньоном, но не администратором. Должно быть, она владеет каким-то торговым заведением, например магазином мод, поскольку у нее есть служащие — женщины. Перпетуа подслушала разговор между Тиетой и Леонорой они упоминали о работе девушек. Как и недвижимость, это коммерческое предприятие — подарок комендадора — является личной собственностью сестры.

Перпетуа расспрашивает, собирая сведения по крупицам. Антониета и Леонора не очень разговорчивы. Возможно, намеренно, чтобы не вызывать у родственников зависть. Одно несомненно: состояние Тиеты очень велико. Дела, которыми она заправляет,— крупные, многообразные и приносят большой доход.

Однажды Антониета извлекла из саквояжа, всегда запертого на ключ, небольшой чемоданчик и на коленях открыла его, повернув к себе. И все же Перпетуа сумела встав будто невзначай, увидеть содержимое — деньги в крупных купюрах; там были сложены пачки и пачки.

— Святый боже! — воскликнула она.

Тиета объяснила что привезла наличные не только на текущие расходы но и для оплаты участка в Манге-Сэко, кроме того, надо было внести задаток за дом.

— Здесь ведь нет банка, а я не люблю быть должной.

— Но у тебя же тут целое состояние. Ты с ума сошла оставлять такие деньги в чемодане!

— Об этом знает только Леонора, а теперь еще и ты. Не нужно болтать, и все.

— Чтобы я стала болтать! Упаси меня боже...— Она приложила руку ко рту.— Но я не смогу теперь спать спокойно.

Антониета смеется:

— Когда я куплю участок и дом, денег поубавится.

Да, вот это состояние! Хорошо бы избежать того, чтобы в будущем — все мы когда-то умрем, не так ли? — часть денег и имущества Антониеты не попала в руки детей покойного комендадора, этой тихони Леоноры. Тиета уж слишком любит ее, все время о ней заботится, кормит ее, заставляет пить по утрам козье молоко.

Но сестре нравятся и племянники, она относится к ним с любовью, радуется, когда их видит. Но этого мало, она должна относиться к ним как к своим детям, пусть они станут ее детьми. Если возможно, оба, если нет, то хотя бы один. Признанными в законном порядке наследниками.

Если Антониета пожелает взять одного из них в Сан-Пауло, Перпетуа не будет противиться, лучше всего, если она изберет Пето. Мальчишка пропащий, нет чтобы учиться — бродит по Агресте, хоть его и наказывают; шляется в бар и кино, скоро, видно, будет посещать места и похуже. Но если она выберет Рикардо, чтобы он жил в Сан-Пауло и стал правой рукой тетки,— пожалуйста. Тогда Пето, захочет он или не захочет, займет место старшего брата в семинарии — один из двоих должен принадлежать богу, она ведь дала такой обет.

Идеальным было бы, если б Антониета, усыновив обоих, отправила Рикардо закончить курс в семинарии Сан-Пауло, откуда выходят каноники и епископы.

Под жарким солнцем, на ветру, перебирая в уме планы и обеты, Перпетуа закрывает глаза, засыпает и грезит.

Элиза не умеет плавать. В детстве и отрочестве ей были заказаны река и море. Зе Эстевес, обеднев, стал непомерно строгим и свирепым. Не в пример тому, что случилось с Тиетой, Элизу держали на короткой узде, посох под любым предлогом разгуливал по ее спине и ниже. «Бассейн Катарины», пляж Манге-Сэко — об этом нечего было и думать.

Отец предупреждал: никаких молодых людей, только когда появится хорошая партия, человек, готовый к помолвке и женитьбе. «Иначе отправлю в монастырь»,— угрожал он. Пустая угроза, где тут монастырь? Астерио, единственный сын, унаследовал лавку, в которой еще мальчишкой начал работать,— степенный молодой человек. Он был хорошей партией, Зе Эстевес дал свое согласие. В шестнадцать лет красивая невеста Элиза вышла замуж, думая, что получила свободу. Напрасно, она лишь сменила хозяина.

Элиза ревнует. Не потому, что сестра или девушка могут заинтересоваться Астерио. Нет, она завидует тому, что Леонора флиртует с Асканио, всегда они вместе, не расстаются. И Антониета, недавно овдовевшая, не затем приехала в Агресте, чтобы отнимать мужа у кого бы то ни было. Она бы отняла без труда, если б захотела. Несмотря на ее сорок четыре года — от них она не отказывается,— стоит ей появиться на улице, веселой, непринужденной мужчины спешат поздороваться с ней. У нее гладкая и нежная кожа, за которой она тщательно ухаживает, великолепное тело. Уж наверняка сделала себе пластическую операцию, решили Элиза с доной Кармозиной. Обе они в курсе нравов артисток и дам высшего света, наслышаны о чудесах, совершаемых доктором Питанги, он оперировал многих — и бразильянок, и иностранок. Конечно, Тиета восстановила свою красоту в знаменитой клинике, избавившись от морщин и дряблой кожи,— достаточно видеть ее грудь, замечательную, пышную и притом упругую, более упругую, чем у нее, Элизы.

Зависть Элизы была иной. Она завидовала богатству, которое Тиета и Леонора выставляют напоказ, нравам большого города, где

они живут без предрассудков и ограничений, а она всего лишь простолюдинка из сертана, обреченная на унылое прозябание.

Да, зависть она испытывала и к Леоноре, к любви, с которой Тиета относилась к ней, ласково называя ее Норой, дочкой, проявляя материнскую заботу о ней. Ей хотелось бы такой же заботы, подобной же любви, хотелось чувствовать себя балованной, как эта приемная дочь. Иногда Антониета и с ней ласкова, гладит ее по голове, целует, превозносит ее красоту: «Ты очень, очень красива». Нежно называет дочкой, Лизой — похоже, все идет к тому, о чем она мечтает. Но бывает, сестра посмотрит на нее задумчиво, будто оценивает, насколько она к ней привязана. Элиза не может понять причины сомнений Тиеты. Может, это интриги Леоноры — почем знать? Из опасения конкуренции, боязни потерять привилегированное место возле той, которую называет Мамочкой.

Однажды, оставшись наедине с Тиетой, Элиза тоже назвала ее Мамочкой. Сестра как-то странно посмотрела на нее и строго заметила:

— Я предпочитаю, чтобы ты называла меня Тиетой.

Голос и взгляд заставили Элизу затрепетать:

— Прости. Я только хотела доставить тебе удовольствие, выразить признательность за все, что ты сделала для меня.

Тиета смягчилась. Она погладила черные волосы сестры, но не отступила от своего:

— Я не сержусь. Просто предпочитаю, чтобы ты меня называла Тиетой. В Агресте все меня зовут так, мне это нравится. Мамочка — это сан-пауловское имя, так меня зовет Нора и другие девушки.

— Дочери покойного?

— Дочери, племянницы — семья большая.

К этой семье Элизе и хотелось принадлежать, к потомству комендадора, богатого промышленника, важной личности, к людям изысканным. Ей хотелось подняться над посредственностью Агресте, избавиться от своей никчемности, алчности, забыть про усталость. Она мечтала об огнях, блеске, веселье, возможностях, приключениях Сан-Пауло. В Агресте у нее нет перспектив, нет будущего, она прозябает, угасает с каждым днем.

Одетая в купальник Леоноры — ее собственный стар и вышел из моды,— облегавший ее роскошное тело, с черными волосами, спадающими на плечи, она вышла из воды и уселась на песке. И тут она замечает задремавшую Перпетую. Она знает, что у старшей сестры есть хитрый план — таково мнение доны Кармозины, от которой ничто не скроется. Перпетуа страстно желает подкинуть Тиете обоих ребят, отправить их в Сан-Пауло, там она усыновит их и сделает своими наследниками. Дьявольский план, дона Кармозина полностью разгадала его.

Желания Элизы не заходят так далеко, она бы хотела быть удочеренной не на бумаге, а в сердце Тиеты. Элиза не выставляет себя кандидаткой в единственные наследницы. Она удовлетворилась бы гораздо меньшим — сочувствием сестры к убогой судьбе ее и болвана Астерио. Только бы Тиета взяла их в Сан-Пауло, предоставила ему работу на одном из своих предприятий, а она, самая близкая ей сестра, почти дочь, которую Тиета полюбит так же или больше, чем Леонору, будет рядом. Элиза уже сказала, что не хочет иметь собственный дом в Агресте. Если, конечно, сестра предложит ей что-либо в Сан-Пауло, где жизнь так интересна, полна новых для нее переживаний и искушений. Там найдутся ценители ее красоты, будет где и кому показать себя. В Сан-Пауло все может случиться.

Домашний очаг, спокойную жизнь, человеческое тепло, настоящую привязанность Леонора обрела лишь тогда, когда она девятнад-

цати лет пришла в дом свиданий «Убежище лордов» и получила одобрение мадам Антуанет. Длинный путь голода, страданий, отчаяния привел ее сюда.

В детстве родители по любому поводу били ее по лицу — отец и мать, тощая Виченса и коренастый Витторио Кантарелли,— если не дрались между собой, причем не всегда Витторио одерживал верх. Пятеро детей — четверо сыновей и она, младшая дочь. Один за другим они уходили из дому, спасаясь от нищеты, уходили на фабрику или в дурную жизнь. Джузеппе умер молодым парнем, попав под колеса грузовика, когда возвращался домой пьяным. А он был единственным, кто относился к сестре с состраданием, ласкал ее, иной раз давал леденец. Когда ей исполнилось тринадцать лет, как она хотела уйти отсюда, избежать неминуемой судьбы своей — поступления на фабрику. Все находили ее хорошенькой и говорили ей об этом. Но не для того, чтобы сделать комплимент, поддержать, обнадежить хорошим будущим— наоборот, чтобы выразить сожаление, намекнуть на то, что ей угрожает.

— Non sa quello che l'aspetta di èssere cosí bella [1].

— Красивая и бедная — кончит плохо.

Они были правы. Мальчишки и мужчины преследовали ее. Еще в детстве, до половой зрелости, ее пытались изнасиловать на футбольном поле, заросшем травой. И с этим надо было смириться. К чему плакать, когда все равно, днем раньше, днем позже, такое должно случиться? По недомыслию она все рассказала дома и тут же получила трепку от Виченсы и Витторио, считавших, что она держится как распутная девка, пусть не торчит на улице, предлагая себя.

Она ходила в школу, научилась читать и считать, и только ради школьного завтрака, который наспех глотала — ведь дома она недоедала. Сеу Рафаэл, хозяин пиццарии [2] «Этна», с женой, беременной на девятом месяце, давал ей кусок пиццы с несвежим мясом и тискал ее, пока она с жадностью поглощала угощение. Так Леонора с ранних лет платила за еду и расплачивалась за свою красоту, не утоляя, однако, голода.

Грудь ее округлялась, красота становилась все ярче, девушка обращала на себя внимание, даже одетая в убогую школьную форму. Фигурка Леоноры была немалым искушением для мужчин. В пятнадцать лет стала жертвой. Это должно было случиться, говорили соседи,— такая хорошенькая, беспризорная и уже расцветшая девушка. Четверо в автомобиле: один постарше, с бородой, трое совсем молодые — пригрозили ей револьверами. Самому грубому из них по виду можно было дать не больше, чем ей самой, он колол ее перочинным ножом. Бородатый оставался за рулем, а три подростка выволокли ее из машины, вытолкали в темноту; прохожие видели, понимали, что происходит, но никто не вступился за нее. Нет сумасшедших, чтобы связываться с вооруженными подонками, с наркоманами! Они утащили ее, изнасиловали, избили, разорвали платье, единственное, что было у нее, помимо формы. Она пожаловалась в полицию — только выслушала насмешки, да еще один из агентов предложил ей встречу; газеты сообщили об инциденте в двух строчках — обычный случай, без серьезных последствий. Если бы ее убили, информация, возможно, вызвала бы некоторый интерес. Изнасилование, избиение — ерунда. Если до этого кто-то и подумывал о женитьбе на ней, то теперь оставил подобную мысль. Единственное, что ей оставалось,— уйти куда глаза глядят, с любым, кто бы захотел ее увести.

Она сошлась с неким Пипо, с первым, кому отдалась по доброй воле. Он показался ей лучше всех, с длинными, нечесаными волосами, спадающими на шею; в свои девятнадцать лет он уже упоминал-

[1] Она не знает, что ее ждет из-за того, что она такая красивая *(итал.)*.

[2] Таверна, где готовится пицца — итальянский пирог с рыбной или мясной начинкой, с помидорами и перцем.

ся на спортивных страницах газет, у него была наружность футбольной звезды. В команде взрослых игроков не хватало левого крайнего, и вот взяли его из команды юниоров, показал себя с хорошей стороны, стал метким нападающим. Это было началом успеха Пипо и концом их романа для Леоноры.

Правда, он предложил ей изредка встречаться, если она пожелает, когда он, свободный от тренировок и игр, будет посещать квартал, где живет его семья в убогом доме, подобном тому, где обитала сама Леонора. Такой любви — от случая к случаю — она не хотела; романтичная, она требовала ласки, нежности, настоящей любви — абсурдные желания в этом запутанном лабиринте отношений.

Она еще плакала, когда встретила Наташу, прежде жившую по соседству с ней,— та тоже пришла навестить родителей. Леонора поведала ей о своей любви и о разрыве; об изнасиловании та уже знала. Глубокую рану нанес ей Пипо, теперь приобретший известность, разъезжавший на собственном автомобиле в окружении поклонников. Как отмечала спортивная хроника, успех вскружил парню голову — если он будет продолжать так, далеко не пойдет. Наташа, элегантно одетая и благоухающая дорогими духами, открыла ей секрет своей профессии. Она не хвалилась большими заработками, но на жизнь, мол, хватает, если суметь избежать сутенеров и альфонсов. По словам Наташи, быть проституткой лучше, чем работать восемь часов на фабрике или прислугой в богатом доме. Леонора стала перед выбором — фабрика или кварталы сомнительной репутации?

Два года она переходила туда-сюда, из рук в руки, жила в дешевых гостиницах, даже в комнате без окна, отделенной от соседней лишь легкой перегородкой, была арестована, подверглась исправительному заключению, влюбилась безумно в Сида Рапозейру.

Снова Наташа изменила ее курс жизни. Они встретились с ней случайно вечером на улице. Леонора — в поисках клиента, Наташа — процветающая, элегантная.

— Теперь я устроилась в доме свиданий. Лучшем в Сан-Пауло, самом дорогом — «Убежище лордов», ты слыхала о нем?

Она присмотрелась к Леоноре, красота ее не только сохранилась, но стала еще более яркой, наивная, девственная красота, полупризрачная — огромные глаза, позолоченные волосы, ясное лицо; вся она — олицетворение скромности и невинности.

— Как знать, может быть, мадам Антуанет тебя примет. Ты производишь впечатление девушки из хорошей семьи. Если хочешь, я тебя представлю.

Мадам Антуанет положила руки на подлокотники, изучающим взором осмотрела вновь прибывшую:

— Чего ты хочешь?

Наташа опередила подругу:

— Леонора...

— Я спросила ее, а не тебя, козочка.

— Я хочу работать здесь, если вы, сеньора, меня примете.

— Зачем?

— Чтобы улучшить свою судьбу.

— Ты замужем? Или была?

— Нет. Но я жила несколько месяцев с дружком.

— Почему бросила?

— Он меня бросил.

— Почему стала проституткой?

— Чтобы не идти на фабрику.

— Есть у тебя какой-нибудь мужчина? Любовь? Сутенер, альфонс?

— Все было.

— Дети?

— Нет, сеньора. В этом мне повезло.

— Повезло? Ты что же, не любишь детей?

— Очень люблю. Поэтому я и говорю, что мне повезло. Мне не на что было бы воспитывать ребенка. Чтобы голодал, не хочу.

— Уже была больна? Не лги.

— Вы хотите сказать, венерической болезнью?

— Именно.

— Я очень осторожна, всегда опасалась. И чистоплотна.

— Хорошо. Я испытаю тебя. Можешь начать сегодня же.

Через несколько месяцев Лоурдес Велудо, смуглянка, достойная самого высокого уважения, одна из трех женщин, постоянно обитавших в «Убежище», покинула дом, чтобы вступить в ансамбль мулаток, выступавший с большим успехом и имевший шансы на поездку в Европу. Мадам Антуанет, которая ценила скромность и вежливость Леоноры, пригласила ее занять освободившееся место. Это произошло два года назад.

Последнее, что рассказала Тиета Леоноре во время долгого путешествия на автобусе из Сан-Пауло в Агресте, была история ее взаимоотношений с комендадором.

— Когда я познакомилась с Фелипе, он еще не был комендадором, а я была просто Тиетой из Агресте, имя это я носила в сертане, в Баие, в Рио-де-Жанейро и в Сан-Пауло, поначалу. Фелипе как раз вернулся тогда из Европы.

Фелипе Камарго до Амарал в свои пятьдесят лет зарекомендовал себя деловым человеком, отличным руководителем предприятий во всех отраслях, где он действовал. Зарекомендовал он себя и как патриот Сан-Пауло, гражданин и человек. Во времена революции 1932 года[1] он отклонил предложение занять пост в кабинете губернатора, дабы не нарушить традиции семьи; отправился на фронт солдатом-добровольцем, был произведен в старшие лейтенанты и назначен адъютантом — член семьи Камарго до Амарал не может быть простым солдатом. Закончил службу в чине майора, составляя манифесты и прокламации в революционном штабе. Родился он владельцем огромных кофейных плантаций, с которых снимались богатые урожаи, род его насчитывал по меньшей мере четыреста лет — предок его был бандейранте[2].

По собственной инициативе он сделался промышленником, у него обнаружился талант зарабатывать деньги, вскоре он стал президентом акционерного общества, главою консорциумов, банков, крупным держателем акций. Короткая политическая карьера: был депутатом в 1933 году, по возвращении из эмиграции в Лиссабоне не стал добиваться переизбрания. У него не хватало терпения на пустопорожние дебаты, нудные заседания, что же касается присущей ему ловкости, то он предпочитал находить ей лучшее применение, чем в избирательных схватках. Так он и поступал, богатея и набираясь опыта.

— Фелипе умел жить и научил этому меня. Я была скитающейся козочкой, с ним я стала «мадам». С Фелипе я познала цену деньгам, но научилась и тому, что человек должен быть хозяином, а не рабом денег.

Быть мудрым для него — значило жить хорошо. Не позволять, чтобы дела поглощали тебя целиком. Музыка, картины, книги, изысканный стол, хороший винный погреб, путешествия, женщины. Он познакомился со всеми пятью континентами, с Европой и Соединенными Штатами особенно, содержал множество женщин. «Их услуги мы оплачиваем в любой форме, но лучше всего платить деньгами,

[1] Имеется в виду выступление против федерального правительства Варгаса, организованное латифундистами — владельцами кофейных плантаций в штате Сан Пауло, недовольными экономической политикой нового президента.

[2] Завоеватель внутренних районов Бразилии в конце XVI — начале XVII века.

это дешевле и спокойнее». Хороший глава семьи, жил в мире с женой, которую выбрал в среде экспортеров кофе, в семье с древним происхождением и большими деньгами, любил сыновей: один работал при нем заместителем по управлению предприятиями, другой оказался в научно-исследовательской лаборатории американского университета, где учился и остался работать, женившись на американке. Фелипе не жаловался на жизнь.

— Это ему пришла в голову мысль о создании «Убежища», задолго до того, как он со мной познакомился. Первое название было французским.

Идея, собственно, была не его. С маленькой, избранной группой сеньоров того же экономического уровня и сходных высоких идеалов он финансировал достойный проект усердной и очаровательной мадам Жоржет. Один из сыновей Фелипе, как было уже сказано, учился в Соединенных Штатах, другой — в Оксфорде, в Англии. Сам он, однако, предпочитал La douce France [1], привык к Парижу с его винами, сырами, женщинами. «Чем больше других городов я узнаю, тем больше мне нравится Париж»,— говорил он. Мадам Жоржет привезла в Сан-Паулу некоторые французские пряности, острые приправы, к которым добавляла лучшие местные продукты. Она была большой специалисткой по выбору приятных партнерш.

Проектом предусматривалось создание секретнейшего дома свиданий, который бы стали посещать короли латифундий и индустрии — владельцы земель и фабрик, финансовых учреждений, банков,— крупнейшие политические деятели, министры, сенаторы, а также знаменитые писатели и деятели искусств — для большего блеска заведения. Опытная и способная мадам Жоржет превзошла себя. Так родился дом свиданий «Nid d'Amour» [2], где усталые, издерганные сеньоры отдыхали в объятиях молодых, надушенных и искушенных в любви девушек.

— Когда Фелипе возвращался из путешествия, он чувствовал себя пресытившимся белыми женщинами, его влекло к смуглой коже, такой золотистой, как у меня,— моя прабабушка была негритянкой. Горная козочка, загорелая от рождения, подавалась ему с шампанским.

Мадам Жоржет знала вкус принца Фелипе — она звала его только принцем,— хранила для него лакомство, достойное столь тонкого вкуса: Тиету из Агресте, смуглянку с вьющимися волосами, закаленную под солнцем сертана, прошедшую школу борделей бедных поселков, самый яркий цветок дома.

— Почему я понравилась ему, не знаю. Но он меня больше не покидал.

— Какому бы мужчине ты не понравилась, Мамочка? Ты не только красива, но, наверное, обладала еще и другими отменными качествами, любовным пылом, представляю себе.

— Я была красива, да, и умела привлечь внимание мужчин. Болтала без умолку, то и дело смеялась, а когда встречала достойного партнера, то мне не было равной.

Что увлекло Фелипе и внушило ему постоянство? Рассказы девушки про ее городок и сертан, про спокойную жизнь, про коз, прыгающих по камням, про купанье в реке? Обаяние? Жизнелюбие? В обществе Тиеты он чувствовал себя молодым. У мадам Жоржет был широкий и постоянно обновляемый круг девушек, старательно подобранных. Она была удивлена, когда принц Фелипе попросил себе снова козочку из сертана и вскоре вообще оставил ее за собой. «Она не будет больше заниматься проституцией, я беру ее содержание на себя, она останется в моем распоряжении».

---

[1] Сладостную Францию *(франц.)*.

[2] «Гнездо любви» *(франц.)*.

Если Фелипе не уезжал из Сан-Пауло, он постоянно посещал Тиету — он так привык к ее смуглому телу, к ласкам, почти всегда целомудренным, к кафунэ — невинному убаюкиванию. Когда же уезжал в путешествия, принимал необходимые меры, чтобы она ни в чем не нуждалась, имела достаточно денег, не забывала его, ждала.

— Ты не наставляла ему рога, Мамочка?

— Рога? Если кто и мог наставлять ему рога, так это его жена, дона Оливия, но я не думаю, чтобы она это делала. Я же была его содержанкой. Он мне никогда ничего не запрещал, за исключением того, чтобы я занималась проституцией. Я была скромна в своих любовных приключениях, всегда его уважала, и мы никогда не говорили об этом.

— А у него были другие женщины?

— Я не интересовалась этим. Он остался со мной на всю жизнь, наверно потому, что я никогда не зарилась на его богатство, мне было безразлично — богат он или нет, меня привязывало его внимание. Я ничего не клянчила у Фелипе, разве что два раза попросила одолжить денег. Первый раз в тот день, когда мы с ним познакомились,— если бы у меня не оказалось тогда нужной суммы, я бы упустила случай купить аргентинское меховое манто, эффектное и совершенно новое. Все, что он мне дарил, было по доброй воле. Квартиры, одна за другой, в зданиях, в строительстве которых он участвовал. В один прекрасный день он пришел с планом дома, развернул его на постели:

«Я строю это здание в двенадцать этажей на аламеде Сантос».

«Ух ты! Колоссально!»

«Одну квартиру в нем я зарезервировал для тебя. Они все одинаковы: зала и две комнаты. На каждом этаже — по четыре квартиры».

«Ты с ума сошел? Чем же я буду за нее платить?»

«Кто говорит о плате? Это подарок тебе, ведь исполнилось три года, как мы познакомились».

При том, что ему приходилось думать о стольких вещах, Фелипе помнил даты, годовщины. Он привязался к Тиете, но еще больше привязалась она к этому человеку, который столько давал ей и у которого она так мало просила. Возле постели — домашние туфли, под подушкой — пижама Фелипе. Здания вырастали в этажах квартиры — в размерах. В последнем, огромном доме она получила целый нижний этаж, стоящий чрезвычайно дорого.

— В один прекрасный день мадам Жоржет позвала меня поговорить. Она хотела передать свое дело, поскольку собиралась вернуться во Францию, и оказала предпочтение мне.

Мадам Жоржет, мечтая о возвращении на родину и отдыхе от работы, давно уже переводила во Францию свои сбережения, приобрела дом в окрестностях Парижа. Когда она заговорила с Тиетой, у нее был куплен билет на пароход, отходящий через два месяца. И вот тут Тиета во второй раз попросила Фелипе одолжить ей денег.

— Ты же мне еще не вернула того, что взяла в долг в первый день знакомства,— рассмеялся он.— Ладно, положись на меня, я договорюсь с Жоржет. «Nid» — твой.

— Прошло более тринадцати лет, как я вступила во владение. Перестроила все, модернизировала, отделала квартиру для себя и Фелипе — роскошь. Изменила название и повысила цены.

— Почему ты изменила название, Мамочка?

— «Nid d'Amour» сильно попахивало публичным домом. «Убежище лордов» звучит приличнее. Все они — лорды, мои клиенты. Попутно мне пришлось изменить и свое имя. По совету Фелипе.

«Домом свиданий высокого ранга с умопомрачительными ценами должна управлять француженка, моя дорогая. «Мадам Антуанет» подойдет тебе»,— сказал он.

«Французское имя для женщины с таким цветом кожи, как у меня? Не годится, мой милый».

«Француженка с Мартиники, как Жозефина Наполеона»[1].

Клиенты стали друзьями, престиж дома свиданий возрос, посещать «Убежище лордов» стало более почетной привилегией, чем быть членом «Жокей-клуба», общества верховой езды, одного из наиболее закрытых клубов Сан-Пауло. В отдельной квартире с максимальным комфортом: у постели — домашние туфли Фелипе, под подушкой — пижама. Он постарел, овдовел, папа римский пожаловал ему звание комендадора; путешествовал он теперь немного, лишь инспектировал многочисленные предприятия, все более привязанный к теплому смеху Тиеты.

— Для Фелипе я не изменила имени, осталась до конца Тиетой из Агресте.

Для остальных — мадам Антуанет, француженка, родившаяся на Антильских островах от брака генерала республики с метиской Парижское воспитание, ее очарование неотразимо, умеет угодить изысканному вкусу самых богатых клиентов, Dieu merci[2]. Для двух или трех девушек, которые, как Леонора, живут постоянно в «Убежище лордов», она — Мамочка, требовательная и щедрая, грозная и любимая.

Сообщение приходит в разгар празднества. После того как поглощен завтрак и повторен десерт, дона Лаура, Элиза и Леонора подают кофе. Тиета не участвует в разговорах. Леонора тревожится. Она знает Мамочку: когда та держится вот так молчаливо, значит, озабочена какой-то проблемой, что-то обдумывает. Что бы это было? Она не осмеливается спросить — не стоит, лучше оставить ее в покое. «Если я в плохом настроении, не трогайте меня, не надоедайте»,— рекомендовала она в «Убежище». Молча Леонора садится рядом.

Тиета замечает присутствие девушки, поворачивается, гладит ее по лицу. Леонора берет ее руку и нежно целует. Безрассудная козочка, рискует влюбиться, потеряв голову. Только одна ли она так безрассудна? Никто больше?

Какое безоговорочное обязательство потребовало присутствия Рикардо на церковной службе в Росинье? Обязательство? Да ничего подобного. Племянник просто избегает ее, он отправился с падре, чтобы не поехать в Манге-Сэко, не замутить целомудренные — целомудренные ли? ханжеские! — глаза видом обнаженного тела тетки, великолепной в своем узеньком бикини, глупец! В последние дни ей недоставало юноши и при купании в реке, и на прогулках. Даже время занятий он изменил — конечно, чтобы избежать повторения массажа. И вот Тиета, старая ослица, мечтает о племяннике, видит его перед собой ночью и днем с ангельскими крыльями и волнующей плотью. Никогда она не проявляла интереса к молодым людям, тем более к семнадцатилетним юнцам, предпочитая взрослых мужчин, непременно старше ее самой. Надо же было ей приехать в Агресте, чтобы втюриться в мальчишку, ощутить, как холод пробегает по спине при мысли о нем, быть в плохом настроении, раздосадованной, опустошенной из-за его отсутствия. Грустная, раздраженная, в полном расстройстве. Этого она не ожидала. Ведь он ее племянник и к тому же семинарист. Видя Тиету такой отрешенной, с отсутствующим взором, Леонора встает, чтобы пойти навстречу Асканио.

Все начинают ощущать усталость. Утро было утомительным: купание в море при сильном прибое, прогулка по дюнам под летним солнцем. И все же Асканио и Леонора собираются на пляж. Как только спадет жара, перед возвращением в Агресте, назначенным ближе к заходу солнца.

---

[1] Имеется в виду жена Наполеона I, уроженка острова Мартиника.

[2] Благодарение богу *(франц.)*.

Неожиданно издали доносится гул мотора. Команданте Дарио, который отлично разбирается во всех шумах моря и реки, объявляет:

— Это моторка Пирики.

Пирика приехал за Асканио, он привез ему поручение от полковника Артура де Фигейредо и сенсационную новость: инженеры гидроэлектростанции Пауло-Афонсо прибыли в Агресте и хотят поговорить с ответственным лицом из префектуры.

Наступило всеобщее оживление, всем хотелось узнать побольше, все требовали подробностей, но Пирика помимо уже рассказанного добавил лишь, что полковник выглядел очень довольным, когда отправлял его сюда.

— Скажи Асканио, что его ждут люди с электростанции, пусть приедет немедленно, не теряя ни минуты.

Фиделио восклицает:

— Раз будут проводить электричество, я выиграл пари. Да здравствует дона Антониета!

Первое «ура!» под кокосовыми пальмами, за которым последовали и другие. Это был пролог к торжествам в Агресте — город взбудоражен известием. Асканио, выпрямившись, подходит к Тиете:

— Позвольте, дона Антониета, заранее выразить вам признательность народа Агресте.

Тиета протягивает Асканио руку, чтобы он помог ей встать:

— Еще рано. Не радуйтесь раньше времени! Поезжайте, коли вас зовет полковник, выясните, в чем дело, ведь пока достоверно ничего не известно. Меня научили не пускать фейерверк раньше времени, чтобы не обжечь руку. Если это окажется правдой, то больше всего поздравлений заслуживаете вы, ведь вы так упорно боролись. Я мало что сделала, только попросила похлопотать.

— Намерения, жесты ничего не стоят, если не приносят результатов, вы же сами сказали,— возражает Асканио.

— Вы дрались, вы победили, не ограничились одними намерениями. Поезжайте узнать, что там такое, и, если это окажется правдой, будем праздновать вместе.

— Мы и весь народ, дона Антониета. Это будет самый большой праздник Агресте.

Воодушевление охватывает веселую компанию. Тиету, хочет она того или нет, обнимают, целуют, поздравляют. Барбоза грозится произнести речь, он напишет поэму, посвященную свету в Агресте, свету, родившемуся из глаз Тиеты; Оснар предлагает пронести ее с триумфом на руках. Аминтас обещает Фиделио заплатить по пари, как только известие подтвердится. Сердечное объятие команданте; торжественные поздравления Модесто Пиреса, на которого престиж землячки произвел исключительно сильное впечатление: он никогда не думал, что ее просьбы принесут положительный результат, телеграммы, мол, даже не станут читать, выбросят в корзину, утверждал он в беседе с доной Аидой и некоторыми друзьями. Перпетуа выпятила грудь: связи сестры в кругу столичной знати — гордость для семьи, ее высокое общественное положение поднимает авторитет всех родственников. Если бы Тиета не была так раздражена, то, услышав слово «знать», она бы рассмеялась, а теперь лишь улыбнулась в объятиях Перпетуи. Элиза от волнения не может удержать слез, она осыпает сестру поцелуями. Дона Кармозина и дона Милу никогда не сомневались в успехе, они считали часы в ожидании ответа. Что скажут неверующие теперь, когда в Агресте приехали инженеры? Им придется признать себя посрамленными. Тиете хотелось бы участвовать в общем веселье, но тот, поцелуя которого она так жаждет, не приехал, не захотел приехать, предпочтя сопровождать падре верхом на осле, идиот! Что за нелепая ревность! С нею соперничать может только бог. Так пусть бережется бог, Тиета из Агресте не привыкла проигрывать.

По предложению доны Кармозины, единогласно одобренному, все решают тут же вернуться в город вместе с Асканио, никто не в силах задержаться в Манге-Сэко до захода солнца, все хотят увидеть инженеров воочию.

Все, за исключением Тиеты. Она объявляет о своем решении принять приглашение доны Лауры и команданте остаться на побережье до среды, затем вернется в Агресте вместе с Модесто Пиресом подписать купчую на участок.

Пока остальные собираются в путь, Тиета отводит Перпетую в «Тещину лачугу» и вручает ей связку ключей:

— Сделай, пожалуйста, одолжение. Открой синий саквояж — вот заметь, какой ключ,— возьми чемоданчик, где я храню деньги — ты его видела,— отопри маленьким ключиком и вынь...— Она подсчитывает громко сумму.— Это мне нужно, чтобы внести Модесто Пиресу задаток за участок и на первоначальные расходы по строительству.

— Ты будешь строить дом? Сразу?

— Немедленно. Отгорожу участок и начну возводить домик, небольшой, команданте предложил взять на себя наблюдение за его сооружением, в Манге-Сэко есть все необходимое — материалы, рабочая сила, были бы деньги для расплаты. Команданте уверяет, что здание можно построить быстро. Я хочу видеть дом до возвращения в Сан-Пауло, хотя бы стены. Пока меня здесь не будет, ты с ребятами сможешь им пользоваться. Элиза тоже.— Она смотрит на сестру, смягчает голос:— Мне приятно, Перпетуа, что-нибудь сделать для моих племянников, поскольку у меня самой нет детей.

— Ах, сестричка! Какую радость ты мне доставила, сказав это.— Блестят затуманенные глаза, вибрирует пронзительный голос.

— Мы еще поговорим об этом.

— С кем послать тебе деньги и ключи?

— С команданте, он повезет сейчас людей на лодке в Агресте.

Команданте не пришлось ехать — все уместились в лодке Элиезера и в катере Пирики. Тиета огорчена:

— А мне нужны эти деньги завтра рано утром. Постарайся прислать с кем-нибудь, кто поедет сюда.

— Положись на меня, я устрою,— обещает Перпетуа.

Тиета, уже повеселевшая, улыбающаяся, доверяет ей. Плохое настроение развеялось, констатирует Леонора, прощаясь. В момент, когда садились в катер у пляжа, компания под руководством доны Кармозины сымпровизировала шумную манифестацию:

— Гип, гип! Гип, гип! Ура! Антониета! Антониета!

В префектуре главный инженер — в довольно плохом настроении — информирует проявляющего нетерпение секретаря об изменениях в плане проведения линий электропередачи: Агресте неожиданно оказался включенным в список муниципиев, которые получат энергию от гидростанции Пауло-Афонсо. Это уже само по себе абсурдно, но мало того: согласно срочному распоряжению самого президента компании Агресте получает абсолютный приоритет, необходимые работы будут начаты немедленно и завершены в кратчайший срок. Необъяснимое решение и привело их сюда, в этот ад, в воскресенье — день отдыха, они покрылись пылью с головы до ног. К тому же пришлось потратить много времени на поиски ответственного чиновника, с которым следовало переговорить.

Главный инженер и его подчиненные явились не просто сообщить о сроках строительства, есть одно загадочное обстоятельство, которое они хотели бы выяснить: чем объясняется, что такой бедный и отсталый муниципий, префект которого — явно сумасшедший, по нем плачет смирительная рубашка и отдельная палата в больнице, а президент палаты депутатов — древний старец, так почему Агресте сумел

добиться изменения окончательно утвержденных планов, вступившего в действие графика строительства, обойдя богатые, процветающие общины, которым покровительствуют известные политические деятели, занимающие высокие посты? Кто просил за Агресте? Не просил, а заставил! Назовите, пожалуйста, имя этого лидера, обладающего таким весом, этой столь выдающейся личности, могущественного и влиятельного лица, важной персоны, способной совершить такой подвиг? Несомненно, он должен обладать действительно большим могуществом.

Однако Асканио хранит молчание, чтобы не ухудшать и без того дурное настроение инженеров. Он скромно улыбается: «Перейдем к тому, что интересует нас, — к датам и срокам».

В одиночестве на вершине дюны лежит девчонка из Агресте, пастушка коз. Неумолчный рокот волн, особый запах моря — музыка и аромат начала мира. На небе — вечные луна и звезды.

Здесь она научилась быть сильной и решительной, научилась желать и бороться, чтобы достигнуть желаемого. Научилась не бояться, смело смотреть вперед, проявлять инициативу.

Вдали на реке свет,— может быть, это лишь отражение звезды? Всякий шум заглушают огромные волны, разбивающиеся о горы песка. Зато полная луна освещает дюны мягким, нежным светом. Тиета различает неясную тень у подножия холма — человек, видимо, не знает, на что решиться. Тиета поднимается, смотрит, догадывается, узнает.

Тетка и племянник — лицом к лицу. На Кардо шорты и майка клуба «Палмейрас», которые Тиета послала ему. Он смущенно улыбается:

— Благословите, тетя. Мама велела отвезти вам пакет, он там, внизу, у команданте.

— Только-то?

— Она сказала, чтобы я остался помочь вам.

— Но ты же не хотел приезжать?

Парень смущается, пытается сделать какой-то жест, опускает глаза. Вместо ответа он, заикаясь, с гордостью сообщает:

— Там целый праздник по поводу освещения. Весь народ на улице... Говорят, что вы, тетя...

— Ты боишься остаться, не так ли?

Ответ читается в смятении, отразившемся на лице, открытом лунному свету, искреннем и бесхитростном. Тиета продолжает:

— Скажи мне, ты грезишь обо мне? Говори правду.

Юноша опускает взор:

— Каждую ночь. Простите меня, тетя, это невольно.

— И ты боишься, убегаешь от меня?

— Нет смысла ни бежать, ни молиться. Даже во время молитвы я думаю о вас, вижу перед собой.

— Ты находишь меня красивой?

— Очень. Красивой и доброй. А я — то ли испорчен по натуре, то ли меня наказал бог.

— Наказал? За что?

— Не знаю, тетя.

— Если ты не хочешь остаться, можешь уходить. Сразу, сейчас же.

Она жестом отсылает его, ложится снова на песок, выставив тело напоказ — юбка задралась, кофточка не застегнута. Голос Рикардо доносится как бы издали, из глубины времени:

— Я боюсь оскорбить бога и вас, тетя, но мне хочется остаться.

— Здесь, со мной?

— Если вы разрешите, тетя.— Глаза его загораются.

Вдалеке вспыхивает фейерверк, поднимающийся кверху, — звезды, зажженные народом Агресте в честь и во славу знаменитой дочери, богатой и могущественной вдовы, влиятельной санпауловки.

Тиета, улыбаясь, протягивает руку:

— Не бойся. Ни меня, ни бога. Иди сюда.

Луна, звезды, море такие же, как в прошлом, одни и те же. Какое значение имеют возраст, родство, сутана семинариста?

ТРЕТИЙ ЭПИЗОД

Прогресс приходит в глушь, или Жанна д'Арк сертана

Первое нашествие супергероев-инопланетян на территорию Агресте произошло ближе к вечеру, в душный час, когда уже никто обычно не нарушает покоя местных обитателей.

Из торговых заведений, открытых по установившемуся здесь обычаю с восьми до двенадцати и с четырнадцати до восемнадцати, только в лавке Плинио Шавиера было некоторое оживление, впрочем довольно подозрительное. Два-три раза в неделю именно в этот час, когда покупатели отсутствовали, торговец бакалейными товарами, уважаемый гражданин, отец семейства, позади тюков вяленого мяса занимался тем, что запускал руки под юбку незамужней Синиры. Повернувшись к полкам, та делала вид, будто ничего не замечает и не чувствует.

С улицы вдруг послышался оглушительный грохот, грубо нарушив их приятное времяпрепровождение. Выскочив на улицу, Синира не могла сдержать крик ужаса: неведомая чудовищная машина надвигалась на нее с ревом, огромные колеса вязли в земле. Она выпускала в воздух зловонный черный дым через трубы и какие-то другие отверстия издавала пронзительные звуки, никогда ранее здесь не слыханные. В машине ехали неописуемые существа, похожие на мужчину и женщину, хотя мало чем отличавшиеся друг от друга в атрибутах своих явно космических одежд.

За несколько дней до того распространились слухи, принесенные из Манге-Сэко, что тамошние рыбаки, дескать, видели некий неопознанный предмет, искрящийся на солнце, он прибыл с моря и исчез в нем после того, как пролетел над побережьем и кокосовой рощей. Но все же город не был подготовлен к встрече, и волнение поднялось огромное

Пустынной и тихой была площадь Главной Церкви, когда машина со страшным шумом остановилась здесь и существо, по-видимому мужского пола — правда, из-за его длинных волос, свисавших из-под шлема, и темных подглазий кое-кто стал оспаривать подлинность пола этого существа,— выпрыгнуло из дверцы экстравагантной машины, огляделось и ни на ком не остановило свой взгляд. На руках у него были большие перчатки из какого-то непонятного материала. Одето оно было в сверкающую одежду — род комбинезона на молниях, с накладными карманами на штанинах и на рукавах, с блестящими металлическими петлями и крючками. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это брюки и блуза, а карманы заполнены странными предметами, возможно неведомым смертоносным оружием. Одетое точно таким же образом, без иного отличия, кроме размеров бюста, появилось существо, очевидно женского пола, сняло шлем, и обнаружилось, что выглядит оно прекрасно. Сдернув перчатки, девица тонкими пальцами взбила рыжие волосы — не длиннее, пожалуй, чем у ее спутника,— с платиновой прядью, выдающей, что она — уроженка Венеры либо Рио-де-Жанейро, но так или иначе облик ее был поистине захватывающим.

Укрывшись в баре, Оснар, пораженный, наблюдал за пришельцами; с ним был и Мануэл Португес.

— Слушай, Мануэл! Пойди сюда и скажи мне, правда ли то, что я вижу, или это пьяный бред. Вчера, похоже, я перебрал у Зулейки.

Мануэл подошел к двери. Открыл рот, почесал подбородок.

— Кто же такие эти шалопаи?

— Асканио столько болтал о туристах, вот они и появились...— отважился предположить Оснар.— Если только это не члены экипажа летающей тарелки, что крутанулась над Манге-Сэко.

Убедившись, что землян тут нет, тот, что был, по-видимому, мужчиной, сел опять в машину, его спутница, натянув перчатки, последовала за ним; снова раздался оглушительный шум, черный дым вырвался из труб и отверстий, машина рывком соскользнула с места и исчезла за углом, в одном из переулков. В течение некоторого времени в городе раздавался ужасный гул, от которого в страхе пробуждались те, кто ненароком вздремнул; из дверей домов выбегали удивленные, испуганные жители. Нашлись торговцы, которые поспешили закрыть двери своих магазинов и лавок: кто знает, вдруг Лампиан [1] вернулся из ада. Правда, Лампиан никогда не доходил до Агресте, но был же случай, когда его видели поблизости, в каких-нибудь трех легуа [2] отсюда, этот факт вспоминают и поныне.

Как только супергерои, проехав по улицам и переулкам, вернулись на площадь Главной Церкви и опять вышли из машины, Асканио Триндаде, увидевший их из окна префектуры, сбежал по лестнице к ним навстречу. Оснар, говоря о туристах, подшучивал над приятелем, но Асканио, если б услышал его, поддержал бы: да, туристы, почему бы нет? Первые, откликнувшиеся на приглашение, составленное им (с неоценимой помощью доны Кармозины) и отправленное в столицу штата, в газету «Тарде». В нем туристам предлагалось «прокатиться от Салвадора до Сант'Аны-до-Агресте — города с самым здоровым климатом в штате, чтобы познакомиться с красивейшим в мире побережьем, пляжем и дюнами Манге-Сэко». Газета опубликовала это послание в колонке писем читателей, правда выразив в кратком редакционном примечании сожаление по поводу чрезвычайно плохого состояния шоссе, что практически не позволяло принять приглашение. Ни один здравомыслящий человек не станет испытывать прочность своего автомобиля на кратерах столь ужасной дороги только ради того, чтобы познакомиться с Агресте, «поистине райским уголком». Тому, кто уцелеет, преодолев колдобины шоссе, предстоит проехать еще «неописуемые пятьдесят километров глинистого проселка, начиная от Эспланады».

На обычно серьезном лице Асканио засияла торжествующая улыбка: вот так, и дорога, изобилующая кратерами, плюс сорок восемь роковых километров — сорок восемь, а не пятьдесят,— не испугали, нашлись смельчаки, готовые откликнуться на зов.

Запыленные и потные, странные существа радушно поздоровались. Женское создание энергично помахало кожаной лапой.

— Добрый день... Добро пожаловать в Агресте! — радостно приветствовал их Асканио.

— Bonjour, frère! [3] — ответил пришелец из космоса, снимая перчатку, чтобы вытащить лиловый платок и вытереть лоб.— Ну и жарища!

— Скоро станет прохладнее, после четырех часов. Вечера здесь очень свежие, а ночью бывает даже холодно. Климат сухой, идеальный,— начал свою проповедь Асканио Триндаде.

---

[1] Лампиан — прозвище Вирголино Феррейры да Силва (1900—1938), знаменитого главаря разбойников-кангасейро на северо-востоке Бразилии, грабивших богачей и помогавших беднякам.

[2] Легуа — мера длины, в Бразилии равная 6173 метрам.

[3] Добрый день, братец! *(Франц.)*

— Я поверю всему, что вы мне скажете, милый, если дадите чего-нибудь выпить...— Голос женского существа звучит многообещающе.

— Что пожелаете, с удовольствием. Пройдемте в бар.

Они входят, здороваются, занимают столик. Сеу Мануэл с готовностью обслуживает гостей, в то время как Оснар не отводит глаз от женского создания, которое за отсутствием кокосового молока соглашается на гуарану.

— Мне uisque on the rocks...[1]— просит тот, кто является, видимо, мужчиной.— Scotch, естественно... Я хочу сказать — шотландское.

— У меня только отечественное, но отличное, настоящее,— с гордостью заверяет сеу Мануэл.

— Нет, увольте. Принесите тогда минеральной воды, негазированной. И как можно холоднее.

— Здешняя вода лучше любой минеральной, ее уже исследовали в Салвадоре, она заслужила самые похвальные отзывы,— поясняет Асканио.

— Лишь бы была холодной...

Сеу Мануэл подает гуарану с соломинкой — верх изысканности — и лед. Марсианин пробует.

— Действительно очень хорошая вода, дайте мне еще немного, пожалуйста, и скажите, сколько я должен.

По знаку Асканио сеу Мануэл склоняется:

— Нисколько... Я был рад...

— Большое спасибо... На этот раз согласен, но в будущем... Это единственный бар?

— Ну, в переулке Печали есть нечто вроде маленького кафе негра Калоки. Но глоток кашасы можно выпить в любой лавке.

— Нужно улучшить ассортимент, my friend [2]. Хорошие марки виски, хорошие вина... А отель, frère,— в роли frère оказался Асканио, пришелец проникся к нему симпатией,— есть тут какой-нибудь хороший? С ванными в номерах?

— Отеля, собственно, нет. Но есть очень хороший пансион доны Аморзиньо, первоклассная еда, чистые комнаты. Но без ванных. Однако большой кран в коридоре стоит душа.

— Надо немедленно построить хороший отель...— заявил мужчина и сказал это так, будто соорудить в Агресте первоклассный отель было проще простого. Именно после этого утверждения — столь решительного заявления супергероя — Асканио начал разглагольствовать.

— Хуже всего дорога,— вмешалось, мяукая, женское существо.— Особенно последний отрезок... Никогда я не испытывала стольких толчков, а пыль...— Она взбивает рыжие волосы с платиновой прядью.— Как приеду в Салвадор, отправлюсь прямиком в салон Севериано вымыть голову и причесаться...

— Дорогу надо расширить и заасфальтировать, darling [3]. Сколько в ней километров, frère?

— До Салвадора, столицы штата?

— Нет, какова длина последнего отрезка?

— Сорок восемь километров...

— Не может быть! — обратилась к Асканио мисс Венера.— Там больше ста... Я отбила зад.— Она коснулась рукой космических ягодиц.

— О! — простонал Оснар, но если кто-то и услышал его, не показал вида.

— Вероятно, столько, darling, каких-нибудь полсотни километров. Заасфальтировать можно мгновенно.

---

[1] Виски со льдом *(искаж. англ.)*.

[2] Друг мой *(англ.)*.

[3] Дорогой *(англ.)*.

Отель, отремонтированное шоссе... мечта развивается, сердце у Асканио замирает.

— Скажите мне, frère, где достать лодку, чтобы спуститься по реке до побережья... Как оно называется?..

— Манге-Сэко...

— C'est ça... [1] Можно ли нанять лодку?

— Ну что ж... Есть моторка у Элиезера. Он, правда, не сдает ее в аренду, но я поговорю с ним, попрошу отвезти вас. Он — понимающий человек.

— Я хорошо заплачу...

Асканио торопливо отправляется на поиски Элиезера. Того еще надо убедить; понимающий ли человек Элиезер — дело спорное, но Асканио пользуется у него авторитетом. Он ничего не скажет ему относительно отелей и асфальта, Элиезер может счесть такие планы серьезной угрозой своим законным интересам. Асканио же понял: сюда забрели не просто случайные путники, гость — предприниматель, изучает возможность вложить крупные средства, чтобы сделать Агресте заманчивым туристским центром; такой проект не раз обсуждался в почтово-телеграфном агентстве. «Недостает инфраструктур»,— говорила дона Кармозина. «Нужен человек с деньгами, который бы занялся всем, у муниципалитета нет условий»,— дополнял Асканио. Теперь, по-видимому, денег будет в избытке.

Молча, не зная о чем говорить, Оснар и сеу Мануэл с глупым видом улыбаются чужеземцам. Вскоре появляется Амантас, оторвавшийся от концерта «Роллинг Стоунс». Королева планеты Венера окидывает всех троих поочередно взглядом и улыбается каждому. У Оснара едва не перехватило дыхание, Асканио возвращается вовремя. Элиезер направился к гавани, где причалена его лодка.

— Thanks! Andiamo, bella [2], у нас мало времени.

На скольких же языках говорят в космосе? Оснар путается даже в родном португальском. Марсианин протягивает руку, Амантас все еще чувствует себя не в своей тарелке.

— Машину лучше оставить на площади, пройдемте к моторке пешком, дорога плохая, я вас провожу...

Их провожают все, даже сеу Мануэл, покинувший бар.

— Как вы любезны...— благодарит мисс Венера со вздохом.

По дороге Асканио пытается найти подтверждение своим догадкам:

— Скажите, сеньор, вы собираетесь обосноваться здесь?

— Как знать? Все зависит от обследования... Возможно.

— А отель? Можно использовать минеральную воду, лучше ее нет.

— Отель? Непременно понадобится. Вода? Возможно. Но это уже дело второе, дополнительная, так сказать, возможность капиталовложения. Стоит подумать об этом...

Они дошли до гавани. Честолюбивые проекты, думает Асканио, размах, явно крупное туристское предприятие. Необычайные существа садятся в лодку, Элиезер — за рулем.

— Еще раз мерси. Чао! — Чужеземец делает прощальный жест.

— Асканио Триндаде, секретарь префектуры, к вашим услугам.

— Секретарь префектуры? А кто же префект?

— Доктор Мауритонио Дантас. Он болен, я отвечаю за дела. Можете говорить со мной по всем вопросам.

— О'кей. Несомненно поговорим. Скоро и о многом.

Лодка отплывает, рыжая грива с платиновой прядью посылает воздушный поцелуй, Элиезер не перестает хмуриться, Асканио Триндаде улыбается — все это похоже на сон, наконец-то свершилось.

---

[1] Так-так *(франц.)*.

[2] Спасибо *(англ.)*. Пойдем, красавица *(итал.)*.

Скопление людей на площади увеличивается, машину окружает толпа.

— Посмотрите на шины. До чего же массивны!

— Какая красота!

— Вы слышали гудок? Ведь он сыграл первые такты «Сидаде меравильоза» [1].

— Вот это да!

В баре жизнь бьет ключом. Торговцы покинули свои лавки и магазины. Астерио и Элиза присоединяются к беседующим. В момент опасности он поторопился домой, тревожась за жену: Элиза все еще нервничает, ходит взвинченная в связи с приездом сестры. Сейчас они вместе пришли на площадь посмотреть на машину, Элиза так хорошо одета, что едва не перещеголяла Королеву космоса с платиновой прядью в волосах.

В почтово-телеграфном агентстве кипят страсти... Асканио Триндаде дает подробный отчет доне Кармозине в присутствии команданте Дарио де Келуза, который тоном сожаления предрекает:

— Вы, мой дорогой Асканио, со своей манией организации туризма в Агресте еще дорого заплатите, и вы, да и мы все. В один прекрасный день какой-нибудь сумасшедший примет всерьез всю чепуху, которую вы с Кармозиной посылаете в газеты, и создаст предприятие, чтобы эксплуатировать побережье Манге-Сэко, воду и климат Агресте, и кончится это плохо. Наш рай станет адом.

— Почему адом, команданте? Никогда я не слышала, чтобы водный курорт был адом. Наоборот, место отдыха, покоя,— возражает дона Кармозина.— Вы хорошо знаете, что никто больше меня не защищает природу, атмосферу, красоту Агресте. Но какой вред может быть от создания тут водолечебницы?

— Водолечебница в городе, еще куда ни шло. Хуже с побережьем, которое Асканио хочет наводнить людьми, засорить всякого рода грязью...

Асканио подскакивает как ужаленный:

— Какая грязь? Дома отдыха для туристов, отель, рестораны. Разве пляжи Акапулько, Сен-Тропес, Аремберпе — грязные, адские места? Будущее Агресте, команданте, — в туризме.

— Все перечисленные вами курорты — именно адские, грязные места. Не так давно «Тарде» опубликовала репортаж об Аремберпе: это место стало обиталищем хиппи, южноамериканской столицей маконьи. Вы представляете себе Манге-Сэко заполненным волосатиками и наркоманами? Оставьте наш рай в покое, Асканио, по крайней мере пока мы живы.

— Иными словами, вы, команданте, предпочитаете, чтобы Агресте оставалось уголком, где хорошо поджидать смерть?

— Да, предпочитаю, сын мой. Человек здесь умирает позднее, смерть отступает — чего желать еще? Воздух у нас не загрязнен. Побережье чистое.

Асканио смотрит на свою союзницу, дону Кармозину, та берет слово:

— О каком загрязнении идет речь? Я не ратую за хиппи, хотя и придерживаюсь их философии: мир и любовь — самое прекрасное, что изобретено в этом веке! Наркотики — страшное зло. Но в богатых туристах я не вижу ничего плохого, команданте. Хорошие дома для летнего отдыха, оживленная торговля, интересные фильмы, ну и что? Кто может быть против всего этого?

— Небоскребы, отели, строительный ажиотаж — конец кокосовым рощам, деревьям, покою, миру! Боже, сохрани меня и помилуй! К счастью, все это не более как ваш бред...

[1] «Волшебный город» — популярнейшая песенка бразильского композитора Ари Барозо о Рио-де-Жанейро.

Пето прибегает с известием, что лодка с гостями возвращается. Прежде чем отправиться встречать их, Асканио с довольным видом приглашает:

— Так вот, я верю, команданте, очень скоро у нас здесь будет процветать туризм. Сумасшедший, о котором вы говорили, уже прибыл, пойдемте поговорим с ним.

— Пойдемте...— соглашается команданте.

Но когда они приходят на площадь, чета супергероев, окруженная любопытными, уже готова к отъезду на своей сверкающей машине. Асканио еще пытается поговорить с ними, однако они торопятся, иначе попадут в Салвадор лишь поздно вечером.

— Вскоре я вернусь, и тогда потолкуем. Я хотел бы записать ваше имя.

Он вытащил записную книжку из потайного кармана, нашитого на штанину; авторучка, висящая на шее, похожа на шпионский микрофон. Крошечный и остроглазый фотоаппарат щелкает в изящных ручках с тонкими пальцами мисс Венеры.

— Мое имя? Асканио Триндаде. А это команданте Дарио де Келуз.

— Команданте?

— Да, военно-морского флота.

— В отставке,— поясняет команданте.

— А-а-а! — И после паузы отрекомендовывается: — Доктор Мирко Стефано. А bientôt! So long! [1]

— Прощайте, дорогой! — восклицает мисс Венера с горящими глазами.

Машина срывается с места, поднимая пыль, грохот отдается взрывом в чувствительных ушах. Доктор? Он скорее похож на космонавта, капитана космического корабля,— современный предприниматель из тех, что преобразуют землю и жизнь. А насчет машины точную информацию дал Пето: хоть он еще не сумел закончить начальную школу — не торопится,— но уже знает все насчет машин. Бежит домой, чтобы рассказать новости тете Антониете и Леоноре.

Кое-что о супергероях люди узнали из уст Элиезера, который приехал в дурном настроении.

— Тип этот интересовался участками на берегу реки, кокосовой рощей и пустующими землями. Он спросил меня, кому они принадлежат, я сказал, что никто никогда не знал их хозяина. Они сфотографировали все. В Манге-Сэко разделись и выкупались голыми...

— Голыми?

— Оба... Как будто меня и нет. Девка смелая, не испугалась прибоя.

— Видишь, Асканио? Вначале — нудизм. Пусть благодарят бога, что меня не было там, я бы не позволил. Хоть команданте Дарио, как и Эдмундо Рибейро, не пуританин, но нудизм в Манге-Сэко — это уж слишком! Нет, пока я жив!

Асканио собирается ответить Элиезеру, но тот опережает его:

— Тип спросил, сколько он мне должен, я сказал, что ничего, как ты распорядился. А кто оплатит мою работу и бензин, Асканио?

Оснар, слушавший молча, возмущенно откликается:

— Элиезер, такую женщину ты видел совершенно голой, а еще требуешь денег! Я сам бы заплатил, только б взглянуть... Дегенерат!

Владельцы плантаций маниоки, скотоводы, разводящие коз, рыбаки и контрабандисты Агресте и соседних поселков от истоков реки до бушующих волн в ее устье — никто не остался в неведении относительно поразительного факта, а юродивый Поссидонио в Росинье

[1] Пока! *(франц.)*. До свидания! *(англ.)*

предрек апокалипсис — конец света, что особенно было ему по душе,— ссылаясь на писание, на Ветхий завет.

И все потому — как подтверждали завсегдатаи почтово-телеграфного агентства,— что в Агресте начали происходить события, пробуждавшие городок от привычной спячки, вызывавшие оживленные комментарии, порождавшие споры.

Колоссальные столбы, на которые были подвешены электрические провода, шагали по сертану в направлении муниципия и, подчиняясь приказаниям свыше, продвигались с необычнейшей для общественных работ скоростью. Время от времени, когда по спокойным улицам города проносился джип с инженерами и техниками, в баре сеу Мануэла вновь возникала сумятица. Главный инженер гарантировал, что через полтора, максимум через два месяца столбы дойдут до города, работы будут закончены, и можно назначить дату праздника. Поскольку речь шла о муниципии, как оказалось с федеральным престижем, то на празднестве, возможно, появятся персоны из высшего руководства компании «Вале-до-Сан-Франсиско», быть может, даже сам директор-президент приедет специально из столицы, из города Бразилиа.

Главный инженер уже ни в чем не сомневался после того, как его информировали, что некая вдова, приехавшая на отдых в родные места, при содействии друзей покойного мужа, бывшего при жизни миллионером и влиятельным лицом, добилась распоряжения переделать проект так, чтобы в него был включен на правах абсолютного приоритета муниципий Сант'Ана-до-Агресте. Трудно этому поверить, но, поскольку данное утверждение было единогласным, инженер выразил заинтересованность в том, чтобы познакомиться с известной дамой, способной изменять утвержденные проекты, перемещать столбы, определяя пути для света и энергии.

Она — общительная и простая особа, как сообщил ему Амintас. Несмотря на то что является богатейшей вдовой комендадора и принадлежит к высшему обществу Юга, обладает большими связями — наиболее конкретным доказательством чему служит присутствие инженера здесь, в баре, где он попивает пиво,— несмотря на все это, она не держится высокомерно. Написав две телеграммы, она разрешила вопрос, проучила надменного директора, который обращался с представителем города, секретарем префектуры Асканио Триндаде, как если бы тот был ничтожеством, а Агресте — всего лишь богом забытой глушью. Не посчитавшись с верительными грамотами Асканио и с тем фактом, что молодой человек приехал в Пауло-Афонсо защищать законные интересы своего края, директор-президент издевательски заставил его долго ожидать, а потом отослал ни с чем, не пожелав даже выслушать его доводы. Агресте для директора был выжженным пастбищем для коз — так он и сказал. Дона Антониета возмутилась, узнав о случившемся, телеграфировала. Результат налицо.

Амintас приукрасил историю, не без насмешки рассказывая ее главному инженеру.

— Дона Антониета Эстевес Кантарелли — ее имя. Конечно, вы, друг мой, слышали о комендадоре Кантарелли, крупном промышленнике из Сан-Пауло. Он недавно отдал богу душу.

Инженер, сраженный, скрыл свою неосведомленность, признав, что это имя для него звучит, разумеется, как имя одного из магнатов-капиталистов. Он поднял кружку пива в почтительном тосте, адресованном сеньоре Кантарелли. Его поддержал не только Амintас, к выражению признательности Тиете присоединились все присутствующие. Благодарный народ, еще не опомнившийся от сюрприза, упоминая о новом освещении, называл его не «Светом Пауло-Афонсо», «Светом гидроэлектростанции» или «Светом компании «Вале-до-Сан-

Франсиско», что было бы справедливо и правильно и как повсюду говорили. Для жителей Агресте новое освещение было «Светом Тиеты».

В среду после воскресного веселья Тиета прибыла из Манге-Сэко, чтобы подписать в нотариальной конторе купчую на земельный участок, и приятно была удивлена полотнищем, вывешенным на площади Главной Церкви, растянутым между двумя старыми, изъеденными шашелем фонарными столбами поблизости от дома Перпетуи. На полотнище было написано: «НАРОД АГРЕСТЕ С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИВЕТСТВУЕТ ДОНУ АНТОНИЕТУ ЭСТЕВЕС КАНТАРЕЛЛИ». Лишь одна ошибка была допущена — фамилию «Эстевес» добавили по требованию Перпетуи и Зе Эстевеса уже после того, как вся надпись была сделана, поместив первую фамилию Тиеты над строкой; дефект невелик, не омрачает впечатления от красных букв на белом фоне материи.

Идея Асканио получила всеобщую поддержку, в устах народа Тиета стала героиней города. Ее образ, правда, еще не поставили в алтаре Главной церкви рядом с богоматерью Сант'Аны, как предсказал Модесто Пирес, но до этого, видимо, недалеко. Когда она проходила по улице вместе с Леонорой и Перпетуей, направляясь в нотариальную контору, где условилась встретиться с владельцем сахарного заводика, люди выходили из домов, чтобы приветствовать ее, выразить ей благодарность; некоторые даже целовали ей руку. Узнав, что она находится в Агресте, полковник Артур де Фигейредо, преодолев километр пути, прибыл обнять достойную гражданку.

— Дочь моя, бог правильно написал про кривые дороги. Понятно, почему Зе Эстевес прогнал тебя отсюда,— он хотел, чтоб ты вернулась королевой. Когда же ты зайдешь взглянуть на моих коз?

Подписав купчую на участок и расплатившись наличными, Тиета, прежде чем возвратиться домой, зашла в почтово-телеграфное агентство приветствовать дону Кармозину и отправить письмо.

Дона Кармозина объявила:

— Вечером я забегу к тебе поговорить. Есть много новостей...— глазами она указывала на Леонору и Асканио: теперь это ее любимая тема.

— Меня не будет дома. Я возвращаюсь сегодня же в Манге-Сэко. Зашла только повидаться с тобой и узнать, как чувствует себя дона Милу.

— Возвращаешься сегодня же? Что за спешка?

— Строю свою хижину, уже начала. Ты ведь меня знаешь: если захочу чего-нибудь, то предпочитаю иметь сразу, я нетерпелива. Горю желанием увидеть до отъезда хотя бы стены.

— Ты не можешь уехать так скоро. Не говори об этом.

— А почему?

— До торжественного открытия линии освещения? Народ не позволит.

Тиета рассмеялась:

— Я чувствую себя уже кандидаткой в депутаты. На празднике меня будешь представлять ты.— Она задумалась, на несколько секунд ушла в себя.— Впрочем, как знать, быть может, я и задержусь, продлю свой отдых, конечно, не столько из-за праздника, сколько из-за того, чтобы увидеть свой домик в Манге-Сэко.

— Конечно оставайся. Оставайтесь обе...— не удержалась дона Кармозина, увидя грустное лицо Леоноры.— Возможно, кое-кто останется тут навсегда.— Ее глазки сверкнули лукавством.

Тиета сообщила Перпетуе кое-что о Рикардо: хороший мальчик, дорогой племянник, он оказал ей неоценимую помощь. Руководство команданте не лишило его инициативы, он старался ускорить строительство, дважды побывал в местечке Сако, нанял каменщиков, плотников, десятника, разыскал людей, привыкших обрабатывать стволы кокосовых пальм на сыпучем песке. Он так продвинул дело, что стро-

ительство уже началось. Правда, пришлось задержать Рикардо в Манге-Сэко еще на несколько дней — она назначила его своим адъютантом.

— Как тебе будет удобно, сестра, ведь у него каникулы.

Тиета, желая помочь Рикардо, решила открыть текущий счет на его имя в одном из банков Сан-Пауло, сделав значительный первоначальный взнос,— Перпетуа даже вздрогнула, услышав цифру,— а к этим деньгам она будет ежемесячно сколько-то добавлять. Правда, сколько именно, еще не решено. Таким образом, когда Рикардо станет священником, капитал с процентами будет представлять солидную сумму. Перпетуа подняла в порыве благодарности глаза к небу. Черным платком утерла слезу.

Вместо того чтобы к вечеру возвратиться в Манге-Сэко, сбежав от изъявлений благодарности своих земляков, Тиета приняла в кругу семьи зашедшего к ней падре Мариано. Преподобный поблагодарил ее от имени прихожан за оказанную милость — новое освещение изменит облик города, преобразит нравы жителей,— выразил признательность за огромную услугу, оказанную общине. Однако, облагодетельствовав всех, сказал он, дона Антониета создала серьезную проблему для прихода, поскольку электрическая проводка в Главной церкви находится в плачевном состоянии и может не выдержать притока мощной энергии из Пауло-Афонсо. Инженер с гидроэлектростанции, к которому он обратился за советом, настоятельно рекомендовал сменить всю проводку, дабы избежать короткого замыкания, устранить серьезную угрозу пожара. Где найти необходимые средства? К кому он может обратиться, как не к ней, хотя церковь и так обязана ей многим?..

— Не беспокойтесь, падре, можете менять электропроводку.

Успокоенный, священник поблагодарил ее и распрощался.

Зе Эстевес был единственным, кто выразил неудовольствие:

— Как хитер этот хищник в сутане! Сладкими речами он вымогает уйму денег для церкви. Прости меня, дочь моя, но тебе нужно осторожнее обращаться со своими средствами. Не забывай, что ты покупаешь дом, тебе нельзя транжирить деньги.

Тиета вернулась из Манге-Сэко утром того дня, когда Агресте впервые посетили поразительные существа из космоса, но ей не пришлось их увидеть, о них она узнала только к вечеру со слов взволнованного Асканио, пребывавшего в апогее энтузиазма:

— Капиталисты с Юга изучают возможности вложения у нас, в Агресте, капиталов! Собираются создать здесь туристский центр, затевают дело большого размаха, хотят заасфальтировать дорогу, построить отели. Как вы к этому относитесь, дона Антониета? Что ты скажешь, Леонора?

Туристский центр в Агресте? Использовать воду, климатические условия, пляж Манге-Сэко? Как знать, все возможно, почему бы нет? Она хорошо сделала, купив участок на побережье, не принять ли предложение доны Зулмиры, отступив от своей непреклонной позиции, ведь цены на землю и недвижимость могут подскочить. В Сан-Пауло Тиета была свидетельницей потрясающих спекуляций. Однажды Фелипе, обладавший исключительным нюхом, приобрел за бесценок множество земельных участков, за которые никто ничего не давал. Через какие-то несколько лет он заработал целое состояние, выгодно перепродав их. Тиета попросила у Перпетуи бумагу и ручку, написала доне Зулмире записку с согласием на сделку и отослала с Пето. Она решила задержаться в Агресте на время, необходимое для завершения сделки, подписать купчую, вступить во владение домом.

Асканио продолжал грезить блестящим будущим Агресте. Перемены начались с прибытием в город двух саппауловок, теперь все казалось легко достижимым благодаря решению компании «Вале-до-

Сан-Франсиско» включить Агресте в число муниципиев, которые получат энергию от гидроэлектростанции Пауло-Афонсо. Свет Тиеты!

Тиета оставляет влюбленных у двери на улицу — пусть попрощаются наедине. Сама, однако, подглядывает из мрака коридора: ей хочется увидеть, что произойдет там, насколько крепки и нежны будут их объятия и поцелуи — первые шаги на общем пути. Полное тревоги разочарование. Легкое прикосновение губ Асканио к лицу Леоноры, робкое и торопливое, совершенно не похоже на настоящий поцелуй, только время потеряла, подсматривая за парой отъявленных идиотов. Леонора задерживается у порога, пока не теряет Асканио из виду, она посылает ему долгое прощальное приветствие, на которое тот несомненно отвечает. Подобное прощание — плохой признак. Тиете не нравится, как разворачивается идиллия.

Леонора не подвергнется большой опасности, если они с Асканио в конце концов согрешат в «Бассейне Катарины» в безлунную ночь, укрывшись среди скал. Когда же придет час возвращения в Сан-Пауло, ей станет грустно и она прольет несколько слезинок в автобусе — c'est finie la comédie [1], как говорила мадам Жоржет, а мадам Антуанет впоследствии повторяла, когда сталкивалась с любовными увлечениями девушек.

Опасность заключается именно в невинных, робких поцелуях, в этом глупом деревенском флирте, который сейчас уже не в ходу. В Агресте так ухаживают — с подчеркнутым уважением, сдерживая порывы,— когда имеются в виду обручение и свадьба. Тогда разлука причиняет тяжелое страдание — не сводится к каким-то слезинкам в автобусе на обратном пути.

В тот день, когда похудевшая, стройная Тиета прибыла из Манге-Сэко, жизнерадостная и трепещущая от волнения, как только речь зашла об участке и доме на побережье, Леонора кинулась ей в объятья, нетерпеливо шепча на ухо:

— Мне нужно о многом поговорить с тобою, Мамочка.

В течение дня у них не было, однако, возможности остаться наедине. Перпетуа все время торчала тут, заискивая перед сестрой, не скупясь на похвалы.

К вечеру они отправились к доне Зулмире подтвердить договоренность, а оттуда — в нотариальную контору сообщить данные для составления купчей и условиться о дне ее подписания; чем раньше, тем лучше — попросила Тиета, торопившаяся в Манге-Сэко. Стены хижины — так она называла свой домик на побережье — начали уже подниматься, она будет следить за укладкой каждого кирпича, находясь подле племянника, заразившегося ее энтузиазмом. Вечером прибыли гости: дона Кармозина, дона Милу, Барбоза, приятели Асканио по бильярду; сам Асканио не отходил от Леоноры.

Дона Кармозина тоже объявила о настоятельной и срочной необходимости подольше и с глазу на глаз побеседовать с Тиетой. Они назначили встречу на следующий день. «Завтра непременно! — напомнила почтовый агент, прощаясь,— тысяча тем для обсуждения». Тотчас же дона Кармозина выразительно посмотрела на пару влюбленных, сидевших на софе в отдалении друг от друга — по крайней мере на какие-то дюймы, Леонора восхищенно слушала, как Асканио рассуждал о блестящем будущем Агресте. Когда Асканио ушел, уже последним, Леонора уселась на кровати в спальне, пока Тиета снимала косметику. Девушка открыла душу: влюблена, что поделаешь! Страстная любовь, не банальное увлечение, она не такова, Мамочка ведь ее знает, за три года в «Убежище» с ней такого не случалось. Любовь, впервые...

— Что делать, Мамочка? Рассказать правду я не могу.

[1] Так комедия окончена *(франц.)*.

— Конечно, не можешь и не думай об этом. Только если сойдешь с ума или возненавидишь меня.

— Я и не помышляла об этом, как можно? Но что мне делать, не знаю. Помоги, Мамочка. У меня только ты на свете.

Тиета оставляет кремы и зеркало, берет руки девушки в свои, гладит ее белокурую гриву, она даже сестер не любила так, как эту несчастную, подобранную на тротуаре маленькую Нору, отмеченную тяжелой судьбой и все же способную мечтать и надеяться.

— Знаю, что ты никогда не расскажешь, я знаю своих козочек. Что тебе делать? Воспользоваться отдыхом, развлечься. Флиртуй с парнем, он симпатичен и недурен. Немного, по-моему, наивен, зато порядочен.

Леонора кивает головой и тут же закрывает лицо руками. Тиета садится рядом с ней на кровать, продолжает:

— Гуляй, наслаждайся жизнью, но не привязывайся. Будь осторожна, чтобы избежать скандала. Не понимаю только, почему ты до сих пор не спала с ним.

— Он думает, что я девственница, Мамочка. Никогда я не видела столь легковерного и церемонного человека. У меня нет ни мужества, ни слов признаться ему, что я лишена невинности. Боюсь, он разочаруется, не захочет меня больше видеть.

— На это он способен. Агресте — не Сан-Пауло, нравы здесь как в прошлом веке. Для них девушка либо невинна, либо потаскуха с открытой дверью. Разве ты не знаешь, что произошло со мной? Отец прогнал меня, чтобы я стала шлюхой подальше отсюда. Это было давно, но и по сей день здесь все остается по-прежнему. Как знать, если подойти с умением...

— Какое умение, Мамочка? Он думает, что я девственница и миллионерша, дочь и наследница комендадора Фелипе. Даже не решается сделать предложение, потому что беден. Знаешь, он еще даже не объяснился мне в любви. Намекает, вздыхает, кажется — вот-вот заговорит, но продолжает молчать, берет мою руку и... ограничивается этим. В Манге-Сэко я поцеловала его. А он лишь коснулся губами моей щеки при прощании.

— Последуй моему совету: дай лодке плыть по течению, время от времени развлекайся. По крайней мере так тебе не надоест.

— Мне надоест? Мамочка, признаюсь, эти дни тут были единственно счастливыми в моей жизни. Я люблю. Впервые, Мамочка. С Пипо было по-другому, ничего похожего. Я тебе рассказывала, помнишь?

Для девочки-подростка, проведшей детство в грязном доме, Пипо, имя которого повторялось в радиопередачах, а фотографии мелькали в газетах, был олицетворением непобедимых героев комиксов, приключенческих фильмов, телевизионных серий. То, что она стала его девушкой, вызывало зависть у всех остальных девчонок на улице. Когда он бил Леонору, страдало прежде всего ее тщеславие. После того как он бросил ее, она проплакала целую неделю, к удовольствию соседей, но о нем самом не страдала.

— Это любовь, Мамочка. Тут все другое. Как бы я хотела остаться здесь, с ним, никуда, никогда не уезжать!

Тиета растрогана — бедная Леонора, испуганная козочка. Она погладила ее по голове, ущипнула за щеку:

— Не то чтобы я была против, дочь моя, все дело в том, что я не знаю, как тебе помочь.

Наблюдая идиллию Леоноры и Асканио, Тиета беспокоилась. Будь это простое приключение: поцелуи, объятия, встречи на берегу реки, на скалах, на горячих песках Манге-Сэко,— все было бы проще, достаточно проявить сдержанность, чтобы избежать злословия жителей Агресте. Если бы Леонора стала жертвой сплетен, ей при-

шлось бы вскоре уехать и больше сюда не возвращаться. Но девушка претендует на семейную жизнь, домашний очаг, хочет иметь детей.

У «Бассейна Катарины» или в дюнах Манге-Сэко, под сенью гротов или на берегу океана Нора могла бы удовлетворить жажду любви в объятиях Асканио. Как делала Тиета в объятиях Рикардо на песчаном берегу, в постели команданте. Она ведь тоже влюблена, да еще как! Но не в пример Леоноре страсть к племяннику не приводила ее в смятение, она приносила ей только радость.

Тиета ласкает Леонору, голова девушки покоится у нее на груди. Надо принять срочные меры и вернуть Леонору на прежний путь, пусть ее отдых кончится весело, как начался, пусть этот глупый флирт не превратится в горячую страсть, пусть выберется из трясины, в которой он увяз, чтобы вспыхнуть ярким пламенем на берегу реки, на холмах Манге-Сэко.

Материнская рука, поглаживающая ей голову, и утешающий голос успокаивают волнение Леоноры.

— Можешь спать спокойно, козочка, я позабочусь о твоей жизни.

Чтобы присутствовать на торжественной церемонии окончательного оформления купли-продажи дома, принадлежавшего ранее доне Зулмире и переходящего теперь, после стольких формальностей и соответствующей оплаты, во владение доны Антониеты Эстевес Кантарелли, в нотариальной конторе собралась вся семья Эстевес, за исключением юноши Рикардо, семинариста, находящегося на каникулах в Манге-Сэко и занятого выполнением поручений богатой (и сумасбродной) сан-пауловской тетки.

Опираясь на посох, очень довольный, старый Зе Эстевес чувствует, что снова обретает авторитет. Очень скоро он будет жить в хорошем доме, на центральной улице, блудная дочь вытащила его из прежней жалкой лачуги на углу грязного переулка.

Если б это зависело от него, он переехал бы сегодня же, как только дона Зулмира закончит вывозить свои пожитки. Антониета, однако, решила произвести в доме кое-какой ремонт, починить ванную и уборную, покрасить стены; он пробормотал что-то, но не стал спорить: кто платит, тот и музыку заказывает.

Перпетуа слушает внимательно, готовая вмешаться, если в купчую будет внесена статья, которая могла бы повредить интересам ее сыновей, в особенности Рикардо, вероятного наследника.

Элиза и Астерио слушают с почтением: она — устремив на Тиету взгляд, полный обожания; он — с опущенной головой, уставясь в пол. Элизе не нужен дом в Агресте. От щедрости богатой сестры она ждет совершенно иного — приглашения сопровождать ее в Сан-Пауло, куда она рассчитывает переехать вместе с мужем, ведь одну ее Тиета не возьмет; надеется получить должность для Астерио на каком-нибудь из предприятий семьи Кантарелли; для себя самой — место в сердце и в квартире сестры, если возможно, то, которое занимает до сих пор падчерица Нора.

Скромно держится красавица Леонора Кантарелли. Мягкая улыбка на тонком лице; среди присутствующих она, пожалуй, больше всех хочет иметь дом в Агресте, пусть скромный, на незамощенной улице, но с маленьким садом и верандой, где был бы повешен гамак для отдыха во время жары. Мечтает о ребенке. Мамочка обещала заняться ее судьбой, помочь ей устроить жизнь. Мадам Антуанет не бросает слов на ветер.

По окончании чтения документа нотариус приглашает заинтересованные стороны подписать его. Тиета расплачивается с доной Зулмирой.

Тиета улыбается, но ее тревожит опасение: участок и дом, приобретенные на имя Антониеты Эстевес Кантарелли, бесспорно ли

принадлежат просто Антониете Эстевес? Адвокат, с которым она советовалась в Сан-Паулу перед поездкой, уверял, что да, поскольку будут свидетели заключения сделки и уплаты денег; речь пойдет лишь о пустяковой ошибке с именем, легко исправимой. И это сказал не какой-нибудь адвокатишка, а главный прокурор штата, постоянный посетитель «Убежища», юрисконсульт мадам Антуанет.

Распростившись с родственниками, Тиета отправляется одна в почтово-телеграфное агентство для конфиденциальной беседы, как накануне она обещала доне Кармозине. Наконец-то подруги сделают обзор последних событий; обе они заинтересованы услышать кое-что и, в свою очередь, рассказать, обе они вынашивают свои идеи и планы, скрывая и та и другая свои задние мысли. Завидев Тиету, поднимающуюся по ступенькам к двери, дона Кармозина откладывает газету.

— Наконец-то мы одни! — восклицает она, улыбаясь и открывая объятия, чтобы принять знаменитую посетительницу, важную персону.— Да здравствует мой лидер!

Слишком знаменитую и слишком важную... Они оставались наедине не более пяти минут. Едва обменялись несколькими дружественными словами, как появились первые знакомые, у входа собрались любопытные. Все хотели видеть и приветствовать землячку, прибывшую из Сан-Паулу, влиятельное лицо в стране. Останавливались, улыбались ей. Просители, не заставшие ее дома, благодаря обостренному по необходимости чутью настигли ее в агентстве, каждый пытался рассказать свою историю. Грустную и правдивую. С двумя из них Тиета назначила встречу на утро у себя дома. Дона Кармозина выражает неудовольствие — ну что это такое?! В то же время ей нравится благожелательность и терпение Тиеты, готовой выслушать бедняка и помочь ему, беседовать с бездельником, который просто хочет поболтать, поблагодарить ее за свет. Смеется Антониета:

— Эта история с освещением уже выводит меня из себя...

— Не говори так. Народ выражает свою признательность — хорошие люди, еще не испорчены цивилизацией.

С улицы доносится голос команданте — рушатся последние надежды доны Кармозины. Усевшись в кресло и вытянув ноги, команданте демонстрирует свою решимость остаться надолго. Его интересует, когда Тиета собирается вернуться в Манге-Сэко. Они с доной Лаурой отправятся туда на следующий день, сразу после завтрака, не хочет ли она воспользоваться их лодкой? Воспользуется, да. Поскольку завершена покупка дома, купчая подписана, произведена оплата, ничто иное не удерживает ее в Агресте.

Еще один посетитель появился, чтобы поговорить, и помешал интимной и важной беседе — это был Асканио. Команданте не теряет случая покритиковать инициативу патриотически настроенного секретаря префектуры, его угрожающие краю туристские проекты.

— Они покончат с нашим покоем. Я вырою окопы в Манге-Сэко, сооружу баррикады. Когда эти нудисты появятся там, я их встречу пулями.

— Нудисты? — заинтересовалась Тиета.

— Да. А вы что, не знали?

— Я слыхала о чете, которая была здесь и отправилась в Манге-Сэко...

— ...и, прибыв туда, они разделись и — бух! — в воду голенькие, как Адам и Ева. Бегали по пляжу...

Безудержный смех потряс Антониету, она не сдержалась.

— Неужели и Рикардо видел обнаженных? — спросила она, когда ей удалось справиться со смехом.

Представив себе семинариста в обществе голой пары, все рассмеялись, включая Асканио. Команданте Дарио подхватил, торжествуя:

— Это как раз то, о чем я толкую! Перпетуа и падре, епископ дон Жозе, вы, Тиета,— все блюдут невинность мальчика, а друзья Асканио разделаются с этим в один прекрасный день. Какой смысл вам опекать целомудрие вашего племянника? Асканио импортирует разврат, отдает Манге-Сэко на откуп сводникам, наша судьба — сводничество...

Асканио не трогает трагическая перспектива, нарисованная команданте.

— Вот увидите, команданте, «Тещина лачуга» принесет вам целое состояние, будете меня благодарить, и вы тоже, дона Тиета. Вы купили участок вовремя, цены на земли поднимутся.

— Никакое состояние не возместит мне утраченного покоя! — заключил непреддающийся команданте. Он обращается к Тиете: — Итак, до завтра, сразу после завтрака, около часу дня, согласны? Используем эти последние дни, пока Асканио не превратит Манге-Сэко в Содом и Гоморру.

— Вы уезжаете завтра, дона Антониета? — спрашивает виновато секретарь префектуры.— Не забудьте, в следующую субботу празднество, а вы — его крестная мать.

— Не забуду, нет. Не беспокойтесь, я не обману. Вернусь вовремя.

Конфиденциальная беседа переносится на вечер. Дона Кармозина вздыхает: только уж обязательно! Если возникнет новая отсрочка, она взорвется, у нее полно важных и волнующих дел для обсуждения. Ей не приходит в голову, что больше всего заинтересована в разговоре Тиета, хотя этого и не показывает.

Тиета устремляет взор к небесам: полная луна, освещавшая недавно песчаный берег Манге-Сэко, теперь на ущербе, зато блистают мириады звезд, ей не надоедает любоваться ими, восхищаться этим чистым небом, таким его не увидишь в городах Юга. В Сан-Пауло, где она живет и трудится, небесный свод, затянутый грязным дымом, мрачен.

— Я без конца любуюсь небом Агресте, Кармо. На юге нет ничего подобного. У нас нет неба.

Чтобы поговорить наедине, надо было просто сбежать из дома. Когда дона Кармозина пришла для конфиденциальной беседы, гостиная была уже полна друзей, веранду заняли Леонора с Асканио, единственный выход — бегство. Воспользовавшись репликой доны Кармозины: «Здесь мы не сможем поговорить, мне надо многое сказать тебе, но не на виду у этого сброда, как быть?» — Тиета предложила удрать. Они выскользнули через черный ход так, что никто этого не заметил.

Тиета берет дону Кармозину под руку, подруги направляются по дороге к гавани, в сумерках слышится, как журчит вдалеке река. Их овевает вечерний ветерок, налетающий с моря, со стороны Манге-Сэко, где ее ждет Рикардо, наверняка он взобрался на вершину дюны и старается различить огонек на расстоянии. Его мучают страх и желание, гложет тоска и сознание греха.

— Здесь все так бедны, взять хотя бы мою семью... Они живут очень стесненно...

— Ну, положим, только не Перпетуа...— поправляет дона Кармозина.— Она каждый месяц делает взносы в сберегательную кассу в Аракажу, отнюдь не беспомощна.

— Не думай, что я не знаю этого, Кармо,— не вчера родилась, знаю коз моего стада и лучше всех Перпетую. Знаю, что Рикардо

учится бесплатно — падре договорился с доном Жозе; а за то, что Пето учится в начальной школе, не платят ничего,— знаю больше, чем вы с нею можете вообразить. Но не поэтому я скрываю свою помощь. В конце концов то, что у нее есть, может значить что-то лишь по сравнению с бедностью других, однако для будущего мальчиков этого слишком мало. Ребята замечательные. Рикардо — прилежный, сознательный, серьезный; в сутане он такой смешной.— Она устремляет взгляд на старую подругу.— Я, как тебе известно, распорядилась открыть на его имя текущий счет в Сан-Пауло...

— Мне известно? Что это за история? Я ничего не знаю, ты мне не говорила, откуда мне знать? — Дона Кармозина нервно реагирует, чуть ли не оскорбленная намеком.

Тиета разражается веселым смехом, она ласково сжимает руку подруги:

— Знаешь. Ведь ты прочла письмо, которое я написала управляющей моим предприятием, распорядившись, чтобы она побывала в банке и открыла текущий счет. Не отрицай, Кармо, все равно я не поверю. Если бы я была на твоем месте, то тоже прочла бы.

Смущенная поначалу, не зная что ответить, дона Кармозина под конец заражается смехом подруги и говорит:

— Я никогда не видела более скромных, более сдержанных писем, чем твои. Они ничего не говорят — ни те, что ты писала семье, ни те, что посылаешь отсюда в Сан-Пауло. Никогда не видела большей скупости в словах: сделай это, сделай то. Как идут дела? Клиентура устойчива? А девочки, как они ведут себя? Я до сих пор не открыла, какое у тебя там дело, помимо фабрик. О фабриках-то все знают.

— Никаких секретов, Кармо, просто я плохой писака, лучше меньше писать — меньше наделаешь ошибок. Кроме того, я не люблю, чтобы о моих делах болтали в народе, никто не должен знать о наших доходах — я верю в дурной глаз. Но от тебя мне нечего скрывать. У меня в Сан-Пауло магазин-люкс для высшего общества с очень высокими ценами, клиентура — первоклассная, магазин приносит большой доход. Девушки-продавщицы красивые, элегантные, хорошо зарабатывают. Именно потому, что клиентура такая шикарная, я не хочу, чтобы люди из Агреста появились там. Представь себе, Кармо, полный магазин, знать Сан-Пауло, все — богачи, и вот ко мне приезжают люди отсюда... Поэтому я никогда не давала своего адреса. Для меня неважно, что говорят о фабриках, пусть придумывают что угодно, и знаешь почему? Потому что к фабрикам я не имею никакого отношения, участия в них не принимаю. Когда Фелипе умер, я осталась с квартирами, недвижимым имуществом и магазином, который, впрочем, уже был моим, записан на мое имя.— На плохо освещенной дороге она старается понять по лицу подруги, насколько убедительно ее объяснение.

Дона Кармозина слушает ее слова с большим вниманием. Постоянная читательница детективов, поклонница Агаты Кристи, она с помощью дедукции, основываясь на минимальных деталях, пришла к истине: рассказ Тиеты для нее не новость.

— В точности так я себе все и представляла — сверхроскошный магазин, умопомрачительные цены, и знать Сан-Пауло оставляет там денежки. Ты очень хорошо делаешь, сохраняя в секрете свои дела и свой образ жизни. Я думаю, что если бы Элиза узнала твой адрес в Сан-Пауло, то нашла бы способ приехать. Она, бедняжка, только об этом и мечтает.

Тиета рассмеялась:

— Представляешь, если вся моя родня из Агреста, начиная со старого Зе Эстевеса с посохом, жующего и выплевывающего табак, заявится ко мне в Сан-Пауло, вторгнется в магазин? Это было бы смешно, к тому же испортило бы мое дело навсегда.

Она не упомянула Элизу, будто не услышала имя сестры, но дона Кармозина настаивает:

— Может быть, тебе все-таки взять Элизу в Сан-Пауло, ее и Астерио? Это все, чего она ждет от жизни, и мне кажется, что...

Тема эта неприятна Тиете. Она прервала подругу прежде, чем та принялась отстаивать интересы Элизы:

— Взять, зачем? Здесь они живут безбедно на доходы от лавки и на то, что я им даю. Хоть я и не спрашивала ее, она мне как-то заявила, что не хочет иметь собственный дом в Агресте. Действительно, она все время рассуждает о Сан-Пауло, намекает на то, чтобы я пригласила их, у нее нет другой темы для разговора. Я могу увеличить размер помощи, которую оказываю, но взять в Сан-Пауло — ни за что.

— А можно узнать почему? Я люблю Элизу, и мне бы хотелось видеть ее счастливой.

— Я тоже хочу, чтобы она была счастлива, тоже люблю ее, она моя сестра, я знаю, что и она любит меня и не лицемерна, как Перпетуа. Но я, Кармо, люблю не только ее, но и Астерио. Здесь он живет в свое удовольствие, Сан-Пауло для него будет ссылкой. Я обожаю счастливых людей, они так редко встречаются в мире. Знаю, что такое быть несчастной, я много испытала, когда уехала отсюда. Но мне повезло, я встретила хорошего человека — своего мужа, это большое чудо, не так ли? Разве не чудо произошло со мной: я была мелкой служащей в конторе Фелипе, а под конец — обручальное кольцо на пальце.— Она показала золотое кольцо, отличное, изящное, прямо антикварная вещь.— Элизе тоже повезло, она вышла замуж. Астерио — хороший парень, я люблю его. В Сан-Пауло Астерио будет несчастнее, чем Элиза здесь.

— Несчастнее?

— Уверена. Здесь у него друзья, а с кем он будет дружить в Сан-Пауло? Тамошняя суета, неразбериха не для него. А она, будет ли она счастлива в Сан-Пауло, твоя подруга Элиза? Ты знаешь ее лучше меня, присутствовала при ее рождении, помнишь? Думаешь, Элиза в Сан-Пауло будет терпеть мужа, зарабатывающего жалкие гроши, будет со своими королевскими замашками переносить убогую жизнь? Скажи мне, Кармо. С этой своей красотой, знаешь, где она окажется в конце концов? В доме свиданий, станет проституткой. Такого ли счастья она ищет?

Дона Кармозина вздрагивает, слова Тиеты звучат в ее ушах. Она отступает, отказывается от борьбы за свою протеже, хоть и обещала, когда Элиза, чуть не плача, умоляла ее: «Поговори с Тиетой, Кармозина, скажи, что я хочу уехать с ней, попроси работу на фабрике для Астерио и уголок для нас в ее квартире».

— Ты права, нет смысла. Она кончит плохо. Как я не подумала об этом, боже мой! Ты еще лучше, чем кажешься.

— Я знаю своих коз. Хорошо, что ты заговорила со мной об этом, я сама хотела попросить тебя убедить Элизу выкинуть вздор из головы, она ведь прислушивается к тебе. Здесь они с Астерио могут рассчитывать на мою помощь. Если они уедут отсюда, пусть пеняют на себя.

— Я поговорю с ней, хоть это будет нелегко. Но ты совершенно права, нельзя рисковать.

— Жизнь — сложная штука, понять ее трудно. Элиза только и помышляет уехать в Сан-Пауло, Леонора теперь толкует, что хочет жить в Агресте, собирается никогда больше не уезжать отсюда.

Улыбка появляется на хмуром лице доны Кармозины — эта тема ее волнует. Они приближались к реке — усиливается шум потока, разбивающегося о камни, звезды падают с неба, гаснут во мраке.

— Это верно, она мне сказала, что уже решила больше не уезжать отсюда. Мы с Норой много разговаривали в эти дни, пока ты

была в Манге-Сэко. Она умирает от страсти. Это прекрасно, Тиета. Встречаются двое разочарованных в жизни, берутся за руки и как бы дополняют друг друга. Она намерена остаться здесь.

— И ты думаешь, что она привыкнет к этим местам? Сейчас она счастлива, потому что в любви к Асканио забывает о том, что пережила, а страдала она, как козленок, лишившийся матери. Но что будет потом? Я родилась здесь и хочу закончить тут свои дни, но вернусь сюда, только когда стану старой каргой. До того буду приезжать изредка. Жителю большого города привыкнуть к Агресте нелегко. Даже тот, кто никогда не покидал этих мест, жалуется на апатию,— возьми хотя бы Элизу. Если бы я вообразила, что случится, не привезла бы Нору ни за что. Она сентиментальная дуреха, кончилось тем, что потеряла голову, привязавшись к Асканио, сама создала для себя проблему.

— Понимаю.— Дона Кармозина драматично вздыхает: — Она — миллионерша, он — бедняк! Однако...

— Не в том дело, Кармо, ведь мы каждый день являемся свидетелями браков между богатыми и бедными. Думаешь, я была бы так озабочена, если б проблема состояла только в этом?

— А что же тогда?

Тиета останавливается, желая придать больший пафос признанию. Дона Кармозина ожидает, напряженная, не в силах скрыть нетерпение:

— Что?

— Ты же знаешь, что она была невестой мошенника, который хотел заполучить ее приданое. Он прикинулся инженером, внешность у него была подходящая, но и только. Она, ослепнув от страсти, собиралась финансировать проекты этого типа и только потому не выложила деньги, что я поняла, в чем дело, и помешала. Тут как раз пришли за ним, и раскрылась вся история этого жулика. Бедняжка Нора слегла в постель, чуть не умерла. Меня не удивили разоблачения полиции, я не обманываюсь в людях, мне достаточно взглянуть на человека, и я уже понимаю, чего он стоит, каков у него характер.

Дона Кармозина разражается смехом:

— Об этом я уже знала, ты сама мне рассказала. И вот что... оба раненых уже поправляются, пусть дополняют друг друга. Если разница в имущественном положении не служит препятствием, тогда...

— Дело в том, что она была невестой этого типа добрых полгода, Кармо. Помолвка в Сан-Пауло — не то, что в Агресте. Там возлюбленные жених с невестой бывают вместе на празднествах, посещают кабаре, устраивают прогулки на целые дни... на целые ночи... Девушки носят в сумочках вместе с губной помадой противозачаточные пилюли.

— Понимаю...

— Ну так вот. Представление, что девушка должна выходить замуж девственницей, устарело. Оно существует только в Агресте. А вот то, что он беден, не имеет никакого значения, Нора не обращает на это ни малейшего внимания. Ни она, ни я. Но ты находишь, что наш друг Асканио...— Пауза.— Вот поэтому-то я и озабочена, Кармо.

— Откуда мне знать?! А могло быть все так просто, не правда ли?

Они снова зашагали, дона Кармозина переваривает неприятное откровение — ах, боже мой, что же делать? Тиета заключает, прежде чем они доходят до реки:

— Теперь, когда я купила дом, велела привести его в порядок, покрасить, я поселю там стариков, оставлю Рикардо деньги на то, чтобы завершить постройку домишка в Манге-Сэко, заберу Леонору и уеду.

— Ты не можешь уехать до празднества по случаю открытия нового освещения, я же тебе сказала. Ни в коем случае!

— Я думала остаться, но не могу. Не столько из-за себя, хоть я тоже не могу слишком долго задерживаться, ведь я оставила в Сан-Пауло все, что мне принадлежит, в чужих руках...

— В руках надежных людей...

— И все же... Я бы дождалась празднества, если бы не Нора. Нужно увезти ее отсюда, пока не поздно. Она не вынесет еще одного потрясения, может даже умереть...

— Не торопись. Подожди несколько дней; когда ты вернешься из Мангэ-Сэко, я тебе скажу кое-что.

— О чем?

— Об Асканио и Леоноре...

— Жизнь могла быть такой легкой, мы сами все усложняем.

Они доходят до реки, лодки покоятся у пристани, Тиета объявляет:

— Я уже подобрала название для моей хижины в Манге-Сэко.

— Какое же?

— «Загон Козла Инасио!» Так назывался у старика козел-производитель, походивший скорее на осла,— такой он был большой. У него я научилась желать и добиваться.

Эхо скандала, вызванного мини-юбкой Леоноры, уже заглохло, когда загадочные и блистательные существа опять появились в Агресте, прибыв со стороны Атлантического океана на мощном, новейшем катере, причем их насчитывалось на этот раз больше и среди них были не только мужчины и женщины, но и какие-то, похоже, двуполые особи. Поскольку красавица из Сан-Пауло за это время вела себя очень скромно, то пересуды заглохли, и даже святоши проявили к ней свою милость. Элиза не стала перечить мужу и спрятала свою спорную юбку, чтобы носить ее в ближайшем будущем в Сан-Пауло, если на то будет милость божья. Она не осмелилась противостоять насмешкам и осуждению со стороны жителей Агресте. Но со вторым появлением инопланетян мини-юбка стала привычной вещью в глазах всего населения города.

Пето примчался с реки и принес известие, взбудоражившее бар: высадился целый батальон чужестранок-гринго. Едва он кончил свое сообщение, как площадь заполнили марсиане. Асканио Триндаде выскочил из префектуры. Все прибывшие женщины оказались в мини-юбках из клетчатой ткани — настоящей шотландки, заверила дона Кармозина,— в желтых трикотажных блузках, высоких сапогах из черной лайки. Казалось, будто с целью совершенно затмить Леонору городок был наводнен изобилием бедер и ляжек, выставленных напоказ жадным взорам толпы, собравшейся со всех сторон.

Одетые одинаково, чужестранки выглядели так, словно входили в состав какого-то войска или религиозной секты. Старая знакомая — она приехала уже во второй раз, длинноногая и стройная, то ли командир женского батальона, то ли священнослужительница, рыжая красотка,— машет рукой и снимает очки, открывая для всеобщего восхищения красивые глаза с поволокой. Сверхкороткая мини-юбка, наружу все на свете... Оснар, приветствуя космическую путешественницу и стремясь возобновить прежнее знакомство, провозглашает:

— О, снова здесь? Какая честь для графства Сант'Ана-до-Агресте!

— Знаешь что, красавчик, угости-ка меня гуараной или кока-колой. Умираю от жажды. Да и вся компания, что со мной...

Подходят остальные, веселые, возбужденные. На мужчин мало кто обращает внимание, все пялят глаза на женщин. Некоторые из приезжих повергают в ужасное смятение озадаченных граждан, не знающих что думать: мужчина это или женщина?

Распахивается окно в доме префекта, появляется небритое уже три дня лицо обеспокоенного дантиста Мауритонио. Успех мини-юбки

Леоноры вызвал в свое время смешки, издевательства — даже куплеты сочинялись; множество мини-юбок, появившихся сейчас на площади, привело к оцепенению и безмолвию. Заполнился народом тротуар перед баром, опустели лавки и магазины.

— В баре уже есть кокосовое молоко,— объявил Асканио Триндаде, приглашая возвышенное существо и всю компанию. Сеу Мануэл услужливо склонился перед ними.

— Какая оперативность! — Мисс Космос громко обращается к остальным: — Кто любит кокосовое молоко?

— Только с виски, дочка,— отвечает Афродите некто с длинными волосами, спускающимися ниже талии, в обтягивающих брюках, индийской блузе, с каскадом ожерелий на шее.

— Почему она не в мини-юбке? — спрашивает Оснар, чувствуя себя ущемленным: никак не удается ему выразить свое восхищение столь многообещающими бедрами и икрами.

— Потому что это не «она», красавчик, а «он»... То есть более или менее... Это Руфо, наш директор.

Они задерживаются ненадолго, так как здесь проездом. В Манге-Сэко остались другие, инженеры и техники. А тут рекламные агенты, ассистенты, секретарши, ответственные за общественные связи и контакты, в общем, компетентнейший народ. Они утолили жажду, прежде чем снова сесть в катер и следовать вверх по реке до Сержипе.

— Он — Руфо, а вы, принцесса, кто вы и откуда прибыли?

— Элизабет Валадарес, Бети для друзей, Бебэ для самых близких. Я приехала к вам с поручением, любовь моя.— «Любовь моя» — это Асканио, к разочарованию Оснара.— От Милейшего Доктора.

— От кого? — удивился Асканио.— Повторите, пожалуйста.

— От доктора Мирко Стефано, darling, разве вы не знаете? Его прозвали Милейшим Доктором, и он действительно таков. Вы сами убедитесь в этом, дорогой. Это тот, что приезжал со мною в прошлый раз, помните? Я его секретарь, ответственный секретарь, знаете? Он велел передать, что не мог прибыть сюда сегодня, так как ему пришлось отправиться в Сан-Пауло для срочной встречи, но через несколько дней он приедет для переговоров и уточнения деталей.

Прибывший к вечеру из Манге-Сэко на моторке команданте Дарио сказал, что он видел шхуну, ставшую на якорь у входа в гавань, с нее были спущены в море два катера, один из которых поднялся вверх по реке, сделав остановку в Агресте; из другого выгрузились люди и вынесли инструменты на пляж. Они расхаживали, задавая вопросы рыбакам, затем углубились в кокосовую рощу. Команданте все эти передвижения показались подозрительными.

Асканио Триндаде, теперь полностью уверенный, что речь идет об организации в этом районе туристского комплекса, обещает сообщить команданте конкретные сведения в ближайшие дни. Влиятельное лицо прислало ответственного секретаря с поручением уведомить, что вскоре приедет для переговоров,— наверняка собирается объявить о своих проектах, получить поддержку префектуры. Поддержка ему будет оказана полностью, команданте. С организацией туризма, который возродит Агресте, теперь Асканио, рулевой, управляющий прогрессом муниципия, может надеяться на превращение мечты в реальность. Впервые за много лет Асканио Триндаде охвачен амбицией, желанием стать важной персоной. Человеком, способным бороться за Леонору Кантарелли, красивую и богатую. Прежде она казалась ему совершенно недоступной, химерой. Теперь она должна быть завоевана, цель будет достигнута. Чтобы иметь возможность претендовать на руку Леоноры, сделать ей предложение, ему недоставало лишь положения в обществе, известного веса. Она — богата, он — беден. Это уже не имеет значения. Если у него нет богатства, чтобы преподнести ей, то у нее нет самого драгоценного, что невеста долж-

на подарить жениху в ночь свадьбы,— девственности. На лице Асканио отражается победа, но не покой — отмечает команданте.

Нельзя отрицать прямую связь между появлением в Агресте отряда под командованием Элизабет Валадарес и самоубийством хирурга-дантиста Мауритонио Дантаса, префекта Агресте, обнаруженного в тот же самый вечер мертвым, с высунутым языком, голым и безобразным. Он использовал пижаму, чтобы удавиться в ванной.

Когда приехавшие добрались до бара и опустошили все, уничтожив запасы кока-колы, гуараны и пива, помешанного префекта видели в окне его дома взирающим на выставленные напоказ ляжки марсианок, что-то бормочущим в изрядном волнении. Миринье, его сестре и сиделке, не удалось увести Мауритонио в комнату. Когда же он увидел из окна, как уходят небесные мини-юбки, он не смог с этим примириться.

На кладбище Асканио Триндаде, который несомненно должен был унаследовать его пост, выразил полагающуюся посмертно похвалу «дорогому шефу и другу». Хотя Мауритонио Дантас и родился в столице, за восемнадцать лет проживания в Агресте он стал пользоваться всеобщим уважением, оказывал немало услуг населению, был компетентным и преданным администратором.

В соответствии с законом президент муниципальной палаты полковник Артур де Фигейредо занял его пост. Но, поскольку лет ему было уже почти девяносто, он принял этот пост лишь формально. Не было никого более подходящего, чем Асканио Триндаде, чтобы руководить судьбами Сант'Аны-до-Агресте, славного города, но... на пороге упадка.

— Асканио, сын мой, я верю, на ближайших выборах люди непременно изберут тебя, и делу конец. Так что тебе вести барку, ведь я уже скорее там, чем тут, и гожусь только присматривать за своими козами и пашнями.

Он показал палкой в окно:

— Когда-то Агресте был очень богатым и счастливым краем. Даже француженка-проститутка занималась своим промыслом в этих краях. И не одна. Все поглотил дым, вплоть до контрабанды. Остались только целебные воды, здоровый климат, не говоря уж о красоте здешних мест.

Он дружелюбно взглянул на Асканио:

— Ты станешь префектом Агресте, твой дед был интендантом, я был интендантом и префектом. Один тебе совет — содержи город в чистоте. Этот край с незапамятных времен отличался первозданной чистотой и прекрасным климатом, избытком денег и большим оживлением. Сохрани Агресте таким, как он есть, раз уж нельзя вернуть ему оживление.

Полковник Артур де Фигейредо ошибался: оживление неожиданно вернулось, угрожая здоровью, чистоте и климату.

Через одну дверь выходил из глубин ада семинарист Рикардо, через другую стремился туда, в геенну огненную, рехнувшийся Асканио Триндаде, влюбленный секретарь префектуры муниципия Сант'Аны-до-Агресте, которого подстерегало разочарование.

Для кого был труднее разговор? Для него, на чью голову вторично обрушился мир, или для доны Кармозины, прилежной и внимательной наблюдательницы за страстями людей, но не холодного, бесчувственного летописца. Она страдала из-за страданий друга, мучилась, когда мучила его, старалась не расплакаться, раскрыв правду о том, как поступил подлый жених Леоноры. Она хотела быть полезной и деликатной, тщательно подбирала слова, но неожиданно взорвалась резко и огорченно:

— Будь мужчиной!

Асканио, увидев дону Кармозину смущенной, колеблющейся, заикающейся, не знающей, как сделать признание, попросил голосом приговоренного к смерти:

— Скажите сразу все, что бы там ни было.

Несмотря на призыв откровенно высказаться, дона Кармозина продолжала искать в себе силы, набиралась мужества, комок стоял в горле. Не выдержав такой паузы, Асканио решил выложить карты на стол и задал вопрос скорбным голосом:

— Дона Антониета поручила вам попросить меня оставить Нору в покое, не так ли?

До этого вопроса все было так легко: выполнив поручение, дона Кармозина высказала бы и свое мнение, дала бы совет продолжать борьбу, не покидать поле боя. Поскольку Кармозина молчит, Асканио выдвигает худшее предположение:

— Значит, сама Леонора велела вам это сказать...— Голос приговоренного к смерти, когда в помиловании отказано.

Дона Кармозина, пытаясь говорить, издает лишь какой-то горловой звук, беднягу Асканио охватывает паника.

— Ради бога, скажите что-нибудь, Кармозина. Она больна? Легкие? Я уже подозревал, но это не имеет никакого значения. Туберкулез сегодня не страшен.

Дона Кармозина собралась с духом:

— Нора была невестой, вы знаете.

— Невестой одного канальи, знаю. Он хотел прикарманить ее деньги, но дона Антониета разоблачила его, вы мне рассказывали. А мне не нужно чьих-либо денег, я только сожалею, что она богата. Есть немало людей, которые женятся, оставляя имущество разделенным.

— Есть и такие мужчины, которые женятся на вдове...

— На вдове? К чему это вы говорите? Не понимаю.

Начав, дона Кармозина продолжает:

— Ухаживание в Сан-Пауло, Асканио, не то, что здесь, а помолвка тем более.— Она вспомнила слова Тиеты и повторила их: — Там жених с невестой ходят одни на празднества, в ночные клубы, возвращаются на рассвете, даже путешествуют вместе. На Юге девушке, чтобы выйти замуж, не обязательно быть девственной. Девственность — попросту предрассудок... А если бы она была вдовой?..

— Леонора? Тот самый жених? Она уже не...

Он прочел ответ в глазах доны Кармозины. Закрыл лицо руками, внезапно опустошенный и обезоруженный. Его охватило единственное желание: убить каналью, посмевшего загрязнить чистоту Норы, разрушить самую прекрасную из его грез. Дона Милу принесла из кухни поднос с только что процеженным кофе, кукурузными пирожками и размоченной маниокой. Асканио поднялся и ушел, не вымолвив ни слова.

Узнать, что она обесчещена, было тяжелым испытанием. Асканио только что оставил Леонору на пороге дома Перпетуи, она помахала ему на прощание — честная, чистая, непорочная. И вот уже запятнанная, униженная, обесчещенная, хотя и невинная жертва, однако лишенная невинности. Вечер, в который любовь была измерена, взвешена, сопоставлена, подвергнута сразу всем испытаниям, вечер, начавшийся со сражения с предрассудком. Ведь это предрассудок, простой предрассудок, как сказала дона Кармозина, и она права. Не раз на факультете Асканио участвовал в дискуссиях на острую тему: девственность и брак. Теоретически все просто и легко — всего лишь феодальный предрассудок.

Приводя в пример Соединенные Штаты и наиболее передовые страны Европы: Францию, Англию, Швецию, Данию, Норвегию, не говоря уже о социалистических странах, где, по утверждению реакцио-

неров, господствует свободная любовь,— прогрессивные студенты, и среди них Асканио, отстаивали право женщины на близость с мужчиной до брака. Почему только мужчина имеет на это право? Патриархальный предрассудок, угнетение женщины мужчиной, социальная отсталость — уничтожающие аргументы следовали один за другим, и все же большинство цеплялось за вековое требование: девушка должна прийти на брачное ложе девственной.

Всю ночь промучился Асканио, у него сжималось сердце, в глазах стояли слезы оскорбленной мужской гордости, он метался между силой предрассудка и силой любви. Но ни разу не пришло ему в голову единственное решение, именно то, которого ждала от него Тиета: превратить целомудренную идиллию в случайное приятное приключение, сменить мечту о браке на возможность спать с Леонорой, пока она будет оставаться в Агресте, воспользовавшись тем, что он узнал о ней, завершив знакомство коротким или продолжительным прощальным поцелуем у дверцы «маринети».

Над рекою уже занималась заря, когда любовь одержала победу в первом сражении: Асканио не удалось вырвать Леонору из сердца, он не смог отказаться от намерения сделать ее своей женой, госпожой домашнего очага. Однако рана оставалась открытой, она кровоточила, и он боялся встречи с Леонорой. Возможно, ему не удастся скрыть свою боль; больше всего он не хотел, чтобы ей стало известно, что он знает правду. Он не умел скрывать свои чувства, не умел надевать маску; все, что было у него на душе, отражалось на лице. Не будучи уверен, что сможет держать под контролем свое лицо и сердце, опасаясь, что у него снова появятся слезы на глазах, он решил отправиться проверить, как идут некоторые работы в Росинье — сооружение мостиков и загонов для скота. Он разбудил мальчишку Сабино, который спал в зале кинотеатра, оставил ему записку для Леоноры: срочный вызов вынудил его покинуть город на два-три дня; поскольку он уехал на рассвете, то проститься не смог. Как только вернется, придет повидать ее.

Он будет еще размышлять над проблемой, и кто знает, какое он примет решение, явится он к ней или нет. Он оседлал коня, подаренного префектуре полковником Артуром де Фигейредо, и отправился в путь.

Асканио ехал медленно, его терзали сомнения. Позволила ли она овладеть собой, будучи просто обманутой хитрым негодяем, или под тяжестью ударов судьбы, познав силу и сладость наслаждения, не знала меры в удовольствии?

Понемногу Асканио успокоился, сдержал слезы и похоронил предрассудки. Он стал воображать ее вдовой, молодой, красивой и несчастной вдовой. Непобедима дона Кармозина — всегда последнее слово за ней. От вдовы не требуется девственность, только достоинство и любовь. Он вернулся к мечте, столь трудно выполнимой,— в один прекрасный день попросить руку Леоноры. Известие о том, что она была обманута, сделало ее еще более близкой и дорогой, более любимой.

По возвращении в Агресте он тотчас же навестил ее в доме Перпетуи. Леонора нашла его удрученным — конечно, он устал от поездки, проехав столько легуа верхом под палящим солнцем ради интересов муниципия. Она мягко провела рукою по его лицу с невинной приветливостью. Обесчещенная, однако непорочная в искренности и чистоте, более целомудренная, чем любая девственница.

К тому же записка от туристского магната, самоубийство префекта, уверенность в предстоящем избрании на этот пост, новые перспективы, открывающиеся для муниципия и для него самого, придавали Асканио сил.

(Продолжение следует)

Литературное наследие

ЛУИС ДЕ КАМОЭНС

К 400-летию со дня смерти

Элегию «Когда, безумно юношу любя...» Луис де Камоэнс написал в Африке, где он, как простой солдат, защищал от мавров крепость Сеуту. Ему тогда было немногим более двадцати лет — родился поэт предположительно в конце 1524 — начале 1525 г. Впереди были многие уготованные ему судьбой испытания: возвращение в Лиссабон, тюремное заключение за участие в вооруженной ночной стычке, помилование и отплытие в Индию (1553), скитания по заокеанским владениям португальской короны, морские сражения и торговые операции, кораблекрушение, в котором Камоэнс потерял все добытое за годы службы, нищета... Впереди было и сочинение эпической поэмы «Лузиады» (опубл. в 1572 г.), с которой поэт вернулся на родину за одиннадцать лет до смерти, наступившей 10 июня 1580 г. «Лузиады» принесли поэту еще прижизненную славу, небольшую королевскую пенсию и определили его место в истории отечественной словесности — первого среди классиков португальской литературы, создателя португальского литературного языка.

Но и в период написания элегии какие-то, может быть самые важные для настроя всей лирики Камоэнса, события были позади. Позади был некий «тягчайший миг», когда поэт был готов добровольно расстаться с жизнью, миг, когда рухнули все его надежды на счастье. Скудные сведения, сохранившиеся о поэте, не дают возможности с точностью установить, кто был предметом любви Камоэнса, что послужило причиной его личной драмы и отъезда (а может быть, изгнания?) в Африку. С той поры воскрешение в воспоминании того времени, когда он мог наяву созерцать прекрасный лик своей возлюбленной, стало постоянной темой его поэзии.

В своей любовной лирике Камоэнс опирался и на литературную традицию.

Еще на заре Возрождения — эпохи «открытия мира и человека», открытия человеком неизведанных глубин своего «я» — поэт-гуманист Франческо Петрарка (1304—1374) создал из воспоминаний о своей юношеской неразделенной любви к Лауре своеобразный «роман сознания». Так было положено начало литературной традиции — «петраркизму».

Луис де Камоэнс многое унаследовал от этой традиции. Некоторые его сонеты являются попросту довольно точными переводами сонетов Петрарки, Бернардо Тассо, Хуана Боскана, других итальянских и испанских последователей «певца Лауры». В хрестоматийном петраркистском сонете Камоэнса «Кто любит — побуждаемый мечтой...»

ЛУИС ДЕ КАМОЭНС (ЛУИШ ДЕ КАМОЭНШ) — LUIS DE CAMÕES (род. в 1524 — 1525? г. — умер в 1580 г.).

Великий португальский поэт эпохи Возрождения. Автор эпической поэмы «Лузиады» («Os Lusiadas», 1572), большого количества лирических произведений — сонетов, эклог, элегий, консон, октав, редондилий, собранных и опубликованных лишь после его смерти (первое издание — 1595 г.), и трех пьес.

К юбилею Камоэнса издательство «Художественная литература» подготовило новый сборник лирики поэта; элегия «Когда безумно юношу любя...» переведена для «Иностранной литературы».

любовь трактуется в духе философии неоплатонизма: подлинная любовь у неоплатоников — духовное слияние влюбленного с объектом своей страсти.

Кто любит — побуждаемый мечтой,
В предмет любви своей преобразится.
Так мне — чего желать, к чему стремиться?
Оно во мне — желаемое мной.
(Перевод В. Левика)

Однако воспоминания об утраченном «благе», «блаженстве», «добре», о возлюбленной, с которой поэт был насильственно разлучен и которая затем погибла во время кораблекрушения (если предположить, что речь идет об одной и той же девушке — таинственной Динамене), полны в лирике Камоэнса такой подлинной, трагически-безысходной тоской! Поэтому параллельно теме возвращения к прошлому, в контрапункте к ней, через всю его поэзию проходит иная тема — отрешения от прошлого, жажда забвения, исцеления и успокоения, окрашенная трагическим осознанием несбыточности этого желания.

Поэтому драматизм, внутреннюю напряженность сообщает строкам сеутской элегии и многих других произведений Камоэнса ощущение своего внутреннего, душевного «окаменения». Не случайно мотив превращения страдающего влюбленного в камень — устойчивый мотив камоэнсовской лирики: так и элегия «Когда, безумно юношу любя...» начинается с аллюзии на миф об Эхо и Нарциссе, в котором иссохшая от неразделенной любви к Нарциссу нимфа Эхо оказывается обращенной в скалу. Каменное обличье — знак вечности! — гнетет Камоэнса, как страшило оно и его современника, поэта, во многом ему созвучного, Пьера Ронсара:

...Но я б ни лесом не хотел,
Ни камнем вечным стать в пустыне...
(Перевод В. Левика)

Обе эти темы — и воспоминания и забвения — есть в элегии «Когда, безумно юношу любя...», которую можно рассматривать как сплетение многих важнейших мотивов и образов камоэнсовской лирики — «клубок», который потом долго и безутешно будет распутывать его Муза.

Вместе с тем рядом с петраркистским идеалом в творчестве Камоэнса возникает другой образ — Венеры, богини языческой любви-страсти, а рядом с героинями его пасторальных сонетов и эклог, рядом с Виоланте и Динамене фигурирует Цирцея, женщина — «зверь в людском обличье». И две ипостаси любви — идеальная и чувственная — оказываются, по точному наблюдению известного историка португальской литературы А.-Ж. Сарайвы, расколотыми, несовместимыми. Так Камоэнс завершает ту эпоху, которую открывал Петрарка.

Гармоническое мировосприятие, присущее гуманистам Возрождения, рушилось под натиском все исчисляющего, рационализирующего и дробящего буржуазного миропорядка. На смену ренессансной вселенной, в центре которой пребывал возвеличенный до бога Человек, шел мир всеобщего отчуждения, распада, хаоса, в котором правят «два божества» — «прибыль и нужда», как о том писал Камоэнс в «Октавах о несправедливом устройстве мира». И последний поэт португальского Ренессанса, цепляющийся за свое юношеское неоплатоническое вероисповедание, уже не в силах гармонизировать, согласовать разлетающуюся на «осколки» жизнь.

Еще в своей юношеской элегии Камоэнс противопоставлял неизменность своего чувства открывшемуся ему закону бытия — «миром правят перемены», в мире властвует Время. Об этом он пишет, по-видимому много лет спустя, и в знаменитом сонете, уже известном в русском переводе:

Меняется и время, и мечты,
Меняются, как время, представленья.
Изменчивы под солнцем все явленья.
И мир всечасно видишь новым ты...

И всякая перемена приносит лишь очередное разочарование:

От счастья остаются сожаленья,
От горя — только чувство пустоты...

И все-таки именно время — условие жизни, движения, обновления мира, возможности преодолеть разлад. Воистину:

...Страшно то, что час пробьет, быть может,
Когда не станет в мире перемен.
(Перевод В. Левика)

Эти прорывы поэтической мысли Камоэнса в движущееся время, в историю, дали ему силы для создания «Лузиад», поэмы, которая по самому своему жанровому замыслу стала возвышением поэта над личным, преодолением гнетущего и безысходного настоящего. Сюжет поэмы — плавание Васко да Гамы в Индию (1497—1499) — должен был напомнить современникам поэта о героическом прошлом Португалии, сыны которой осуществили то, что составило первую часть классической «формулы» Возрождения — «открытие мира». Создатель «Лузиад» стремился побудить соплеменников оторваться от суетной погони за преумножением «частных благ». Поэт хотел обратить взоры нации в будущее — призвать ее к преодолению новых пространств. Об этом в заключительной песне поэмы возвещает да Гаме богиня Тетис, сестра и супруга Океана, когда возводит мореплавателя на вершину, с которой перед ним открывается вся

«громада мирозданья». Материки и океаны, увиденные да Гамой как бы распластанными на гигантской карте, изображены Камоэнсом со всей возможной пластичностью и живописностью. И не предвосхищен ли этот эпизод «Лузиад» в юношеской элегии, в которой поэт, стремясь отрешиться от своей тоски, восходит на вершину близлежащей горы, чтобы увидеть простирающийся вокруг многоликий, сияющий красками и полный живыми звуками мир?

Ведь он, творец, может, подобно одному из своих любимых мифологических «двойников», певцу Орфею, в творчестве победить саму смерть и в этом не только уравняться с героями и титанами, но даже в Аиде стать их утешителем: титаны в поэзии Камоэнса обычно мученики, страдальцы.

Не случайно поэт вспоминает об Антее, отторгнутом от родной земли. Не раз — и не только в сеутской элегии — будет он писать о своей изгнаннической участи, о своей отверженности: «...я, нелюбимый пасынок природы...» Но у молодого изгнанника, готового окончить свои дни в печали, в крепости Сеута, все еще было впереди: впереди были новые наваждения и новые утраты, новые надежды и новые удары судьбы... впереди было плавание португальцев, ведомых богиней любви Венерой, в Индию... Впереди были века славы и бессмертия, которое даруется великим поэтам.

С. ЕРЕМИНА

Элегия

Дону Антонио де Норонья[1] *от автора, находящегося в Африке.*

Когда безумно юношу любя,
Богинь царицу нимфа рассердила,
Хоть он любил лишь одного себя,
Юнона в камень деву превратила.
И только голос был оставлен ей
От прежнего — того, что девой было.
Так мне во дни страданий и скорбей
От сущности моей первоначальной
Осталась только эта песнь — и в ней
Итог раздумий, в ней рассказ прощальный
Того, кому в горчайшей из разлук
Амур оставил жизни дар печальный,
Чтобы о счастье прошлом среди мук
Он вспоминал и на краю могилы.
Для вас, сеньор, краду я свой досуг
У горьких дней. Кому достало силы
Не умереть, но жить в тягчайший час,
Достанет сил и стих сложить унылый,
А если часто плох был мой рассказ,
Так ведь теперь сама тоска и горе
Диктуют эту песнь, а я для вас —
Я лишь толмач. Печально глядя в море,
По берегу печальному брожу,
А волны ропщут, ходят на просторе,
Как я, стремясь к иному рубежу,
И пенятся в своей бездонной яме.
Я словно зачарованный слежу,
Как суша отступает пред волнами,
Когда стихия гложет край земли.
Еще напор — и бурными ручьями
Из мелких ям — и здесь и там, вдали,
Расхлестываясь пеною соленой,
Тесня прибрежье, волны потекли.
Смотрю на эту битву изумленный,
Но расскажу ли, чем душа полна,
О чем грустит любовью уязвленный?

[1] Дон Антонио де Норонья — друг Камоэнса, сын графа де Линьярес; погиб под Сеутой в 1553 г.

Любовь, любовь! Увы, не даст она
Покончить с жизнью в страшный миг смятенья:
Лишь разных мест и зрелищ новизна
И новые края и впечатленья —
Вот то, что вновь мне силы придает.
И мне мила игра воображенья.
Тоска к вершине той меня ведет,
Где Геркулес под самым небосводом
Отторгнул Кальпе от родных высот,
Открыв дорогу средиземным водам,
И путь означил к саду Гесперид,
Где умертвил дракона мимоходом[1].
Вот он, их сад, он в яблоках горит!
Я вспоминаю также об Антее:
Он не боялся никаких обид.
Земли коснувшись, был он всех сильнее.
И все же Геркулесом он сражен,—
Чтоб ослабел, лишась касанья Геи,
Героем был на воздух поднят он.
Но ни подсказ фантазии мгновенный,
Ни битвы, ни враги со всех сторон
Не зачеркнут в душе былые сцены
И упоенье давних, лучших дней,
Я знаю, миром правят перемены,
То времени закон для всех вещей,
И с Постоянством Время в вечной ссоре.
Я видел, как весна идет, и ей
Все радуется: и земля и море,
И солнце светит ярче и нежней,
И тысячи цветов в ее уборе.
А песни птиц торжественно звучат,
И, кажется, ликует все пространство,
И каждый камень их веселью рад.
Но я как воплощенье постоянства
Тоской отравлен, и в душе разлад,
И скучно мне весеннее убранство,
И мира переменчивость чужда.
Недаром травы засыхают в поле,
Когда иду неведомо куда.
Так суждено нам в нашей скорбной доле:
Для глаз, забывших радость навсегда,
И в радости — источник тайной боли.
Как нестерпим судьбы свирепый гнет!
Как больно ранит мук любовных жало!
Зачем такие кары Небо шлет
Сердцам влюбленным? Иль Терпенью мало,
Что знал я страх, что слышал пуль полет,
Что мне во всем Надежда изменяла?
Иль для того вели Любовь и Рок
Сквозь перемены дух незакаленный,
Чтоб изменяться больше он не мог,
Чтоб не забыл свои же слезы, стоны
И прошлых дней в нем образ не поблек?
А если бы привык терпеть уроны,
Чтоб даже горе лик меняло свой,
Ни в чем не оставаясь постоянным,

---

[1] Камоэнс поднимается на вершину горы Сеуты — одного из так называемых Геркулесовых столпов, скал, воздвигнутых якобы Гераклом-Геркулесом во время совершения своих подвигов. Противоположная Сеуте гора — современный Гибралтар — прежде именовалась Кальпе.

Отняв навеки у меня покой.
Я нежным успокоен был обманом,
Я в счастье верить мог еще порой,
И что же: новой боли, новым ранам
Фортуна обрекла меня опять.
Достаточно и сказанного мною,
Чтоб все, что не сказал я, досказать.
И если могут те, кто смел душою,
Души печальной исповедь понять,
Одною просьбой их обеспокою,
Одной лишь просьбой, и они должны
Исполнить: я прошу, чтоб сообщали
Мне новости родной моей страны.
Пишите мне, сеньор, как вы писали,
Тогда мои спокойней будут сны.
И если здесь я кончу дни в печали
И слабый дух прорвет свою тюрьму,—
Где катит Стикс безжизненные воды
Средь черных скал, не внемлющих ему,
Я, нелюбимый пасынок Природы,
Открою, что, к несчастью моему,
В глубинах сердца нес я через годы.
Где страх царит, где воздух мертв и дик,
Я расскажу, что в сердце мне запало,
Я воспою прекрасный, чистый лик,
И сам Орфей, чья лира так рыдала,
Когда подругу смертный час настиг,
Мне будет вторить, не стыдясь нимало.
И тени многославных стариков
Заслушаются, землю вспоминая.
От слез их выйдет Стикс из берегов.
Слезами бочку дочери Даная
Наполнят, и, страдающий давно,
Герой забудет муку, мне внимая[1].
Но если и разлуке не дано
Убить любовь, то и на смертном ложе
Ей смерти нет. Она с душой — одно.
И как душа, Любовь бессмертна тоже.

Сонеты

■ ■ ■

Кто любит — побуждаемый мечтой,
В предмет любви своей преобразится.
Так мне — чего желать, к чему стремиться?
Оно во мне — желаемое мной.

Мой дух, как предначертано судьбой,
Сумел с любимым воедино слиться,
И тело не взыскует, не томится,
Когда душа — в гармонии с собой.

---

[1] Камоэнс имеет в виду героя греческой мифологии Салмонея, который пытался подражать Зевсу, имитируя гром грохотом котлов и лязгом колесницы, а молнии — светом факелов. В наказание был ввергнут в Аид.

Но та, кто в красоте необычайной,
Как атрибут с предметом, связью тайной
С моей душой навек сопряжена,

Во мне живет как чистая идея.
Я стал любовью, божеством владея,
Ей форма, как материи, нужна.

■ ■ ■

Наяды, обитательницы вод,
Поящих землю свежестью прохладной,
Вы видите, как праздный, безотрадный
Другой поток из глаз моих течет.

Дриады, страшен ваших стрел полет,
Они сверкнут — и пал олень громадный,
Вы видели глаза, чей беспощадный
Единый взгляд в сердца позором бьет.

Хотите видеть слезы горькой муки?
Оставьте ваши воды, ваши луки,
Идите, нимфы милые, сюда.

Здесь тусклы дни, и ночи здесь бессонны,
Но стрелы есть в глазах разящих донны,
В моих глазах — соленая вода.

Перевод В. ЛЕВИКА

■ ■ ■

Сеньора, в чем причина ваших чар?
Блеск этих кос, что сердце мне пленили,
Рожден в какой золотоносной жиле,
С какого прииска привезен в дар?

Зажечь во взгляде солнечный пожар,
Стать первой в знатности, уме и силе
Помог вам промысел небесный или
Медеи заколдованный отвар?

Из раковин каких добыть смогли вы
Сиянье этой россыпи жемчужной,
Чтобы улыбки расцветить свои?

Сеньора, знайте: раз вы так красивы,
Вам помнить о судьбе Нарцисса нужно
И обходить озера и ручьи.

■ ■ ■

Хоть время день за днем, за часом час
Свой суд вершит над славой и над властью,
Кладет конец уму, богатству, счастью,
Оплакивая жертвы всякий раз,

Хоть бег его поспешный многих спас,
Попавших в руки злу и безучастью,
Оно бессильно перед этой страстью —
Моя судьба зависит лишь от вас.

Мгновенья мчатся: день сменился ночью,
Веселый смех растаял в горьком плаче,
Гроза прошла — и вспыхнул небосклон.

Но каменному сердцу, средоточью
Моей надежды, скорби и удачи,
Неведом вечный времени закон.

■ ■ ■

Наяду — ту, чей образ сердцу люб,—
Я дремлющей застал в объятьях фавна,
Он сладостную дань взымал исправно,
На горе мне, с ее прекрасных губ,

И я спросил Венеру: почему б
Не запретить красотке своенравной
Беспутствовать столь дерзостно и явно,
Да с тем еще, кто так блудлив и груб;

Неужто впрямь забыта добродетель,
А стыд исчез, неужто, о богиня,
Так легок и изменчив норов твой

Что нимф прелестных — я тому свидетель —
Во власть уродам отдают отныне,
И нет любви, лишь случай есть слепой?

■ ■ ■

Быть запертым в позорную тюрьму —
Итог моих пороков и гордыни.
Смерть разрубила цепи, но поныне
Прикован я к несчастью моему.

Амур не примет агнца — потому
Я в жертву жизнь принес его святыне.
Судил мне рок скитаться на чужбине
И нищенскую в руки дал суму.

С тех пор, не веря радости обманной,
Считая наслаждение зазорным,
Живу я, крохи малые ценя,

Наученный звездой моей туманной,
Безглазой Смертью, Случаем притворным
Страшиться счастья пуще, чем огня.

Перевод ВЛАДИМИРА РЕЗНИЧЕНКО

■ ■ ■

То случай иль судьба — не все ль равно,—
Однажды Вечность в мир Добро послала
И, видимо, сама же пожелала
На мне проверить, что несет оно.

Но я у жизни в пасынках давно,
Уже надежды на Надежду мало.
Во всем, во всем Фортуна отказала,
И мне владеть желанным не дано.

Сменив обычай, землю, кров и стены,
Я втайне ждал счастливой перемены,
С доверьем сел в неверную ладью,

Но увидал по знаменьям небесным,
Что, соблазненный счастьем неизвестным,
Злосчастью в жертву отдал жизнь свою.

■ ■ ■

Дожди с небес, потоки с гор мутят
Речную глубь. В волнах не стало брода,
В лесах не стало лиственного свода,
Лишь ветры оголтелые свистят.

Сменил весну и лето зимний хлад,
Все унеслось в круговращенье года.
Сама на грани хаоса природа,
И умертвил гармонию разлад.

Лишь время точно свой блюдет порядок,
А мир... а в мире столько неполадок,
Как будто нас отверг Всевышний сам.

Все ясное, обычное, простое,
Все спуталось, и рухнули устои.
А жизни нет. Жизнь только снится нам.

Перевод ***В. ЛЕВИКА***

■

ИРВИН ШОУ

Богач, бедняк...

РОМАН

Перевод с английского ИДЫ БАСАВИНОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

1945 год

Мистер Доннелли, тренер школьной легкоатлетической команды, отпустил ребят раньше обычного, так как на площадку пришел отец Генри Фуллера и сообщил, что получил телеграмму из Вашингтона: брат Генри погиб на войне в Германии. Генри лучше всех в команде толкал ядро, и поэтому, выждав, пока Генри переоделся и ушел с отцом домой, мистер Доннелли свистком собрал команду и объявил, что все тоже могут расходиться — в знак уважения к Генри.

Рудольф Джордах (лучший результат в беге с барьерами на двести двадцать ярдов) прошел в душевую. Бегал он сегодня мало и даже не успел вспотеть, но дома у Джордахов вечно не хватало горячей воды, и он никогда не упускал возможности помыться в душе при гимнастическом зале.

Ребята в раздевалке говорили вполголоса и не валяли дурака как обычно. Смайли, капитан команды, встал на скамейку и заявил, что, если будет устроена панихида, им всем следует скинуться на венок. Пятьдесят центов с носа вполне хватит, сказал он. По лицам парней сразу было видно, кто может выложить пятьдесят центов, а кто — нет. Рудольф не мог, но постарался сделать вид, что может. Предложение Смайли с энтузиазмом поддержали те ребята, которых каждую осень родители возили в Нью-Йорк и там закупали им одежду на целый учебный год. Рудольф носил то, что продавалось здесь же, в Порт-Филипе, в универмаге Бернстайна. Тем не менее одет он был всегда аккуратно и со вкусом: рубашка с галстуком, кожаная куртка, под которую он поддевал свитер, коричневые брюки, оставшиеся от костюма (пиджак давно протерся на локтях, и Рудольф его больше не носил).

ИРВИН ШОУ — IRWIN SHAW (род. в 1913 г.).

Американский писатель — романист, новеллист, драматург. Окончил Бруклинский колледж. В поисках заработка сменил несколько профессий — был шофером, продавцом, учителем, играл в профессиональной футбольной команде, работал в Голливуде. В 1936 г. приобрел широкую известность своей антивоенной пьесой «Похороните мертвых» («Bury the Dead»).

И. Шоу — автор многих сборников рассказов, романов, пьес. Советским читателям хорошо знаком по переведенным на русский язык романам «Молодые львы», «Вечер в Византии» («ИЛ» № 9, 10, 1975), пьесам «Простые люди. Бруклинская идиллия», «Убийца» и рассказам, печатавшимся в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 2, 1967, № 5, 1969).

В этом номере начинается публикация в журнальном варианте романа И. Шоу «Богач, бедняк...» («Rich Man, Poor Man». New York, Doubleday, 1970).

Не задерживаясь, он быстро вышел из раздевалки. Ему не хотелось возвращаться домой ни с кем из ребят, потому что пришлось бы говорить о брате Генри Фуллера. Рудольф не особенно дружил с Генри: тот был туповат, как, впрочем, наверно, и положено быть толкателю ядра, и Рудольф не склонен был притворяться, выражая чрезмерное сочувствие.

Держа учебники под мышкой, он шагал по выщербленному тротуару. Стояла ранняя весна. День был ветреный, но не очень холодный. На многих деревьях уже распустились первые листочки, а еще голые ветви пестрели набухшими почками.

Школа располагалась на холме. Сверху Рудольф видел еще по-зимнему студеный Гудзон и шпили городских церквей, а чуть подальше, в южной части города, высилась труба завода «Кирпич и черепица Бойлана», где работала сестра Рудольфа, Гретхен. Вдоль реки тянулись рельсы железной дороги «Нью-Йорк Сентрал». Порт-Филип имел весьма непривлекательный вид, хотя когда-то был красивым городком, где большие белые дома в колониальном стиле перемежались с массивными викторианскими каменными особняками. Промышленный бум двадцатых годов вызвал огромный приток рабочего люда в Порт-Филип, и город заполнили узкие, темные дома барачного типа. А затем разразившийся экономический кризис оставил без работы почти всех, построенные на скорую руку бараки опустели, и Порт-Филип, как недовольно говорила мать Рудольфа, превратился в сплошные трущобы. Это было не совсем так. В северной части города сохранилось много прекрасных больших домов и широких улиц.

С войной сюда вновь пришло процветание. Кирпичный и цементный заводы работали теперь на полную мощность, и даже закрытые до этого кожевенная и обувная фабрики начали выполнять армейские заказы. Но шла война, и люди не обращали внимания на внешний вид города — у них хватало других забот,— и, пожалуй, никогда Порт-Филип не выглядел таким запущенным, как сейчас.

«Найдется ли хоть один человек, готовый отдать жизнь ради того, чтобы защитить или, наоборот, захватить этот город, как отдал свою жизнь брат Генри Фуллера за безвестный городок в Германии?» — думал Рудольф, глядя сверху на залитое холодным солнцем беспорядочное скопление домов и улиц.

Втайне, хотя и без особой надежды, Рудольф рассчитывал, что война продлится еще года два: скоро ему исполнялось семнадцать, и через год он мог бы записаться в добровольцы. Он представлял себя лейтенантом с серебряными нашивками, под пулеметным огнем противника ведущим взвод в атаку. Жаль, упразднили кавалерию. Было бы здорово мчаться на коне и на всем скаку разить саблей презренного врага.

Конечно, дома он не осмеливался и заикнуться ни о чем подобном: стоило кому-нибудь в присутствии матери просто предположить, что война затянется и Рудольфа в конце концов заберут в армию, у нее тут же начиналась истерика.

Он, как всегда, сделал крюк, чтобы пройти мимо дома мисс Лено. Она преподавала у них в школе французский. Поглядел на ее окно и пошел дальше.

Он шагал по Бродвею, главной улице Порт-Филипа, тянувшейся вдоль реки и переходившей в автостраду Нью-Йорк — Олбани. Он мечтал завести собственную машину, вроде тех, что сейчас проносились по шоссе через весь город. Как только у него появится машина, он начнет каждую неделю ездить на выходные в Нью-Йорк. Пока он еще не очень-то представлял себе, какие у него могут быть дела в Нью-Йорке, но знал, что ездить туда будет.

Бродвей в Порт-Филипе представлял собой ничем не примечательную длинную улицу, по обе стороны которой рядом с довольно большими магазинами готового женского платья, дешевых ювелирных изделий и спорттоваров уживались маленькие мясные и продовольственные лавки. Рудольф, как обычно, остановился перед витриной армейского магазина, где были выставлены рабочие ботинки, брюки и рубашки из грубой хлопчатобумажной ткани, карманные фонарики, складные ножи, а также рыболовные принадлежности, и долго глазел на тонкие, изящные спиннинги с дорогими катушками. Он рыбачил на реке, а когда открывался сезон ловли форели, ходил и на ручьи, но его рыбацкое снаряжение было весьма скромным.

Пройдя через короткий переулок, он свернул на свою улицу. Вандерхоф шла параллельно Бродвею и словно пыталась соперничать с ним — с тем же успехом бедняк в поношенном костюме и стоптанных башмаках мог делать вид, будто разъезжает на «кадиллаке». Магазины здесь были маленькими, товары на витринах — серыми от пыли, точно владельцы сами понимали: протирай их, не протирай, все равно никому они не нужны. Многие витрины еще с начала тридцатых годов были заколочены досками.

Накануне войны на Вандерхоф меняли канализацию, и, прокладывая траншеи, строители вырубили тенистые деревья, росшие вдоль тротуара, а посадить вместо них новые никто так и не удосужился. Улица была длинной, и, чем ближе подходил Рудольф к своему дому, тем больше было вокруг убожества и нищеты.

Мать стояла за прилавком, как всегда зябко кутаясь в шаль. Их булочная была на углу, поэтому в ней было две витрины, и мать постоянно жаловалась на сквозняки. В витрине, выходившей на Вандерхоф, лежали пирожные и сладкие пироги. Раньше отец сам выпекал их в пекарне, занимавшей подвал под булочной, но с началом войны рассудил, что от этого больше хлопот, чем прибыли, и теперь каждое утро их доставляли сюда на грузовике с хлебопекарного завода, а Аксель Джордах ограничивался выпечкой хлеба и булочек. Пироги, пролежавшие на витрине три дня, Аксель забирал домой, и их съедала семья.

Войдя, Рудольф поцеловал мать, а она ласково потрепала его по щеке. Мать всегда выглядела усталой и постоянно щурилась, так как беспрерывно курила и дым попадал ей в глаза.

— Почему ты сегодня так рано? — спросила она.

— Сократили тренировку,— ответил он, но не объяснил почему.— Ты иди домой, я поработаю за тебя.

— Спасибо, Руди,— сказала мать.— Хороший ты мой.— И она поцеловала его. С ним она была очень ласковой. Ему хотелось, чтобы хоть изредка мать целовала его брата или сестру, но она никогда этого не делала. И он ни разу не видел, чтобы она поцеловала отца.— Я пойду приготовлю ужин.

Жили они в этом же доме, прямо над булочной, двумя этажами выше. Мать, склонив седеющую голову и шаркая ногами, как старуха, прошла мимо витрины. Рудольфу порой не верилось, что ей едва перевалило за сорок.

Джордахи ели на кухне. Семья собиралась вся вместе только за ужином: у Акселя из-за работы в пекарне был отличный от других распорядок дня. Сегодня мать приготовила тушеную баранину. Несмотря на карточную систему, у них всегда было вдоволь мяса: отец дружил с мясником, тоже немцем, и тот не спрашивал с него карточек.

Рудольфу было как-то неловко есть баранину с черного рынка в день, когда Генри Фуллер получил извещение о гибели брата. Но говорить с отцом о таких тонкостях не имело смысла, и Рудольф просто попросил положить ему поменьше мяса и побольше картошки с морковью.

Брат Рудольфа, Томас, единственный блондин в семье — мать уже давно нельзя было назвать блондинкой,— уплетал баранину с завидным аппетитом. Судя по всему, на душе у него было вполне спокойно. На год младше Рудольфа, он был таким же рослым, но гораздо шире в плечах. Старшая сестра Рудольфа, Гретхен, как всегда, ела мало — следила за фигурой. Мать вообще еле притрагивалась к еде. Отец, крупный мужчина, сидевший за столом без пиджака, ел непомерно много и то и дело вытирал тыльной стороной ладони густые черные усы.

Гретхен поднялась из-за стола, не дожидаясь десерта — вишневого пирога трехдневной давности. Она спешила в военный госпиталь на окраине города. Пять раз в неделю она дежурила там вечерами.

— Смотри не позволяй солдатам себя лапать. У нас мало комнат, и детскую устроить будет негде,— напутствовал ее отец своей всегдашней грубой шуткой.

— Па! — укоризненно сказала Гретхен.

— Уж я-то солдат знаю,— не унимался Аксель.— Так что гляди в оба.

Гретхен такая аккуратная, красивая, порядочная, подумал Рудольф. Ему было неприятно, что отец может ей такое говорить. Уж если на то пошло, она единственная в их семье хоть что-то делает для победы.

После ужина Томас тоже ушел. Он каждый вечер где-то пропадал. Томас никогда не готовил никаких уроков и в школе получал только плохие отметки. Ему было на всех наплевать.

Аксель Джордах прошел в гостиную почитать газету перед тем, как отправиться на ночь в подвал печь хлеб.

Рудольф остался помочь матери. Она мыла посуду, а он вытирал. «Если я когда-нибудь женюсь,— подумал он,— моей жене не придется мыть посуду».

Потом мать собралась гладить белье, а Рудольф поднялся в их с Томасом комнату и сел за уроки. Он твердо знал одно: только учеба может избавить его от необходимости есть на кухне, выслушивать грубости отца и вытирать посуду — и поэтому готовился к любым экзаменам лучше всех в классе.

II

«Может, стоит положить отраву в какую-нибудь булочку,— думал Аксель Джордах, вымешивая тесто.— Просто так, ради смеха. Проучить их. Один разок, сегодня. И посмотреть, кому достанется».

Он отхлебнул дешевого виски прямо из горлышка. К утру бутылка будет почти пустой. Руки его по самые локти были в муке, лицо тоже запорошила мука, потому что он поминутно вытирал ладонью потный лоб. «Клоун, да и только,— подумал он.— В самый раз в цирке работать».

Через окно, открытое навстречу мартовской ночи, в подвал лился влажный, свежий запах реки — запах Рейна,— но воздух был раскален от жара печи. «Я уже попал в ад,— подумалось ему.— Поддерживаю адский огонь, чтобы заработать себе на хлеб и чтобы испечь свой хлеб. Пеку булочки в геенне огненной».

Он подошел к окну и набрал в легкие воздуху. На широкой груди под мокрой от пота майкой напряглись сильные, разработанные с годами мышцы. Отсюда до Рейна четыре тысячи миль. Легендарная река, родная река Джордаха. Кёльнский собор стоит как прежде, а больше почти ничего не осталось. Аксель видел фотографии в газетах. Кёльн — родной дом, любимая отчизна... Руины, перепаханные бульдозерами, знакомое зловоние мертвецов, погребенных под обвалившимися стенами. Почему так случилось именно с этим прекрасным городом?!

Джордах задумался о своей молодости, потом плюнул в окно, в ту сторону, где текла эта, другая река. Где же она, невидимая германская армия? Сколько народу погибло? Он снова плюнул и облизал кончики поникших усов. Да здравствует Америка! Чтобы попасть сюда, ему пришлось убить человека. Еще раз глубоко вдохнув речной воздух, Аксель, прихрамывая, отошел от окна.

Кошка, лежавшая рядом с печью, смотрела на него. У кошки не было имени, об этом никто не позаботился. Ее держали в пекарне, чтобы она ловила мышей и крыс. Когда Акселю нужно было позвать ее, он просто говорил: «Кошка!» И кошка, наверное, думала, что ее так и зовут — Кошка. Ночь за ночью она непрестанно следила за ним. Раз в день кошка получала миску молока, а остальное пропитание должна была добывать сама. Кошка смотрела на Акселя так, что он был уверен: она мечтает стать громадной, как тигр, чтобы однажды прыгнуть на него и хоть раз наесться досыта. Он открыл нагревшуюся до нужной температуры духовку и, морщась от жара, ударившего в лицо, поставил первый за эту ночь противень с булочками.

III

Наверху в узкой комнате Рудольф, разделавшись с уроками, писал по-французски любовное письмо мисс Лено.

Закончив, он прочитал его, потом — первоначальный английский вариант. «...И наконец, я должен сказать Вам, дражайшая мадам, что когда я случайно встречаюсь с Вами в школьном коридоре или вижу, как Вы в одиночестве бредете по улице в своем голубом пальто, у меня возникает страстное желание отправиться в далекий мир, из которого Вы к нам прибыли, и перед моими глазами встает пленительное видение: мы с Вами гуляем под руку по бульварам Парижа, только что освобождённого отважными солдатами Вашего отечества и моей страны. Ваш покорный слуга Рудольф Джордах».

Он опять с удовольствием прочел французский перевод. Что и говорить. Хочешь выглядеть элегантным — пиши по-французски. Затем, не скрывая сожаления, порвал оба листка в мелкие клочки. Он знал, что, конечно же, не пошлет мисс Лено никакого письма. До сегодняшнего вечера он уже шесть раз писал ей, но потом рвал все письма, потому что она наверняка сочла бы его сумасшедшим и, чего доброго, нажаловалась бы директору школы. Ну и, кроме того, он, естественно, не хотел, чтобы отец, или мать, или Гретхен, или Том нашли в его комнате любовные письма — неважно на каком языке.

Рудольф встал из-за стола и взглянул на себя в маленькое неровное зеркало, висевшее над ветхим дубовым туалетным столиком. Он очень следил за своей внешностью и часто смотрелся в зеркало, отыскивая в своем лице черты человека, каким ему хотелось бы стать. Его прямые черные волосы всегда были зачесаны идеально гладко; время от времени он выщипывал редкий темный пушок на переносице. Чтобы было меньше прыщей, не ел сладкого. Приучал себя не хохотать во все горло, а лишь улыбаться, да и то не слишком часто. Был очень консервативен в выборе цвета одежды, упорно работал над походкой, стараясь держаться прямо и ходить не спеша, легким, скользящим шагом. Ногти он полировал, а раз в месяц сестра делала ему маникюр. Он избегал драк — ему вовсе не хотелось, чтобы его приятное лицо обезобразил переломанный нос, а длинные тонкие пальцы распухли в суставах. Чтобы держаться в форме, он занимался спортом. Когда хотелось полюбоваться природой и насладиться одиночеством, ходил на рыбалку и ловил на блесну, если кто-нибудь наблюдал за ним, а если вокруг никого не было — на простых червей.

«Ваш покорный слуга»,— сказал он по-французски, глядя на свое отражение в зеркале и стараясь выглядеть настоящим французом,— мисс Лено всегда выглядела истинной француженкой, обращаясь к классу по-французски.

Он сел за маленький желтый столик, служивший ему письменным столом, придвинул к себе лист бумаги и попытался мысленно представить мисс Лено. Она была высокой, с узкими бедрами, тонкими, стройными ногами и полной грудью, всегда торчавшей вперед, под прямым углом. Ходила на высоких каблуках, любила разные ленточки и щедро мазала губы. Вначале он нарисовал ее одетой. Лицо получилось не слишком похожим, и он добавил с боков по локону и заштриховал губы потемнее. Потом попробовал вообразить ее вообще без одежды. Нарисовал ее голой — мисс Лено сидела на высоком табурете и смотрелась в ручное зеркальце. Он порвал этот рисунок. Ему было стыдно за себя. Если бы кто-нибудь из родных узнал, о чем он думает и чем занимается...

Он начал раздеваться. Спальня матери была этажом ниже, и, чтобы мать не догадалась, что Рудольф еще не лег, он ходил по комнате в носках. Каждое утро ему приходилось вставать в пять часов и развозить на тележке, прицепленной к велосипеду, свежие булочки покупателям. И мать сетовала, что он не высыпается.

IV

На экране кинотеатра «Казино» Эррол Флинн убивал японцев направо и налево. Томас Джордах сидел в последнем ряду и жевал в темноте карамель из пакетика, который он выудил из автомата в фойе, опустив вместо монеты свинцовую плашку. По части изготовления таких плашек он был большой специалист.

— Подкинь-ка одну, старик,— попросил его Клод нарочито грубым голосом, каким гангстеры в кинофильмах просят новую обойму. Дядя Клода Тинкера был священником, и Клод, чтобы его из-за такого невыгодного родства не считали пай-мальчиком, старался произвести впечатление тертого парня. Том щелчком подбросил карамель в воздух. Клод поймал ее и начал громко чавкать. Ребята сидели развалившись и положив ноги на спинки передних свободных кресел. Как всегда, они проникли в кино через окошко расположенного в подвале мужского туалета — решетку на окне они сорвали еще в прошлом году.

Тому надоело смотреть фильм. Глядя, как Эррол Флинн с помощью различных видов оружия в одиночку уничтожает целый взвод японцев, он буркнул:

— Фонус болонус.

— На каком это языке вы говорите, профессор? — начал их обычную игру Клод.

— На латыни,— ответил Том.— В переводе это означает — дерьмо.

— Какое глубокое знание иностранных языков! — покачал головой Клод.

— Глянь-ка вон туда,— сказал Том.— Видишь того солдата с девчонкой?

Через несколько рядов от них сидел в обнимку с девушкой какой-то солдат. Народу в кинотеатре было мало, и места вокруг парочки пустовали. Клод нахмурился.

— Он слишком здоровый. Посмотри, какая у него шея.

— Генерал, мы атакуем на заре,— торжественно произнес Том.

— Загремишь в больницу,— предупредил Клод.

— Хочешь на спор? — Том снял ноги со спинки кресла, встал и двинулся по проходу между рядами. Ноги в кедах бесшумно шагали по ветхому ковру, покрывавшему

пол «Казино». Клод, долговязый парень с худыми руками-палками, острой беличьей мордочкой, длинным носом и мягкими влажными губами, неуверенно пошел следом. Он был близорук, и очки отнюдь не украшали его. Хитрый интриган, всегда действовавший исподтишка, он умел выходить сухим из воды, не уступая в изворотливости ловким адвокатам крупных корпораций. Он неизменно был одет в темный костюм с темным галстуком. Легкая сутулость придавала ему сходство с литератором, двигался он как-то виновато, неловко волоча ноги, и вообще производил впечатление обыкновенного тихони. Его недюжинная изобретательность в основном проявлялась в хулиганских затеях. Отец Клода работал главным бухгалтером на заводе «Кирпич и черепица Бойлана», а мать, кончившая женский колледж Святой Анны, возглавляла общественную комиссию, призванную содействовать набору в армию. Положение родителей, наличие дяди-священника плюс собственная безобидная и слегка отталкивающая внешность позволяли Клоду безнаказанно осуществлять его каверзные замыслы.

Том сел позади девушки, а Клод — позади солдата. У солдата была маленькая голова, но при этом он был высоким, широкоплечим, и его пилотка загораживала Клоду пол-экрана — приходилось вертеть шеей, чтобы хоть как-то следить за фильмом.

— Говорю тебе, он очень здоровый,— прошептал Клод.— Небось фунтов сто семьдесят весит, не меньше.

— Не дрейфь,— тоже шепотом ответил Том.— Начинай.— Голос его звучал уверенно, но он чувствовал, как у него подрагивают кончики пальцев и покалывает под мышками. Эти признаки сомнения и страха были ему знакомы и придавали еще большую остроту предвкушению удовольствия от конечной жестокой победы.— Ну, давай. Не сидеть же нам здесь всю ночь,— сердито прошептал он.

— Как скажешь. Ты командир,— ответил Клод и, подавшись вперед, постучал солдата по плечу: — Извините, сержант. Не будете ли вы так любезны снять пилотку? Мне ничего не видно.

— Я не сержант,— не оборачиваясь и не снимая пилотки, ответил солдат и продолжал тискать свою девчонку.

С минуту ребята сидели молча. Они так давно отработали в деталях свою провокационную тактику, что не было необходимости подавать друг другу какие-либо знаки. Затем Том в свою очередь похлопал солдата по плечу:

— Мой друг вполне вежливо попросил вас снять пилотку. Вы мешаете ему смотреть фильм. Если вы не снимете пилотку, мы будем вынуждены позвать администратора.

— Вокруг полно свободных мест. Если твой друг хочет смотреть кино — пусть пересядет,— раздраженно ерзая в кресле, ответил солдат.

— Заводится,— шепнул Том.— Жми дальше.

Клод снова дотронулся до плеча солдата:

— У меня редкая глазная болезнь. Я вижу только отсюда. Если я пересяду, у меня перед глазами все поплывет и я не отличу Эррола Флинна от Лоретты Янг.

— Сходи к окулисту,— посоветовал солдат. Девушка расхохоталась. Солдат тоже заржал, довольный своим остроумием.

— Нехорошо смеяться над чужим несчастьем,— возмутился Том.

— Особенно сейчас, когда идет война и вокруг столько героев-инвалидов,— подхватил Клод.

— Какой же вы после этого американец? — В голосе Тома зазвенели патриотические нотки.— Я вас спрашиваю: какой вы после этого американец?

— А ну валите отсюда, ребята,— обернулась к ним девушка.

— Должен вас предупредить, сэр, вы будете лично отвечать за слова вашей приятельницы,— сказал Том.

— Не обращай на них внимания, Анджела,— высоким тенором сказал солдат.

Некоторое время ребята молчали, потом Том пискливо крикнул, изображая японца:

— Моряк, сегодня вечером твоя умирай! Американский собака, сегодня вечером моя отрежет тебе...

— Попридержи свой паршивый язык,— повернул к нему голову солдат.

— Готов поспорить, он храбрее Эррола Флинна,— не унимался Том.— У него дома целый ящик медалей, но он их не носит из скромности.

Солдат разозлился по-настоящему:

— Заткнетесь вы наконец или нет? Мы пришли смотреть кино.

— А мы — потискаться.— И Том нежно потрепал Клода по щеке.

— Обними меня покрепче, дорогой,— простонал Клод.— Я вся горю!

— Ну, хватит! — взорвался солдат.— Убирайтесь отсюда!

Несколько человек в зале обернулись и зашикали.

— Мы заплатили деньги за эти места и никуда не уйдем,— заявил Том.

— Это мы еще посмотрим. Я позову билетера.— Солдат встал. Ростом он был около шести футов.

— Сядь, Сидней. Наплюй на этих сопляков,— сказала девушка.

— Я уже говорил тебе, Сидней, ты лично ответишь за слова своей приятельницы. Предупреждаю в последний раз,— сказал Том.

— Билетер! — на весь зал крикнул солдат, повернувшись лицом к последнему ряду, где под светящейся надписью «Выход» одиноко дремал человек в потертой форме с позументами.

— Ш-ш-ш,— послышалось со всех сторон.

— Вот это настоящий солдат! — заметил Клод.— Он уже зовет подкрепление.

— Что здесь происходит? — подходя к ним, спросил билетер, человек лет сорока с усталым, изможденным лицом. Днем он работал на мебельной фабрике, а вечерами в «Казино».

— Выведите их отсюда,— потребовал солдат.— Они ругаются в присутствии женщины.

— Я только попросил его снять пилотку, верно ведь, Том? — сказал Клод.

— Совершенно верно,— подтвердил тот.— Простая вежливая просьба. У него редкая глазная болезнь.

— Чего, чего? — озадаченно переспросил билетер.

— Если вы сейчас же не выведете их отсюда, будут неприятности,— пригрозил солдат.

— А почему бы вам, ребята, не пересесть на другое место? — спросил билетер.

— У нас свободная страна,— заявил Том.— Платишь деньги и садишься где хочешь. Он думает, он кто? Адольф Гитлер? Тоже мне шишка! Напялил военную форму и задается! Держу пари, он ни одного японца и в глаза не видел. А теперь приперся сюда и подает плохой пример американской молодежи — у всех на виду трахает девушек. А еще в форме!

— Если вы сейчас же их не выведете, я их измордую,— глухо произнес солдат, сжимая кулаки.

— Ты оскорбил человека, я слышал собственными ушами,— сказал билетер Тому.— В нашем кинотеатре это не пройдет. Убирайся!

Теперь уже возмущался почти весь зал. Билетер нагнулся и схватил Тома за рукав. Почувствовав его сильную руку, Том понял — с этим человеком связываться не стоит. Он встал.

— Идем, Клод,— и, обращаясь к билетеру, добавил: — Хорошо, мистер, мы уйдем. Мы не хотим скандала. Но вначале верните нам деньги за билеты.

— И не надейтесь.

— Я знаю свои права,— снова усаживаясь на место, заявил Том и, заглушая пушечную стрельбу на экране, звонко крикнул на весь кинотеатр: — Ну, давай, бей меня, скотина!

— Ладно, ладно,— вздохнул билетер,— отдам я вам ваши деньги, только катитесь отсюда поскорее.

Ребята поднялись. Том с улыбкой посмотрел на солдата:

— Я тебя предупреждал. Буду ждать на улице.

— Иди скажи своей мамочке, пусть сменит тебе пеленки,— ответил солдат, тяжело опускаясь в кресло.

В фойе билетер из собственного кармана выдал каждому по тридцать пять центов и взял с ребят расписки, чтобы потом предъявить их владельцу кинотеатра. Том подписался фамилией учителя алгебры, а Клод — фамилией президента банка, с которым имел дело его отец.

— И чтобы я вас больше здесь не видел! — пригрозил билетер.

— Это общественное место,— сказал Клод.— Только попробуйте не пустить! Будете иметь дело с моим отцом.

— А кто твой отец? — с беспокойством спросил билетер.

— Придет время — узнаете,— угрожающе ответил Клод.

Ребята торжественным шагом вышли из фойе. На улице они хлопнули друг друга по спине и разразились громким хохотом. До конца картины оставалось полчаса. Они зашли в соседнюю закусочную и на деньги, выданные им билетером, заказали по куску пирога и по чашке кофе. Радио за стойкой было включено, и комментатор говорил о вероятном решении верховного немецкого командования отвести войска к Альпам, чтобы стоять там насмерть.

Том слушал радио, недовольно скривив по-детски круглое лицо. Он ничего не имел против войны, как таковой, но его тошнило от всех этих идиотских разглагольствований о самопожертвовании, идеалах и «наших храбрых ребятах».

— Эй, красотка,— окликнул он официантку, сидевшую за стойкой и полировавшую ногти,— вы не могли бы завести какую-нибудь музычку? — Он был по горло сыт патриотизмом, которым его пичкали дома Рудольф и Гретхен.

— Разве вас не интересует, кто победит в этой войне? — лениво взглянув на ребят, спросила официантка.

— А у нас белые билеты. Редкая глазная болезнь,— ответил Том, и они с Клодом снова разразились громким смехом.

Когда сеанс окончился, они уже поджидали у дверей кинотеатра. Зрители начали выходить. Том сохранял самообладание и стоял совершенно неподвижно. А Клод с потным и побледневшим от возбуждения лицом нервно расхаживал по тротуару.

— Ты уверен? Ты абсолютно уверен? — то и дело спрашивал он Тома.— Уж слишком этот гад здоровенный. Я хочу, чтобы ты был абсолютно в себе уверен.

— За меня не беспокойся,— сказал Том.— Главное, держи толпу на расстоянии. Мне нужно место, чтобы развернуться.— И, прищурившись, добавил: — А вот и он.

Солдату на вид было года двадцать два — двадцать три. Лицо рыхлое, угрюмое. Он был полноват для своих лет, и гимнастерка слегка оттопыривалась на преждевременно появившемся брюшке. Тем не менее он производил впечатление крепкого парня. Том загородил ему дорогу.

— Это опять ты,— раздраженно буркнул солдат. На секунду остановился, затем, толкнув Тома грудью, двинулся дальше.

— А ты не толкайся,— хватая его за рукав, сказал Том.— Все равно тебе не уйти.

Солдат изумленно замер и смерил его взглядом. Том был по крайней мере дюйма на три ниже его, этакий белокурый ангелочек в старом синем свитере и кедах.

— А ты для своего роста бойкий малыш,— заметил солдат.— Ладно, не путайся под ногами.— И он отстранил его рукой.

— Кто ты такой, чтобы толкаться, Сидней? — Том резко пихнул его ладонью в грудь. Вокруг начал собираться народ. Солдат покраснел от злости:

— Убери руки, малыш, а то сделаю тебе больно.

— Чего это ты, мальчик? — удивилась девушка. Перед выходом из кинотеатра она успела снова накрасить губы, но на подбородке у нее оставались размазанные красные пятна. Любопытство обступивших их людей было ей неприятно.— Если ты решил пошутить, то это вовсе не смешно.

— Это не шутка, Анджела,— ответил Том.— Я требую, чтобы он извинился.

— Извинился? За что? — недоуменно спросил солдат, обращаясь к собравшейся толпе.— Эти парни, наверно, с приветом.

— Или ты извинишься за то, что твоя девушка сказала нам в кино, или пеняй на себя,— твердо сказал Том.

— Пошли, Анджела, мы собирались выпить пива.— Солдат повернулся, чтобы уйти, но Том вцепился ему в рукав и с силой дернул. Послышался треск лопнувшей по шву ткани.

— Ах ты гаденыш, ты порвал мне гимнастерку,— взвился солдат.— Ну, это тебе даром не пройдет.— Он размахнулся, но Том отскочил, и удар пришелся ему в левое плечо.

— О-о,— громко застонал он, схватившись за плечо и согнувшись пополам, точно от невыносимой боли.

— Вы видели? — повернулся Клод к толпе.— Вы видели, как этот человек ударил моего друга?

— Послушай, парень,— обратился к солдату седой человек в плаще.— Не смей его бить, он же еще совсем ребенок.

— Да я его просто легонько шлепнул,— начал виновато оправдываться солдат.— Он пристает ко мне уже целый...

Том неожиданно выпрямился и снизу ударил солдата кулаком в челюсть, но слишком сильно, чтобы не отбить у него охоту к драке. Теперь солдата уже ничего не могло остановить.

— Хорошо, малыш, ты сам напросился.— И он двинулся на Тома. Тот подался назад. Вместе с ним отступила толпа.

— Посторонитесь,— тоном рефери потребовал Клод.— Дайте людям место.

— Сидней,— пронзительно завизжала девушка,— ты убьешь его!

— Не волнуйся. Я его только чуть-чуть отшлепаю,— ответил солдат.— Научу уму-разуму.

Том извернулся и левой рукой нанес солдату короткий удар по голове, а правой с силой саданул в живот. Солдат крякнул, а Том отскочил назад.

— Отвратительно,— заметила какая-то женщина.— Здоровый мужик, а связался с ребенком. Нужно немедленно прекратить это безобразие.

— Ничего страшного,— сказал ее муж.— Он говорил, что шлепнет его пару раз, и все.

Солдат медленно замахнулся правой рукой, но Том поднырнул под нее и ударил в мягкий живот. От боли солдат согнулся, и Том тотчас заехал ему в лицо обоими кулаками. Сплевывая кровь и вяло размахивая руками, солдат попытался войти в клинч. Том снисходительно разрешил ему схватить себя, но тут же свободным правым кулаком сильно ударил его по почкам. Солдат пошатнулся, медленно опустился на одно колено и сквозь заливавшую глаза кровь невидящим взглядом уставился на Тома. Анджела плакала. Толпа молчала. Том отступил назад. Он даже не запыхался, только на щеках под нежным светлым пушком проступил легкий румянец.

— Боже мой,— прошептала женщина, та самая, что недавно призывала прекратить это безобразие,— ведь с виду он еще совсем дитя.

Драка заняла не более тридцати секунд.

— Концерт окончен,— объявил Клод, вытирая пот с лица.

Том большими шагами прошел сквозь расступившуюся перед ним толпу. Люди подавленно молчали, словно им хотелось найти в себе силы забыть противоестественное жестокое зрелище, которое они только что видели.

Клод догнал его на углу.

— Здорово! Вот это здорово! — восхищенно выдохнул он.— Сегодня ты действовал молниеносно. А комбинации! Боже, какие комбинации!

— «Сидней, ты убьешь его»,— подражая девушке, пропищал Том и фыркнул от удовольствия.— Жаль, он слишком быстро скис. Мне следовало подразнить его подольше. Он просто куча дерьма. В следующий раз давай выберем кого-нибудь, кто по-настоящему умеет драться.

— Здорово,— с восторгом повторил Клод.— Я получил истинное удовольствие. Вот бы поглядеть на его морду завтра. Когда ты собираешься это повторить?

— Когда будет настроение,— пожал плечами Том.— Ну пока, до завтра.— Ему захотелось побыть одному и мысленно снова пережить каждый свой удар в этой драке. Клод привык к неожиданным сменам настроения своего друга и относился к ним с уважением — за талант прощается многое.

— Ладно, пока. Завтра увидимся,— сказал он.

Том помахал ему на прощание и свернул за угол. До дома было далеко. Когда у Тома появлялось желание подраться, им приходилось из осторожности ходить в другую часть города: в своем районе его уже все хорошо знали и старались с ним не связываться.

Он легко шагал по темной улице, иногда пускался в пляс вокруг редких фонарей. Вот он им и показал! Показал! Он им еще не то покажет. Всем!

Выйдя на Вандерхоф-стрит, он увидел сестру, приближавшуюся к дому с другого конца улицы. Грехтен шла быстро, опустив голову, и не заметила его. Том нырнул в какой-то подъезд и притаился. Ему не хотелось с ней разговаривать. С тех пор как ему исполнилось восемь лет, она ни разу не сказала ему ничего приятного. Гретхен торопливо подошла к двери рядом с витриной булочной и достала из сумочки ключ. Пожалуй, стоит разок выследить ее и узнать, чем она на самом деле по вечерам занимается.

Выждав некоторое время, чтобы дать сестре возможность подняться в свою комнату, Том перешел улицу и остановился у старого, почерневшего от времени здания. Казалось, в доме никто не живет и его вот-вот снесут. Том сплюнул. Вся его веселость сразу пропала. В подвале, как всегда, горел свет — отец работал. Лицо Тома стало жестким, суровым. «Всю жизнь в подвале. Что они знают? Ничего!» — пронеслось у него в голове.

Осторожно ступая по скрипучей лестнице, Том неслышно поднялся на третий этаж. Он перестал бы уважать себя, если бы шумом выдал свое возвращение. Когда он уходит и когда приходит — это никого не касается. В особенности в такую ночь, как эта. Рукав свитера у него был измазан кровью, и ему не хотелось, чтобы кто-нибудь из родных обнаружил это и начал вопить.

Войдя в комнату, он тихонько прикрыл за собой дверь и услышал, как ровно дышит спящий крепким сном брат. Славный, правильный Рудольф, настоящий джентльмен, пахнущий зубной пастой, лучший ученик в классе и всеобщий любимчик. Он никогда не возвращается домой перепачканный кровью, он вовремя ложится, чтобы, хорошо выспавшись, на следующий день вежливо сказать в школе: «Доброе утро, мэм» — и не пропустить урок тригонометрии. Не зажигая света, Том быстро разделся, небрежно бросив одежду на спинку стула. Ему не хотелось бы отвечать на расспросы брата. Рудольф не был его союзником. Они стояли по разные стороны баррикад. Ну и наплевать!

Однако когда он лег в их общую двуспальную кровать, Рудольф проснулся.

— Где ты был? — спросил он сонно.

— В кино.

— Ну и как?

— Ерунда.

Братья лежали в темноте и молчали. Рудольф отодвинулся подальше от Тома. Он считал унизительным спать с братом в одной кровати. В комнате было прохладно, Рудольф всегда на ночь широко открывал окно. Уж кто-кто, а Рудольф обязательно делает все как положено. И спал он как положено — в пижаме. А Том — в одних трусах. По этому поводу у них раза два в неделю происходили споры.

Рудольф принюхался:

— Господи, от тебя пахнет, как от лесной зверюги. Что ты делал?

— Ничего,— ответил Том.— Не моя вина, если от меня так пахнет.

Не будь он моим братом, подумал он, я бы живого места на нем не оставил... Зверюга?! Ну что ж, раз они так о нем думают, он и будет зверюгой.

Том закрыл глаза и попытался представить себе, как солдат стоит на одном колене, а по лицу его течет кровь. Он видел эту картину совершенно отчетливо, но удовольствия уже не получал.

Его начала бить дрожь. В комнате было холодно, но дрожал он вовсе не поэтому.

V

Гретхен сидела перед маленьким зеркалом, которое поставила на свой туалетный столик, оперев о стену. На самом деле это был просто старый кухонный стол, который она купила на дешевой распродаже за два доллара и перекрасила в розовый цвет. Несколько баночек с кремом, щетка для волос с серебряной ручкой, подаренная ей в день восемнадцатилетия, три маленьких флакончика с духами и маникюрный набор были аккуратно расставлены на чистом полотенце, постеленном вместо дорожки.

От матери Гретхен унаследовала очень белую кожу и синие с фиолетовым отливом глаза, а от отца — черные прямые волосы. Гретхен была красива. «Я в твоем возрасте была тоже красавицей»,— часто повторяла мать и всячески призывала Гретхен следить за собой, чтобы не «увять», как она говорила. Мать не читала ей нотации насчет того, как вести себя с мужчинами,— она верила в ее «добродетель» (это слово мать тоже любила повторять), но все же, пользуясь своим влиянием, заставляла носить просторные платья, скрывавшие фигуру. «Зачем напрашиваться на неприятности? Они сами не заставят себя ждать»,— говорила она.

Однажды мать призналась Гретхен, что в юности хотела стать монахиней. «После того, что случилось сегодня, я и сама бы, пожалуй, ушла в монастырь,— с горечью подумала Гретхен.— Если бы верила в бога».

Сегодня, как обычно сразу после работы, она поехала в госпиталь, где добровольно дежурила пять вечеров в неделю: разносила раненым книги и журналы, читала письма тем, у кого были повреждены глаза, и писала письма для тех, у кого не действовали руки. Работала бесплатно, но зато чувствовала, что приносит хоть какую-то пользу. Честно говоря, ей даже нравились эти дежурства. Раненые были послушными и благодарными, совсем как дети. В госпитале она не ловила на себе похотливые мужские взгляды и не отбивалась от назойливых домогательств, которые ей приходилось терпеть в течение всего рабочего дня на службе.

Конечно, многие сестры и сиделки вовсю крутили с докторами и легко раненными офицерами, но Гретхен с самого начала дала всем понять, что она не такая. Чтобы раз и навсегда оградить себя от приставаний, она попросила направлять ее на дежурство в переполненные палаты для рядовых, где практически невозможно было остаться с кем-либо наедине более чем на несколько секунд. Вообще с мужчинами Гретхен была приветливой и разговорчивой, но даже мысли не допускала о какой-то вольности с их стороны. Впрочем, иногда на вечеринках или по дороге домой после танцев она позволяла поцеловать себя, но неловкие прикосновения парней не вызывали в ней никаких эмоций, более того, казались ей бессмысленными, негигиеничными и даже смешными.

В школе никто из ребят не интересовал ее, и она презирала девчонок, сходивших с ума по футболистам и по парням с собственной машиной. Все это представлялось ей глупостью. Единственный мужчина, о котором она иногда думала как о возможном любовнике, был мистер Поллак, учитель английского языка, пожилой человек лет пятидесяти с взъерошенными седыми волосами, читавший в классе Шекспира тихим, проникновенным голосом. Его она еще как-то представляла себе в роли возлюбленного, ласкающего ее мягко и печально. Но он был женат и имел двух дочерей ее возраста.

Однако Гретхен не сомневалась: рано или поздно с ней должно произойти что-то необыкновенное и захватывающее — пусть не в этом году и не в этом городе, но обязательно произойдет.

В палатах тускло горели ночники. По распорядку раненые должны были спать. Как всегда, прежде чем уйти, Гретхен попрощалась с Толбетом Хьюзом. Его ранило в горло, и он не мог говорить. Толбет был самым молодым в палате, и Гретхен жалела его больше всех. Ей хотелось верить, что ее прикосновение, ее улыбка и пожелание спокойной ночи скрашивают ему долгие бессонные часы до рассвета. Выйдя из палаты и что-то мурлыча себе под нос, она начала наводить порядок в общей комнате, где обычно раненые читали, писали письма, играли в карты, в шашки и слушали пластинки. Она любила эти последние уютные минуты в конце дежурства, когда госпиталь спал и она оставалась совсем одна. Прожив всю жизнь в тесноте, здесь, в этой просторной бледно-зеленой комнате с удобными, мягкими креслами, Гретхен чувствовала себя хозяйкой элегантного дома, наводящей порядок после успешно прошедшего званого вечера. Закончив уборку, она собралась уходить, как вдруг в комнату, прихрамывая, вошел высокий негр в темно-бордовом халате, надетом поверх пижамы.

— Добрый вечер, мисс Джордах,— сказал он. Его звали Арнольд. Он лечился в госпитале уже давно, и Гретхен хорошо его знала. В отделении, где она работала, было всего два негра. Обычно они держались вместе, и сегодня она впервые увидела Арнольда без его приятеля. Гретхен относилась к раненым неграм особенно внимательно. Арнольда ранило во Франции. Осколки снаряда, попавшего в грузовик, который он вел, раздробили молодому негру ногу. Арнольд родился в Сент-Луисе, там же окончил среднюю школу. У него было одиннадцать братьев и сестер.

В госпитале все свободное время он читал — читал все, что попадалось под руку. Иногда Гретхен снабжала его книгами. Она сама много читала, и последние два года на ее литературные вкусы большое влияние оказывали католические увлечения мистера Поллака.

— Добрый вечер, Арнольд,— приветливо улыбнулась она.— Что-нибудь нужно?

— Нет, просто не могу заснуть. Увидел здесь свет и решил: пойду-ка поболтаю с нашей очаровательной девочкой, мисс Джордах,— он улыбнулся, сверкнув прекрасными белыми зубами. В отличие от других Арнольд всегда называл ее по фамилии, а не по имени. Он был очень черным и очень худым — халат висел на нем. Гретхен знала, что ему сделали не то две, не то три операции, чтобы спасти ногу, и ей казалось, она видит вокруг его губ страдальческие складки.

— А я уже как раз собралась выключить свет,— заметила она. Следующий автобус отправлялся в город через пятнадцать минут, и ей хотелось успеть на него.

Оттолкнувшись здоровой ногой, Арнольд подпрыгнул и сел на стол.

— Вы даже не представляете, какое удовольствие может получить человек, просто посмотрев вниз и увидев, что у него две ноги. Вы идите, мисс Джордах. Вас, наверное, ждет какой-нибудь симпатичный молодой парень, и я не хочу, чтобы он расстроился, если вы опоздаете.

— Меня никто не ждет, и я не спешу,— ответила Гретхен. Ей стало стыдно, что она хотела поскорее отделаться от него ради того, чтобы успеть на автобус.

Арнольд достал из кармана пачку сигарет и предложил ей.

— Спасибо, я не курю.

Он закурил, щурясь от дыма. Все его движения были уверенными и неторопливыми. До призыва в армию он играл в школьной футбольной команде, и даже сейчас в раненом солдате чувствовалась спортивная собранность.

— Почему бы вам не присесть, мисс Джордах,— предложил он, похлопав рукой по столу рядом с собой.— Вы, должно быть, очень устали — весь вечер на ногах.

— Пустяки,— ответила Гретхен.— На работе я целый день сижу.— Но все же села рядом с ним, чтобы показать, что она не спешит.

— У вас красивые ноги,— заметил Арнольд.

Гретхен скользнула взглядом по своим ногам и задержала глаза на скромных коричневых туфлях на низких каблуках.

— Вроде ничего,— согласилась она. Ей самой нравились ее ноги — стройные, не слишком длинные, с тонкой щиколоткой.

— Армия научила меня разбираться в ногах,— сказал Арнольд таким тоном, каким другой сказал бы: «В армии я научился чинить радиоприемники» или: «В армии я узнал, как обращаться с картами». В его голосе не прозвучало и намека на жалость к себе, и Гретхен прониклась еще бо́льшим состраданием к этому сдержанному, тихому парню.

— Все будет хорошо,— постаралась она утешить его.— Говорят, врачи сделали с вашей ногой чудеса.

— Еще бы,— хмыкнул он.— Только вряд ли старина Арнольд далеко уковыляет, выйдя отсюда.

— Сколько вам лет, Арнольд?

— Двадцать два. А вам?

— Девятнадцать.

— У нас обоих хороший возраст,— улыбнулся он.

— Да, если бы не война.

— О, я не жалуюсь.— Он затянулся.— Благодаря войне я уехал из Сент-Луиса, война сделала из меня мужчину.— В его голосе слышалась ирония.— Теперь я уже не глупый юнец, знаю правила взрослой игры. К тому же повидал новые места и познакомился с интересными людьми. Вы когда-нибудь были в Корнуолле? Это в Англии.

— Нет, не была.

— Кстати, Джордах — это американская фамилия?

— Нет, немецкая. Мой отец перебрался в Штаты из Германии. Во время первой мировой войны он служил в немецкой армии и тоже получил ранение в ногу.

— История хитрая штука, правда? — усмехнулся Арнольд.— Ну и что же, ваш отец нынче бегает вовсю?

— Он прихрамывает, но это не очень ему мешает,— осторожно ответила Гретхен.

— Да-а... Корнуолл...— Арнольд задумчиво покачивался на столе. Похоже, ему надоел разговор о войне и ранениях.— Я познакомился там с одной девушкой, и мы провели с ней вместе целых три месяца. Симпатичное, веселое и нежное создание, о такой мужчина может только мечтать. Она была замужем, но это ничего не меняло: ее муж с тридцать девятого года находился где-то в Африке, и, по-моему, она даже забыла, как он выглядит. Мы ходили с ней в бары, а когда я по воскресеньям получал увольнительную, она готовила мне дома ужин, а потом мы занимались любовью и были счастливы, как Адам и Ева. В Корнуолле я впервые почувствовал себя человеком.— Он замолчал, глядя в потолок, вероятно, вспоминал старый городок на берегу моря и веселую, симпатичную, нежную девушку.

Гретхен тоже молчала. Она всегда испытывала неловкость, когда в ее присутствии говорили об интимных вещах, и ее смущала собственная стыдливость, неспособ-

ность воспринимать секс, хотя бы в разговорах, как что-то само собою разумеющееся, а именно так воспринимали его многие знакомые ей девушки. Пытаясь объективно разобраться в себе, она догадывалась, что в ее скованности главным образом повинны отношения между ее родителями. Их спальня отделялась от ее комнаты только узким коридором. Не раз ее будили в пять часов утра шаги отца, возвращающегося из пекарни, затем слышался его хриплый, пропитой голос и жалобное отнекивание матери. Потом начиналась борьба, а наутро на лице матери застывала страдальческая маска побежденной мученицы.

А сегодня Гретхен впервые говорила об интимных вещах наедине с мужчиной и тем самым против собственной воли как бы становилась свидетельницей того, что ей бы хотелось изгнать из своих мыслей. Адам и Ева в раю. Два тела — белое и черное. Она старалась не думать об этом, но ничего не могла с собой поделать. И в откровенности парня было что-то многозначительное, намеренное; то были не просто полные тоски полночные воспоминания солдата, вернувшегося с войны на родину,— замирающий шепот скрывал какую-то цель. И почему-то Гретхен знала, что эта цель — она сама. Ей захотелось спрятаться, убежать.

— После ранения,— продолжал Арнольд,— я написал ей письмо, но ответа не получил. Кто знает, может, вернулся домой ее муж. С тех пор я не был близок ни с одной женщиной. Впервые мне разрешили выйти из госпиталя в город в прошлую субботу. Мы с Билли получили увольнительную на весь день. Но в здешних местах двум неграм нечего делать. Это, я вам скажу, не Корнуолл.— Он рассмеялся.— Угораздило же меня попасть сюда! Это, наверное, единственный в Штатах госпиталь, размещенный в городе, где нет ни одного цветного. Мы выпили по банке пива и сели на автобус до речной пристани. Кто-то сказал — там, мол, живет какая-то негритянская семья. Оказалось, никакая это не семья, а просто старый негр из Южной Каролины. Живет он совершенно один в доме на берегу реки. Мы угостили его пивом, наплели про нашу военную доблесть и пообещали в следующее увольнение приехать снова, на рыбалку. Ха, рыбалка!

— Я уверена,— сказала Гретхен, взглянув на часы,— что, когда вы выпишетесь из госпиталя и вернетесь домой, вам обязательно встретится красивая девушка, и вы снова будете счастливы.— Ее слова прозвучали натянуто, неискренне и фальшиво. Ей стало стыдно, но она понимала, что ей нужно уйти, и снова взглянула на часы.

— Уже очень поздно, Арнольд,— и хотела спрыгнуть со стола, но он остановил ее, взяв за руку.

— Еще вовсе не так поздно, мисс Джордах. Откровенно говоря, я давно ждал случая поговорить с вами наедине.

— Я опаздываю на автобус, Арнольд, я...

— Мы с Уилсоном много говорили о вас,— перебил он, не выпуская ее руку,— и решили на следующую субботу пригласить вас провести с нами день.

— Это очень мило с вашей стороны, но по субботам я ужасно занята.— Гретхен стоило огромных усилий говорить обычным голосом.

— Мы понимаем, в этом городе девушке не стоит показываться в компании двух цветных парней. Здесь к этому не привыкли. Тем более мы простые солдаты...

— Дело вовсе не в этом...

— Вы сядете на автобус в двенадцать тридцать и доедете до пристани. Мы приедем туда раньше, дадим старику пять долларов на бутылку и отправим его в кино, а сами приготовим отличный обед для нас троих. Дом этот стоит на самом берегу. Вокруг ни души, никто нос совать не будет. Прекрасно проведем время.

— Ну, мне пора домой, Арнольд,— громко сказала Грехтен. Она знала, что стыд не позволит ей закричать и позвать на помощь, но ей хотелось убедить Арнольда, что она способна на это.

— Вкусный обед, хорошая выпивка,— с улыбкой шептал Арнольд, продолжая держать ее за руку.

— Я сейчас закричу,— с трудом выдавила из себя Гретхен. Как он может?! Только что был такой вежливый, дружелюбный, и вдруг...

— Мы с Уилсоном очень высокого мнения о вас, мисс Джордах,— продолжал он.— С тех пор как я вас увидел, ни о ком другом уже и думать не могу. То же самое и Уилсон говорит.

— Вы оба сошли с ума. Да если я пожалуюсь полковнику, вас...— Гретхен хоте-

лось выдернуть руку, но она боялась: вдруг кто-нибудь войдет и увидит, как они возятся. Объяснение будет не из приятных.

— Как я сказал, мы очень высокого мнения о вас, мисс Джордах,— повторил Арнольд,— и готовы заплатить за это. У нас с Уилсоном скопилась приличная сумма: пока мы были на фронте, нам капало армейское жалованье, а кроме того, мне очень везло в игре в кости здесь, в госпитале. Восемьсот долларов! Подумайте, мисс Джордах. Восемьсот долларов за несколько часов, проведенных с нами на реке.— Он отпустил ее руку, быстро соскочил со стола и, прихрамывая, двинулся к двери, на полдороге остановился, обернулся и, взглянув на нее, добавил: — Не обязательно давать ответ прямо сейчас, мисс Джордах. До субботы еще целых два дня. У вас есть время подумать. Мы будем на пристани с одиннадцати часов утра и до самого вечера. Можете приезжать в любое время, когда освободитесь. Мы вас ждем.— Расправив плечи и стараясь не держаться за стену, он вышел из комнаты.

Несколько минут Гретхен сидела неподвижно, затем слезла со стола, подошла к выключателю и погасила свет на случай, если кто-нибудь вдруг войдет,— ей не хотелось, чтобы сейчас увидели ее лицо. Немного постояла, прислонившись к стене и прижав ладони ко рту, потом быстро прошла в раздевалку, переоделась и почти бегом понеслась на автобусную остановку.

VI

Мэри Джордах в засаленном зеленом сатиновом халате стоит у окна. Она курит, не замечая, как пепел сыплется ей на грудь. В приюте она была самой аккуратной и педантичной из воспитанниц, чистой и красивой, точно цветок в хрустальной вазе. Монахини знали, как приучать сирот к порядку и аккуратности. Но теперь она превратилась в неряху, растолстела, не следит ни за фигурой, ни за лицом; целыми днями ходит непричесанная, не заботится о том, как одета. Монахини внушили ей любовь к религии и церковным обрядам, но вот уже почти двадцать лет, как она не ходит в церковь. Когда у нее родилась Гретхен, ее первый ребенок, Мэри договорилась со священником о крестинах, но Аксель категорически отказался даже близко подойти к купели и запретил ей впредь жертвовать на церковь хоть цент. А ведь сам-то он по рождению католик.

Трое некрещеных и неверующих детей и богохульник-муж, ненавидящий церковь. Это ее тяжкий крест.

Она не знала своих родителей. Приют в Буффало заменил ей и мать и отца.

В приюте же ей дали фамилию — Пэйс. Мысленно она всегда называла себя Мэри Пэйс, а не Мэри Джордах или миссис Джордах. Когда она уходила из приюта, настоятельница сказала ей, что, возможно, ее мать — ирландка, но наверняка, конечно, никто этого не знает. Настоятельница наказала ей помнить, что в ее жилах течет кровь падшей женщины, и не поддаваться соблазнам. Ей тогда было всего шестнадцать лет — розоволицая, хрупкая девушка с великолепными золотистыми волосами. Когда у нее родилась дочь, она хотела назвать девочку Колиной — в память о своем ирландском происхождении. Но Аксель не любил ирландцев и сказал, что девочку будут звать Гретхен. Он сказал, что знавал в Гамбурге одну шлюху по имени Гретхен. Со времени их женитьбы прошел всего лишь год, но он уже тогда ненавидел ее.

С Джордахом она познакомилась на озере Буффало в ресторане, где работала официанткой. Ее туда направили из приюта. Ресторан принадлежал мистеру и миссис Мюллер, пожилой паре немецкого происхождения. Приют направил ее к Мюллерам, потому что они были добрыми людьми и регулярно ходили в церковь. Мюллеры хорошо к ней относились, поселили ее в комнате над своей квартирой и не разрешали никому из посетителей приставать к ней. Три раза в неделю хозяева отпускали ее в вечернюю школу. Она ведь не собиралась всю жизнь работать официанткой.

Аксель Джордах, крупный молчаливый молодой человек, прихрамывавший на одну ногу, эмигрировал из Германии в двадцатом году и служил здесь матросом на озерных пароходах, а в зимнее время, когда озеро замерзало, работал у Мюллера поваром или пекарем: он научился готовить и печь в первую мировую войну, когда после ранения оказался негодным к строевой службе и его оставили работать поваром в госпитале во Франкфурте.

И вот из-за того, что в далекую войну какой-то парень, выйдя из госпиталя, почувствовал себя чужим в родной стране и решил искать счастья в Америке, она сейчас стоит у окна в убогой комнатушке над булочной, где день за днем жертвует собой,

постепенно расставаясь с молодостью, красотой и надеждами. И конца такой жизни не видно.

Когда они познакомились, Аксель почти не говорил по-английски и заходил в ресторан Мюллеров, чтобы хоть немного поболтать на родном языке. С ней он был вежливым, не позволял никаких вольностей и даже не пытался взять ее за руку. В дни между рейсами он провожал ее в школу и обратно домой. Как-то он попросил ее учить его языку и уже до женитьбы стал великолепно говорить по-английски. Вокруг удивлялись, узнавая, что он родился и вырос в Германии. Бесспорно, Аксель был умным человеком, но свой интеллект он использовал, чтобы мучить ее, себя и окружавших его людей.

До того как сделать предложение, он ни разу не поцеловал ее. В то время ей уже было девятнадцать — столько же, сколько сейчас Гретхен. Аксель всегда был к ней внимателен, всегда чисто вымыт и тщательно побрит. Возвращаясь из рейсов, неизменно приносил ей маленькие подарки — конфеты, цветы.

Целых два года он ухаживал за ней и лишь на третий сделал предложение. Не решался раньше, боясь отказа: все-таки он иностранец и к тому же хромой, объяснил он. Как, должно быть, он смеялся в душе, увидев на ее глазах слезы, вызванные его скромностью и неуверенностью в себе. О, это был настоящий сатана с коварными, далеко идущими замыслами!

Она согласилась выйти за него замуж. Может быть, ей даже казалось, что она любит его. Аксель был довольно привлекательным молодым человеком: черные, как у индейца, волосы, серьезное, умное худое лицо, ясные карие глаза, которые при виде ее становились мягкими и заботливыми. Поначалу он дотрагивался до нее с такой осторожностью, словно она была фарфоровой. Когда она сообщила ему, что «родилась вне закона», Аксель сказал, что уже знает об этом от мистера Мюллера и это не имеет никакого значения — так даже лучше, потому что с ее стороны некому возражать против их женитьбы. У самого Акселя отец в пятнадцатом году погиб на русском фронте, а мать спустя год вторично вышла замуж и переселилась из Кёльна в Берлин. Младший брат, которого Аксель терпеть не мог, женился на богатой американке немецкого происхождения, приехавшей после войны в Берлин навестить родственников. Сейчас брат с женой жили в штате Огайо, но Аксель не поддерживал с ними никаких отношений. В общем, он был таким же одиноким, как и она.

Выходя за него замуж, Мэри поставила обязательные условия. Во-первых, он должен бросить свою нынешнюю работу — ей не нужен муж, который большую часть года проводит на пароходе, оставляя ее дома одну, и к тому же матрос — это все равно что чернорабочий. Во-вторых, они должны уехать из Буффало — здесь все знают, что она внебрачный ребенок и воспитывалась в сиротском приюте, а людей, посещавших ресторан, где она служила официанткой, встречаешь вообще на каждом шагу. И последнее условие — они должны венчаться в церкви.

Аксель согласился на все. Сатана, настоящий сатана в образе человеческом! У него было накоплено немного денег, и с помощью мистера Мюллера он связался с человеком, продававшим в Порт-Филипе булочную с пекарней. За две недели до свадьбы Джордах привез невесту осмотреть булочную, в которой ей придется провести всю жизнь, и заодно взглянуть на расположенную этажом выше квартиру, где ей будет суждено зачать троих детей. Свежевыкрашенный магазинчик с огромным зеленым навесом, защищавшим от майского солнца витрину с аккуратно разложенными пирожными и домашним печеньем, стоял на чисто выметенной торговой улице тихого района, протянувшегося до самой реки. Вокруг большие удобные дома с зелеными лужайками. Они с Акселем сидели на скамейке под деревом на берегу реки и глядели, как по голубой глади скользят парусные лодки. С белого экскурсионного пароходика, курсировавшего от Порт-Филипа до Нью-Йорка и обратно, доносились звуки вальса.

О чем только она не мечтала в тот яркий майский день на реке! Когда они здесь обоснуются, она отремонтирует булочную, повесит на окна занавески, поставит несколько столиков со свечами и будет подавать посетителям горячий шоколад, чай; со временем они купят соседний магазин — пока он пустовал — и откроют там маленький ресторан, но не для рабочих, как у Мюллеров, а для коммивояжеров и более состоятельной публики. Она уже видела, как ее муж в темном костюме и галстуке бабочкой проводит посетителей к столикам, официантки в накрахмаленных муслиновых фартуках спешат из кухни с тяжелыми подносами, а сама она сидит за кассой и, полу-

чая деньги, с улыбкой говорит: «Надеюсь, вам у нас понравилось?» А вечером после закрытия ресторана они с мужем сидят в кругу друзей за кофе с пирожными.

Откуда ей было знать, что этот район так обветшает, что люди, с которыми ей хотелось бы завязать приятельские отношения, будут гнушаться ее обществом, а тех, кто с удовольствием водил бы с ней дружбу, она будет считать ниже себя, что магазин, который она мечтала купить под ресторан, снесут и на его месте построят огромный гараж, и оттуда будет доноситься лязганье металла, что большие дома с окнами на реку превратятся в жалкие трущобы или тоже будут снесены, а их место займут свалки и скобяные мастерские.

Где они, столики с горячим шоколадом и пирожными, где свечи и занавески, где официантки? Ничего этого нет и не будет. Из года в год она по двенадцать часов в день простаивает за прилавком, продавая буханки грубого хлеба механикам в засаленных спецовках, неряшливо одетым домохозяйкам и грязным ребятишкам, чьи родители, напившись, субботними вечерами дерутся на улице.

Ее мученья начались с первой брачной ночи. Это произошло во второразрядной гостинице на Ниагарском водопаде. Все радужные надежды застенчивой розоволицей хрупкой девушки превратились в прах под скрип пружин старой гостиничной кровати. Беспомощно распростертая под тяжелым, грубым и не знавшим усталости телом, она поняла, что вынесла себе пожизненный приговор.

В конце первой недели медового месяца она написала записку, что кончает жизнь самоубийством. Потом порвала ее. Еще много раз она будет писать и рвать такие записки. Воспитанная монахинями в строгих правилах, она была стыдливой и робкой, мечтала о благородстве и нежности. Аксель же повзрослел, имея дело с проститутками, и, наверно, считал, что все женщины, заслуживающие того, чтобы на них женились, всегда лежат в супружеской постели, оцепенев от ужаса.

Спустя несколько месяцев Джордах наконец понял ее непреодолимое молчаливое отвращение. Это лишь разъярило его, и он стал еще агрессивнее. И вот уже двадцать лет он осаждает ее, безнадежно и с ненавистью, какую, наверно, испытывает полководец во главе великой армии, не сумевший взять приступом жалкий загородный домик.

Но ссорились они не поэтому. Скандалы были из-за денег. Чтобы выпросить у Акселя каких-нибудь десять долларов на новые туфли или, позднее, на приличное школьное платье для Гретхен, ей приходилось долгие месяцы пилить его и устраивать ему сцены. Он вечно попрекал ее куском хлеба. И она не знала, сколько денег у него на счету в банке. Он экономил на всем как одержимый. На его глазах разорилась вся Германия, и он знал, что то же самое может случиться с Америкой.

Когда Гретхен окончила среднюю школу, о поступлении в колледж не могло быть и речи, хотя, как и Рудольф, она всегда считалась лучшей ученицей в классе. Ей пришлось сразу поступить на работу и каждую пятницу половину жалованья отдавать отцу. В колледжах из порядочных девушек делают шлюх, сказал Аксель. А Мэри знала, что Гретхен выйдет замуж за первого мужчину, который сделает ей предложение, только бы поскорее сбежать от отца,— еще одна загубленная жизнь в этой бесконечной цепи.

Лишь когда дело касалось Рудольфа, Аксель не считался с расходами. Красивый, с хорошими манерами, учтивый и ласковый, Рудольф был надеждой семьи. Учителя восхищались им. В своем старшем сыне и Мэри и ее муж видели вознаграждение за все свои неудачи. У Рудольфа были способности к музыке, он играл в школьном оркестре на трубе. В конце прошлого года Аксель купил ему сверкающую золотом трубу. До этого Аксель никому в семье не делал подарков. Рудольф играл в клубе на танцах. Аксель дал ему взаймы тридцать пять долларов на смокинг — неслыханная щедрость с его стороны! — и разрешил оставлять себе все заработанные на вечерах деньги. «Не трать их. Они пригодятся тебе, когда поступишь в колледж»,— сказал он. С самого начала было негласно решено, что Рудольф будет учиться в колледже. Чего бы это ни стоило.

Она чувствует себя виноватой. Вся ее любовь сосредоточилась на старшем сыне. Но она так измучена, что у нее не хватает сил любить и двух других своих детей. Когда он рядом, она всякий раз старается погладить его, когда он спит, заходит к нему в комнату и целует его в лоб; вечерами, падая с ног от усталости, она стирает

и гладит его рубашки, чтобы все видели, какой он чистый и красивый. Она вырезает из школьной газеты заметки о его победах на спортивных состязаниях и аккуратно вклеивает табеля с его отметками в альбом, который держит на своем туалетном столике рядом с томиком «Унесенных ветром».

Ее младший сын Томас и ее дочь просто живут в одном доме с ней. А Рудольф — это ее плоть и кровь.

На Томаса она не возлагает никаких надежд. Уж больно у него насмешливое лицо. Хулиган, вечно затевает драки, в школе сплошные неприятности, дерзит, над всеми издевается и все делает по-своему, не считается ни с чем, приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, и никакие наказания на него не действуют. Где-нибудь, в каком-нибудь календаре день, когда ее сын Томас будет опозорен, уже отмечен кроваво-красной цифрой как некий жуткий праздник. И ничего тут не поделаешь. Не любит она его и не может ему ничем помочь.

Итак, семья спит, а мать стоит на распухших ногах у окна. Измученная бессонницей и изнурительным трудом, расплывшаяся, неряшливая, больная женщина, избегающая смотреть на себя в зеркало, регулярно решающая покончить жизнь самоубийством, седая в сорок два года, она курит сигарету за сигаретой, обсыпая пеплом засаленный халат.

Вдали гудит паровоз, солдат везут в далекие порты навстречу грохоту канонады. Слава богу, Рудольфу еще нет семнадцати. Она умрет с горя, если его заберут на войну.

Она закуривает последнюю сигарету, снимает халат и ложится в постель. Лежит и курит. На несколько часов она забудется сном. Но она знает, что немедленно проснется, едва на лестнице раздадутся тяжелые шаги мужа, провонявшего потом и виски за ночь работы в пекарне.

Глава 2

Часы на работе показывали без пяти двенадцать, но Гретхен продолжала печатать. Была суббота, и остальные девушки уже кончили и прихорашивались, собираясь уходить. Луэлла Девлин и Пат Хаузер пригласили Гретхен пойти с ними пообедать, но у нее сегодня не было настроения слушать их пустую болтовню. К сожалению, она уже почти все допечатала и ей незачем было задерживаться на работе.

Вот уже два дня Гретхен, сказавшись больной, не появлялась в госпитале. Сразу после работы она возвращалась домой и никуда не выходила. Она была слишком взвинчена, чтобы сидеть с книгой, и поэтому решила разобрать свой гардероб: стирала и без того идеально чистые блузки и в который раз утюжила безукоризненно отглаженные платья. Когда никакой работы уже не оставалось, мыла голову и укладывала волосы, делала маникюр, упорно предлагала сделать маникюр Руди, хотя всего неделю назад привела его ногти в порядок.

В пятницу она никак не могла уснуть и поздно вечером, когда все уже спали, спустилась в пекарню к отцу. Тот взглянул на нее с удивлением. Но промолчал. И ничего не сказал даже, когда она села на стул и поманила кошку: «Кис-кис». Кошка повернулась к ней спиной и ушла прочь: она знала, что от людей добра ждать нечего.

— Пап,— сказала Гретхен,— мне надо с тобой поговорить.

Джордах выжидающе молчал.

— На этой работе у меня нет никаких перспектив, меня никогда не повысят, и жалованье мне тоже не прибавят... К тому же после войны обязательно сократится производство, и меня могут просто уволить.

— Война еще не кончилась,— заметил Аксель,— и еще полно идиотов, ожидающих своей очереди на тот свет.

— Я подумала, может, мне лучше поехать в Нью-Йорк и поискать там хорошее место? Я — неплохой секретарь, а в нью-йоркских газетах полно объявлений с предложениями самой разной секретарской работы, за которую платят в два раза больше, чем я сейчас получаю.

— Нет,— отрезал Аксель.

— Почему?

— Потому что я сказал «нет».

— Пап, но ведь я смогу посылать домой гораздо больше денег...

— Нет,— не дослушав, повторил Джордах.— Когда тебе исполнится двадцать один год, можешь уезжать куда угодно, а сейчас тебе только девятнадцать и придется терпеть гостеприимство родительского дома еще два года. Улыбайся и терпи.— Он вынул пробку из бутылки, сделал большой глоток виски и нарочито грубо вытер губы тыльной стороной ладони, измазав лицо мукой.

— Я должна уехать из этого города,— настаивала Гретхен.

— Есть города и похуже,— сухо ответил Джордах.— Поговорим об этом через два года.

В пять минут первого Гретхен сложила в ящик стола аккуратно отпечатанные бумаги. Все служащие уже ушли. Она закрыла машинку чехлом, пошла в туалет и посмотрела на себя в зеркало. Лицо у нее горело. Она умылась холодной водой, затем достала из сумочки флакон, смочила духами палец и легонько прикоснулась к мочкам ушей.

Оказавшись на улице, она не сразу сообразила, что идет к автобусной станции. Шла медленно, то и дело останавливаясь перед витринами магазинов. Разумеется, она не собиралась ехать ни на какую пристань. Был день, ярко светило солнце, и все ночные фантазии остались позади. А впрочем, почему бы не проехаться по берегу? Потом можно будет где-нибудь сойти и подышать свежим воздухом.

За квартал до станции Гретхен увидела Томаса. Он стоял возле аптеки, окруженный ребятами довольно хулиганского вида. Они играли в расшибалочку, бросая об стенку монеты. Одна девушка, работавшая вместе с Гретхен, была в среду в кинотеатре «Казино» и видела драку Тома с солдатом. «Твой брат — это что-то жуткое,— говорила она потом Гретхен.— Такой маленький и такой злой. Прямо змея какая-то. Не хотела бы я иметь такого братца». Гретхен сказала Тому, что знает про драку. Вообще-то она и раньше не раз слышала о нем подобные истории. «Ты мерзкий тип»,— сказала она ему, но он только самодовольно ухмыльнулся.

Если бы Том заметил ее, она повернула бы обратно, но он был слишком увлечен игрой.

Гретхен вошла в здание станции и взглянула на часы. Без двадцати пяти час. Автобус наверняка ушел пять минут назад, и она, разумеется, не будет торчать здесь еще целых двадцать пять минут, дожидаясь следующего. Но оказалось, что автобус опаздывал и все еще стоял на остановке. Гретхен подошла к кассе.

— Один билет до пристани.

Автобус тронулся. За окном мелькали деревья, зеленеющие молодой листвой; проносились дома, поблескивала лента реки. Все казалось чисто вымытым, прекрасным и нереальным.

— Пристань,— объявил водитель.

Гретхен сошла и остановилась на обочине. Кругом ни души. Конечно же, она не пойдет в тот дом на берегу реки. Пускай стынет обед, а бутылки с виски так и стоят неоткупоренными. Пускай ее поклонники в ожидании бесцельно слоняются по берегу — откуда им знать, что предмет их желаний уже здесь, рядом, откуда им знать, что она затеяла всю эту рискованную игру, чтобы подразнить их! Ей хотелось смеяться, но она боялась нарушить мертвую тишину.

Как было бы восхитительно зайти в этой игре еще дальше! Пройти полпути по усыпанной гравием тропинке и, смеясь про себя, вернуться обратно. А еще лучше, сняв туфли и в одних чулках, неслышно ступая по прошлогодним листьям, пробраться через лес к реке и, спрятавшись за деревьями, посмотреть, как двое мужчин поджидают ту, что должна утолить их похоть. И затем, побывав на краю пропасти, спастись бегством, неслышно улизнуть обратно, чувствуя свое превосходство.

Гретхен перешла дорогу и уже собралась войти в лес, когда вдруг послышался шум быстро приближающейся машины. Она остановилась, делая вид, будто ждет автобус в Порт-Филип: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как она входит в лес,— тайна прежде всего!

Машина снизила скорость и затормозила. Гретхен даже не взглянула на нее. Она стояла, устремив взгляд в ту сторону, откуда должен был прийти автобус, хотя прекрасно знала, что его не будет еще по крайней мере полчаса.

— Добрый день, мисс Джордах,— раздался мужской голос. Гретхен почувствовала, как ее лицо заливает краска. «Чего это я краснею, как идиотка?» — про-

мелькнуло у нее в голове. В конце концов она имела полное право приехать сюда. Ведь никто не знает про тех двух парней, про обед, выпивку и восемьсот долларов. Она не сразу узнала мистера Бойлана, владельца кирпично-черепичного завода, носившего его имя. Он сидел в «бьюике» с откидным верхом. До этого Гретхен видела его всего раз или два, когда он приходил на завод. Стройный блондин, загорелый, чисто выбритый, с пушистыми светлыми бровями, ботинки начищены до блеска.

— Добрый день, мистер Бойлан,— ответила Гретхен, не двигаясь с места. Она не хотела подходить ближе, боясь, что он заметил, как она покраснела.

— Как вас сюда занесло? — В его голосе звучало уверенное превосходство. И в то же время он сказал это так, словно был изумлен, что симпатичная молодая девушка в туфлях на высоких каблуках совершенно одна стоит у самого леса.

— Сегодня такой чудесный день,— почти заикаясь, сказала Гретхен.— Я часто позволяю себе небольшие прогулки, когда рано освобождаюсь.

— Вы гуляете одна? — недоверчиво спросил он.

— Я люблю природу,— вымученно ответила Гретхен и, увидев, как он с улыбкой взглянул на ее туфли, безнадежно соврала: — Вот и сегодня неожиданно для себя села в автобус и приехала сюда. Теперь жду автобуса обратно в город.— В этот момент за ее спиной раздался шорох, и она в ужасе резко обернулась, уверенная, что солдатам надоело ждать и они решили встретить ее на остановке. Но это просто белка перебегала тропинку.

— Что случилось? — спросил Бойлан, озадаченный ее нервозностью.

— Мне показалось, змея ползет,— сказала Гретхен и с отчаянием подумала: «О боже, все пропало!»

— Для любительницы природы вы что-то слишком пугливы,— серьезно заметил Бойлан.

— Я боюсь только змей,— поспешно ответила Гретхен. Трудно было себе представить более глупый разговор.

— А вы знаете, ведь автобуса еще долго не будет,— взглянув на часы, сказал Бойлан.

— Это неважно,— широко улыбнулась Гретхен, точно ждать автобус у черта на куличках было ее излюбленным занятием в субботний день.— Здесь так хорошо, тихо.

— Разрешите задать вам один серьезный вопрос?

Начинается, подумала она. Сейчас он спросит, кого я здесь жду? И начала судорожно обдумывать, кого бы ей назвать. Брата? Подругу? Медсестру из госпиталя?.. Углубившись в мысли, она не расслышала его следующего вопроса.

— Простите, вы что-то сказали?

— Я спросил, вы уже обедали, мисс Джордах?

— Вообще-то я не голодна. Я...

— Тогда садитесь,— махнув рукой, пригласил Бойлан.— Я вас возьму с собой. Ужасно не люблю обедать один.— Он перегнулся через сиденье и открыл ей дверцу.

Послушно, точно ребенок, которому приказывают взрослые, Гретхен перешла дорогу и села в машину. Не будь он ее боссом и к тому же таким старым — ему было лет сорок, сорок пять,— она сумела бы как-нибудь отказаться. Теперь она жалела о несостоявшейся рискованной прогулке через лес, об утраченной возможности продолжить эту почти непристойную игру: быть может, солдаты увидели бы ее и бросились преследовать...

— Вы знаете ресторанчик «Постоялый двор»? — спросил Бойлан, включая зажигание.

— Я слышала о нем,— ответила Гретхен. Это был дорогой ресторан при маленькой гостинице на обрыве над рекой.

— Неплохое местечко,— заметил Бойлан.— Там можно выпить приличного вина.

Всю дорогу они ехали молча: он вел машину быстро, и сильный ветер мешал разговаривать. Временами Бойлан поглядывал на нее с легкой иронической улыбкой. Он явно не поверил ни одному ее слову. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: действительно, как она могла оказаться за тридевять земель от города, бессмысленно ожидая автобуса, прибывавшего не ранее чем через полчаса.

В давние времена, когда из Нью-Йорка в северные штаты ездили на дилижансах, гостиница «Постоялый двор» служила почтовой станцией. На лужайке перед красным с белой отделкой зданием стояло на подпорках огромное колесо старинного фургона

Гретхен наскоро причесалась, чувствуя себя неловко под взглядом Бойлана.

— Самое прекрасное зрелище, какое может увидеть мужчина в своей жизни,— это причесывающаяся девушка. Недаром, видимо, многие художники выбирали именно этот сюжет,— заметил он.

Гретхен не привыкла слышать подобные вещи. Никто из ребят в школе и никто из молодых людей, увивавшихся за ней на работе, не говорил так. И она сейчас даже не могла понять, нравится ей это или нет. Ей почему-то показалось, что Бойлан таким образом вторгается в ее личную жизнь. Она достала помаду, собираясь подкрасить губы, но Бойлан остановил ее.

— Не надо,— авторитетно заявил он.— И так достаточно. Более чем достаточно. Пошли.

С поразительным для своего возраста проворством он выскочил из машины, обошел кругом и открыл ей дверцу. «Вот это воспитание!» — машинально отметила про себя Гретхен, следуя за ним в гостиницу. На нем был пиджак из твида в едва заметную мелкую клеточку, серые брюки из тонкой шерстяной ткани, мягкая кашемировая рубашка, а вместо галстука шейный платок. Коричневые туфли или, вернее, как она узнала позже, ботинки для верховой езды начищены до блеска. Он ненастоящий, точно из какого-то журнала, подумала Гретхен. Почему я рядом с ним?

Ей казалось, что по сравнению с ним она одета безвкусно. Она чувствовала себя неуклюжей в темно-синем платье с короткими рукавами, которое сегодня утром так долго выбирала. Гретхен не сомневалась, что Бойлан уже жалеет о своем приглашении. Но он открыл для нее дверь и, слегка поддерживая ее за локоть, повел в бар, отделанный в стиле таверн восемнадцатого столетия: мореный дуб, а на стенах оловянные кружки и тарелки. В баре сидело всего две пары. Бойлан подвел Гретхен к стойке и помог сесть на высокий деревянный табурет. К ним тут же подошел негр-бармен в белоснежной накрахмаленной куртке, стерильно чистый, точно хирург перед операцией, и услужливо улыбнулся.

— Добрый день, мистер Бойлан. Что будет угодно, сэр?

— Дорогая, что вы будете пить? — повернулся к ней Бойлан.

— Все равно,— ответила Гретхен. Откуда ей было знать, что она будет пить, если крепче кока-колы она никогда еще ничего не пила. Она с ужасом ждала, когда принесут меню — оно наверняка на французском, а она в школе учила испанский и латынь. Латынь!

— Кстати, надеюсь, вам уже есть восемнадцать?

— Конечно,— ответила Гретхен, зардевшись. Ну почему она всегда так некстати краснеет? Слава богу, в баре было темно.

— Я не хочу, чтобы меня привлекли к суду за развращение несовершеннолетних,— улыбнулся Бойлан и обратился к бармену: — Бернард, приготовь для дамы что-нибудь сладкое. Пожалуй, лучше всего твой ни с чем не сравнимый бесподобный «Дайкири».

«Ни с чем не сравнимый, бесподобный»,— повторяла про себя Гретхен. Слова-то какие. Никто сейчас так не говорит. И возраст у нее не тот, и одета она не так, и намазана тоже не так — все это настроило ее враждебно. Наблюдая, как Бернард выжал лимон, а затем, смешав сок со льдом, начал ловко трясти шейкер в больших черных руках с розоватыми ладонями, она почему-то вспомнила слова Арнольда: «Адам и Ева в раю». Если бы мистер Бойлан хоть чуть-чуть догадывался... Он не стал бы снисходительно шутить о развращении несовершеннолетних.

Пенистый напиток был удивительно вкусным, и Гретхен выпила его залпом, как лимонад. Бойлан смотрел на нее, с театральным изумлением подняв брови.

— Бернард, повтори, пожалуйста,— сказал он и, когда бармен поставил перед ней второй «Дайкири», продолжил: — Могу я дать вам совет, детка? На вашем месте второй коктейль я бы пил помедленнее. Все-таки в нем ром.

— Я знаю,— с достоинством ответила она.— Просто мне очень хотелось пить. Я долго стояла на солнце.

— Понимаю, детка.

«Детка». Никто никогда не называл ее так. Ей нравилось это слово и манера Бойлана произносить его — спокойно, неназойливо.

Вскоре, держа в руках два меню, в бар вошел метрдотель и с легким поклоном сказал:

— Рад вас видеть, мистер Бойлан.

Все были рады видеть мистера Бойлана в его до блеска начищенных ботинках.

— Мне заказать и для вас? — спросил он.

Гретхен не раз видела в кино, что мужчины в ресторанах заказывают за своих дам. Но одно дело видеть это на экране, и совсем другое, когда такое же случается с тобой в жизни.

— Да, пожалуйста,— ответила она и с восторгом подумала: «Ну прямо как в романе».

Бойлан и метрдотель коротко, но очень серьезно обсудили меню, вина. Затем метрдотель ушел, сказав, что позовет их в зал, когда стол будет накрыт. Бойлан достал золотой портсигар и предложил ей сигарету. Гретхен отрицательно покачала головой.

— Вы не курите?

— Нет.— Она почувствовала, что не отвечает стандартам этого ресторана. И то, что она не курит, идет вразрез со всей ситуацией. Несколько раз она пробовала курить, но у нее тотчас начинался кашель и краснели глаза. Кроме того, ее мать курила сигарету за сигаретой, а Гретхен не желала ни в чем походить на мать.

— Вот и отлично,— сказал Бойлан, прикуривая от золотой зажигалки.— Мне не нравится, когда девушки курят. Сигареты убивают аромат юности.

«Словоблудие. Выпендривается»,— подумала Гретхен, но без раздражения: он явно старался произвести на нее впечатление, и это льстило ей. Нежиданно она ощутила запах своих духов и забеспокоилась, не покажется ли ему этот запах дешевым.

— Признаться, меня очень удивило, что вам известна моя фамилия. Я видела вас на заводе всего раз или два, и вы никогда не заходили в наш отдел.

— А я вас сразу заметил и никак не мог понять, что может делать девушка с вашей внешностью в таком паршивом заведении, как «Кирпич и черепица Бойлана».

— Ну, не так уж там плохо,— возразила Гретхен.

— Вот как? Рад слышать. А у меня сложилось впечатление, что все мои служащие ненавидят завод, и я взял за правило появляться там не чаще раза в месяц и то не дольше чем на пятнадцать минут. Этот завод действует мне на психику.

Появился метрдотель.

— Все готово, сэр,— сказал он.

Они пошли за ним через зал ресторана. Занято было всего восемь—десять столиков. Полковник в компании молодых офицеров, несколько пар в твидовых костюмах.

Пока они двигались через зал к своему столику у окна, разговор смолк. Она почувствовала взгляд молодых офицеров и поправила прическу. Жаль, что Бойлан такой старый.

Метрдотель принес бутылку красного французского вина, а немедленно появившийся официант поставил на стол первое блюдо. В «Постоялом дворе» явно не испытывали недостатка в рабочих руках.

Бойлан поднял за нее бокал, и они сделали по глотку. Вино было теплое и, как ей показалось, отдавало пылью. Но она была уверена, что со временем ей понравится этот привкус.

— Надеюсь, вы любите мякоть пальм? — спросил он.— Я привык к этому блюду, живя на Ямайке. Это было давно, еще до войны, конечно.

— Очень вкусно,— ответила Гретхен, хотя блюдо показалось ей совершенно безвкусным. Зато приятна была сама мысль, что ради того, чтобы подать ей крохотную порцию этого деликатеса, потребовалось срубить высокую пальму.

— После войны,— продолжал Бойлан, ковыряя вилкой в тарелке,— я собираюсь обосноваться на Ямайке. Буду круглый год загорать на белом песке. Когда наши парни вернутся с победой домой, жизнь в Штатах станет невыносимой. Там, где могут жить герои, неподходящее место для Теодора Бойлана. Непременно приезжайте навестить меня.

— Обязательно,— ответила Гретхен.— При моем жалованье на заводе Бойлана мне в самый раз прокатиться на Ямайку.

Он засмеялся:

— Наша семья больше всего гордится именно тем, что с тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года мы упорно недоплачиваем нашим служащим.

— Семья? — переспросила Гретхен. Насколько ей было известно, он был единственным Бойланом в Порт-Филипе. Все в городе знали, что он живет совершенно один (не считая слуг, конечно) в особняке за каменной оградой огромной усадьбы за городом.

— Мы — целая империя,— сказал Бойлан.— Наши славные владения простираются от Атлантики до Тихого океана, от поросшего соснами штата Мэн до пропахшей апельсинами Калифорнии. Кроме цементного и кирпичного заводов в Порт-Филипе существуют еще судостроительные верфи Бойлана, нефтяные компании Бойлана, заводы тяжелого машиностроения Бойлана. Они разбросаны по всей этой великой стране, и во главе каждого такого предприятия стоит Бойлан. Мои братья, дяди, кузены поставляют военные материалы любимой отчизне с прибылью для себя. Есть даже один генерал-майор Бойлан, который во имя нации наносит решительные удары по службе снабжения в Вашингтоне. Стоит в воздухе запахнуть долларом, как первым в очереди будет стоять какой-нибудь Бойлан.

Гретхен не привыкла, чтобы кто-нибудь так пренебрежительно отзывался о своих родственниках, и ее неодобрение, по-видимому, отразилось на ее лице.

— Я вас шокировал? — усмехнулся Бойлан.— Но я вовсе не такой плохой. У нашей семьи есть одно достоинство, и его я ценю безоговорочно. Мы богаты. О-очень, о-очень богаты,— засмеялся он.

— И все же,— сказала Гретхен, надеясь, что он не такой циничный, каким хочет казаться, и просто устроил представление, чтобы поразить легковерную девчонку,— и все же вы работаете, Бойланы много сделали для нашего города...

— О, это уж точно. Они из него всю кровь выпили. Не спорю, они питают к этому городу сентиментальные чувства. Порт-Филип — самое незначительное владение в нашей империи, не стоящее того, чтобы на него тратил время истинный, стопроцентный, энергичный отпрыск семейства Бойланов. Но тем не менее Бойланы держат Порт-Филип при себе. Ваш покорный слуга, последний по значению в семье, уполномочен жить в захудалом провинциальном родовом поместье, чтобы два раза в месяц, являя себя служащим завода, демонстрировать величие и могущество Бойланов. И я выполняю этот ритуал с должным уважением, а сам не дождусь, когда замолчат пушки, чтобы отбыть на Ямайку.

«Он не только своих родных, он и себя ненавидит!» — подумала Гретхен. Его быстрые светлые глаза мгновенно заметили перемену в ее лице.

— Я вам не нравлюсь? — спросил он.

— Да нет,— ответила она.— Просто вы не похожи ни на кого из моих знакомых.

— Лучше или хуже их?

— Не знаю...

Бойлан серьезно кивнул:

— В таком случае вопрос не снимается с повестки дня.

Они уже выпили бутылку вина, а до конца обеда еще было далеко. Метрдотель поставил перед ними вторую бутылку и чистые бокалы. Вино обожгло Гретхен горло, кровь бросилась в лицо. Разговоры в зале доносились до нее ритмичным, успокаивающим гулом, точно отдаленный прибой. Она вдруг почувствовала себя в ресторане как дома и громко рассмеялась.

— Почему вы смеетесь? — подозрительно спросил Бойлан.

— Потому что я здесь, а могла бы быть совсем в другом месте.

— Вы должны чаще пить,— заметил Бойлан, похлопав ее по руке своей твердой сухой ладонью.— Вам это идет. Вы очень красивая, детка, очень красивая.

— Мне тоже так кажется,— ответила Гретхен, и теперь уже рассмеялся Бойлан.— Сегодня,— смущенно поправилась она.

Когда официант подал кофе, Гретхен была уже совершенно пьяна. Поскольку никогда раньше с ней такого не случалось, она не понимала, в чем дело, и сознавала лишь, что все цвета стали ярче, река внизу синела кобальтом, а заходившее над далекими утесами солнце отливало ослепительным золотом. Мужчина, сидевший напротив, из незнакомца и ее хозяина превратился в самого лучшего, самого близкого друга. Его симпатичное загорелое лицо светилось искренним вниманием, прикосновения его теплой руки несли доброжелательность, его смех был заслуженной наградой ее остроумию. И она могла поделиться с ним всеми своими секретами, рассказать о самом сокровенном.

Она была намерена посвятить Тедди (когда принесли десерт, мистер Бойлан был для нее уже просто Тедди) в свою величайшую тайну, не известную ни одной живой душе: как только кончится война, она уедет в Нью-Йорк и станет актрисой. Она прочи-

тала ему монолог из «Как вам это понравится». Язык у нее слегка заплетался от коктейлей, вина и двух рюмок бенедиктина. Тедди почтительно поцеловал ей руку, и она приняла это как должное.

Согретая неослабевающим вниманием своего кавалера, она чувствовала себя блистательной, яркой, неотразимой. Она расстегнула две верхние пуговицы платья. Пусть видят, как она прекрасна. Впрочем, в ресторане действительно было безумно жарко. Она говорила о вещах, о которых не принято говорить, произносила вслух слова, которые до этого видела только написанными на заборах. Она достигла полной раскованности — привилегии аристократов.

— Я вообще не обращаю на них внимания,— ответила она на вопрос Бойлана о мужчинах, работающих с ней в конторе.— Провинциальные донжуаны. Сводят тебя в кино, угостят мороженым, а потом в машине лезут целоваться, лапают, сопят... Нет, это не для меня. У меня другие планы, я не спешу.

Она резко поднялась из-за стола:

— Спасибо за восхитительный обед.— И после паузы добавила: — Мне нужно в туалет.— Никогда раньше она не осмелилась бы сказать такое ни одному мужчине.

Тедди тоже встал.

— В холле первая дверь налево,— подсказал он. О, Тедди всегда все знает, он везде как дома.

Ощущая на себе взгляд его светлых умных глаз, Гретхен шла через зал намеренно медленно. У нее хорошая осанка — она знала это. У нее тонкая талия, точеная фигура и красивые ноги. Она все это знала и потому шла медленно — пусть Тедди видит и пусть запомнит.

В туалете, взглянув на себя в зеркало, она стерла с губ остатки губной помады. «У меня большой красивый рот,— сказала она своему отражению.— Почему же я, дура, крашусь, как старая галоша?!»

Когда она вышла, Бойлан уже расплатился и стоял у входа в бар, задумчиво глядя на нее.

— Я куплю тебе красное платье,— неожиданно сказал он.— Пронзительно красное. Чтобы подчеркнуть необыкновенный цвет твоего лица и смоль твоих волос. Когда ты будешь входить в ресторан, все мужчины будут падать перед тобой на колени.

Она рассмеялась: красное, ее цвет. Именно так должен вести себя с женщиной настоящий мужчина! Она взяла его под руку, и они пошли к машине.

На улице похолодало, и Бойлан опустил верх «бьюика». В машине было тепло и уютно. Они ехали медленно, рука Бойлана лежала на ее руке.

— А теперь скажи правду: что ты делала на автобусной остановке у пристани? — спросил он.

Гретхен хихикнула.

— Ты как-то нехорошо смеешься.

— А я была там с нехорошей целью,— игриво ответила она.

Какое-то время они ехали молча.

— Я жду,— сказал Тедди.

«А почему бы и нет?» — подумала Гретхен. В этот замечательный день можно было говорить обо всем. Они с Тедди выше банальной ханжеской стыдливости. И она начала рассказывать о том, что случилось в госпитале. Сначала неуверенно, запинаясь, затем все свободнее.

— Будь они белыми, я пожаловалась бы полковнику. Но тут...— Тедди понимающе кивнул, но промолчал и только прибавил скорость.— С того дня я ни разу не была в госпитале,— продолжала Гретхен.— Я умоляла отца отпустить меня в Нью-Йорк. Мне была невыносима сама мысль, что я останусь в одном городе с человеком, который предлагал мне такие вещи. Но отец... С ним невозможно спорить. К тому же я не могла объяснить ему истинную причину: он поехал бы в госпиталь и убил бы этих ребят голыми руками. А сегодня... Я вовсе не хотела идти на автовокзал. Ноги сами понесли меня туда помимо моей воли. Я, конечно, и не думала заходить в тот дом. Наверное, мне просто хотелось выяснить, там ли они и действительно ли есть мужчины, которые способны на такое... Конечно, может, я и прошла бы немного через лес. Возможно, даже дошла бы до самого дома. Просто так, из любопытства Я ведь ничем не рисковала. Если бы они и заметили меня, мне бы ничего не стоило убежать от них. Они на своих искалеченных ногах едва ходят...— Увлеченная своим рассказом, Гретхен сидела, глядя на туфли, и только когда машина затормозила, с удивлением увидела, что

они остановились возле автобусной остановки у той самой посыпанной гравием и ведущей к реке тропинки, где она стояла днем.— Это была просто игра, глупая, жестокая женская игра,— закончила она.

— Ты лжешь,— сказал Бойлан.

— Что? — ошеломленно переспросила она. В машине было ужасно жарко и душно.

— Ты меня слышала, детка. Ты лжешь,— повторил Бойлан.— Это не было игрой. Ты хотела пойти туда и лечь с ними в постель.

— Тедди,— задыхаясь, прошептала Гретхен,— пожалуйста, открой окно. Мне нечем дышать.

Бойлан перегнулся через нее и открыл ей дверь.

— Иди,— сказал он.— Иди, детка. Они еще там. Я уверен, тебе понравится, и ты запомнишь это на всю жизнь.

— Тедди, прошу тебя.— Все поплыло у нее перед глазами, а его голос то удалялся, то приближался.

— Насчет того, как потом добраться домой, не волнуйся. Я подожду тебя здесь. Мне все равно нечего делать. Ну, иди. Потом все расскажешь. Это будет очень интересно.

— Мне надо выйти,— выдохнула Гретхен. Ей казалось, она вот-вот задохнется. Голова была тяжелой и словно распухшей. С трудом выйдя из машины, она отошла к обочине и согнулась, сотрясаясь в конвульсивном приступе рвоты.

Бойлан неподвижно сидел в машине, глядя прямо перед собой. Когда она, наконец, выпрямилась, он отрывисто сказал:

— Ладно, садись обратно.

Изнуренная и подавленная, Гретхен влезла в машину и прикрыла рот рукой. На лбу у нее выступил холодный пот.

— На, возьми, детка,— уже без враждебности сказал Бойлан, протягивая ей пестрый шелковый носовой платок.

— Спасибо,— прошептала она, вытирая лицо.

— И что же теперь?

— Я хочу домой,— захныкала она.

— В таком состоянии тебе нельзя домой,— сказал он и включил зажигание

— Куда же ты меня везешь?

— К себе.

Гретхен была слишком измучена, чтобы спорить. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза.

У него дома она долго полоскала рот зубным эликсиром. Потом два часа проспала на его широкой кровати. Когда она проснулась, он овладел ею. Домой он вез ее молча.

В понедельник утром, придя на работу, она увидела на своем столе длинный белый конверт. Ее имя и фамилия были отпечатаны на машинке, а в углу было написано от руки: «Лично». В конверте лежало восемь стодолларовых банкнотов.

Глава 3

В классе стояла тишина. Слышалось только поскрипывание перьев. Мисс Лено сидела за столом и читала, изредка поднимая глаза и ощупывая взглядом ряды парт.

Она дала ученикам полчаса на сочинение «Франко-американская дружба».

Рудольф быстро написал необходимые три страницы. Он единственный во всем классе за сочинения и диктанты на французском получал отличные оценки. Хмуря брови — тема казалась ему слишком банальной,— он проверил, нет ли ошибок, затем взглянул на часы. Оставалось еще целых пятнадцать минут.

Он уставился на мисс Лено. Сегодня она особенно хороша, подумалось ему. У нее были длинные серьги, блестящее коричневое платье плотно облегало бедра, а глубокий вырез щедро открывал выпирающую из лифчика грудь. На губах рдела кровью яркая помада. Она подкрашивала губы перед каждым уроком. Ее родственники содержали небольшой французский ресторан в театральном районе Нью-Йорка, и в мисс Лено было гораздо больше от бродвейской дивы, чем от парижанки, но, к счастью, Рудольф не разбирался в таких тонкостях.

От нечего делать он начал рисовать. На листке бумаги появилось лицо мисс Лено. Сходство было несомненным: локоны, обрамляющие с обеих сторон щеки, густые волнистые волосы, разделенные посредине пробором. Серьги, полная, мускулистая шея. На мгновенье Рудольф заколебался. Дальше начиналась опасная территория. Он снова взглянул на мисс Лено. Она продолжала читать. На уроках мисс Лено не существовало проблемы дисциплины. Она безжалостно наказывала за малейшее нарушение. Поэтому могла спокойно сидеть и читать, лишь изредка посматривая на класс, чтобы удостовериться, что ученики не списывают и не подсказывают друг другу.

Рудольф дал себе волю и погрузился в глубины эротического искусства. Два полукружия очертили обнаженные груди мисс Лено. Пропорции вполне удовлетворили Рудольфа. На рисунке мисс Лено стояла у доски, на три четверти повернувшись к зрителю. В вытянутой руке — мел. Рудольф работал над портретом мисс Лено с удовольствием, и каждый новый «опус» доказывал его растущее мастерство. Бедра дались ему без труда. Ноги тоже получились неплохо. Ему хотелось нарисовать ее босиком, но ступни у него никогда как следует не выходили, и он обул ее в туфли на высоких каблуках с ремешками на щиколотках — она обычно носила именно такие. Поскольку он нарисовал ее стоящей у доски, надо было на доске что-нибудь написать. «Je suis folle d'amour» [1],— вывел он, тщательно копируя почерк мисс Лено.

Он кончал заштриховывать ремешки ее туфель, когда почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. Он медленно поднял голову. Мисс Лено пристально смотрела на рисунок. Ее темные глаза с накрашенными ресницами горели яростью. Кусая напомаженные губы, она молча протянула руку. Рудольф так же молча отдал ей листок. Свернув его в трубочку, чтобы никто из ребят не увидел, мисс Лено повернулась на каблуках и направилась к своему столу. За минуту до звонка она громко сказала:

— Джордах!

— Да, мадам,— он был горд, что его голос не дрогнул.

— После урока подойдете ко мне.

Прозвенел звонок. Рудольф аккуратно сложил книги в портфель, а когда все ученики вышли из класса, подошел к столу мисс Лено.

— Мосье художник,— ледяным тоном судьи произнесла она, пододвигая к нему рисунок,— в вашем шедевре отсутствует одна очень важная деталь. На ней нет подписи. Общеизвестно, что произведения искусства ценятся больше, если на них стоит подлинная подпись художника.

Рудольф достал авторучку и в нижнем правом углу листа нарочито медленно вывел свою фамилию, делая при этом вид, будто внимательно изучает рисунок. Он не собирался вести себя перед ней как перепуганный ребенок. У любви свои законы. Если он осмелился нарисовать ее нагой, он должен иметь мужество выдержать ее гнев. Подпись он украсил затейливой виньеткой.

Тяжело дыша, мисс Лено схватила рисунок.

— Мосье, сегодня же после занятий вы приведете ко мне вашего отца или вашу мать! — срываясь на визг, крикнула она.— Я буду в школе до четырех часов. Если к этому времени вы не придете, последствия будут весьма печальными. Вы меня поняли?

— Да, мадам. Всего хорошего,— ответил Рудольф и, не торопясь, с высоко поднятой головой вышел из класса.

После занятий он не зашел, как обычно, в булочную, чтобы не встретиться с матерью, а сразу же поднялся в квартиру, надеясь застать там отца. Как бы там ни было, нельзя, чтобы мать увидела этот рисунок. Отец может избить его, но это лучше, чем потом всю жизнь читать застывшее в глазах матери осуждение.

Отца дома не оказалось. Рудольф умылся и причесался — он собирался встретить свою участь, как подобает джентльмену. Потом он спустился в булочную. Мать складывала в пакет дюжину булочек, купленных какой-то старухой, от которой пахло мокрой псиной. Когда старуха ушла, он поцеловал мать.

— Как сегодня дела в школе? — спросила она, погладив его по голове.

— Нормально. А где папа?

— Наверное, на реке,— ответила Мэри и тут же настороженно спросила: — А зачем он тебе?

[1] Я схожу с ума от любви *(франц.)*.

В семье без надобности никто никогда не интересовался, где отец.

— Просто так,— небрежно бросил Рудольф.

В магазин вошли двое покупателей, и, воспользовавшись этим, он помахал матери рукой, вышел из булочной и быстро зашагал к реке.

Засучив рукава, отец стоял на берегу у старого полуразвалившегося сарая, где хранил свою лодку. Сейчас она лежала перед ним на козлах, и он наждачной бумагой полировал ее днище. Эту лодку, в память своей юности на Рейне, Джордах приобрел по случаю за гроши у какой-то обанкротившейся мужской школы. Лодка была в очень плохом состоянии, и он все время ремонтировал и смолил ее, снова и снова. В Германии, выйдя из госпиталя с почти не действующей ногой, изможденный и слабый, он начал с упорством фанатика заниматься гимнастикой в надежде вернуть былую силу. Позже тяжелая работа на озерных судах, а также изнурительные тренировки, которые он сам себе устраивал, проходя на гребной лодке огромные расстояния, помогли ему обрести небывалую мощь. Сейчас он по-прежнему хромал и, конечно, не мог бы догнать обидчика, но похоже, ему ничего не стоило раздавить любого своими огромными волосатыми ручищами.

— Пап...— начал Рудольф, стараясь говорить спокойно. Отец ни разу в жизни пальцем его не тронул, но он видел, как в прошлом году от одного его удара Томас упал без сознания.

— Что тебе? — спросил Аксель, проверяя широкой ладонью, насколько гладким стало днище лодки.

— Я насчет школы,— сказал Рудольф.

— У тебя неприятности? *У тебя?* — Джордах взглянул на сына с искренним удивлением.

— Понимаешь, наша француженка... Одним словом, она хочет тебя видеть.

Джордах снова внимательно поглядел на него:

— Мне казалось, французский — один из твоих любимых предметов.

— Так оно и есть,— подтвердил Рудольф.— Пап, нет смысла терять время. Ты должен пойти к ней поговорить.

Джордах вытер пот со лба и опустил рукава. Потом натянул на голову кепку, накинул на плечи, как мастеровой, кожаную куртку и зашагал. Рудольф двинулся за ним, не осмеливаясь намекнуть, что, пожалуй, прежде чем идти в школу, ему следовало бы зайти домой и переодеться.

Мисс Лено сидела за своим столом, проверяя работы. За то время, пока Рудольф ходил домой, она успела по крайней мере раза три подкрасить губы. Рудольф впервые заметил, что они у нее тонкие и кажутся пухлыми только благодаря толстому слою губной помады. Прежде чем войти в класс, Джордах надел куртку и снял кепку, но все равно выглядел как мастеровой.

— Здравствуйте, сэр,— сухо поздоровалась мисс Лено.— Ваш сын, по-видимому, сообщил, зачем я вас вызвала?

— Нет,— ответил Джордах.— Насколько я помню, он ничего мне не говорил.— В его голосе слышалась какая-то особая, не характерная для него кротость, и у Рудольфа мелькнула мысль, а не боится ли отец этой женщины.

— Мне даже неудобно рассказывать,— и мисс Лено тотчас снова сорвалась на крик: — Безобразие!.. И кто бы мог подумать?! Лучший ученик!.. Значит, он не сказал вам?

— Нет,— Джордах терпеливо ждал.

— Eh, bien [1]. Посреди урока, когда все писали сочинение, вы знаете, чем он занимался? Вот, полюбуйтесь! — Жестом трагической героини она сунула ему под нос рисунок сына.

Джордах взял его и повернул к свету, падавшему из окна, чтобы получше разглядеть. Рудольф с тревогой всматривался в лицо отца, пытаясь угадать его реакцию. Он почти не сомневался, что тот сейчас развернется и даст ему затрещину, и думал, хватит ли у него мужества вынести удар, не дрогнув и не вскрикнув от боли. Однако по лицу Акселя невозможно было ничего прочитать. Казалось, рисунок заинтересовал его, но в то же время озадачил. Наконец он ткнул толстым пальцем в надпись: «Je suis folle d'amour».

— Здесь что-то написано по-французски. Я не понимаю.

---

[1] Так вот *(франц.)*.

— Я схожу с ума от любви, я схожу с ума от любви! — перевела мисс Лено. Она уже поднялась из-за стола и нервно топталась на месте.— Вот что здесь написано,— пронзительно выкрикнула она, показывая пальцем на рисунок.

— Понимаю,— словно только сейчас его что-то осенило, сказал Джордах.— А что, по-французски это неприлично?

— Мистер Джордах,— с усилием сдерживаясь и обкусывая помаду с губ, произнесла мисс Лено,— а вы считаете возможным, чтобы молодой человек во время урока рисовал свою учительницу обнаженной?

— О-о! — удивленно протянул Джордах.— Так это вы?

— Да, я,— отрезала мисс Лено, скорбно глядя на Рудольфа.

Джордах приглядывался к рисунку.

— А ведь и правда похоже,— после паузы заметил он.— Никак теперь учительницы позируют голыми?

— Мистер Джордах, я пригласила вас не для того, чтобы вы надо мной насмехались,— с достоинством заявила мисс Лено.— Насколько я понимаю, дальше нам с вами разговаривать бесполезно. Я не собиралась причинять вашему сыну неприятности и доводить дело до директора, но теперь я вижу — ничего другого мне не остается. Не смею вас больше задерживать,— и она протянула руку за рисунком.

— Так, значит, вы утверждаете, это нарисовал мой сын? — отступив на шаг и продолжая держать рисунок, спросил Джордах.

— Совершенно точно, внизу стоит его подпись.

— Вы правы, это подпись Руди,— снова поглядев на картинку, согласился Аксель.— И без экспертизы видно.

— Я полагаю, директор вызовет вас в ближайшее время,— продолжала мисс Лено.— А теперь, пожалуйста, верните мне рисунок. Я очень занята и уже потеряла достаточно времени из-за этой мерзкой истории.

— Пожалуй, я сохраню его на память. Вы же сами сказали, что это Руди нарисовал,— спокойно сказал Джордах.— Видно, что у парня талант... А какое сходство! — Он восхищенно покачал головой.— Я и не предполагал, что у Руди такие способности. Мы вставим рисунок в рамку и повесим дома. В наши дни за такие вот картины с голыми женщинами платят большие деньги.

Мисс Лено так закусила губы, что не могла вымолвить ни слова. Ошеломленный поведением отца, Рудольф не сводил с него глаз. Он никак не предполагал, что отец устроит целый спектакль, разыгрывая этакую наивную и в то же время хитроватую деревенщину.

Мисс Лено наконец не выдержала.

— Убирайтесь отсюда, вы, невоспитанный, грязный иностранец, и забирайте своего гадкого сына! — перегнувшись через стол, прошипела она.

— На вашем месте я бы не стал так выражаться, мисс,— спокойно заметил Джордах.— Эта школа содержится на деньги налогоплательщиков, а значит — и на мои, так что я уйду отсюда, когда сочту нужным. К тому же, если бы вы не ходили по школе, виляя задом в этой вашей узкой юбке и у вас не торчали бы сиськи наружу, как у дешевой шлюхи, может, ребята и не стали бы рисовать вас голой.

Лицо мисс Лено налилось кровью, а рот перекосился от ненависти.

— Я все о вас знаю. Грязный бош! — выкрикнула она.

Джордах перегнулся через стол и влепил ей звонкую пощечину. Мгновение в комнате царила мертвая тишина. Мисс Лено так и застыла на месте. Затем рухнула на стул и, закрыв лицо руками, разразилась потоком слез.

— Я не привык, чтоб со мной так разговаривали. Поняла, шлюха французская?! Я не для того приехал сюда из Европы, чтобы такое выслушивать. Будь я французом вроде тех, что нынче задали стрекача после первого же выстрела грязных бошей, я бы хорошенько подумал, прежде чем кого-нибудь оскорблять. К твоему сведению — может, тебе от этого полегчает,— в шестнадцатом году я собственными руками всадил штык в спину одному французу, когда тот пытался удрать к своей мамочке.

Джордах говорил ровным тихим голосом, точно речь шла о погоде или заказе на муку. Рудольфа начала бить дрожь.

— И если ты вздумаешь отыграться на моем сыне,— безжалостно продолжал Аксель,— советую опять же хорошенько подумать сначала. Я живу недалеко отсюда и в случае чего могу заглянуть еще раз. Все это время мой сын получал по француз-

скому только отличные отметки, и, если в конце года отметка у него окажется ниже, я не поленюсь зайти в школу, чтобы задать несколько вопросов. Пошли, Руди.

Они вышли из класса, оставив рыдающую мисс Лено в одиночестве.

Они шагали молча. Поравнявшись с урной на углу улицы, Джордах остановился, почти машинально порвал рисунок в клочки и выкинул. Потом взглянул на Рудольфа.

— У тебя уже были женщины?

— Нет.

— А пора бы,— заметил Джордах.— Чего ты ждешь?

— Куда торопиться? — занял Рудольф оборонительную позицию. Никогда раньше ни отец, ни мать не говорили с ним о сексе, а сейчас уж был совсем неподходящий момент. Перед глазами у него стояло расплывшееся, безобразное лицо мисс Лено, рыдающей за учительским столом, и ему было стыдно, что эта глупая, визгливая баба казалась ему достойной его страсти.

— Когда начнешь,— продолжал Джордах,— меняй их почаще. И смотри не вообрази, будто у тебя должна быть какая-то одна-единственная, иначе испортишь себе жизнь.

— Хорошо,— ответил Рудольф, хотя твердо знал, что отец неправ. Совершенно неправ.

Некоторое время они снова шли молча. Завернув за угол, Аксель спросил:

— Тебе неприятно, что я ее ударил?

— Да.

— Ты всю свою жизнь прожил в этой стране,— сказал Джордах. — Тебе не понять, что такое настоящая ненависть.

— Ты действительно заколол француза штыком? — Рудольф должен был знать правду.

— Да. Одного из десяти миллионов. Французом больше, французом меньше — какая разница?

Они подошли к дому. Рудольф чувствовал себя подавленным и несчастным. Ему следовало бы поблагодарить отца за то, что тот вступился за него — мало кто из родителей поступил бы подобным образом,— но он не мог выдавить из себя ни слова.

— Я убил еще одного человека,— продолжал Джордах, когда они остановились около булочной.— В Гамбурге в двадцать первом году, уже после войны. Ножом. Пожалуй, пора уже тебе знать побольше о родном отце. Ну ладно, увидимся за ужином. Мне надо поставить лодку в сарай.— И, сдвинув кепку на затылок, он заковылял к реке.

Когда в конце учебного года вывесили список с отметками, против фамилии Рудольфа в графе «французский язык» стояло «отлично».

Глава 4

I

Спортивный зал начальной школы находился неподалеку от дома Джордахов и, кроме субботы и воскресенья, был открыт до десяти часов вечера. Два-три раза в неделю Том приходил сюда поиграть в баскетбол, или просто поболтать с ребятами, или поиграть по маленькой в кости в мужском туалете, подальше от глаз тренера.

Том был единственным из своих сверстников, кого парни постарше принимали в игру. Он завоевал это право кулаками. Однажды, войдя в туалет, когда игра в кости шла полным ходом, он протиснулся между двумя игроками и, опустившись на колени, швырнул свой доллар в кучу мелочи. Потом, повернувшись к Санни Джексону, девятнадцатилетнему парню, заводиле всей этой компании, догуливавшему последние деньки перед призывом в армию, сказал: «Ты устарел, приятель». Санни, сильный, коренастый задира, был очень обидчив. Том намеренно выбрал его для своего дебюта. Взглянув на Тома с раздражением, Санни выкинул его доллар из кучи: «Вали отсюда, молокосос. Здесь играют мужчины».

Ни секунды не раздумывая и даже не вставая с колен, Том наотмашь ударил его. В последовавшей затем драке Том и завоевал свою репутацию рискового парня.

Он подбил Санни глаз, разбил в кровь рот, потом отволок побежденного в душ, открыл кран и целых пять минут держал под холодной водой. После этого, когда бы он ни появлялся в спортивном зале, его всегда принимали в игру.

Сегодня никто не кидал кости. Долговязый двадцатипятилетний Пайл, добровольно ушедший в армию еще в начале войны, демонстрировал ребятам самурайский меч, якобы захваченный им собственноручно на Соломоновых островах. Пайла отчислили из армии после того, как он трижды перенес малярию и чуть не умер. До сих пор кожа у него была подозрительно желтого цвета.

Пайл рассказывал, как он бросил гранату в пещеру — так, на всякий случай — и оттуда послышался крик. С пистолетом в руке он подполз к пещере и увидел там убитого японского капитана. Рядом лежал меч.

— ...а спустя две недели я этим мечом отрубил одному япошке голову,— торжественно сказал он.

Том слушал скептически, но молчал. У него было мирное настроение, да и не мог же он вздуть за вранье такого больного и желтого парня. Кто-то потянул Тома за рукав. Это был Клод, как всегда, в темном костюме, при галстуке и с пузырьками слюны в уголках рта.

— У меня есть для тебя новость,— прошептал он.— Идем отсюда.

— Подожди,— отмахнулся Том,— дай дослушать.

— Остров мы уже взяли, но на нем все еще пряталось много японцев,— продолжал Пайл.— Они выходили по ночам и обстреливали нас. Нашему командиру это действовало на нервы, и он три раза в день высылал группы боевого дозора, чтобы очистить местность от этих гадов.

Однажды, когда я был в таком дозоре, мы заметили одного легко раненного япошку. Он сидел на земле, держался руками за голову и чего-то лопотал. Офицера с нами не было, только капрал. «Послушайте, ребята,— сказал я,— подержите его, а я сбегаю за мечом, и мы его казним как положено». Капрал малость струсил: приказ был брать их в плен. Но офицера рядом не было, а эти гады, между прочим, всегда, убивая наших парней, отрубали им голову. В общем, мы проголосовали, потом парни связали японца, а я принес свой самурайский меч. Как принято, мы заставили японца встать на колени и опустить голову. Так как меч был мой, мне и пришлось им работать. Я замахнулся и... бац! Башка покатилась по земле — прямо как кокосовый орех с выпученными глазами. Кровища брызнула, наверное, футов на десять.

— Брехня,— громко сказал Клод.

— Что? — заморгал глазами Пайл.— Что ты сказал?

— Я сказал — брехня,— повторил Клод.— Могу поспорить, ты купил этот меч в какой-нибудь сувенирной лавке в Гонолулу. Мой брат Эл знает тебя, он говорит, у тебя кишка тонка даже кролика убить.

— Послушай, детка,— рассердился Пайл,— хотя я и болен, но, если ты не замолчишь и не уберешься отсюда, я так тебя отделаю, что своих не узнаешь.

— Валяй, я жду,— ответил Клод, снял очки и положил их во внутренний карман пиджака. Без очков он выглядел трогательно беззащитным.

Вздохнув, Том поднялся и загородил Клода спиной.

— Всякий, кто тронет моего друга, будет иметь дело со мной,— нехотя сказал он.

— Ну, что ж, я не возражаю,— ответил Пайл, передавая меч соседу.

— Брось, Пайл, он убьет тебя,— заметил парень, беря у него меч.

Пайл неуверенно обвел глазами собравшихся в кружок ребят. На их лицах он прочел явное предостережение.

— Впрочем, я не затем вернулся домой с Тихого океана, чтобы драться здесь с разной мелюзгой,— громко заявил он.— Давай меч, мне пора.

Он ушел. За ним молча разошлись и остальные, предоставив туалет в полное распоряжение Тома и Клода.

— Чего ты этим хотел добиться? — раздраженно сказал Том.— Он не сделал ничего плохого. К тому же ты знаешь, ребята не позволили бы мне его избить.

— Мне просто хотелось увидеть, какие у них будут морды, только и всего.— Клод стоял потный и улыбался.— Все решает сила! Грубая сила.

— Ты дождешься, когда-нибудь меня убьют с этой твоей грубой силой,— проворчал Том.— Ну ладно, выкладывай, что ты хотел мне сказать?

— Я видел твою сестру,— сообщил Клод.

— Потрясающая новость! Он видел мою сестру! Да я ее вижу каждый день, а иногда и два раза в день.

— Она садилась в «бьюик» с откидным верхом,— продолжал Клод.— И кто, по-твоему, сидел за рулем? Узнаешь — умрешь!

— Не умру, не беспокойся. Говори.

— Мистер Теодор Бойлан, собственной персоной! Я ехал за ними на мотоцикле, пока они не свернули в его усадьбу. И знаешь, будь она моей сестрой, я бы выяснил, в чем тут дело. Этот Бойлан пользуется плохой репутацией. Ты бы слышал, что о нем говорят между собой мой отец и дядя, когда не знают, что я подслушиваю. По-моему, у твоей сестры могут быть большие неприятности...

— У тебя мотоцикл здесь? — оборвал его Том.

— Ага.

Мотоцикл принадлежал Элу, старшему брату Клода, две недели назад призванному в армию. Уезжая, он обещал переломать Клоду кости, если тот в его отсутствие будет пользоваться мотоциклом. Но, несмотря на предупреждение, как только родители куда-нибудь уезжали, Клод перекачивал в мотоцикл немного бензина из их второй машины и потом гонял по городу, стараясь не попадаться на глаза полицейским — прав у него еще не было.

— Ну что ж, посмотрим, что там происходит,— сказал Том.

Подъехав к воротам усадьбы, ребята спрятали мотоцикл в кустах и дальше пошли пешком, чтобы их не услышали. Местность им была хорошо знакома: каждый год они не раз перелезали через забор и охотились здесь на птиц и кроликов.

Занавеси на огромном двустворчатом окне, доходившем почти до земли, были небрежно задернуты, и в щель между ними пробивался свет. Клод опустился на колени, а Том, расставив ноги, встал над ним. Так обоим в узкий просвет между гардинами было видно, что происходит за окном.

В огромной комнате никого не было. Они увидели рояль, длинный диван, большие мягкие кресла, заваленные журналами столики. В камине горел огонь. Вдоль стен книжные шкафы с множеством книг. Комнату освещало несколько ламп. В приоткрытую дверь напротив окна виднелся коридор и нижние ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж.

— Вот это жизнь,— прошептал Клод.— Будь у меня такой дом, я бы не пропустил ни одну девчонку в городе.

— Заткнись,— сказал Том.— Пошли. Я вижу, нам здесь делать нечего.

— Подожди, не спеши,— запротестовал Клод.— Мы ведь только приехали. Они, наверное, наверху. Не будут же они торчать там всю ночь.

Тому не хотелось, чтобы кто-нибудь — неважно кто — появился в этой комнате. Он предпочел бы поскорее убраться отсюда и как можно дальше, но боялся, чтобы Клод не решил, что он струсил.

— Позовешь, когда увидишь что-нибудь интересное,— отходя от окна, сказал он.

Поместье Бойлана широко раскинулось вокруг стоявшего на холме особняка, окруженного множеством могучих старых деревьев; неподалеку виднелся теннисный корт; ярдах в пятидесяти — низкие строения бывших конюшен. И все это принадлежало одному человеку. Том с отвращением вспомнил про кровать, где ему приходилось спать вместе с братом. Впрочем, Бойлан сегодня тоже не один в своей постели. Томас сплюнул.

— Эй,— возбужденно позвал его Клод.— Иди скорее.

Том не спеша подошел к окну.

— Он только что спустился вниз. Посмотри на него. Нет, ты только посмотри! — брызгал слюной Клод.

Том заглянул в щель между гардинами. Бойлан стоял спиной к окну у стола с бутылками, бокалами и серебряным ведерком для льда. Он был совершенно голый. Небрежно бросив в два бокала по кусочку льда и плеснув сверху виски, он добавил туда содовой из сифона. Затем он подошел к камину, подбросил туда полено, шагнул к столику возле окна, открыл лакированный ящичек, достал из него сигарету и прикурил от серебряной зажигалки длиной по меньшей мере в фут. На губах его играла легкая улыбка.

В свете ламп ребята хорошо видели его взъерошенные светлые волосы, толстую шею, выпуклую цыплячью грудь, дряблые руки и немного кривые с торчащими коленями ноги. Тома охватила дикая ярость, точно его оскорбили, заставив быть свидете-

лем неслыханного разврата. Будь у него ружье, он, не задумываясь, застрелил бы этого человека.

— Гретхен, ты спустишься или тебе принести виски наверх? — крикнул Бойлан. Ребята не слышали, ответил ли ему кто-нибудь, но Бойлан кивнул, взял бокалы, вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице.

— Ну и видик,— прошептал Клод.— Фигура как у дистрофика. Наверное, когда ты богатый, ты можешь быть горбатым страшилой вроде Квазимодо, а девки все равно будут на тебя вешаться.

— Идем отсюда,— глухо сказал Том.

— Какого черта? — с удивлением взглянул на него Клод.— Представление только начинается.

Том нагнулся, схватил Клода за волосы и резко поставил его на ноги.

— Я сказал — идем отсюда,— прохрипел он.— И чтобы никому ни слова о том, что видел.— Он придвинулся к Клоду вплотную и, глядя ему в глаза, с яростью добавил: — Начнешь трепаться, я тебя так вздую, на всю жизнь запомнишь. Понял?

— Конечно, конечно,— торопливо согласился Клод,— как скажешь. Я только не понимаю, чего ты так раскипятился.

II

Закинув руки за голову и уставившись в потолок, Гретхен лежала на широкой мягкой постели. Внизу часы пробили десять. Десять. Сейчас в госпитале раненые разбредаются по палатам. Последнее время она ездила в госпиталь не чаще двух-трех раз в неделю.

Даже когда она, распечатав конверт, обнаружила в нем восемьсот долларов, она все равно знала, что вернется в эту роскошную постель. Если Бойлану доставляло удовольствие унижать ее — пускай. Когда-нибудь она отплатит ему за это.

Во вторник после работы Бойлан ждал ее в «бьюике». Ни слова не говоря, он открыл ей дверцу, и они поехали к нему. Около полуночи он отвез ее обратно в город, высадив за два квартала от ее дома.

Тедди делал все превосходно; был осмотрителен — конспирация была ему по вкусу; для нее она была необходима. Благоразумно свозил ее в Нью-Йорк к гинекологу приобрести спираль — чтобы она не беспокоилась об *этом*. И там же, в Нью-Йорке, купил ей, как обещал, платье. Красное платье висело у него в шкафу. Наступит время, когда она сможет его носить.

Тедди делал все превосходно, но Гретхен не испытывала к нему никакой привязанности, не говоря уже о любви. Тело у него было худое, неказистое. Только в своих элегантных костюмах он выглядел в какой-то мере привлекательным. Тедди Бойлан был человеком без порывов, циником, идущим на поводу у своих желаний, неудачником, расписавшимся в собственной несостоятельности, человеком без друзей, сосланным могущественной семьей в ветшающий викторианский замок, в котором большинство комнат было постоянно закрыто. Опустошенный человек в пустом доме. И было вполне понятно, почему женщина, портрет которой до сих пор стоял на рояле, развелась с ним и ушла к другому.

Утверждал себя он только в постели. Именно здесь он выигрывал свои битвы и покорял свои вершины. Собственные стоны и вздохи заменяли ему победные звуки фанфар. А Гретхен нисколько не волновали ни его триумфы, ни поражения. Она отдавалась ему, не испытывая никаких эмоций, кроме чисто физического наслаждения. Для нее он был никто — просто самец, просто мужчина, открывший ей ранее неизведанное.

И она даже не была ему благодарна.

Восемьсот долларов лежали в томике Шекспира, заложенные между вторым и третьим актом «Как вам это понравится».

Снизу раздался его голос:

— Гретхен, ты спустишься или тебе принести виски наверх?

— Принеси сюда,— крикнула она.

Бойлан вошел в комнату, держа в руках два бокала. Гретхен приподнялась на подушках, а он сел рядом на край кровати.

— О чем ты думала, пока я был внизу? — спросил он.

— О блуде,— ответила она.

— Ты не могла бы сказать это как-нибудь иначе?

— До встречи с тобой я так не говорила.— Гретхен медленно и с удовольствием отпила из бокала.

— А я так и не говорю,— возразил Бойлан.

— Просто ты ханжа. Если я что-то делаю, я должна иметь смелость называть это своим именем.

— Да не так уж много ты и делаешь.— Он был явно уязвлен.

— Я бедная, неопытная, провинциальная девчонка,— сказала Гретхен.— И если бы добрый человек в «бьюике» не попался мне в тот день на дороге и не напоил меня допьяна, возможно, я так и умерла бы облезшей и усохшей старой девой.

— Как бы не так! — ядовито сказал он.— Не будь меня, ты бы развлеклась с теми двумя неграми.

Она уклончиво улыбнулась:

— Ну, сейчас этого уже знать не дано.

Бойлан задумчиво смотрел на нее, потом сказал:

— Пожалуй, наступило время тебе кое-чему поучиться. Извини, мне надо позвонить.— Он встал и, накинув халат, спустился вниз. Гретхен, облокотясь на подушки, медленно тянула виски. Она отплатила ему. И так будет каждый раз.

Вскоре он вернулся.

— Одевайся.

Гретхен удивилась. Обычно они оставались в спальне до полуночи. Но ничего не сказала. Молча встала с кровати и оделась.

— Мы идем куда-нибудь? — спросила она наконец.— Как я должна выглядеть?

— Не имеет значения,— небрежно бросил он. В костюме он снова был респектабельным человеком из высшего общества.

Выйдя на улицу, они сели в машину и поехали в Нью-Йорк. Гретхен больше не задавала вопросов. Бойлан затормозил перед темным четырехэтажным зданием, как всегда, вышел из машины и открыл ей дверцу. Они спустились по ступенькам в цементированный дворик с железной оградой, и Тедди позвонил в дверь. Ждать пришлось долго. Гретхен показалось, что за ними кто-то наблюдает. Наконец дверь открылась. На пороге стояла крупная женщина в белом вечернем платье с высоко взбитыми крашеными волосами.

— Добрый вечер, дорогой,— приветствовала она Бойлана сиплым голосом.

В передней царил полумрак, и во всем доме была такая тишина, будто все полы были покрыты тяжелыми коврами, а стены обиты тканью, заглушающей звуки. Казалось, где-то совсем рядом неслышно и осторожно двигались люди.

— Добрый вечер, Нелли,— ответил Бойлан.

— Я тебя целую вечность не видела,— заметила женщина, вводя их в маленькую, освещенную розовым светом гостиную.

— Я был занят.

— Ясно,— понимающе кивнула Нелли, окинув Гретхен оценивающим взглядом, в котором сквозило восхищение.— Сколько тебе лет, милочка?

— Сто восемь,— ответил за нее Бойлан, и они с женщиной рассмеялись.

Гретхен молча, с серьезным видом оглядывала задрапированную комнату. На стенах висели написанные маслом картины — обнаженные женщины. Она твердо решила сделать вид, что ей все равно. Ей было страшно, но она старалась подавить в себе страх, не показывать. Она понятия не имела, что ее ожидает и что с ней будут делать. Бойлан выглядел веселым, благодушным и чувствовал себя как дома.

— Почти все готово, дорогой,— сказала женщина.— Придется подождать всего несколько минут. Может, хотите пока что-нибудь выпить?

— Пожалуй, по бокалу шампанского не помешает,— согласился Тедди.

Они поднялись по лестнице, устланной ковровой дорожкой, на второй этаж и вошли в комнату, где стояла двуспальная кровать с шелковым балдахином, большущее мягкое кресло, обитое темно-бордовым бархатом, и три маленьких золоченых стула. Большой букет тюльпанов на столе выделялся ярким желтым пятном. Окна наглухо зашторены. Огромное зеркало во всю стену. Комната напоминала номер в слегка старомодном, некогда роскошном, а теперь немного обветшавшем отеле.

— Сейчас горничная принесет шампанское.— Женщина тихо вышла, прикрыв за собой дверь без стука, но плотно.

Гретхен не сняла пальто, хотя в комнате было тепло. Потом подошла и присела на краешек кровати. Бойлан, закинув ногу на ногу, удобно устроился в кресле и закурил. Вид у него был довольный, он глядел на нее, слегка улыбаясь.

— Это публичный дом, если ты еще не догадалась,— сообщил он невозмутимо.— Ты когда-нибудь до этого бывала в борделе?

Она понимала, что он дразнит ее, и ничего не ответила. Побоялась, что скажет не то.

— Наверное, нет,— продолжал Бойлан.— А ведь каждая дама хоть раз должна побывать в таком заведении. Чтобы знать, к чему приводит конкуренция.

В дверь тихо постучали. В комнату вошла горничная, тщедушная женщина средних лет в коротком черном платье и белом фартуке. В руках она держала серебряный поднос с двумя бокалами и ведерком, из которого торчала бутылка шампанского. Она молча поставила поднос на стол рядом с тюльпанами. Лицо ее ничего не выражало. В ее обязанности входило лишь появляться, но не присутствовать.

Гретхен заметила, что на ногах у нее были войлочные шлепанцы. Горничная неслышно выскользнула из комнаты.

Передавая Гретхен бокал с шампанским, Бойлан сказал:

— Не думай, что все бордели такие, как этот, детка, а то тебя ждет разочарование. Кстати, если у тебя появится интерес к публичным домам, спроси моего совета: я дам нужные адреса. Иначе ты можешь оказаться в ужасном месте, а нам бы не хотелось этого, не так ли? Тебе нравится шампанское?

— Ничего,— ответила Гретхен, стараясь держаться спокойно.

Вдруг, без всякого предупреждения, зеркальная стена засветилась — в соседней комнате зажгли люстру. Зеркало стало прозрачным, и Бойлан и Гретхен увидели, как по другую его сторону высокая молодая женщина с роскошными светлыми волосами скинула розовый воздушный пеньюар, обнажив изумительной красоты тело. Она ни разу не взглянула в их сторону, но, без всякого сомнения, знала о существовании хитрого зеркала и знала, что за ней наблюдают. Отогнув покрывало на широкой кровати, женщина изящно легла на нее.

Потом дверь открылась и в комнату за стеклом вошел молодой негр.

«Ах негодяй, пресыщенный, мстительный негодяй»,— подумала Гретхен о Бойлане, но не двинулась с места.

— У Нелли большие связи в ночных клубах Гарлема,— пояснил Тедди.— Этот цветной, вероятно, играет в каком-нибудь оркестре и не прочь подзаработать несколько лишних долларов, развлекая белых.

Негр начал раздеваться. Гретхен закрыла глаза. Когда она открыла их, он уже был абсолютно голый. Прекрасно сложенное бронзовое тело с мускулистыми, чуть покатыми плечами и тонкой талией поблескивало в свете электрических ламп. Гретхен мысленно сравнила его с человеком, сидящим рядом с ней, и почувствовала, как закипает от ярости. Негр пересек комнату и приблизился к лежащей на кровати женщине.

Гретхен смотрела на них как завороженная. Они оба были удивительно прекрасны. Но как несправедливо, что два таких восхитительных тела может купить на час, взять напрокат, как лошадей из конюшни, для своего удовольствия, каприза или мести человек вроде Бойлана!

Она встала и повернулась спиной к экрану.

— Я подожду тебя в машине.

— Это только начало, детка,— возразил Бойлан.— Посмотри, что она делает сейчас. Ведь, собственно, я это для тебя показываю, чтобы ты набралась опыта. Ты будешь пользоваться большим успехом, если...

— Я подожду тебя в машине,— повторила Гретхен и выбежала из комнаты.

Бойлан вышел минут через пятнадцать, неторопливо сел в машину и включил мотор.

— Ты зря ушла. Они честно заработали свои сто долларов.

Всю дорогу до ее дома они ехали молча, и, только остановив машину перед булочной, Бойлан нарушил молчание:

— Ну как? Надеюсь, сегодняшний вечер тебя чему-нибудь научил?

— Да,— ответила Гретхен.— Мне надо найти любовника помоложе. Прощай.

Дверь в спальню родителей была открыта, и там горел свет. Мать неподвижно сидела посреди комнаты на деревянном стуле, уставившись в коридор. Гретхен остановилась и посмотрела на мать. Безумные, невидящие глаза. Но что поделаешь. Мать и дочь в упор глядели друг на друга.

— Иди ложись,— сказала мать.— В девять я позвоню на работу и скажу, что ты заболела.

Войдя к себе в комнату, Гретхен закрыла дверь и взяла томик Шекспира. Аккуратно сложенные в конверт деньги почему-то лежали между страницами пятого акта «Макбета».

(Продолжение следует)

БАСАВИНА ИДА ИВАНОВНА

Советская переводчица с английского языка. В ее переводе печатались роман Эвана Роудза «Принц Центрального парка» и ряд рассказов в периодике.

Из месяца в месяц

РАССКАЗЫ ДЖОНА АПДАЙКА

Издательство «Кнопф» выпустило новый сборник рассказов известного американского прозаика Джона Апдайка — «Проблемы» и другие рассказы». Все вошедшие в книгу произведения публиковались в журналах на протяжении последних семи лет, а два из них были включены писателем в вышедшую весной 1979 г. книгу «Слишком далеко. Истории из жизни семьи Мейплов».

Как и большинство сравнительно недавних произведений Апдайка — «Супружеские пары» (1968), «Месяц безделья» (1976) и «Давай поженимся» («ИЛ», № 7, 8, 1979), — новые рассказы писателя посвящены проблемам «средней» буржуазной семьи современной Америки. По мнению рецензента «Нью-Йорк ревью оф букс» Роберта Тауэрса, «семейную» прозу Апдайка целесообразно сопоставить с романами Синклера Льюиса — прежде всего с «Бэббитом» и «Главной улицей». Такое сопоставление, считает Тауэрс, поможет четко представить своеобразие творчества Апдайка.

Главное отличие Апдайка от Льюиса критик видит в том, что, хотя оба писателя обращаются к изображению жизни средних классов, они преследуют различные цели: автор «Бэббита» «стремился создать сатирический, порой гротескный, образ американского буржуа-обывателя». Цель Апдайка — отнюдь не сатира, но предельно достоверное, со множеством подробностей, воссоздание повседневной жизни «типичной американской семьи». Льюис — сатирик, даже карикатурист, а Апдайк — бытописатель, «бытовой реалист».

В большинстве рассказов сборника, пишет рецензент, читатель сталкивается с обычной «апдайковской» ситуацией — семья на грани распада. Отдельную группу составляют рассказы, где писатель возвращается к теме своего раннего творчества — проблеме взаимоотношения «отцов и детей», хорошо знакомой читателям по романам «Кролик, беги» (1962) и «Кентавр» («ИЛ» № 1, 2, 1965). Наконец, третья группа рассказов, с сожалением констатирует Тауэрс, — это большей частью надуманные, искусственные произведения, в которых писатель откровенно старается потрафить вкусу нетребовательного «массового читателя». В подобных рассказах тонкое психологическое и стилистическое мастерство Апдайка, с таким блеском проявившееся в лучших рассказах сборника, меркнет. А в целом от этого страдает и вся книга.

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

А. БЕЛЯЕВ

«ПАРАДОКСЫ» РОНАЛЬДА ХИНЛИ

В 1979 году одновременно в Англии и в США опубликована очередная книга Рональда Хинли под названием «Русские писатели и советское общество, 1917—1978».

Советолог живет и работает в Англии, в Оксфордском университете. Его предыдущие сочинения о русских писателях, о «загадочном характере русского человека», как и его статьи в различных пропагандистских изданиях типа «Проблемз оф коммьюнизм», создали ему репутацию закоренелого антикоммуниста.

Книга Рональда Хинли свидетельствует о вполне уже определившейся тенденции перехода на пропагандистские и откровенно антикоммунистические позиции той части международной советологии, в сфере внимания которой находятся по преимуществу вопросы художественной культуры общества развитого социализма и в особенности вопросы литературы.

Однако, если раньше метры советологии свои многочисленные сочинения на эти темы называли определенно и недвусмысленно: «Русская советская литература...», то Р. Хинли уже самим заголовком книги как бы разделяет это понятие на два обособленных, с намеком на их противостояние. С одной стороны, мол, существует русская литература, а с другой — советское общество. Он так прямо и пишет, что вместо того, чтобы употреблять выражение «советская литература», он предпочитает говорить «о современных русских писателях, проживающих в СССР», или «о русской литературе в советский период» [1].

Советолог считает, что «в литературном отношении» слово «советский» носит двусмысленный характер. Вот, дескать, Солженицын называет себя «русским», но он же не считает себя «советским» писателем...» [2].

Поистине подобный аргумент может вызвать лишь ироническую усмешку.

Хинли намерен решительно покончить и с бытующим в литературоведении Запада разделением русской литературы на советскую и эмигрантскую. Он готов даже Глеба Струве приструнить за выпуск специальной книги о русской литературе в эмиграции.

Словом, эпитет «советский», «советская» применительно к литературе оказывается, по Хинли, неуместным. Стремясь возвести преграду между советскими писателями и их социалистическим отечеством, он совершает этакую ловкую, как ему кажется, подмену термина «советские писатели» понятием «писатели, проживающие в СССР», не потому ли, что термин этот имеет прежде всего идеологическую окраску?

Что ж, в истории уже были попытки объявить СССР «географическим понятием». Теперь вот Хинли демонстрирует нам тот же трюк с советской литературой и одновременно — нагловатое желание объединить под одной крышей, в одном понятии писателей советских и тех, кто утратил право называть себя таковым, став безродным эмигрантом. «Я смело называю этих писателей и их литературу,— заносчиво восклицает Хинли,— русской... независимо от места их проживания и идеологических пристрастий» [3].

Как говорится, вольному воля. Только от подобной «смелости» очень уж попахивает пропагандистским маневром, преследующим иные цели, нежели литературные.

Р. Хинли с похвалой отзывается о книгах своих коллег-советологов от Глеба

[1] Ronald Hingley. Russian Writers and Soviet Society, 1917—1978. London, Weidenfeld and Nicolson, 1979, p. XV.

[2] Ibid., p. XVII.

[3] Ibid., p. XIX.

БЕЛЯЕВ АЛЬБЕРТ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1928 г.)

Советский писатель, доктор филологических наук. Автор многих работ по американской литературе и советологии, в частности книги «Идеологическая борьба и литература. Критический анализ американской советологии» (1975, 1977).

Струве до Эдварда Брауна, которые, мол, создали «великолепные книги по истории русской советской литературы». Но, как выясняется, все это тем не менее было не совсем то... «У нас все еще нет,— сокрушается Хинли,— единой работы, в которой адекватно и сжато трактовалась бы литература всего периода, взятая в ее социальном контексте не хронологически, но проблемно, тема за темой» [4].

Хинли самоуверенно добавляет, что именно его книга и призвана заполнить зияющий пробел в советологии. При этом бросаются в глаза необоснованные претензии Хинли (впрочем, такие претензии встречаются и у других советологов, особенно у американских) изображать дело таким образом, словно подлинную историю развития советской литературы могут изложить только «западные специалисты», обладающие якобы большей информацией о жизни советского общества, нежели специалисты советские, от которых, по уверениям Хинли, эту информацию «старательно скрывают» [5].

Оригинальное суждение? Да вовсе нет! В этом суждении нет ничего оригинального, нет ничего своего. Хинли лишь повторил высказанную за четырнадцать лет до него в журнале «Проблемз оф коммьюнизм» сентенцию американского советолога Виктора Франка, который утверждал: «...так как русские ученые... не в состоянии дать должного истолкования фактам родной истории и цивилизации на подлинно научном уровне, то эту задачу должны взять на себя ученые за пределами Советского Союза... как бы ни казалось странным, но западные эксперты на самом деле больше знают о фактах современной жизни в Советском Союзе... западные ученые являются более объективными, чем их советские коллеги» [6].

Как видим, западные советологи дисциплинированно подстраиваются под инструктивные суждения официального органа американской внешнеполитической пропаганды, журнала «Проблемз оф коммьюнизм», ориентирующего мысль всех отрядов антикоммунистов.

Впрочем, тезис В. Франка британский подданный Хинли в чем-то пытается обосновать и по-своему. Он, например, объясняет, что западный специалист может «гораздо легче» достать, раздобыть нужный ему источник. Он может, указывает Хинли, «...купить, взять во временное пользование... или (я могу это предположить) украсть с меньшим риском в Лондоне, Париже или Нью Йорке... чем это возможно в Москве или Ленинграде...» [7].

Что же, где легче красть источники, где в этом узком смысле меньший риск — не будем спорить. Целиком положимся на компетентность автора. Это суждение, вполне вероятно, может основываться и на личном опыте. Автору, как принято говорить в таких случаях, виднее...

[4] Ibid., p. XII.
[5] Ibid., p. XIV.
[6] «Problems of Communism», № 3, 1966, p. 46—47.
[7] R. Hingley, p. XIV.

Книга Р. Хинли, которую он сам предлагает рассматривать как дополняющую его предыдущие работы, посвященные русским писателям, состоит из трех больших разделов, или частей. Первая часть посвящена исторической литературной обстановке в дореволюционной и послереволюционной России в широком плане; во второй автор дает истолкование роли и значения литературы в общественной и политической жизни советского общества; и, наконец, часть третья целиком и полностью «сфокусирована» собственно на литературе, на литературных проблемах и на отдельных литераторах. В этой главе излагается история возникновения советской литературы, дается оценка литературным течениям, теориям, группам, возникавшим и исчезавшим в ходе развития советской литературы.

Подход Р. Хинли к советской литературе ничем, собственно, не отличается от традиционно советологического: как и его предшественники, он склонен рассматривать советскую художественную литературу прежде всего как источник или, по выспреннему выражению Хинли, как «окошко, через которое мы можем рассматривать — в верном или искаженном свете— Россию» [8] (вспомним американских советологов: Вера Александрова видела в произведениях советских писателей именно источник «социальной и политической информации, а Эрнст Симмонс — носителя «специальных данных» о жизни советского общества). Казалось бы, Хинли косвенно свидетельствует о правдивости советской литературы, однако весьма примечательна оговорка насчет «искаженного рассматривания» России. Она, конечно, не случайна и выдает намерения автора использовать почерпнутые из литературы знания о советской действительности с неблаговидными целями: слишком часто ловили советологов с поличным за руку, слишком часто уличали их в преднамеренной лжи и клевете. И потому Хинли кокетничает: «...как ни парадоксально это покажется... искажение... часто... способствует наиболее глубокому проникновению в суть вещей»! [9]

Таким нехитрым способом Р. Хинли сам себе выдал индульгенцию и отпустил все грехи. Если, мол, он и искажает картину жизни в Советской России и в советской литературе, то это делается, оказывается, для того, чтобы добиться... «проникновения в суть вещей».

«Метод парадоксов», изобретенный Рональдом Хинли, открывает поистине безграничные возможности перед советологами. Наконец-то найдена «теоретическая» база их непреодолимой склонности к фальсифицированному, клеветническому, извращенному изображению реальной советской действительности.

Оказывается, все это делается ради «глубочайшей проницательности»! Браво, мистер Хинли! Подобный «метод», несомненно, скажется на повышении производитель-

[8] Ibid., p. XI.
[9] Ibid.

ности труда советологов, и в результате можно ожидать значительного увеличения объема вранья и лжи о советском обществе и о советской литературе.

Действенность этого метода Рональд Хинли демонстрирует с первых же страниц своей объемистой книги. Пожалуй, никто из советологов, по Хинли, не рисковал опровергать тот факт, что 1917 год в России знаменателен двумя революциями: февральской, в результате которой к власти в России пришла буржуазия, и Октябрьской социалистической, в результате которой власть в стране перешла в руки рабочих и крестьян, в руки народа. Хинли же утверждает, что не было никаких революций в России в 1917 году ни в феврале (ибо, по Хинли, царский режим «рухнул» сам по себе), ни в октябре (ибо в стране, по Хинли, некому было сопротивляться большевикам, и они просто «прибрали» беспризорную власть к рукам).

А чтобы похлеще уязвить и опорочить этих самых большевиков, Хинли не гнушается вновь пустить в ход расхожую и давно уже скомпрометировавшую себя версию о «секретной финансовой помощи кайзеровской Германии» [10] русским революционерам.

К сожалению, грустит Хинли, до сих пор в Советском Союзе существует неколебимое и устойчивое отношение к революции в октябре 1917 года как к «благородному и достойному восхваления деянию» [11]. И это потому, уверяет Хинли, что большевикам удалось внушить всем и каждому простую и ясную мысль о том, что любую попытку свергнуть советскую власть следует рассматривать как контрреволюцию. Под влияние этих внушений подпали, дескать, и писатели. Хинли пишет: «...абстрактная концепция революции зачаровывала, словно гипнозом, русских писателей» [12].

Судя по всему, Рональд Хинли очень бы хотел «разочаровать» советских писателей в идеалах Октябрьской революции и повлиять на их отношение к советской власти...

По мнению Хинли, после событий в России в октябре 1917 года (он ведь не считает их революцией!) в России вдруг возникла ни с того ни с сего «гражданская война между красными (большевиками) и белыми (антибольшевиками)». Ну, а так как, утверждает советолог, действия белых представляли собой «плохо скоординированные разрозненные попытки оппонентов (!) Ленина свергнуть его правительство, то, в сущности, эти их действия следует именовать революционной борьбой» [13].

Итак, перед нами «парадокс» Хинли во всей своей наготе: восстание рабочих и крестьянских масс России под руководством ленинской партии большевиков, приведшее к свержению власти помещиков и капиталистов и к установлению в стране власти трудового народа, власти Советов, читателю предлагается революцией не считать, а вот вооруженную борьбу свергнутых народом классов угнетателей и их наемников за возврат своих привилегий и власти предлагают именовать «революционной борьбой»!

Суждения Хинли о причинах победы большевиков в гражданской войне в России по меньшей мере вторичны. Он пишет: «Победа большевиков объясняется рядом причин. У них была лучшая координация действий в силу того, что они занимали стратегические позиции в центре; их политическая программа звучала более позитивно по сравнению с белыми, которых объединяла лишь одна ненависть к большевизму; крестьяне опасались, что победа белых приведет к реставрации помещиков; и, наконец, ненависть к белым вызывалась широкой и неэффективной иностранной военной интервенцией на стороне белых, в которой участвовали войска Англии, Франции, Японии, США и других стран» [14].

Напрасно Р. Хинли умалчивает о первоисточниках подобных умозаключений и делает вид, что они являются плодом его собственных размышлений. Однако не напрасно вслед за своими предшественниками прибегает он к пропагандистскому маневру и умалчивает об основных причинах победы большевиков, отстаивавших интересы народа. Хинли лишь добросовестно излагает задолго до него пущенные в оборот формулы, относящиеся к оценкам Октябрьской революции 1917 года в России и «объясняющие» причины победы большевиков в гражданской войне. Если уж быть совсем точным, то о «лучших стратегических позициях» большевиков писал, к примеру, еще в 1956 году американский советолог Уильям Харкинс, а о «более позитивном звучании» политической программы большевиков Р. Хинли вычитал, несомненно, у своих заокеанских коллег — у Джеймса Биллингтона в его книге «Икона и топор» (1967) и у Дэвида Маркхэма в книге «Голоса красных гигантов» (1967).

Нет, не блещет свежестью мысль Р. Хинли. Он лишь ученически повторяет и пересказывает своих американских наставников, жесткой рукой пытающихся направлять в одно-единственное, а именно — антикоммунистическое русло поток советологических «исследований».

Из своей прошлой книги «Русский характер» (1977) Р. Хинли перенес целиком примитивные и пошлые суждения о «загадочной» русской душе, с ее якобы непредсказуемым поведением и извечной подозрительностью, склонностью к жестокостям, к непостоянству, к некоему «раболепию»... Право, от подобных косных суждений так и веет духом маркиза де Кюстина, книга которого «Россия в 1839 году» вдруг оказалась вновь — спустя более чем сто лет! — переизданной в США. Некоторые оскорбительные суждения Р. Хинли о русском народе кажутся впрямую заимствованными у древнего маркиза...

Полны грубой клеветы и откровенной лжи разглагольствования советолога о внешней политике СССР после победы в Великой Отечественной войне. В духе пропагандистских установок идеологов антикоммунизма тех лет трактуется вопрос создания государств народной демократии в Восточной Европе.

[10] Ibid., p. 7.
[11] Ibid., p. 8.
[12] Ibid., p. 8.
[13] Ibid., p. 6.
[14] Ibid., p. 34.

Международное движение борцов за мир Р. Хинли приписывает «коварным» происка Советского государства, которое, мол, не случайно подключило к этому движению советских писателей, в том числе и Илью Эренбурга. По мнению советолога, это было сделано для того, чтобы активнее влиять на легковерных иностранцев в нужном советскому правительству духе и убеждать их в том, что интересы движения борцов за мир и цели советской внешней политики совпадают.

Более того, Хинли обрушивается с гневными филиппиками на этого широкоизвестного советского писателя за его активную роль в движении сторонников мира и поддержку внешней политики советского правительства. Заодно достается и советскому поэту Евгению Евтушенко, который, по мнению Хинли, своими выступлениями перед зарубежной аудиторией «создает в умах иностранных слушателей ошибочное впечатление» [15] о советском образе жизни и особенно о развитии социалистической демократии... Вот, значит, что не устраивает господина Хинли.

Р. Хинли, похоже, и в самом деле считает себя эдакой классной дамой, которой позволено не только выставлять оценки за поведение советским писателям, но и оберегать «умы иностранных слушателей» от возможного воздействия правдивых рассказов советских писателей о социализме и советском образе жизни. Похоже, Р. Хинли и прочие наставники от советологии желают сохранить ум «иностранных слушателей» в девственной чистоте от влияния идей социализма для того, чтобы более легковерно усваивалась антикоммунистическая пропаганда советологов.

Пространные рассуждения Хинли о марксистско-ленинской теории, о сущности диктатуры пролетариата носят откровенно пропагандистский характер в стандартном антикоммунистическом духе: все положения марксизма-ленинизма заведомо окарикатуриваются, доводятся до абсурда, и читатель приглашается поиронизировать вместе с автором над представленным в таком весьма далеком от подлинности изображением философского учения, перевернувшего мир и открывшего для человечества эру социализма.

Особенно смехотворны наскоки советолога на В. И. Ленина. С петушиным задором новоявленный «специалист» по марксизму рьяно упрекает вождя первой в мире победоносной социалистической революции в... отступлении от канонов «марксистской теории» [16]. Хинли назидательно разъясняет, что «Маркс верил»: успешная пролетарская революция может иметь место лишь в промышленно развитой стране мира и только тогда, когда она будет поддержана революциями в других промышленно развитых странах. А Россия, назидательно разъясняет советолог, не была в то время промышленно развитой страной. И, следовательно, по Хинли, не имел права товарищ Ленин и его соратники-большевики устраивать в России революцию. А за «отступление от строгого марксизма» извольте теперь получить строгий выговор от классной дамы Рональда Хинли.

Стоит ли говорить, сколь комична самоотверженная борьба советолога за чистоту марксистской теории. Но что делать — если нет хоть сколько-нибудь убедительных аргументов в борьбе с марксистско-ленинской идеологией, антикоммунисты способны выступать и в роли эдаких ревнителей чистоты марксизма и, становясь в позу непрошеных менторов, обличать Ленина и его партию в «отступлениях» от марксизма.

Но дело-то все в том, что марксизм никогда не был догмой, застывшим учением. И Маркс, и Ленин учили подходить к теориям не догматически, а творчески, то есть с полным учетом местных условий и обстоятельств. Революции вершат не догматики, а революционеры в подлинном смысле этого слова, то есть люди, способные творчески применять положения теории к реальным ситуациям и обстоятельствам жизни.

Немало «парадоксов» встречается и в информации, которую дает Хинли по разнообразным аспектам жизни советского общества, начиная от географии страны и вплоть до состава населения и «частной жизни» советских граждан. Он, например, самоуверенно лишил народ одной из советских социалистических республик своего родного языка, произвольно заменив его языком сопредельной страны. Таких политических провокаций в книге Хинли немало.

Жизнь советского общества подана советологом по преимуществу в негативном плане. Когда же автору не удается избежать позитивной информации о достижениях социалистического государства, то вслед за ней обязательно следует комментарий, имеющий целью если не дезавуировать, то хотя бы принизить значение положительного факта из советской действительности.

Скажем, дается информация о воздушном транспорте в СССР. Сообщается, что он «дешевый». И тут же следует маленькое «пояснение»: «...но подвержен особенно частым и непредсказуемым переменам расписания» [17]. Как известно, расписания рейсов Аэрофлота стабильны. «Непредсказуемо» могут изменяться конкретные рейсы по метеорологическим условиям. Но такое случается и в аэропортах Англии, не так ли?

Или, к примеру, информация о положении женщин в советском государстве. Автор, разумеется, не может умолчать о том, что «эмансипация женщин, как утверждают (!), является одним из главных достижений современной России... Обладая равными правами по закону, получая равную зарплату, женщины играют бо́льшую роль в экономике СССР, чем в любой другой развитой стране мира» [18].

Объективно изложил Рональд Хинли? Да,

[15] Ibid., p. 233.
[16] Ibid., p. 127.
[17] Ibid., p. 22.
[18] Ibid., p. 170.

если не обращать внимания на безличное «утверждают». Кто? Неизвестно. Но ясно одно: автор этим безличным «утверждают» как бы отъединил себя от истинности информации и внес сомнение в ее достоверность.

Однако Хинли идет дальше. Он делает многозначительный исторический экскурс: большевики, мол, в первые послереволюционные годы стремились «...разрушить семью как институт» [19]. А чтобы легче достичь этой своей коварной цели, большевики, мол, разрешили аборт и объявили регистрацию брака необязательной. Хинли иллюстрирует эту зловредную политику большевиков некоторыми художественными произведениями советской литературы тех лет. Он приводит в качестве примеров повесть А. Коллонтай «Любовь трех поколений» (1923), повесть С. Малашкина «Луна с правой стороны» (1926), повесть Н. Богданова «Первая девушка» (1928). Да вот, мол, и у Шолохова в «Тихом Доне» уделяется «много внимания... бурным внесупружеским любовным отношениям Григория и Аксиньи» [20].

Действительно, все названные произведения в советской литературе 20-х годов «имели место». Но надо совсем не знать истории советского общества и государства, чтобы приписывать большевикам стремление «разрушить семью как институт». Просто удивительно, как это еще Хинли удержался от соблазна привести классический пример из истории антисоветской пропаганды о так называемом обобществлении женщин в молодом Советском государстве, о пресловутом «общем одеяле»...

После победы Октябрьской социалистической революции в России некоторым горячим молодым умам казалось, что надо все отношения в обществе радикальным образом перестроить. Кое-кому, вероятно, и в самом деле чудился и крах семьи, и подобные настроения нашли отражение в некоторых произведениях молодой советской литературы. Но нельзя путать отдельные умонастроения в обществе с политикой КПСС и Советского государства. Глубокая неправда заключается в попытках Хинли приписать большевикам стремление «разрушить семью».

Основное место в книге Хинли занимают его рассуждения о советской литературе. Впрочем, вряд ли правомерно называть то, что преподносится в книге, «рассуждениями Рональда Хинли». Это скорее добросовестный ученический пересказ и даже откровенное заимствование (разумеется, без ссылок на источники) концепций и воззрений американских советологов. Жесткий регламент антикоммунистических требований в оценках советской литературы не терпит никакого своеволия, не говоря уже о многообразии точек зрения. Стандартная униформа антикоммунистических постулатов нивелирует умственный кругозор советологов, делает их суждения неотличимыми друг от друга; сплошь и рядом они прибегают к подтасовкам, фальсификациям, к откровенной клевете и лжи.

Например, вслед за американскими советологами Г. Струве и М. Слонимом Хинли покорно повторяет изрядно стершиеся штампы советологии об этапах развития русской дореволюционной и советской литературы и о наиболее выдающихся явлениях, характерных для каждой определенной поры. Хинли тоже твердит о некоем «расцвете» русской литературы, имея в виду годы в начале XX века, когда на какой-то период в литературе возобладало течение символизма. Почти дословно повторяя Макса Истмена и Бориса Гуерни, Рональд Хинли считает это течение частью «европейского движения символистов», хотя русские символисты были, как известно, различны по своим истокам. Были и эпигоны западного декаданса (Мережковский, Гиппиус), но были и воинствующие противники Запада (Вл. Соловьев). Повторяя зады американской советологии, Р. Хинли стремится придать значение как раз тем незначительным в истории русской словесности фигурам, творчество которых не оставило в ней сколько-нибудь заметного следа. Но зато хорошо известна их оголтелая враждебность к революции, к социализму, к советской власти...

Ничем не отличается интерпретация Р. Хинли литературного движения в Советской России 20-х годов от интерпретации американских советологов. «Период до 30-х годов был периодом относительной свободы для писателей... Они были... свободны писать о том, о чем им хотелось, и тем стилем, который они сами предпочитали... Десятилетие 20-х годов обычно считают... «золотым веком» [21],— так пишет Р. Хинли. Вернее, списывает. Списывает без зазрения совести из книг М. Истмена «Художники в мундире» (1934), Г. Борланд «Советская литературная теория и практика в годы первой пятилетки, 1928—1932 гг.» (1950), Э. Брауна «Пролетарский эпизод в советской литературе, 1928—1932 гг.» (1954) или, наконец, из уже упоминавшейся книги Дж. Биллингтона «Икона и топор».

Подобно своим американским коллегам-антикоммунистам Р. Хинли также считает, что в годы после революции «...у большевиков отсутствовала какая-либо официально принятая литературная теория», ибо ни у Маркса, ни у Ленина не было, мол, ясных позиций на этот счет. Да к тому же большевики были слишком заняты «срочными, нелитературными проблемами, чтобы еще докучать себе художественной литературой» [22].

Все эти сентенции в дословном, или почти дословном, виде можно прочитать в называвшихся выше книгах американских советологов, анализировать которые мне уже доводилось [23].

Столь поразительные совпадения суждений Хинли с суждениями советологов США говорят прежде всего о том, что Р. Хинли изучал, вероятно, не самое советскую литературу, а писания о ней

[19] Ibid., p. 172.
[20] Ibid., p. 173.
[21] Ibid., p. 37.
[22] Ibid., p. 139.
[23] См. А. Беляев. Идеологическая борьба и литература. Критический анализ американской советологии. М., «Советский писатель», 1975, 1977 *(прим. ред.)*.

своих американских коллег, писания, крайне тенденциозные, наполненные фальсификациями и нескрываемой ненавистью к советской литературе, к советскому народу.

Собственные высказывания Р. Хинли об отдельных советских поэтах отличаются развязностью оценок и отсутствием элементарного такта. Чванливое высокомерие автора, видимо, призвано заменить ему неспособность объективно судить о подлинном значении и месте творчества того или иного советского поэта. Так, по Хинли, В. Маяковский, который «среди писателей был наиболее близок к революции...», вошел, оказывается, в историю советской литературы в качестве ее классика не потому, что обладал выдающимся поэтическим даром, что творчество его признано и любимо народом. Все это произошло, утверждает советолог, «по приказу». Он заявляет, что в середине 30-х годов Маяковский якобы был «посмертно назначен Сталиным певцом советского строя» [24]. Да, выходит, что и поэтом-то он не считался... Клеветнический и злобный характер этого выпада Хинли против великана мировой поэзии, против певца первой в мире победоносной революции угнетенных — Владимира Маяковского — вполне очевиден и не нуждается в опровержении.

Сергей Есенин у Хинли представлен «великим пьяницей, бабником и саморекламным хулиганом» [25]; Александра Твардовского советолог объявляет «официально признанным автором стихов», которые-де «воспринимались» только «неинтеллигентным читателем» [26]...

Зато с большой назойливостью Хинли пытается навязать читателям в качестве якобы «широко признанного» в СССР некоего Бродского, хотя стихи рекламируемого им сочинителя, как отмечает сам советолог, едва ли печатались в СССР, ибо он покинул пределы страны еще в 1972 году.

Рассуждения Хинли о литературной жизни в Советском Союзе весьма путанны и противоречивы. С одной стороны, следуя устоявшимся жестким канонам антикоммунистической пропаганды, он твердит о существовании неких строгих политических ограничений, которые сковывают художественное воображение советских писателей и ведут к унылому конформизму и гладописи; с другой — признает наличие высокохудожественных талантливых произведений в советской литературе. Выясняется, что и «власти» в СССР поощряют литературу высокого художественного достоинства. Хинли готов даже признать, что в СССР высокое художественное качество литературных произведений «не встречает возражений»(!) [27].

Высказывания Хинли о Союзе писателей СССР пронизаны нескрываемой ненавистью и раздражением. Он пишет, что после «внезапной и неожиданной ликвидации РАПП'а в 1932 году» [28] (фраза списана из книги М. Истмена «Художники в мундире», вот только про «топор Ассаргадона» опущено.— *А. Б.*) в Советском Союзе был создан единый Союз писателей, по глубокому убеждению Хинли, якобы «...в высшей степени бюрократическая... почти военизированная организация»(!) [29]. Из его рассуждений западный читатель может, пожалуй, сделать вывод, что членов Союза писателей чуть ли не заставляют «брить бороды» и носить только «строгие черные костюмы с галстуком»! [30]

Хинли запугивает существующими только в его распаленном воображении «ужасами» неких «предписаний» социалистического реализма, которые якобы обрекают всех советских писателей на «безликий, плоский, однородный стиль» [31].

Советолог утверждает, что, исходя из «требований» метода социалистического реализма, советских писателей «обязывали» писать якобы только о политике. Тех же литераторов, которые считали, что политика не обязательно должна присутствовать в произведении, «власти» безжалостно «подавляли».

Возникает закономерный вопрос: как же быть тогда с большим отрядом советских литераторов, которые писали и пишут, например, о природе, о детях, о животном мире, наконец, о родной земле? Куда отнести, скажем, таких прославленных советских писателей, как Грин, Пришвин, Бажов, Маршак, Чуковский? Оказывается, Хинли предусмотрел подобные вопросы и всем перечисленным писателям определил место: Грин — конечно же, «эскапист», Пришвин — тоже «форма литературного эскапизма», детская литература в целом— «еще одно прибежище, в котором укрывались писатели от политического нажима» [32].

Похоже, Хинли всех известных советских писателей готов причислить к «эскапистам». Даже писателей, в чьем творчестве находят отражение преимущественно проблемы развития советского села, Хинли тоже зачисляет по разряду... эскапистов! Он так и пишет: «Политически нейтральной областью стала... так называемая деревенская проза...» [33].

Вот уж, действительно, весьма своеобразное понимание и применение термина «эскапизм» демонстрирует в своей книге Хинли. Ведь широко известно, что так называемая деревенская проза в советской литературе отличается злободневностью проблем, неразрывной связью с жизнью общества, а следовательно, с политикой. Пустота и бессмысленность досужих разговоров об «аполитичности» литературы и искусства давно уже очевидны широким массам художников. Все дело в том, с какой политикой связано их творчество. Если политика исходит из интересов народа,

[24] Ibid., p. 7.
[25] Ibid., 69.
[26] Ibid., 70.
[27] Ibid., 16.
[28] Ibid., 192.
[29] Ibid., pp. 196, 197.
[30] Ibid., p. 235.
[31] Ibid., p. 202.
[32] Ibid., p. 81.
[33] Ibid., p. 82.

преследует благо народа, направлена на укрепление мира и взаимопонимания — тогда она может оказывать лишь благотворное влияние на творчество художников, тогда она может оказывать большое вдохновляющее воздействие на художественное воображение писателя или деятеля искусства.

Странны и необъяснимы толкования, даваемые Р. Хинли понятиям партийности и народности. Народность, утверждает Хинли, требует якобы от советского писателя «политического и национального шовинизма». Иностранцы, мол, в произведениях советских писателей должны изображаться негодяями и подлецами, а советский человек непременно должен быть здоровым, сильным, уверенным в себе и положительным.

Партийность же, по Хинли, требует от писателя изображать в произведениях не ту жизнь, которую он видит вокруг себя, а некую «высшую правду». Отсюда социалистический реализм требует от писателя не жизненной правды в литературе, не исторической конкретности, а «ложного, исторически неверного изображения действительности». И потому, дескать, в советской литературе существует «принудительный оптимизм» [34].

Стоп! Да ведь это же почти дословно списано Рональдом Хинли из книги американского советолога М. Клименко «Мир молодого Шолохова», вышедшей в США в 1972 году. Это М. Клименко утверждал, что социалистический реалист обязан-де «воспринимать реальность не такой, какой она предстает перед нами в действительности, но какой она должна стать в перспективе», какой она должна стать по мысли теоретиков партии в будущем...

Ничего не скажешь: школа антикоммунизма эффективно внедрила в среду советологов безликий, однородный и плоский униформированный стиль мышления вне зависимости от их подданства и от места проживания — на Гавайских островах, как Клименко, или в Англии, как Хинли.

Упражняясь в домыслах о неких «строгих регламентациях» социалистического реализма, с упорством, достойным лучшего применения, настаивая на давно отошедшей в прошлое догматической и вульгаризаторской трактовке эстетики социалистического реализма Хинли вместе с тем лукаво замечает, что эти регламентации кое-кому в советской литературе удавалось обходить. Вот, например, М. Горький после революции писал «главным образом на дореволюционные темы», что позволяло ему, так сказать, сохранять «иммунитет» к строгим предписаниям социалистического реализма.

Да и Шолохов, злорадно пишет Хинли, сохранил в своем творчестве собственную индивидуальность писателя гораздо в большей степени, чем это дозволялось «нормами социалистического реализма». Более того, Хинли утверждает, что «в сущности он (то есть Шолохов.— *А. Б.*) грубо нарушил дух доктрины в романе «Тихий Дон», в котором не только нет счастливого конца, но и сохраняется беспристрастное отношение автора к белым и красным... Утверждая первенствующее значение частной жизни над политикой... Шолохов подрывает самый главный канон социалистического реализма» [35].

Четверть века назад аналогичными рассуждениями «отлучал» Шолохова от социалистического реализма американский советолог Уильям Харкинс. В книге «Словарь русской литературы» (1956) он во всеуслышание объявил о том, что роман Шолохова «Тихий Дон» якобы «сокрушает дух и букву социалистического реализма».

За четверть века ни на йоту не продвинулась вперед мысль советологов в истолковании величайшего романа двадцатого века, она уныло топчется в болоте раз и навсегда сформулированных оценок и положений антикоммунистической пропаганды. На фоне этого разве не смешными выглядят попытки Рональда Хинли объявить советской критике «выговор» за то, что она, по его мнению, недостаточно строго блюдет «чистоту норм» социалистического реализма! Он так и пишет: «Во имя того, чтобы объявить Горького, Маяковского и Шолохова приверженцами метода, было выгодно не заметить многих их отклонений от строгих правил, которым обязаны были следовать менее крупные, неканонизированные писатели» [36].

Подводя итог своим «теоретическим» мудрствованиям насчет метода социалистического реализма, Р. Хинли с тоской признает, что социалистический реализм «все еще остается» обязательным, терминология и концепции метода продолжают оставаться «священными» и часто, мол, используются в качестве «кнута для стегания идеологически непокорных писателей» [37].

А кнут этот, по уверениям Хинли, держит в руках с 1934 года Союз писателей СССР. Изобретательность Хинли по части подыскания язвительных терминов, которыми он старается «наградить» руководителей Союза писателей СССР, поистине безгранична. То он называет их «набобами», то «префектами», то «наставниками», то «опекунами» [38]... И раздраженно добавляет: «Все они (то есть руководители Союза писателей СССР.— *А. Б.*) — члены партии и занимают в ней определенное положение, видя свою главную литературную функцию в том, чтобы осуществлять партийный контроль над писателями» [39].

Советолог клевещет на выдающегося советского писателя, всемирно известного Константина Федина. Инсинуации Хинли опираются на пронизанные утробной злобой и ярой ненавистью измышления литературного власовца Солженицына, этого платного агента западных спецслужб, двуличную и продажную сущность которого Константин Федин с присущей ему проницательностью и принципиальностью определил точно и своевременно.

Кто же пришелся «по сердцу» советологу среди советских литераторов? Есть ли

[34] Ibid., p. 199—200.

[35] Ibid., p. 201.

[36] Ibid., p. 201.

[37] Ibid., p. 204.

[38] Ibid., p. 227.

[39] Ibid., p. 227.

такие? Оказывается, есть. И этим милым его сердцу персонажам Хинли посвящает целый раздел главы, который называется «Диссиденты». Хинли определяет их как людей, желающих, мол, всего лишь «реформировать это (то есть советское.— *А. Б.*) общество изнутри, в основном легальными средствами» [40] (значит, не исключаются и нелегальные? — *А. Б.*).

Хинли с тоской пишет о том, что эти так называемые диссиденты неуютно себя чувствуют в советском обществе, которое относится к ним с презрением. Хинли констатирует, что, как правило, «диссидентство» заканчивается эмиграцией. «Сначала либерал, затем диссидент и, наконец, эмигрант» [41],— пишет с горечью Хинли о милых его сердцу отщепенцах, которых советские люди справедливо называют предателями.

Хинли, судя по всему, вообще считает, что профессия литератора и любого «творческого работника» представляет собой некую «аномалию» в советском обществе. Они, дескать, «трудятся индивидуально, а не в составе коллектива... они трудятся где они хотят и когда хотят, заключая договоры с периодическими изданиями и издательствами. Таким образом,— изрекает Хинли,— они принадлежат к профессии, которая... по самой своей природе противится обобществлению, и выступают в качестве производителей индивидуальных коттеджей в век производства массовой продукции» [42]...

Так вот, одним росчерком пера советолог лишил коллективистское общество развитого социализма привилегии иметь своих писателей и вообще «творческих работников». Он объявил несовместимым одно с другим, он противопоставил социализм и творческую личность, противопоставил социализм художнику. Старая, давно слышанная песенка. Подобный предвзятый и примитивный подход к толкованию коллективистских начал жизни социалистического общества можно объяснить лишь заскорузлыми пропагандистскими установками антикоммунистов, преследующих цели дискредитации идей и практики социализма любыми путями и средствами, не исключая и откровенной лжи.

Рассуждает Р. Хинли и о литературно-художественных журналах, и об издательской практике в Советском Союзе. Он пытается представить литературно-издательское дело в нашей стране в чрезвычайно узком утилитарно-политическом контексте. Он утверждает, что тиражи литературных журналов и книг определяются исключительно на базе «политических решений», а спрос читателей якобы «во внимание не принимается» [43].

Нет ничего более далекого от истины, чем подобные рассуждения Хинли. Ибо политика КПСС как раз направлена на наиболее полное удовлетворение запросов советских граждан, в том числе и в области художественной литературы. Не случайно в последние десять — пятнадцать лет тиражи литературно-художественных журналов Союза писателей СССР и произведений художественной литературы в нашей стране значительно выросли, несмотря на трудности с бумагой, и, несомненно, будут расти и впредь, вплоть до полного удовлетворения спроса советских читателей.

К понятию советских литературно-художественных журналов Хинли пытается эдак незаметно причислить и различные жалкие периодические издания, которые выпускаются различными группками отщепенцев за рубежами СССР. При этом советолог пытается выдавать их за якобы «независимые» и «самостоятельные» издания, хотя давно уже не является секретом тот факт, что источники финансирования подобной антисоветской зарубежной периодики вытекают из недр американского ЦРУ и других аналогичных западных спецслужб.

Рональд Хинли заканчивает книгу заявлением о том, что «...современная русская литература... имеет свои взлеты и свои несчастья. В этой книге я старался представить объективный отчет о том и о другом» [44].

Увы, знакомство с книгой показывает, что неприязнь автора ко всему советскому стала органической частью его мышления, лишила способности судить объективно и превратила в подобие известного в русской литературе градоначальника города Глупова господина Брудастого Дементия Варламовича, по прозвищу Органчик, от которого ежеминутно следует ожидать истошного вопля: «Не потерплю!» На самом деле Рональд Хинли выпустил очередную пропагандистскую книгу, в которой ученически покорно повторил все стереотипы американской советологии и тем самым подтвердил униформизм и тенденциозную заданность мышления всех отрядов международной антикоммунистической советологии.

[40] Ibid., p. 237.
[41] Ibid., p. 238.
[42] Ibid., 205.
[43] Ibid., p. 244.
[44] Ibid., p. 257.

◆

К 100-летию
со дня рождения
Премчанда

СИМВОЛ ЦЕЛОЙ ЭПОХИ, ИМЯ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ...

Предисловие, составление и перевод с английского и хинди
Н. ГАВРЮШИНОЙ

Одна из самых знаменательных дат в литературной жизни Индии 1980 года — празднование столетнего юбилея выдающегося индийского писателя Премчанда (1880—1936). Во многих штатах страны прошли премчандовские чтения, собрания, конференции. В марте этого года были проведены международные симпозиумы по творчеству Премчанда. В их работе приняли участие также и советские литераторы и индологи.

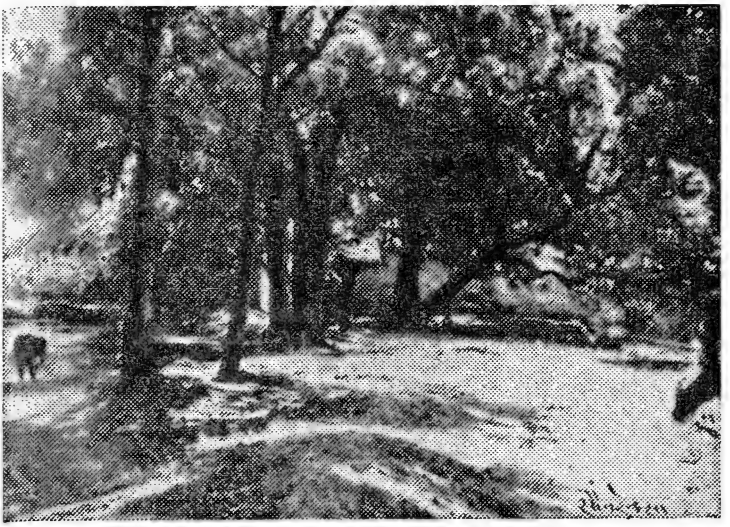
Мне посчастливилось в составе одной из делегаций побывать в эти дни в Индии. И в крупных центрах, и в маленьких городках, и даже деревнях, где бы ни проходили встречи, всюду собиралась многочисленная и весьма разнообразная аудитория. И всюду мы ощущали не только огромное уважение людей к памяти писателя, но и живой, непосредственный интерес ко всему, что касалось его творчества. Нам было особенно приятно то внимание, с каким собравшиеся слушали сообщения об изучении творчества Премчанда в Советском Союзе, о переводе его книг на языки народов нашей страны.

Чем вызван такой огромный интерес к творчеству Премчанда и в Индии, и в других странах? Что и сегодня в творческом наследии писателя наиболее ценно для индийской литературы?

Очень точно сказал об этом индийский критик Баччан Синх: «Премчанд — символ целой эпохи, всего, что связано с ней. Премчанд — имя тысяч людей, родившихся в домах бедняков и вечно боровшихся с бедностью. Он жил жизнью миллионов крестьян и рабочих...»

То, что Премчанд стал выразителем чаяний народа,— явление глубоко закономерное для первых десятилетий XX века. Вспомним слова В. И. Ленина: «Мировой капитализм и русское движение 1905 года окончательно разбудили Азию. Сотни миллионов забитого, одичавшего в средневековом застое, населения проснулись к новой жизни и к борьбе за азбучные права человека, за демократию» [1]. В этом высказывании В. И. Ленина не только раскрывается характер и направление развернувшегося в тот период национально-освободительного движения в наи-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 146.



Вид деревни Ламхи, где родился Премчанд.

более угнетенных странах мира, но и выявляется определенная историческая закономерность в развитии общемирового литературного процесса первой трети XX века. Не случайно именно в этот период почти одновременно в различных национальных литературах появляются писатели, творчество которых обращено прежде всего к борьбе за социальную справедливость. Среди основоположников новой литературы, выразившей пафос этой борьбы, в одном ряду стоят имена М. Горького, Лу Синя, Премчанда.

Уже в самом начале творческого пути Премчанд остро ощутил, что пора старой прозы миновала. «Теперь не время сидеть перед возлюбленными и проливать слезы. Мы потратили столетия на оплакивание печалей разлук и остались ни с чем»,— писал он. Современная реалистическая проза многим обязана таким романам писателя, как «Нирмала» (1923), «Арена» (1925), «Растрата» (1931), «Поле битвы» (1932), «Жертвенная корова» (1936) [1]. И видимо, в этом одна из причин того, что интерес к произведениям и личности Премчанда в Индии все возрастает, а его книги постоянно переиздаются. В 1975 году два известных прогрессивных индийских кинорежиссера — Сатьяджит Рай и Мринал Сен — сняли два фильма по рассказам Премчанда: «Игроки и шахматы» и «Саван» (оба фильма были отмечены на международных кинофестивалях).

Премчанда глубоко беспокоили наблюдавшийся разрыв между жизнью и литературой, полная неподготовленность индийского читателя к восприятию сколько-нибудь серьезных произведений.

Воспитать понимание нового содержания литературы стало для писателя первостепенной задачей. В одном из писем он отмечал: «Трудно представить себе, как легковерен и наивен наш читатель, воспитанный на литературе о прекрасных пери и принцах».

Много лет спустя близкий друг Премчанда, видный писатель Джайнендра Кумар, в книге воспоминаний подчеркнет: «Именно Премчанд перенес читателя из одного мира в совершенно иной. Он был наставником, воспитателем читателя, его духовным гуру. Эта гигантская работа потребовала от писателя всей его жизни, поглотила все его духовные и физические силы».

Идею живой связи, непосредственной преемственности творческих принципов Премчанда с задачами, стоящими перед современными писателями Индии, интересно раскрывает в статье «Литература сегодня. Чувство причастности» один из ведущих современных прозаиков литературы хинди Бхишам Сахни, с которой мы знакомим наших читателей.

Отмечая характерные черты сегодняшней литературной жизни в Индии, акцентируя внимание на социально-ангажированной литературе — как тенденции преобладающей и продолжающей традиции Премчанда,— Бхишам Сахни подчеркивает, что процесс ее становления неоднозначен, наполнен мучительными поисками.

Мы предлагаем вниманию читателей также высказывания видных художников слова Индии и Пакистана о Премчанде и отрывки из статей самого писателя и его писем индийским литераторам.

---

[1] Эти романы публиковались на русском языке: «Жертвенная корова». М., 1956; «Нирмала». М., 1956; «Поле битвы». М., 1958; «Растрата». М., 1961; «Арена». М., 1967.

■ ■ ■

МУЛК РАДЖ АНАНД

Премчанд был подлинно народным писателем: он вышел из народа и никогда не порывал с ним. В своих творческих исканиях Премчанд всегда твердо стоял на почве конкретной действительности, в его художественном воображении не было места абстракции. Поэтому ему удалось создать столь живые, полнокровные и впечатляющие образы простых людей. И нам, литераторам, сегодня следует помнить об этом...

■

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

Необычная обычность подняла Премчанда до таких высот, что сегодня мир широко чтит его память.

Он доказал всем, что не высокопоставленные классы, а жизнь простых обездоленных тружеников вдохновляет писателя на создание действительно большой литературы.

■

АМРИТРАЙ

Премчанд был удивительно искренним, простым и доброжелательным человеком. Все, кто соприкасался с ним, всегда видели его неизменно добрым и внимательным. Таким он был дома и на людях, всюду оставаясь верным природе своего характера. Его натура была подобна прозрачной голубой воде пруда. И именно в этом заключалось поразительное величие этого человека, абсолютно чуждого малейшему стремлению как-то проявить свою значительность. В своем быту, в поведении, в одежде, в манере говорить Премчанд оставался самым обыкновенным человеком.

■

ДЖАЙНЕНДРА КУМАР

Премчанд — самый большой писатель литературы хинди. Мы, говорящие на языке хинди, не можем точно оценить его: мы слишком близко стоим к нему. Это все равно что подойти вплотную к большой картине и попытаться сразу охватить глазом многообразие и глубину ее красок, ее жизненного содержания.

Я полагаю, что те, кто обратится к творчеству Премчанда спустя лет десять — двадцать, или те, которые переведут его на другие языки, лучше поймут Премчанда, глубже оценят его и воздадут ему должное. К Премчанду придет широкое признание и на других языках.

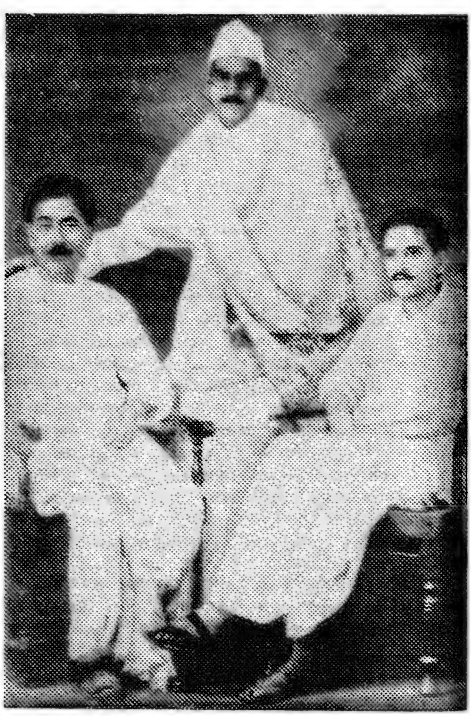
■

ХАНСРАДЖ РАХБАР

Узнать жизнь Премчанда — значит понять его искусство. Ведь искусство литератора неотделимо от его жизни. Чем глубже постигнет писатель дух своего времени, чем большую помощь окажет созидательным силам истории, тем значительнее будет его творчество, тем дольше сохранится оно в веках.

■

Премчанд (слева) с писателями Ришабхачараном и Джайнендрой Кумаром



БХИШАМ САХНИ

Литература сегодня, чувство причастности

В этом году по всей Индии отмечается столетие со дня рождения выдающегося писателя Премчанда. Юбилей Премчанда — это не формальный акт или церемониальное событие. Празднование юбилея вызывает у всех огромный энтузиазм, потому что вклад Премчанда в развитие нашей литературы необычайно велик.

Премчанд и сегодня такой же живой писатель, как тогда, когда он писал свои рассказы и романы.

Путь, по которому он направил нашу литературу в двадцатые — тридцатые годы, продолжает оставаться главным направлением и сейчас. Именно Премчанд развил у писателя чувство причастности к общественной жизни своей эпохи со всеми ее сложными противоречиями. Он не только выразил боль, страдания и устремления своего времени, но и сам стал активным участником борьбы народа за свободу и справедливый социальный строй. Премчанд сделал своим героем обычного крестьянина, простого труженика.

Чувство социальной ответственности, которое Премчанд одним из первых привнес в нашу литературу, приобрело в наши дни особое звучание.

В 50-е годы у нас появились первые романы, проникнутые критическим пафосом. Вместе с тем писатели не утратили своей принципиальной веры в жизнь и человека, в основе своей оставались оптимистами. Как раз в эти годы начали появляться сатирические очерки, заявившие о себе как о новом самостоятельном жанре, выделились писатели-сатирики: Харишанкар Парсаи, Шарад Джоши и другие. Многие из них довольно едко комментировали социальную действительность. Так, в одном из рассказов Тарсаи высмеивается продажность органов правосудия. В другом рассказе умирает клерк, но душа его не «поступает» ни в ад, ни в рай. Объявляются поиски пропавшей души. Наконец ее обнаруживают в оффисе — она прикрепилась к страховому полису клерка, и вместе с полисом ее передают от стола к столу. Еще пример. В одном из правительственных учреждений мелкий служащий подает официальное заявление о выдаче ему скамеечки для ног. Он небольшого роста, и, когда сидит в своем рабочем кресле, ноги его не достают до пола. Заявление переходит из одной инстанции в другую. Иногда его спрашивают о точных размерах скамеечки, составляются наметки и посылаются для утверждения к вышестоящим чиновникам На эту процедуру справок, проверок, подтверждений уходит год. В конце концов служащий пишет своему начальнику письмо, в котором заявляет, что необходимость в скамеечке для опоры ног отпала: ее вполне может заменить разбухшая папка, где содержится переписка по поводу его просьбы. Поиному заявила о себе критическая настроенность в поэзии протеста. Молодые поэты также испытывали острое чувство обеспокоенности тем, что происходило в обществе. Многие традиционные нормы поэтического творчества были сломаны ими — иногда с излишней поспешностью.

Поэзия, считали они, призванная выражать обнаженную правду, должна освободиться от традиционных «ненужных украшений и манерности»: рифма и ритм были выброшены за борт, старая форма в значительной степени разрушена.

У одних поэзия становилась замкнутой, авторы использовали образы и символы, затруднявшие ее восприятие. У других — отрицание старой формы и неоправданное увлечение верлибром делали их стихи непонятными широкому читателю. Несмотря на искренность выражаемых в ней чувств, она оставалась далекой обыкновенным людям и все более замыкалась в кругу избранных. В последние годы в поэзии наметилась тенденция более простого и объективного отражения реальности, что помогло ей приобрести новую аудиторию.

От скептицизма к полному разочарованию всего лишь один шаг. С конца 50-х и до конца 60-х годов настроения разочарования охватили довольно широкий круг писателей, это проявилось в негативном подходе ко всем ценностям — и моральным и социальным, привело даже к отрицанию ценности самой жизни. Но при этом нельзя не отметить, что скептицизм, на почве которого возникли все эти настроения, не был целиком и полностью порожден нашей внутренней ситуацией.

В стране, где народ ведет борьбу за выживание, где перед народом на каждом шагу встают проблемы и он не может избежать схватки с ними, где борьба носит чрезвычайно напряженный характер, литература не может выражать только отрицание, только разочарование.

К тому же ситуация у нас была иной, чем на Западе. Мы не испытывали такой беспомощности перед ростом науки и техники, как на Западе; над нами еще не нависла угроза всепоглощающего контроля большим капиталом буквально всех сфер жизни. И мы не прошли через ужасный опыт второй мировой войны.

Наша ситуация была во многом другой. Вот почему полные разочарования произведения, в которых человек загнан в тупик и жизнь для него давно

СИМВОЛ ЦЕЛОЙ ЭПОХИ,
ИМЯ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ...

уже потеряла всякий смысл,— такие произведения явились не столько результатом нашего опыта, сколько были навеяны экзистенциалистской литературой Запада.

Философия экзистенциализма нам, по сути, чужда. Несмотря на известное влияние, которое она оказала на какую-то часть писателей Индии, она все же не пустила глубоких корней в нашей литературе.

Произведения экзистенциалистского характера отличались тонкостью восприятия, но были крайне субъективны, а также довольно однообразны по своим настроениям и отношению к жизни. Сейчас это влияние ослабло. Впрочем, нельзя не сказать, что оно привело к большему вниманию к форме, средствам художественной изобразительности.

Рассказ и роман — самые популярные у нас жанры. Такое положение наблюдается по всей стране, во всей многонациональной литературе Индии. В отношении других жанров картина не столь однородна. Например, драма слаба в литературе хинди, но сильна в бенгальской, маратхской и каннада. Опять же биографический жанр слаб в одних литературах, но достаточно силен в других.

Наша проза в основном посвящена жизни городских средних слоев. Не так давно излюбленной темой был распад традиционной системы «большой семьи». Сегодня внимание писателей обращено главным образом на проблемы внутри семьи: супружеские отношения, воспитание детей, утверждение личности ставшей более самостоятельной женщины, разрушение старых условностей, появление новых ценностей и норм и д.

Но есть и такие темы, которые далеко выходят за рамки семейных отношений и семейных проблем. Это темы большого социального звучания. На севере многие значительные произведения посвящены вопросу раздела страны, общинно-религиозной розни, положению хариджан (каста «неприкасаемых») и т. д. В последнее время появилось несколько таких интересных проблемных романов. Например, роман Джагдишчандры Гупты «Земля не принадлежит нам», в котором положение бедных крестьян-хариджанов изображается весьма живо и проникновенно, или один из последних романов писательницы Кришни Собти «Эпос жизни». Писательница избирает местом действия маленький городок в западном Пенджабе, выдвигая на передний план проблему взаимопонимания и взаимоприспособления, которые складывались в течение столетий среди людей разных религий и вероисповеданий, живших бок о бок. Роман показывает, как этот сложившийся в веках образ жизни начал в период британского правления рушиться.

Это серьезное произведение, оно свидетельствует о глубокой заинтересованности писательницы в той проблеме, которую она избрала для своего художественного исследования.

Таким образом, можно говорить о том, что в жанре романа у нас наблюдается тенденция к более широкому охвату социальной проблематики. В этом и выражается чувство причастности писателя к жизни своего народа.

■

Из писем и статей Премчанда

■ ■ ■

Почему-то полагают, что роман, содержащий определенные пропагандистские идеи, может вызвать только кратковременный интерес. Но возьмите «Отверженных» Гюго, или многие произведения Л. Толстого, или, наконец, произведения Диккенса, которые совершенно определенно подчинены волнующей автора мысли. Все эти произведения относятся к высшим достижениям художественной литературы, и интерес к ним с течением времени не становится меньше. А разве книги Бернарда Шоу или Герберта Уэллса не пропагандируют те или иные идеи? Мы считаем, что талантливый художник должен создавать с той же силой художественной убедительности произведения с ярко выраженной идеей, тенденциозные, и произведения, посвященные вечным проблемам человеческого бытия.

Принцип «искусство ради искусства» может действовать только в условиях полного благополучия и процветания. Но когда нас окружают различного рода социальные и политические проблемы, когда, куда ни бросишь взгляд, всюду предстают ужасные картины нищеты и разорения, повсюду слышатся горестные стоны, разве может сердце человека не обратиться к страждущим?

Конечно, романисту обязательно надо стремиться к тому, чтобы волнующие его мысли и идеи были выражены тонко и ненавязчиво, чтобы они не нарушили художественную ткань романа, иначе роман действительно утратит всякий интерес.— Из статьи «О романе» (1925).

■ ■ ■

Все писатели в той или иной мере занимаются пропагандой — политической, моральной, духовной, интеллектуальной. Если бы не было пропаганды, то в мире не было бы необходимости в литературе. Тот, кто не может пропагандировать, тот лишен мысли и не имеет права держать перо в руке. Я с гордостью принимаю это слово — пропаганда...

Писатель всегда должен четко видеть, где зло, а где добро. И, показывая эту извечную борьбу добра и зла, четко выражать свою позицию.— Из письма к Нандадуларе Ваджепею (1932).

■ ■ □

Молодой писатель должен писать с большим душевным подъемом, так, чтобы его устремленность и оптимизм передавались другим. По-моему, самое высокое назначение литературы — поднимать других, способствовать их совершенствованию, и нашим писателям-реалистам не следует забывать это. Как было бы хорошо, если бы вы создали образы людей бесстрашных, искренних, свободных, наделенных высокими идеалами, решительностью и мужеством. Сейчас в этом такая большая потребность.— Из письма к Харихарнатху (1930).

■ ■ ■

Проза хинди все еще находится в начальной стадии своего развития... У нас никто до сих пор не занялся специальным изучением той или иной социальной среды индийского общества. Я взялся за крестьян, но сколько еще остается таких социальных слоев, которые необходимо изобразить в литературе. Никто еще не коснулся жизни садху (странствующих «святых».— **Н. Г.**). В литературе господствует фантазия, а не опыт. И все потому, что мы до сих пор никак не можем овладеть профессиональными навыками.— Из письма к Банарасидасу Чатурведи (1932).

■ ■ ■

Кишан Синх (индийский критик.— **Н. Г.**) упрекает меня в том, что действие в моем романе «Поле битвы» развертывается на фоне народного движения. Но он забывает, что в основе почти всех великих романов присутствует та или иная социальная цель, и она нередко раскрывается на фоне какого-то большого движения. «Война и мир» Толстого — что это, как не роман о нашествии Наполеона на Москву? Но писатель так описал эту войну, представил такие характеры и такие события, благодаря которым возник его удивительный внутренний взгляд на становление характера человека. Самое важное — это развитие характеров. Если писатель добился в этом успеха, то у него нет никакой причины бояться критиков.— Из письма к Маниклау Джоши (1933).

■ ■ ■

Вся моя жизнь — это работа, работа и работа. Когда я был на государственной службе, я и тогда все время отдавал литературе. В самом процессе работы я испытываю чувство радости и удовлетворения.— Из письма к Индранатху Мадану (1934).

■ ■ ■

Мне радостно, что судьба моя сложилась так, что я разделил участь бедных людей — именно это дало мне возможность понять их, понять истинные ценности жизни.— Из письма к Банарасидасу Чатурведи (1935).

■ ■ ■

Все мои чаяния и помыслы — наша победа в борьбе за независимость. Я не жажду славы или денег, не желаю машин и особняков. Могу довольствоваться простой пищей. Я хочу написать еще две-три хороших книги, и главной целью этих книг будет все то же желание помочь борьбе за независимость...— Из письма к Банарасидасу Чатурведи (1932).

◆

Л. ЭЙДЛИН

ЧИТАЯ СТАРЫХ ПОЭТОВ...

Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.—

говорит Батюшков в стихотворении «К Петину». И далее в тон предшествующему:

Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастлив ты, шалун любезный,
И в Цитерской стороне:
Я же — всюду бесполезный,
И в любви, и на войне...

Прелестные эти стихи в давнюю пору первых моих работ процитированы были мною для сравнения с параллельными строками в четверостишиях Бо Цзюйи (772—846), китайского поэта, жившего за тысячу лет до К. Н. Батюшкова (1787—1355). Но что означает время для истинной поэзии? И хотя Белинский в 1843 году, всего спустя двадцать два года после того как ужасная болезнь прервала творческую деятельность Батюшкова, с сожалением написал, что о нем «большинство знает теперь понаслышке и по воспоминанию», оба они, и китайский и русский поэт, живы для нас на пороге двадцать первого века.

В продолжающихся занятиях китайской классической поэзией я снова пришел к Батюшкову, чтение стихов которого естественно переплелось у меня с восприятием старых китайских поэтов. Я не удивляюсь этому обстоятельству и даже думаю, что переведенный на китайский язык Батюшков окажется доступен пониманию и восхищению китайца, начитанного в родном ему литературном наследии: поэзия Батюшкова отмечена прямотой логической непрерывности, что отличает и китайскую классику.

Можем ли мы точно определить, какое время в жизни и поэзии одного народа соответствует тому или иному времени в историческом развитии другого народа? Мысли выдающихся поэтов выражают склад мышления всего современного им общества. Справедливо утверждение Белинского, что «когда дело идет о таких поэтах и писателях, как Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Грибоедов и в особенности Пушкин и Лермонтов,— то каждая строка, написанная их рукою, принадлежит потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминает собою или черту их времени, или факт о их образе мыслей и характере». Выбор мой не произволен. В великом ряду поэтов допушкинской поры творчество Батюшкова, в котором явственно просматриваются главные, составляющие его элементы, дает наибольшее право да и свободу для сравнений и сопоставлений с китайской классикой танского и в какой-то мере дотанского периодов. (Конечно, каждое обнаруженное в результате сравнений и сопоставлений сходство непременно предполагает и различия, обусловленные историческими и национальными особенностями сравниваемых произведений и не рассматриваемые специально в данной статье, посвященной вопросу общечеловеческого единства поэзии.)

Батюшков не отделял поэзию от жизни: «Живи как пишешь, и пиши как живешь».

ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ (род. в 1910 г.)

Советский литературовед, переводчик; заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор. Автор книг и статей о китайской литературе, китайском театре и художественном переводе, переводов из китайской и вьетнамской классической и современной поэзии.

Так думали и китайские стихотворцы времен расцвета ныне ставшей классическою поэзии. В стихотворении «К друзьям» Батюшков в несколько перефразированном виде относит непосредственно к себе слова эти, сказанные им вообще о поэте в статье «Нечто о поэте и поэзии»: «И жил так точно, как писал...» В поэзии была его жизнь. А значит, и выдумка, бросающаяся в глаза при чтении его стихов, явилась непременной частью жизни, которою он жил. Лирика Батюшкова, облаченная в античные одежды, есть правдивое изображение души поэта, которой под стать именно данное одеяние, заимствованное из некогда воспетой другими, древними стихотворцами действительности.

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные.
Там жесткая постель —
Все утвари простые.
Все рухлая скудель!
Скудель!.. Но мне дороже.
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Здесь, в «Моих пенатах», выдуманная, но и достоверная картина. Батюшков знал греков и римлян и не подозревал о «хижинах» китайских поэтов: о хижине Тао Юаньмина (365—427), поставленной «в самой гуще людских жилищ», или той, где «Простая калитка захлопнута целый день», или той, где «За дверью из грубо сколоченных досок И цинь у меня, и для чтения книги». О хижинах Ли Бо, Ду Фу, о зове Бо Цзюйи: «Найдется ли кто смахнуть мне с кровати пыль?» Сколь дорог был бы романтической душе Батюшкова более поздний вьетнамец Чан Нян Тонг (1258—1308), у которого: «Свет лампы при полуоткрытом окне; и тесно в постели от книг. И капли росы на осеннем дворе; и воздух ночной невесом».

Есть необходимость заметить, что китайский поэт если даже и кокетничал иной раз своею «хижиной», то все равно была она всегда или почти всегда такою, как он ее описывал, рядом с ним среди близкой ему природы, от которой он не отрывался ни на день, вне зависимости от того, вершил ли он дела при дворе, управлял ли дальней окраиной или уходил к буддийской обители. Как и китайские поэты, Батюшков в стихах писал свою автобиографию, как и китайские поэты, не заменяя себя тем персонажем, что в нашем литературоведении носит имя «лирического героя», и если автобиография китайского поэта в его творчестве просто поэтизирована, то в стихах Батюшкова она и романтизирована. Разница в этом.

Взгляд Батюшкова на поэзию не расходится с определением, какое дает такому явлению человеческого существования, как поэзия, традиционная китайская мысль, если можно говорить о возможности определения для поэзии. Устами Кантемира в «Вечере у Кантемира» Батюшков утверждает, что «поэзия свойственна всему человечеству: там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует,— там же он наслаждается и чувствует добро или зло, любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии...» Не подобное ли нечто и в «Великом предисловии» к «Шицзину», древней китайской «Книге песен»: «Поэзия — вот то, к чему идут стремления. В сердце — стремление. В словах — поэзия»? «Поэзия — сей пламень небесный», по Батюшкову, «менее или более входит в состав души человеческой». А если это так, то не неожидан и вывод в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», что «счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительно, но делаются достоянием всего человечества». Не неожиданна и родственность поэзий, идущих из сердец, разделенных бескрайними просторами земли. Тем легче «делаются» они «достоянием всего человечества». (Мысли Батюшкова здесь несравненно шире кругозора китайских поэтов, знавших одну лишь Поднебесную — свой Китай.)

В поэзии Батюшкова находим мы ряд черт, родственных китайской классической поэзии, и немаловажна среди них та, на которую обращает наше внимание Белинский, говоря, что «определенность и ясность — первые и главные свойства его поэзии». Словно для нашей цели сопоставления сказаны критиком дальнейшие слова о Батюшкове: «Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки».

«Вещность» батюшковской поэзии, незамутненность ее ничем посторонним или даже боковым по отношению к основной теме, по-видимому, является принадлежностью той исторической стадии русской поэзии, на которой утверждался гений Батюшкова и которая — условно, конечно,— может быть сопоставлена с периодом подъема китайской классической поэзии.

«Определенность и ясность» надо назвать первыми свойствами также и китайской классической поэзии. (Следует, правда, оговориться, что это одна ее сторона, сочетающаяся с недосказанностью, когда «строка кончается, а мысль беспредельна» и полная законченность стихотворения находится где-то вне текста. Но не такова ли поэзия вообще?) Как замечает В. М. Алексеев в «Китайской поэзии в образцах и характеристиках»: «Китайская поэзия есть тот же документ. Образность может быть точною».

Китайская классическая поэзия пережила несколько периодов могучего цветения, своих «золотых веков». И все-таки главное золото должно принадлежать танскому трехсотлетию (618—907). Оно отличается «множественностью» гениальности. Оно еще и еще раз доказывает нам, что нет необходимости отдавать на долю будущего окончательное решение о величии поэта: танские стихотворцы получали свою сохранившуюся и доныне репутацию чаще всего при жизни. (А разве ошибся Белинский в установлении того великого ряда русских поэтов и писателей — предшественников его и современников,— в который входит Батюшков и который упомянут был выше?) К танской поэзии примыкает несколько веков дотанской,

---

Л. ЭЙДЛИН
ЧИТАЯ СТАРЫХ ПОЭТОВ...

подготовившей совершенство танской поэзии и во многом уже близкой ей.

В примерах из китайской поэзии (а иногда и из вьетнамских иероглифических произведений), приводимых здесь для сопоставления со стихами Батюшкова, я ограничил себя переведенным и опубликованным мною. Ограничил сознательно, дабы показать, что достаточно и этой малой части китайской поэзии для доказательства ее всеобщности. Все остающееся за пределами демонстрации, если даже оно в большей степени свидетельствует о своеобразии национальных особенностей китайского искусства, никак не опровергает всеобщности последнего. Я беру стихотворения, переведенные мною ранее, а не в связи с чтением стихов Батюшкова, для того чтобы исключить влияние батюшковского текста при выборе того или иного русского слова.

Мое чтение Батюшкова перемежалось с одновременным вспоминанием китайской классической поэзии. Сначала это было вспоминанием сюжетов, слов, положений стихов, которые по мере чтения все больше приходили на память. Как не остановиться при этом на весьма уместной здесь простой и прекрасной мысли Белинского: «Законы сердца, как и законы разума, всегда одни и те же, и потому человек, по натуре своей, всегда был, есть и будет один и тот же». Как не задуматься и над продолжением ее: «Но человек имеет не одно только значение существа индивидуального и личного. Кроме того, он еще член общества гражданин своей земли, принадлежит к великому семейству человеческого рода. Поэтому он — сын времени и воспитанник истории: его образ чувствования и мышления видоизменяется сообразно с общественностью и национальностью, к которым он принадлежит с историческим состоянием его отечества и всего человеческого рода».

Напутствуемые верными этими словами о месте человека в принадлежащем ему человеческом мире, приступим же к чтению Батюшкова глазами китаиста. Мы читаем пространное стихотворение «На развалинах замка в Швеции», и у нас создается впечатление, как будто оно ведет диалог со стихами Бо Цзюйи «Брожу в ущелье у Шимэньцзянь — Потока Каменных Ворот».

Я здесь, на сих скалах висящих над водой
В священном сумраке дубравы
Задумчиво брожу и вижу пред собой
Следы протекших лет и славы...

У Бо Цзюйи:

К водопаду в ущелье
нет протоптанных давних троп
Продираясь сквозь чащу,
я ищу былого следы

И все время встречаю
осень ясную гор и вод —
Так чиста и светла она,
как, наверное, в старину.

Часть широкой картины запустения у Батюшкова:

Обломки, грозный вал, поросший злаком ров.
Столбы — и ветхий мост с чугунными цепями.
Твердыни мшистые с гранитными зубцами
И длинный ряд гробов.

А дальше — ветер колышет стебли полыни, стоит ряд одетых мхом камней... И так же (но лаконичнее) у Бо Цзюйи:

Негустыми рядами
обступает дикий бамбук
Обнаженные ветром
груды тысячелетних камней...

Батюшков обращается к старинным временам, унесшим славных людей и оставившим лишь надписи на скалах:

Погибли сильные! Но странник в сих местах
Не тщетно камни вопрошает
И руны тайные, останки на скалах
Угрюмой древности, читает.

Не то же ли у китайца, но более конкретно, с указанием имени того, о ком говорят, что он оставил стихи свои на скале?

Говорят, что когда-то
Хуэйюань и все те, кто с ним,
Написали стихи свои
на огромной этой скале.

Облака их накрыли,
мох нарос и спрятал от глаз.
За зеленой стеною
не узнаешь, где их найти.

Еще до конца стихотворения Батюшков возвращается к нарисованной ранее картине опустошительного действия времени:

Но все покрыто здесь угрюмой ночи мглой,
Все время в прах преобратило!
Где прежде скальд гремел на арфе золотой,
Там ветер свищет лишь уныло!

Почти так же, с тою же логикой мысли говорит в заключение Бо Цзюйи:

С той поры как исчезло
государство Восточной Цзинь,
Никогда уже больше
не проходит здесь человек.

Безраздельно в Воротах
лишь осенний звучит поток,
И бурлит и клокочет
в пустоте он и день и ночь.

Бо Цзюйи и Батюшков, конечно, по-разному написали свои стихи о минувшей старине — Батюшков и многословнее и патетичнее, как и положено романтической его душе, — но у обоих похожее движение мысли, у обоих одно и то же обуревающее их чувство гордости и печали, выливающееся иной раз в одинаковые даже слова, и это снова убеждает нас, что «законы сердца, как и законы разума, всегда одни и те же» при всех различиях земель и народов.

Мы продолжаем читать Батюшкова. И в стихотворении «К Мальвине» задумываемся над последней строфой:

Пусть розы нежные гордятся
На лилиях груди твоей!
Ах, смею ль, милая, признаться?
Я розой умер бы на ней.

Прием этот — желание стать вещью красавицы — не нов и вполне мог быть заимствован Батюшковым в мировой поэзии. Но не у Тао Юаньмина же в «Запрете на любовь», прозопоэтическом сочинении, в переводе В. М. Алексеева опубликованном впервые в 1958 году: «Я желал бы стать веером из бамбука, чтоб держать в себе ветер прохладный и быть в твоей мягкой ладони».

«А бедный юноша... погас!» — у Батюшкова в «Последней весне» —

И дружба слез не уронила
На прах любимца своего;
И Делия не посетила
Пустынный памятник его,
Лишь пастырь, в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.

Лю Юйси (772—842) написал три четверостишия, объединенных названием «Скорблю о Потоке Глупца» и посвященных другу его, безвременно умершему поэту Лю Цзунъюаню, в которых он воссоздает место жизни и смерти поэта. В последнем из них

Ивовый вход с бамбуковой улочки
существует и до сих пор,

Мохом зеленым и дикими травами
зарастая день ото дня.

Лишь иногда соседу захочется
на свирели здесь поиграть.

Кроме него, из былых товарищей,
кто приходит сюда еще!

У Батюшкова все в возвышенном тоне — дружба вместо друзей, как всегда, некая обобщенная Делия, пастырь, молчанье мертвое гробницы. У Лю Юйси обыденные скорбные подробности в бытовом, житейском плане. Но до удивления о том же и в той же последовательности воображения!

Лаконизм обыденности китайских поэтов, вернее, опоэтизирования ими обыденности противостоит многословию романтической приподнятости Батюшкова, но родственность содержания и мысли при сопоставлении китайцев с русским поэтом обнаруживается все более без всякого принуждения. Батюшков пишет стихотворение «На смерть супруги Ф. Ф. Кокошкина», Бо Цзюйи — «За Сюэ Тая скорблю о смерти его жены». Батюшкову нужны иносказания, бог брака Гимен, прелестная Лила, обращение к любви и дружбе, китаец же ограничивается трагизмом простого описания прихода мужа с осиротевшим младенцем в пустой дом, освещенный холодным месяцем. Но и здесь и там стремление утешить своим сочувствием, невозможность равнодушно пройти мимо общечеловеческого несчастья.

Общи и раздумья о судьбе поэта — тема, не однажды затрагиваемая русскими стихотворцами начала XIX века. Ей посвящена элегия Батюшкова «Умирающий Тасс».

Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздние награды —
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.

Сам Тассо у Батюшкова осведомлен о своей «от колыбельных дней» обреченности:

Повсюду — молнии, карающей певца!
Ни в хижине оратая простова,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы
моей,
Бесславием и славой удрученной,
Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной...

О горькой судьбе «поэтов всех племен» читаем мы у Кюхельбекера; «Не трогайте ее,— зловещей сей цевницы!.. Она губительна... Она вам смерть дает!..» — восклицает Ростопчина в стихотворении «Нашим будущим поэтам», написанном ею вслед за вестью о гибели Лермонтова. «Потому что само дарованье уже несчастье несет с собой», как говорит и вьетнамец Нгуен Чунг Нган (1289—1370), заключающий этой строкой четверостишие «Думаю о Цзя И». Мысль об обреченности поэта самим талантом его, как видим, всеобща: поэта, носителя правды народной, ничто не могло спасти от «гонений и бед» (Бо Цзюйи) со стороны власть имущих.

У Батюшкова есть примечание к «Умирающему Тассу». В нем он напоминает «о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой Элегии». Он пишет о несчастьях Тассо, о приблизившейся к нему смерти, о том, что «вернейший его приятель Костантини не был при нем», о письме Тассо к другу: «Что скажет мой Костантини, когда узнает о кончине своего милого Торквато?» Как похожи и настроение и слова на те, что в письмах Бо Цзюйи к своему милому Юань Чжэню, разлука с которым нестерпима!

Батюшков в примечании сообщает о том, что памятник Тассо не был воздвигнут. О месте упокоения поэта возвещает латинская надпись на обыкновенном камне: «Здесь лежат кости Торквато Тассо». Предрешенность безвременного конца поэта! Беды поэта! Кости поэта! Так и такими словами написана Бо Цзюйи «Могила Ли Бо»:

В Цайши на крутом берегу реки
Ли Бо давно похоронен.
В бескрайних просторах, поля окружив,
сошлись с облаками травы.

Как жаль! Под заброшенным этим холмом
в глубинах могильных кости
Когда-то и небо могли устрашить,
и землю встряхнуть стихами...

На свете поэтам предрешено
не знать в своей жизни счастья,
В сравнении даже с бедами их
Ли Бо обойден судьбою.

У Батюшкова есть цикл стихов под названием «Подражания древним». Эти шесть стихотворений носят учительный характер. В них и Немезида, и долина Йемена, и розы, и песни соловья, и амвра, и парус—все тот чужеземный романтический арсенал, который дорог поэту. Но «Подражания древним», пусть в иной, более свободной от явного архаизма форме, начиная с Ян Сюна (53 г. до н. э.— 18) существуют в Китае, и, значит, тяга к древнему как к некоему образцу есть черта и национальная, и общечеловеческая. Я легко представляю себе поэзию Батюшкова соседствующей с поэзией любого содружества китайских поэтов. Его чарка нашла бы свое место среди тех пускаемых по изгибам ручья, как это полагалось при встрече друзей-стихотворцев, и не нарушила бы доверительную их беседу. В метафорическом смысле, конечно.

Таковы некоторые строки китайской поэзии, приходящие на память при чтении Батюшкова. Но отрывочные эти воспоминания влекут к поискам закономерностей сходств поэтической мысли и поэтического воображения.

Поэзия в человечестве рождалась из простых чувств — любви, дружбы, единения с природой. Любовь способна говорить лишь о себе самой — однообразнее в счастье и разнообразнее в страданиях безответности,

---

Л. ЭЙДЛИН
ЧИТАЯ СТАРЫХ ПОЭТОВ...

разлуки, борьбы. («Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».) Дружба в поэзии намного шире и вместимее любви, которую она непременно какою-то частью содержит в себе. Дружба открывает поэзии путь для мыслей о мире, для столкновения взглядов, для единения взглядов. Другими словами, она дарит поэзии мысль, без чего поэзия существовать не может. Чувство дружбы — одно из самых возвышенных человеческих чувств — в определенный период развития национальной поэзии занимает в ней доминирующее место. Различны частные причины этого явления в разных литературах, но ни одна мировая литература не миновала его.

У Пушкина в стихотворении «19 октября»:

Печален я: со мною друга нет.
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.

«Печален я: со мною друга нет» легко укладывается в строку китайского стихотворения по одному даже синтаксису своему. И как антитеза — из Гао Ши (700—765): «Ты не печалься, что в дальний путь не едет с тобою друг...» И пожимающая руку друга рука, о которой мы у Батюшкова читали в «Тени друга»:

О! Молви слово мне! Пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает.
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою — с любовию сжимает...

Рука, о которой мы у Тао Юаньмина читали в стихотворении «Печалюсь о моем двоюродном брате Чжундэ»:

Когда я, прощаясь,
в руке держал твою руку,
Я мог ли подумать,
что первым исчезнешь ты!

Сжимающая руку друга рука, о которой написал Бо Цзюйи в стихотворении, посвященном Юань Чжэню:

С приходом рассвета
во сне я увидел Юаня.
Он тоже, конечно,
не мог обо мне не подумать.

В моем сновиденье
я крепко сжал руку Юаню.
Спросил у Юаня:
«Скажи мне, о чем твои мысли?»

Дружба не беспринципная (как мы бы теперь сказали) не слепая (какой может быть любовь), а дружба людей, единых по устремлению мысли, людей одного сердца — только так понимали чувство дружбы, отдавая ему свою поэзию, китайские стихотворцы, чье ясное осознание существа дружбы можем мы увидеть хотя бы на примере стихотворного ответа Тао Юаньмина цаньцзюню Пану:

Что мнится иному
сокровищем дивным,
Порою для нас
вовсе не драгоценность.

И если мы с кем-то
не равных стремлений,
Способны ли с ним
быть мы родственно близки?

Я в жизни искал
задушевного друга
И вправду же встретил
того, кто мне дорог!

Для нас остается бесспорным наблюдение В. М. Алексеева в статье «Китайская литература и ее читатель»: «В самом деле, можно без большого преувеличения назвать китайскую классическую поэзию поэзией дружбы двух созвучных умов, взаимная привязанность которых не что иное, как очень внимательное и глубокое взаимное проникновение».

Батюшков был поэтом того времени, когда русская поэзия уже зазвучала во всю силу, но принадлежала еще достаточно узкому кругу. А отсюда и превалирующая тема дружества, стихи с посвящениями друзьям-поэтам. Дружба в стихах Батюшкова переплетена с темой любви, и если подлинный предмет любви ускользает от нас, окутанный античными и придуманными названиями, то дружба реальна и конкретна — со всеми именами и фамилиями друзей-поэтов. В статье о погибшем на войне Петине дана Батюшковым оценка чувству дружбы: «Я видел сию могилу, из свежей земли насыпанную; я стоял на ней в глубокой горести и облегчил сердце мое слезами. В ней сокрыто было навеки лучшее сокровище моей жизни—дружество». В «Странствователе и домоседе»: «Пред дружбой ничего и Гиппократ с искусством!» В «Дружестве»:

Блажен, кто друга здесь по сердцу обретает,
Кто любит и любим чувствительной душой!

А затем примеры из античности — верности в дружбе, всегдашней готовности умереть за друга. (У Тао Юаньмина в стихотворении «Воспеваю Цзинкэ»: «Человек благородный, не колеблясь, умрет за друга».)

Стихотворную часть «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова издатель начинает с написанного поэтом в 1815 году стихотворения «К друзьям», в котором Батюшков, если угодно, подтверждает высказанную выше автором настоящей статьи мысль о многосторонности темы дружбы в поэзии.

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть может драгоценен.
Я добрым гением уверен,
Что в сем дедале рифм и слов
Недостает искусства:
Но дружество найдет мои, взамену, чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья;
Заботы, суеты, печали прежних дней,
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал;
Как вовсе умирал для света;
Как снова мой челнок фортуне поверял...
И, словом, весь журнал
Здесь дружество найдет беспечного поэта...

«Весь журнал» дружества находим мы в свою очередь и у китайских поэтов. Китайцы предмет своей любви отстраняют от поэзии дружбы, Батюшков же соединяет его с дружбой («Богинею слепою Забыт я от пелен,* Но дружбой и тобою С избытком награжден!»), но и для него, как мы уже знаем, «лучшее сокровище» жизни — дружество, и «светлый ум», который «сретает хоры муз», дороже «страстей волненья». Друг и беседа, друг и уединение, друг и родной край, друг и разлука и встречи — вот главные темы «поэзии святой» и у Батюшкова и у китайцев. Знакомая нам хижина сопровождает и эту и ту поэзию. Для китайца —

как некоторое отражение действительной жизни, для Батюшкова — как необходимый реквизит жизни поэтической.

С десятилетиями и веками ширится круг тем поэзии, усложняется взгляд человека на изменяющийся мир. В своем развитии лирическая поэзия все более становится не рассудительной, не чувственной, а сюжетной, и мы не можем сразу выделить тему друга, так прямо обнаруживающую себя на ранних этапах. Она уходит вглубь на глазах наблюдателя истории поэзии, и у Мэн Хаожаня (689—740) она явственнее, чем у Бо Цзюйи (на протяжении полутора веков), а у Батюшкова намного явственнее, чем у Пушкина (на протяжении десятилетий).

Что такое друг? Китайцы ответили на этот вопрос, называя другом того, кто «знает сердце», «знает меня», «знает тон», то есть ценит напев (мой напев). Это все синонимы друга. И они, безотносительно к не существовавшей для Батюшкова китайской поэзии, известны и ему. Разве не о нем, не о таком друге тоскует он и в стихах, и в прозаическом выступлении, названном «Нечто о поэте и поэзии»? «Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами — и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы — суть сокровища истинные...»

Как не взволноваться тем, что и для Пушкина «знание сердца» есть признак подлинной дружбы. «Ты сердце знал мое во цвете юных дней...» — говорит он в написанном в 1821 году стихотворении «Чаадаеву».

И разве не о нем, не о таком друге и не в таких выражениях тоскует Мэн Хаожань в стихотворении «Летом, в южной беседке думаю о Сине старшем»?

Невольно захочешь
по струнам циня ударить.
Печально, что нет здесь
того, кто напев оценит.

При чувствах подобных
о друге старинном думы.
А полночь приходит —
и он в моих сновиденьях.

Или в стихотворении «На прощанье с Ван Вэем»?

И в этой дороге
кто станет мне доброй опорой?
Ценители чувства
встречаются в мире так редко...

Друг по сердцу дороже родного по крови. В этом пафос поэзии Батюшкова («милый брат» — говорит он о Петине), так понимать надо строки Мэн Хаожаня в «Моих чувствах в последнюю ночь года».

Отдвигается вдаль
кость от кости, от плоти плоть,
И на месте родных
верный спутник — мальчик-слуга.

Тема дружбы всеобъемлюща: в ней и родина и чужбина, в ней и скоротечность человеческой жизни... В «Пленном» Батюшкова пленный о родине поет там,

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам,
Где мирт душистый расцветает,
Склонясь к ее водам,
Где на горах роскошно зреет
Янтарный виноград,
Златый лимон на солнце рдеет,
И яворы шумят...

Но при всех этих и других непроцитированных здесь «прелестях» и несмотря на них

Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне
И в дебрях и в снегах.

Пустыня отчизны, и дебри, и снега ее дороже бархатных лугов и душистых миртов насильно навязанной чужбины. Не то же ли самое чувство, не та же ли мысль в четверостишии «Домой», написанном в Китае знакомым нам вьетнамским поэтом Нгуен Чунг Нганом?

Осыпаются листья старого тута,
шелкопряды уже исчезли.

И душисто цветенье раннего риса,
и жиреть начинают крабы.

Говорят, что когда вы в родимом доме,
хороша в нем даже и бедность,

И хотя очень радостна жизнь в Цзяннани,
мне скорей бы домой вернуться!

Понятие родины у Батюшкова порою сужается до родимой стороны, до отчего дома, как в «Послании И. М. Муравьеву-Апостолу»:

В Пальмире Севера, в жилище шумной
славы,
Державин камские воспоминал дубравы,
Отчизны сладкий дым и древний град
отцов...

Именно в таком понимании часто встречается родина у дальневосточных поэтов.

Включенная в творчестве Батюшкова в тему дружбы скоротечность жизни («Жизнь — миг! Не долго веселиться, Не долго нам и в счастье жить!» — в «Совете друзьям»), зависящая от бега времени (там же — «И время сильною рукой Губит и радость и покой!»), поразительно напоминает многократно трактуемую в китайской поэзии связь времени с пребыванием человека в мире (у Тао Юаньмина в стихотворении «Вторю стихам чайсанского Лю» — «Время промчится, и через одно столетье Тело и имя — в тени сокроются оба!»).

В «Моих пенатах» Батюшков зовет друга к соревнованию с губительным временем и с самою смертью:

Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! Скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И леность жизни краткой
Продлим, продлим часы!

Этого же по существу хочет китаец — спокойнее, без наречения времени богом, без сравнения жизни с цветущим лугом, без откровенного упоения сладострастьем (хотя у Батюшкова оно в более широком, нежели нынешнее, понимании), но того же. И та же

у него лень «жизни краткой», но называется она у поэта-чиновника «сянь» — беззаботностью, отвлечением от докучных служебных дел. Батюшков помогает лучшему пониманию трудно переводимого этого «сянь».

Что человек перед ликом сметающего его времени? Он — странник мира, минутный странник. Так называет его Батюшков в стихотворении, написанном на смерть И. П. Пнина:

Любимца нежных муз осиротела лира,
Замолк певец: он был, как мы, лишь
странник мира! —

так называет он его и в стихотворении «К другу»:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем,
На крыльях радости летим к своим
друзьям —
И что ж?.. их урны обнимаем...

Последним стихотворением Батюшков как бы откликается для нас на те же чувства разочарования и горя опоздавших встреч, о которых поведал нам Бо Цзюйи в его «Чжучэньцунь — Деревне Чжу и Чэнь»:

И на юге в Цзяннани,
и на север от вод Реки —
Всюду мог бы увидеть
прежних близких моих друзей.

Прежних близких и милых,
распростился с кем навсегда.
О кончине которых
узнавал через много лет.

Что же до того что человек — «странник мира», то таков он и у китайца — в «Девятнадцати древних стихотворениях» начала нашей эры, у Тао Юаньмина:

Дом мой родимый
всего лишь двор постоялый,
И я здесь как будто
тот гость, что должен уехать,—

у Бо Цзюйи («Провожаю весну»):

Человек в своей жизни
словно странник в спешном пути.
Он идет шаг за шагом,
забывая передохнуть.

Каждый день он шагает
по дороге, что перед ним.
Перед ним же дорога
как протянется далеко?

Человек и время, которое человеку неподвластно. Жизнь и смерть, которой человек избежать не может. Буддизм, христианство и другие превратившиеся в религию ранние мыслительные системы при возникновении своем выразили опыт, накопленный человечеством, и мысли по поводу существования человека на земле. Поэтому христианин и китаец (конфуцианец, даос, буддист) и говорят почти одинаково о самом главном — о времени и о смерти, и нет ничего неожиданного в близости поэзий Батюшкова и так и оставшегося ему неизвестным китайца. И если у китайца нет мольбы к богу и нет веры в загробную жизнь, сулящую встречу с возлюбленными сердцу друзьями, то есть зато не столь вожделенное и обещающее несравненно меньше услад, но все же «грядущее рожденье», на которое он уповает и на которое ссылается как на некую возможную и не слишком конкретную отдаленность, чему примером может послужить четверостишие Бо Цзюйи «Под горой расстаюсь с проводившим меня буддийским монахом»:

Я потревожил учителя: вниз
сам он меня провожает.

Мы попрощались: кому из людей
чувства такие знакомы?

Мне уже семьдесят минуло лет,
за девяносто монаху.

Знаем мы оба, что свидеться вновь
нам лишь в грядущем рожденье.

Чем можно завершить опыт (если воспользоваться терминологией Батюшкова) сравнения на первый взгляд далеких литератур, которым, как оказывается, присущи одни и те же общечеловеческие черты, выражаемые и в мыслях и в словах поэтов, переговаривающихся друг с другом «поверх барьеров» времени и пространства? Чем? Единством их главной направленности, той, что прежде всего отличает литературу всякого народа. А это нравственность, как она выражена последней строфой батюшковского «Счастливца»:

Душ великих сладострастье,
Совесть! Зоркий страж сердец!
Без тебя ничтожно счастье;
Гибель — злато и венец! —

за что ратуют все те, с кем мы сравнивали Батюшкова,— и Тао Юаньмин, и следующие за ним танские поэты, и представители классической поэзии Вьетнама.

Развиваясь в самых разных условиях и выявляя таким образом неодинаковые стороны своей внутренней сущности, литературы всех народов мира в то же время несут в себе всечеловеческие, общие свойства. Настоящая статья содержащимися в ней примерами и хочет служить подтверждению той истины, что все присущее человеческой природе находит сходное выражение в поэзии всех человеческих обществ вне зависимости от их жизненных и культурных связей друг с другом, вызывая ни с чем не сравнимую радость узнавания знакомого и близкого в далеком и доселе неведомом.

Необходимо, однако, иметь в виду, что общечеловеческое единство мировой поэзии как выразительницы мыслей и чувств не снимает существенных различий между национальными литературами, развитие каждой из которых связано с самобытным процессом исторического развития того или иного общества, и что, следовательно, единство это не должно приводить к пристрастным поискам явлений, заранее усвоенных нами из историй западных литератур, и к перенесению оттуда же готовых терминов.

Ничто не в состоянии запечатлеть наши чувства сильнее и точнее, чем поэзия. Она остается свидетельством, которое доносит до нас волнения человеческой жизни прошедших столетий и утверждает нас в понимании единой природы человечества, какие бы национальные формы поэзия ни принимала. Уловить сходное и отметить особенное — такова задача исследователя. И все же чем больше замечаем мы сходного, тем настоятельнее необходимость изучения того особенного, что принадлежит только данной и никакой иной литературе и что обогащает наше представление о человеке.

◆

Заметки на полях

«ВОССТАНИЕ ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕТ СВОЕГО ЭПИКА»

Чем дальше от современников отодвигается в прошлое то или иное выдающееся событие, тем яснее вырисовывается его истинное место в цепи общественного развития. Этот закон исторической перспективы полностью подтверждается на примере Словацкого национального восстания 1944 года. Проблемам его художественного отображения в словацкой литературе 70-х годов посвящена аналитическая статья Ивана Сулика «Молодая проза и восстание», опубликованная в журнале «Ромбоид». Статья продолжает давнюю традицию литературно-критического осмысления творческой разработки темы восстания. Вместе с тем в ней содержатся наблюдения, навеянные актуальными запросами современного этапа литературного развития в Чехословакии.

Постоянное внимание словацкой критики к проблематике художественного освоения темы антифашистской борьбы в литературе в высшей степени оправдано исключительным значением самого этого события, явившегося прологом народно-демократической и социалистической революции в Чехословакии. О предпосылках и ходе восстания, его ближайших и стратегических следствиях существует огромная литература. По определению одного из его непосредственных организаторов и руководителей, нынешнего президента ЧССР Густава Гусака, оно стало «поворотным моментом всей истории» словацкого народа. Во вступлении к своему фундаментальному «Свидетельству о Словацком национальном восстании» (1964) — книге, сыгравшей важнейшую роль в восстановлении целостной правды о Восстании, в очищении его заветов от субъективистских интерпретаций и извращений,— товарищ Гусак писал:

«Люди меняют мир, но в ходе этих перемен они сами становятся другими. Таким историческим событием, которое существенно способствовало изменению положения словацкого народа и в процессе которого наш народ сам претерпел значительные перемены, и было Словацкое национальное восстание, события, предшествовавшие ему и происшедшие после него».

Если вспомнить, что свыше двух месяцев — в августе—октябре 1944 г.— словацкие повстанцы, защищая освобожденную территорию, оттягивали на себя семь дивизий фашистского вермахта, что даже оттесненные в горы они продолжали героически сражаться до подхода частей Красной Армии, то лишь этот — военный — аспект национально-освободительной борьбы словацкого народа заслуживает самого глубокого признания. Но собственно боевым вкладом далеко не исчерпывается величие массового подвига словацких антифашистов.

К моменту начала восстания не было недостатка в маловерах, прежде всего в среде буржуазных политиков, которые отнюдь не склонны были к широкому развороту вооруженной борьбы — стоило ли совать пальцы в огонь, когда исход войны и без того был ясен, а Красная Армия уже подходила к границам марионеточного клерикально-фашистского Словацкого государства? Тем не менее словацкий народ по зову коммунистической партии поднялся на борьбу против «своих» правителей, начал, по словам участника Восстания, виднейшего словацкого литературоведа Александра Матушки, «свою малую отечественную войну в той Великой Отечественной»:

«Он вынес приговор тому, как с ним обращались, тому, что возвещали и внушали ему, и по собственной воле пошел в огонь борьбы... Это был воистину акт: с одной стороны, акт самоутверждения, показавший нам самим, кто мы такие; с другой — свидетельство перед всем миром, что мы встали в строй, участвовали, не были в стороне. Мы сражались во время Восстания за себя вместе с другими и вместе с другими сражались за общее дело».

Соратник Густава Гусака по 5-му нелегальному ЦК Компартии Словакии поэт Лацо Новомеский в 1964 году писал:

«Без преувеличения можно сказать, что Восстание стало источником нового сознания нации... Его значение состоит и в том, а сейчас, после временного отступа, можно даже сказать *прежде всего* в том, что историческому сознанию нации оно придало однозначно прогрессивную, недвусмысленно революционную и демократическую окраску».

Словацкое национальное восстание как многогранный фактор трансформации национального характера, как немеркнущая духовная традиция и плодотворный критерий оценки последующих исторических преобразований стало фундаментом всего послевоенного развития словацкой литературы, важнейшим катализатором ее роста и художественного обогащения. Нет, пожалуй, среди представителей старшего и среднего поколения словацких писателей поэта, прозаика, драматурга, который не откликнулся бы в своем творчестве на события той незабываемой осени 1944 года. С темой Восстания, с осмыслением его заветов связаны и наиболее значительные, прежде всего эпические произведения, созданные в словацкой литературе после второй мировой войны. Назовем для примера «Хронику» Петера Илемницкого, трилогию Владимира Минача «Поколение», романы Рудольфа Яшика «Мертвые не поют». С каждым годом все дальше отодвигается в прошлое суровая пора борьбы и испытаний — по-прежнему незабываемая для ветеранов, подернутая легендарной дымкой для более молодых, заставших лишь эхо войны. Тем не менее тема Восстания не стареет, оставаясь одной из наиболее популярных в словацкой литературе. В 70-е годы к ней настойчиво обращаются представители младших поколений, не прошедшие огня реальных сражений, но чувствующие внутреннюю необходимость соотнести свой личный, «мирный» опыт с заветами борцов за свободу родины. Примечательной эволюции этой темы на протяжении последнего десятилетия и посвящена упомянутая уже статья словацкого критика Ивана Сулика. В чем же видится критику суть происходящих перемен?

До начала 70-х годов, вплоть до появления «новой волны прозаиков», тема Восстания и войны разрабатывалась исключительно теми литераторами, которые были прямыми участниками или свидетелями событий. Проза, создававшаяся «ровесниками Восстания», видела свою миссию прежде всего в правдивом его воспроизведении с опорой на собственные, неизгладимые, «аутентичные» впечатления автора. На этой основе возникло несколько интересных, крупных по охвату событий произведений и множество книг, удовлетворявшихся частными наблюдениями, таких, где реальные факторы, подвергнутые литературно-художественной обработке, сводились в конечном счете к одному и тому же скромному знаменателю — «так было дело, ничего с в е р х этого». Иван Сулик пишет:

«До сих пор не нашлось, к сожалению, среди «повстанческого поколения» прозаика, который сумел бы воплотить давнюю мечту В. Минача — дать словацкой литературе и ее читателю синтетический, «гениальный» (слова Минача), великий роман о Восстании как о выдающемся событии *европейского* масштаба в 1944—1945 гг. ...До сих пор нет у нас широкой эпической реки, которая была бы — при соответствующих жанровых отличиях — на уровне «Свидетельства о Словацком национальном восстании» Гусака... А как нужна она нам, как ее нам недостает!»

Задача создания великого эпоса об этой эпохе исторического перелома в судьбах многих народов волнует не только словацкую критику. Нетерпеливое ожидание подобных масштабных произведений присуще литературоведам и критикам всех европейских социалистических стран. В многочисленных дискуссиях последних лет не раз обсуждались даже возможные параметры грядущего эпического синтеза. Ностальгия критики по универсальному синтезу несомненно связана с объективной общественной потребностью в такого рода произведениях. В этом контексте представляют особый интерес и размышления Сулика о дальнейших путях разработки темы Восстания в словацкой прозе.

Сулик справедливо отмечает момент постепенного превращения этой темы из современной в историческую. То, что было сделано в литературе и историографии до 70-х годов, должно рассматриваться теперь с новых позиций:

«Молодой автор с самого начала «освобожден» от строгого объективизма, его творческую фантазию не сковывают пережитые факты, у него больше возможностей обрести свой специфический, неожиданный *угол зрения*... Перед прозой ныне стоит задача охватить связи, существующие между человеком, историей, обществом и моралью; речь идет о том, чтобы запечатлеть историю в тот самый момент, когда она «переливается» в человека, возвращая ему то, что он в нее «вложил»... Иными словами, речь идет о «романе, в котором *история* и ее познание придут в равновесие с *человеком*... Восстание будет оцениваться комплексно, как деяние личности и нации, как факт словацкой и международной истории, а конкретно обусловленная этика словака органически войдет в нравственное силовое поле мирового прогресса...

Осознает ли молодая проза свое предназначение? Соизмеряет ли она — именно в таком «максималистском» ключе — свои усилия с достижениями предшественников? По мнению Сулика, большинству авторов, а среди них немало одаренных прозаиков, опубликовавших уже по нескольку книг, явно недостает здоровой творческой амбициозности, отваги первопроходцев.

«Возник парадокс, суть которого в том, что вопреки расширению наших представлений о поре Восстания, вопреки все более углубляющемуся освоению опыта нашего тридцатипятилетнего общественного развития проза до сих пор занимается лишь размельчением сложившихся

ранее моделей и стереотипов, остается на уровне частных набросков к теме Словацкого национального восстания... Восстание оказывается лишь исходной точкой: оно «сбоку», «около», «впереди», «позади» или вообще «вне» сюжетной доминанты; оно то возникает внезапно, как поезд, врывающийся на станцию (у Милана Шутовца в «Мужчинах и оружии»), то о нем говорится между делом, скороговоркой (у Винцента Шикулы в «Мастерах» и «Герани»), то оно «над» нами (так воспринимают его подростки в книгах Яна Бенё и Петера Ковачика), а еще чаще «за» нами, выходящими из него с соответствующей долей трагического или оптимистического опыта («За час до рассвета» Петера Ковачика, «Сахар» Карела Горака, «Память сердца» Петера Андрушки и др.). Отвлекаясь от фабульной основы, оно вроде бы повсюду... Жаль только, что целостная картина Восстания должна складываться в молодой прозе из мелких осколков».

Обращаясь затем конкретно к названным и многим другим произведениям, Сулик не проходит мимо тех ценных находок и плодотворных импульсов, которые присущи молодой словацкой прозе. Он по достоинству оценивает общую позитивную значимость актуализации темы Восстания с позиций морально-нравственного императива, обращенного к современности,— эту устойчивую тенденцию в современной литературе, помогающую ей преодолеть «кризис критериев», который разразился в конце 60-х годов. Дальнейшее движение по такому пути «конфронтации современного мироощущения и былого будет препятствовать — по мысли Сулика — тому, чтобы Восстание стало лишь объектом архивных изысканий».

Статья Ивана Сулика симптоматична во многих отношениях. Прежде всего она отражает возрастающую требовательность чехословацкой марксистской критики к идейно-эстетическому уровню современной литературы. И в этом смысле отвечает тем высоким задачам, которые были выдвинуты перед литературно-художественной критикой состоявшимся в марте 1980 года Пленумом ЦК КПЧ по вопросам идеологической работы. Скидки на конец 60-х годов, вольно или невольно делавшиеся при оценке развития литературы в первой половине 70-х, в теперешней, полностью консолидированной ситуации постепенно становятся тормозом для дальнейшего поступательного движения литературы. Требовательное ожидание новых, поистине зрелых произведений, пронизывающее статью Сулика, отнюдь не беспочвенно. Оно основано на реальных достижениях словацкой прозы всего послевоенного 35-летия.

Художественное творчество не поддается, разумеется, точному программированию. Но критические прогнозы нередко себя оправдывают. Во всяком случае они помогают создать атмосферу высоких критериев, нетерпимости к холодным, ремесленным поделкам, к «вторичной» литературе вообще, стимулируя тем самым рост подлинных талантов.

«Восстание все еще ждет своего эпика».

В этой заключительной фразе статьи чувствуется не только трезвая констатация сегодняшнего состояния словацкой прозы, но и выражена обоснованная надежда на ее будущее.

Ю. БОГДАНОВ

◆

Публицистика

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ

ГОЛОСА КАНАДЫ

Мне не хотелось бы занимать внимание читателя рассуждениями о том, что ему преотлично известно и без меня. Решившись написать эти беглые заметки о Канаде, я намеренно ограничиваю рассказ о бытовых подробностях чужого мироустройства — не так давно вышла в свет моя книга о США[1], где этой стороне жизни, по сути дела характерной и для канадцев, уделено немало места.

Это сугубо личные заметки — о том прежде всего, каковы мы в представлении доброго в основном и трудолюбивого народа Канады, который пытаются, как в водоворот, затянуть в чужие вихри враждебности к нам и к нашей стране. Ни на что всеобъемлющее заметки эти не претендуют — просто советский писатель, не раз бывавший в Канаде, приехал туда и в 1980 году, пытаясь углубить свои представления о том, что там происходит. Попытка понять всегда казалась мне делом перспективным и стоящим усилий; если бы все добрые люди в мире хорошо понимали друг друга, наверное, на свете жилось бы не хуже.

Впрочем, существует еще желание постичь логику недругов: звено в общей цепи стремлений не самое приятное, но тем не менее необходимое чрезвычайно. Пытаясь понять других, мы в любом случае бесконечно приближаемся к цели. А сама цель? Устроить этот мир лучше. Устроить его так, чтобы в нем можно было жить, работать, писать книги и воспитывать детей. Это как минимум.

[1] См.: «Кубатура яйца». М., «Советский писатель», 1978.

...Я всегда внутренне напрягаюсь, встречаясь с людьми, для которых все на свете заведомо ясно. Мир многомерен, и преобразование шарообразной планеты в нечто плоское — занятие неблагодарное, причем для обеих сторон — для рассказчика и для слушателя. Есть такой дефект зрения, когда все видится плоским; встречается такой дефект и в писательстве, ничего не поделаешь...

Фарли Моуэт, очень хороший канадский писатель и яркий, незаурядный человек, пытался, когда мы беседовали с ним, вычислить для меня ориентиры, которые позволили бы увидеть и понять самое главное в канадской жизни. Долго думал, а затем пришел к выводу, что у каждого в этой жизни свое и то, что интересно одному, другого может вовсе не волновать. Самого Моуэта, к примеру, давно и всерьез заботит процесс культурного и экономического поглощения Канады Соединенными Штатами. В газетах печатают сообщения о том, что некоторые провинции Западной Канады стремятся и к административному союзу со Штатами; для Моуэта сие — нож острый. И вправду, как реагировать, когда (он показывает мне газету) некий Деннис Хэм выступает в парламенте, заявляя, что с южными соседями у западных канадцев гораздо больше общего, чем с другими провинциями собственной страны, а посему-де надо им «вливаться в США»?

Штаты и без того покрикивают на канадцев при каждом удобном и не очень удобном случае. Девять десятых канадской промышленности проглочены ими, более 60 миллиардов американских долла-

КОРОТИЧ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1936 г.)

Советский поэт и публицист; автор многих книг стихов и прозы, вышедших на украинском языке и переводившихся на языки народов СССР и за рубежом.

ров вложены в промышленность страны Кленового листа. Все — от производства автомобилей до фабрикования политических лидеров и до турниров профессиональных хоккейных команд — зажато в тугих американских объятиях.

Фарли Моуэт организовал письмо нескольких политических деятелей к правительственным организациям США. Он рассказывает об этом посмеиваясь, но чувствуется, что сам характер письма был ему весьма по душе: Соединенным Штатам предлагалось обратиться с просьбой о вступлении в состав Канады. Аргументы? Естественные ресурсы Канады еще не настолько израсходованы, озера и реки не так загажены, преступность ниже, медицинская помощь во многом социализирована. «Если уж Штатам так хочется быть с нами, пускай попросят о приеме в Канадскую федерацию,— шутит Фарли Моуэт.— А мы подумаем и откажем...»

Увы, все это остается в сфере более или менее популярных политических забав. Повседневность — куда серьезнее.

Инфляция. Безработица. Даже билеты на хоккей подорожали. Заурядная винипегская команда «Джето» продает билеты на свои матчи по цене от 7 до 12 долларов. Я еще помню времена в шестидесятых годах, когда за семь-восемь долларов в сутки можно было снять вполне приличный номер в гостинице. Сейчас плачу тридцать, и знакомые поздравляют меня, что удалось устроиться так дешево. Билет в кино стоит пять долларов, а в театр дешевле чем за семь нечего и соваться...

Рассказ о недавней своей поездке в Канаду я не делю на подглавки: нет такой потребности в небольшом материале, где одно связано с другим достаточно врочно. Все непросто — будто нарочно множество трудностей и проблем собралось в тугой узелок именно сегодня; с какой стороны ни тронь — оживают возбужденные голоса, всплески ярких, движущихся картин и лица... Это как разбитое зеркало — множество отражений, портреты и впечатления, живущие фрагментарно,— надо объединить, слить голоса в едином повествовании, словно актерские голоса на сцене...

Воспоминанием о театре я и продолжу свои записи.

Торонто, улица Александры, 12 — самый центр большого города. Вот уже четырнадцатый год труппа «Уоркшоп продакшн» под неизменным руководством Джорджа Лакомба играет в этом зале на триста мест, переоборудованном из старого склада. Скамьи полукругом начинаются от небольшой сцены, а затем круто вздымаются вверх, сияя искусственной красной кожей обивки.

Спектакль о гражданской войне в Испании — о канадских интербригадовцах, павших в сражении против фашистов Франко. Театр, как большинство в Северной Америке, не репертуарный: одну и ту же пьесу играют каждый вечер шесть раз в неделю — пока находятся зрители. Так продолжается месяца два. Труппа Джорджа Лакомба невелика — актеров набирают специально для спектакля, их редко бывает больше десяти; надо ведь еще платить — за аренду зала, за костюмы, за реквизит.

Политическая репутация театра стабильна: лишь в последнее время он показал спектакли о чикагских демонстрациях протеста семидесятых годов, о Никсоне («Ричард трехразовый») — эти спектакли даже возили в США, и Лакомб гордится, что в Нью-Йорке труппа играла долго и с аншлагами. Перед «Мак-Папс», пьесой о гражданской войне в Испании, играли спектакль о Че Геваре — тоже с большим успехом: издалека приезжали чилийские политэмигранты, а ветераны войны в Испании пришли целым отрядом.

Торонтская прогрессивная газета «Кенэдиен трибюн» заканчивала рецензию на «Мак-Папс» вполне определенно: «Какой актуальный спектакль! Особенно если учесть сегодняшнюю политическую обстановку, когда мир на планете находится вновь под угрозой, когда снова поднимает голову фашизм. Настоятельно необходимо, чтобы молодежь посмотрела эту пьесу и извлекла для себя соответствующие уроки. И было бы неплохо, если бы труппа из Торонто показала эту постановку на сценах других городов страны». Я спросил у руководителей «Уоркшоп продакшн», как им удается реагировать на мировые события столь оперативно и с учетом зрительских интересов. Кто им пишет пьесы?

«Если есть готовые пьесы, мы хватаемся за них обеими руками. Так было во многих случаях — от брехтовского «Артуро Уи» до «Че Гевары» итальянца Марио Фратти. Но чаще всего нам никто не приносит пьес на тарелочке, из интересного литературного материала мы сами компонуем текст представления и сами готовим сценический вариант,— говорит Джордж Лакомб.— Театр должен быть неотделим от своего времени и говорить о том, что волнует людей».

Коренастый, подвижный человек с бородой, создавший этот театр и сделавший его одним из самых популярных в Торонто, эмигрант-англичанин Джордж Лакомб чрезвычайно дорожит репутацией своего дела — театр актуален в любом замысле и любой постановке. Театр документален: на задник сцены проецируется, скажем, групповое фото канадских интербригадовцев, и слегка загримированные актеры проходят сквозь него, по сути не отделяясь от окружения т е х лет и т о г о настроения, откровенно принадлежа н а ш е м у времени.

«Мы изучаем материал, погружаясь в него,— говорит Джордж Лакомб.— Когда готовили эту пьесу, актеры прочли об испанской революции все, что возможно. Поэтому они столь естественны. Вообще естественность — один из принципиальных залогов успеха в таком «нескрытном» театре, как наш: скажем, в спектакле о Чили мы пригласили чилийку, которая играла на гитаре и пела свои песни. Американское посольство было представлено на сцене ме-

---

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
ГОЛОСА КАНАДЫ

ханическим пианино, бессмысленно, фальшиво и назойливо бренчащим невпопад...»

Театр не скрывает своих симпатий и антипатий — его отношения со зрителями самые определенные и откровенные. Когда 5 ноября 1974 года «по неустановленной причине» театр вспыхнул, выгорев изнутри почти совершенно, сотни добровольцев-друзей пришли на помощь. Стоимость ремонтных работ была оценена в 102 тысячи долларов, и вся эта сумма была немедленно собрана в Канаде — под новый 1975 год, 31 декабря, спектакли возобновились.

Ах, как важно беречь репутацию, дорожить ею! «Уоркшоп продакшн» подготовил «Мак-Папс» и пригласил ветеранов интербригад на премьеру, а после премьеры — на сцену, где вся постановочная группа вместе со зрителями устроила им овацию. Это было актом не только справедливости, но и мужества.

Канада ведь до сих пор официально не признала подвиг собственных интербригадовцев (напротив, до сих пор не отменен закон, принятый во времена гражданской войны в Испании и грозящий каждому из интербригадовцев двумя годами тюрьмы и штрафом в две тысячи долларов) — и вот ветераны следят за событиями, будто снова выходят на поле боя. Пьеса составлена из их писем и интервью (а до сих пор ведь интербригадовцам не позволено принадлежать к общенациональной организации ветеранов, в которую можно поступать даже власовцам, бандеровцам или тем, кто участвовал в корейской войне. Интербригадовцам мстят до сих пор...). «Поэтому мы и поставили «Мак-Папс»,— сказал мне Терри Ингрем, администратор труппы.— Об испанских ветеранах из Канады больше тридцати лет вообще молчали. А сейчас этот разговор особенно важен — о способности канадцев принимать самостоятельные политические решения. Вы знаете, поработав над таким материалом, я лучше понял события в Афганистане и ваше решение пойти навстречу его просьбе помочь защитить республику».

...Актеры поют «Интернационал» и «Бандьера росса», актеры погибают и воскресают в удивительно изобретательно и точно поставленной пьесе. А столько ведь говорят и пишут о духовном безвременье, поразившем сцены, киноэкраны и души! О том, что нет ни прошлого, ни будущего, а о настоящем и говорить неохота. Душевная неопрятность, которую чаще всего пытаются оправдать таким образом, не коснулась торонтского театра; актеры и постановщики определенны в своей работе и в своих отношениях с миром. «Мак-Папс» очень важный спектакль, и для меня главное даже не в самой пьесе, а в способности убедить ею, в рассказе об интернационалистах, сумевших увидеть мир широко, понять, откуда исходит угроза для него, и погибнуть, предотвращая опасность. В Испании полегло более шестисот канадских интербригадовцев. Один из героев пьесы говорит другому перед боем у Теруэля: «Должно быть, нас здесь зароют. Наверное, так тому и быть, но если ты возвратишься в Канаду и кто-нибудь спросит, что мы здесь делали,— скажи им...»

Пьеса вызвала огромный резонанс — газеты печатали рецензии на полполосы, выходил комментарий за комментарием — далеко не все благосклонные к подвигу интербригадовцев. «Собираетесь по стране прокатиться с пьесой? — спросил я.— Такое ведь простое оформление, как у вас, можно перевезти в багажнике...» «Афганистан... Кто же нам разрешит?» — ответили в труппе и показали рецензию в торонтской газете «Стар», где, понятное дело, писали о «советских комиссарах в Испании». Не так просто. «Здесь вся жизнь поляризована сегодняшним отношением к вашей стране или к Штатам. Модно считать, что сии полюса несовместимы ни в чем. Конечно же, идейное противостояние категорично, но американский магнит ближе и мощнее. Вы должны были это сами почувствовать. Здесь не очень много добрых людей, вернее — людей, поспешающих сотворить добро. Если уж творят, то точно знают, за что и кому. Жизнь эта ожесточает...»

Память возвращает к транзитному залу Шереметьевского аэропорта, кучевым облакам за иллюминатором и самолетному салону, где вместе со мной летели в Канаду советские рыбацкие экипажи, направлявшиеся в порт Галифакс. Перелет был долгим, самолет трясло на тысяче воздушных колдобин, и кроме собственной усталости я ощущал еще и страдания сменных рыбацких экипажей, спешащих к пункту назначения — своим сейнерам. Рыбацкие магнитофоны нестройно пели о звезде, горящей в небе и, по утверждению артиста Хиля, принадлежащей именно им. Соседи по креслу сменялись без всякой системы — уходил один, возвращался другой, каждый рассказывал какую-нибудь историю, почти все они были о том, как их сейнер кого-нибудь спас: вытаскивали из воды голландцев или японцев, а раз — американцев... За спиной чей-то голос бурчит: «Если бы этот самый ихний, который их ребят не пустил на Олимпиаду, тонул — вот уж не вытащили бы! Я бы ему еще багром поддал, потому что нельзя жить на одной злобе, не люблю я злых людей...»

«Вот городит, слушай ты их,— говорит мне сосед-моторист,— да на самом деле они бы и президента вытащили в случае чего, и президентскую сиамскую кошку тоже... Конечно же, доброту человеческую можно исследовать и на примерах посерьезнее, но разве не аксиома это, что люди наши добры, полны ощущением силы и по мелочам не ссорятся?»

А сколько уже вбивали миру — капиталистическому миру — в сознание, что мы неуживчивы, мелочны, злы! Скверную сказочку о «кровожадных советских» можно услышать в ситуациях самых, казалось бы, неожиданных. Перед отлетом я прочел американские олимпийские репортажи о победе их хоккеистов на зимней Олимпиаде. Капитан американской команды давал послепобедное интервью. «Что вас удивило больше всего?» — спросил комментатор. «То, что советские хоккеисты улыбались нам после проигранного ими матча»,— ответил американец. «Да что они кусаться должны были?» — подумал я...

«Здравствуйте,— сказал таможенник.— Что за книги в чемодане?» Впервые в Канаде у меня спросили о книгах уже в таможне. Обычно хотят знать, нет ли фруктов, мяса, сколько сигарет с собой, сколько водки. О книгах спросили впервые; впервые канадский таможенник с такой серьезностью листал альбомы и мои собственные сочинения, не интересуясь, что еще скрыто в чемодане. «Спасибо,— сказал человек в синей форме.— Идите». Я переступил символическую белую линию и вошел в Монреаль.

Это удивительный город, особенно при смене времен года, когда зимняя белизна перебивается зеленью или когда осеннее золото разливается по монреальским холмам. Город-порог, едва ли не все, кто прибыл в Канаду из европейских стран, начинали отсюда; город, где смешаны сто наречий и языков (но преобладает французский — очень четко преобладает). Такой странный это и такой гостеприимный город; мсье Аделяр Пакен встретил меня в международном аэропорту и по дороге к гостинице рассказывал о делах Ассоциации «Квебек — СССР», им возглавляемой: концерты, собрания, дискуссии, вечера...

Добрый-предобрый стоматолог с многолетним стажем, Пакен не так давно оставил зубоврачебную практику и полностью посвятил себя работе в Ассоциации «Квебек — СССР». Он убежден, что избавление мира от вражды и озлобленности — дело важное; борьба с предубежденным отношением к советским людям и советской стране — процесс, имеющий важнейшее значение для Канады. Аделяр Пакен — патриот своей франко-канадской провинции до такой степени, что даже английский язык его больше похож на диалект французского, но когда речь заходит о гипотетическом отделении Квебека от Канады (плебисциты, опросы, дискуссии, ссоры на эту тему идут бесконечно — когда в 1965 году я прилетел в Монреаль, первым, что довелось прочесть в местной газете «Ситизен», было сообщение об очередном взрыве в городе и французской надписи «Свободу Квебеку!» на треснувшей от взрыва стене) — мсье Пакен вполне определенен. «Это нам ни к чему,— твердо говорит он.— Американцы рады бы разорвать нашу страну на клочки, чтобы легче было вертеть нами. Весь Квебек и Монреаль с ним вместе сохраняют свой французский дух и великую речь Мольера, но от Канады нам отрываться нельзя. Это так же верно, как то, что ваши бывшие украинцы ничего не стоят, отрываясь от Украины или даже ополчаясь против нее... Ни одна нация не может ускорить свой расцвет, унижая и оскорбляя другие народы».

Всякий раз, когда сталкиваешься с национализмом воинственным и непримиримым, отгородившимся от всего мира и требующим признать свою исключительность, убеждаешься, что это было нужно еще кому-то, кроме тех вот самых надрывающихся на перекрестках «суперпатриотов». В Монреале, едва прилетев, я встретился с отзвуками деятельности украинцев, в разное время покинувших родину. Были среди них и такие, кто вздыхал по разным националистическим украинским республикам, возникавшим в первые послереволюционные годы. Мне кажутся очень справедливыми слова великого гуманиста Альберта Швейцера, цитирую их по недавно изданной у нас монографии: «Что такое национализм? Это низменный патриотизм, доведенный до потери всякого смысла и имеющий такое же отношение к его благородной и здравой разновидности, какое навязчивая идея, овладевшая идиотом, имеет к нормальным человеческим убеждениям». Но это, так сказать, попутно, чтобы определить свое отношение к теме.

Борьба франкоканадцев за свое место в обществе выстрадана и во многом справедлива. Но когда в центре Монреаля, на улице Святой Катерины, продавщица, услышав, что я обращаюсь к ней по-английски, отвернулась и не пожелала ответить, я подумал, что некто очень злобный нашептывает у нее за спиной.

Стравливают нации, чтобы легче было в дальнейшем извлекать корысть из каждой из них по отдельности. На поверку оказывается, что за любым из «чисто национальных» конфликтов стоит чисто социальный контекст, и, чем дальше, тем отчетливее он виден...

Весна разгуливала по Монреалю, и, как всегда весной, верилось, что все хорошие люди и добрые дела пребудут несокрушимы; все, кто разрушает мосты дружбы, не достигнут успеха, и тепло воцарится не только в природе, но и в отношениях между странами и людьми. Мсье Пакен тоже хотел верить в это — он ругал американские радио и телевидение, навязывающие своим слушателям и зрителям так много неправды, в том числе — о нашей стране. Отрывая обе руки от руля, мсье Пакен воздевал их к синему небу, поражаясь, что столь грязные радиоволны невидимо распространяются в такой праздничной бирюзовости...

Теплый фронт Атлантики двигался навстречу теплу, разливающемуся от Тихого океана. Весь телеэкран занимала карта, исчерченная температурными кривыми — морозные островки сохранялись лишь в центре, в районе Виннипега, но и там прогнозы погоды сулили скорое потепление, реклама демонстрировала женщин и мужчин в легких одеждах, а туристские агентства прельщали поездками к невиданной красоты пальмам. Канада истосковалась по теплу, торопила его; зима была долгой и трудной как никогда.

Сменилось правительство. Молодой консерватор Джон Кларк премьерствовал менее года и, не снискав лавров, провалился на голосованиях всех уровней, уступив место привычному Пьеру-Элиоту Трюдо, лидеру партии либералов, почти неизменно властвовавшей с конца шестидесятых годов. Единственной новинкой, которую Кларк пытался ввести в канадский политический быт, оказалась антисоветчина истеричности небывалой — ни один канадский

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
ГОЛОСА КАНАДЫ

премьер не проявлял такой ретивости в поддержке самых враждебных нам сил. Традиционно «параллельные, но нетождественные» политические курсы Канады и США на какое-то время слились в единый антисоветский зигзаг. Затем Кларка провалили на выборах, и все в Канаде, как водится, стали гадать, что за жизнь будет при возвратившемся к власти Пьере-Элиоте Трюдо. (Пока устраивался в монреальской гостинице «Кресцент», спросил у дежурного администратора, что он думает о смене властей. Парень улыбнулся: «Как вам сказать?.. Во всяком случае, серьезная политика — занятие для ответственных профессионалов, а Трюдо — профессионал. У нас шутят, что Канада отметила Международный год ребенка, провозгласив Кларка премьером».)

Первый вечер в Канаде был смутным, тревожным. Изучив карту погоды, расчерченную на телевизионном экране, и щелкнув переключателем, я впустил к себе в комнату последние известия. За окном повизгивала тормозами монреальская ночь, а спать хотелось все меньше — сообщения дикторов излучали тревогу; по экрану шагали безработные (лишь в Канаде их более миллиона), кричали иранские революционеры у осажденного посольства, Картер уговаривал человечество не ездить в Москву. Люди, готовившие телепрограммы, не любят меня и не любят мою страну — это ощущение приходило сразу же, и сколько бы ни настраивать себя на безразличие, не могло не волновать сознание, что создатели теленовостей препарируют их таким образом, дабы чувство вражды нарастало у зрителя — и к моему, и к другим народам. К иранскому, скажем,— даже не к демонстрантам у посольства, а к народу вообще — хроникальные кадры повествовали о жизни мужчин с неумытыми лицами, о житье-бытье неухоженных и свирепых женщин в черной мешкообразной одежде, с автоматами в черных ладонях. Затем появились свирепые палестинцы в налобных повязках, заросшие бородами до глаз,— так они возникали в кадре и такие интервью раздавали, что ребенку становилось понятно — и государства надо лишить их, и территорию аннексировать, и непременно отобрать Иерусалим у таких злодеев. Ну, а потом возникла Москва — с толстыми злыми тетками у подземного перехода, с милиционером, чье лицо исказила ярость,— некрасивый город, где живут люди, явно недостойные Американской Любви...

С первого же щелчка телеаппаратов мир классифицировался на симпатичный и несимпатичный Соединенным Штатам — Канада была захлестнута, затоплена волнами ведущейся на ее территории чужой психологической войны; канадский обыватель зябко поеживался, внимая чужой лжи. Нетрудно себе представить масштабы психологической агрессии против Канады, имеющей, по сути, общую телесеть с США. Если уж Индийский океан и Персидский залив администрация США считает своими внутренними водоемами, то чего церемониться с канадцами? Глаза отдыхали только на рекламных роликах господина американского Президента; Президент в телестудии выполнял школьные задания с маленькой дочкой, он лучезарно улыбался, отрываясь от задачников,— судя по всему, решение их было Президенту по силам, и это доставляло ему удовольствие. В Соединенных Штатах тоже была весна, комментатор погоды выступал в белом костюме с красным цветком в петлице — но ощущение праздника не приходило и на миг. Обиду, досаду вызывало это зрелище унижения и потери достоинства — чужим ли президентом, чужой ли телекомпанией...

На всю Канаду транслировалась печальная новость о гибели команды американских боксеров. Но как! «Самолет советского производства Ил-62 разбился под Варшавой! Эти боксеры были надеждой Америки. Они побеждали советских чемпионов...» Дальше — обломки самолета и вбиваемая между строк мысль, что едва ли не все — от самолета до места катастрофы — подстроено этими самыми советскими. Гнусно...

Диктор сообщал, что, по непроверенным данным, в Афганистане советскими войсками использован нервно-паралитический газ. Он, диктор, ни за что не может ручаться, но тем не менее... Гнусно...

Почти в то же время у афганских басмачей были захвачены всамделишные американские гранаты со смертоносным газом — газеты Северной Америки дружно умолчали о значении страшной находки. Советские руководители выступают, разъясняя нашу политику,— в североамериканской прессе ни слова. Зато позаботиться, чтобы каждый американский зритель был «точно» осведомлен, когда и кого будет захватывать Советская страна,— как же, «непременно захватят, сам Бжезинский по телевизору говорил!» — на это mass media не жалели ни времени, ни средств.

Апелляция к обывателю: господам. потребителям информации с великим усердием «промывали мозги». Враждебные чувства к Советской стране стремились «довоспитать» суетливо, в спешке, будто желая перечеркнуть все хорошее, что здесь знали о нашем народе.

Атмосфера тревоги внедрялась назойливо и неуклонно. По данным опросов общественности, больше половины населения соседних США уже поверили, что третья мировая — на пороге. Вбивали такую веру и в канадцев. Чужие ветродуи усердно гнали в Канаду холодный воздух сквозь все слои с таким трудом прогревшейся атмосферы. Канаду запугивали идеологически, пропагандистски страна давно уже была оккупирована, и канадский эфир поглощал множество передач, исполненных намеков на коварные советские планы. Самый что ни на есть обывательский страх пошевеливался даже в людях, которых не так легко запугать.

Не облегчал канадцам житья-бытья, да и не собирался этого делать и пронзающий указательным перстом телеэкраны президент соседней страны.

В стране растут цены — уже рекламируют постное масло в аэрозоле (меньше уходит, экономично!), все быстрее раскупаются малолитражки (наша «Лада» — один из популярнейших автомобилей Ка-

нады), банки выплачивают до 16 процентов годовых и зарабатывают на этом, потому что инфляция все покрывает. Канадские бизнесмены стремятся торговать с нами — ведь с юга американцы возвели мощный таможенный барьер против канадских товаров (один производитель телефонного кабеля в Виннипеге упрямо поддерживает Ассоциацию «Канада — СССР», надеясь, что так будет легче наладить торговые отношения с нашей страной. Он даже просил поспособствовать организации экскурсий «Интуриста» по его предприятию. «Только взаимное узнавание сближает народы; а торговля — одна из форм узнавания»,— сказал мне бизнесмен). Впрочем, американцы требуют не продавать Советской стране даже те из иностранных товаров, куда входят части, произведенные их фирмами. А у канадцев большинство предприятий — смешанные, и американские пальцы лежат почти на каждом серьезном клавише...

Перелистываю страницы канадской записной книжки...

В самолете из Торонто в Виннипег попросил у стюардессы что-нибудь почитать, и она принесла мне свежий номер американского «Спортс иллюстрейтед». Изучая новости о ведомых и неведомых мне видах спорта, я пропускал рекламные вкладки, пока не зацепился за одну из них — на 67-й странице. На фотографии в пол-листа красовалась очаровательная бутылка водки, именуемой «Измира», вокруг бутылки струился текст: «Подавайте к столу самое лучшее, не покупайте у русских! В противоположность распространенному предрассудку, лучшая водка на свете вовсе не из России... Преданным «Измире» любителям выпивки сие известно уже многие годы. Поэтому они не столь агрессивны, как русские». Что же — есть и такой уровень...

А накануне утром взирал на телеэкранные подвиги мультипликационного Супермена, спасавшего латиноамериканцев от наводнения и беззащитных людей в чалмах — от злого старого джина из бутылки: джин захватывал в плен и мучил хороших людей. Мелькали злые герои с красными звездочками, как опознавательным знаком; волк разговаривал с русским акцентом, и некто, стремящийся взорвать плотину в центре большого города, полз к ней, придерживая локтем автомат, похожий на советский... Дети могли приобрести в магазинах зелененьких пластмассовых красноармейцев для сокрушения их при игре в войну, а что можно было купить в книжных киосках и у журнальных стоек — нетрудно себе представить. (Спрос рождал предложение, но спрос бывал и приказным, «сверху», действуя не на всех; в большом торонтском книжном магазине «Клессик букшоп» над стойкой с разноцветными американскими изданиями солженицынских сочинений висел белый плакат: «Распродажа за полцены». Товар не шел.)

Канада — страна достаточно развитая, но в пропагандистском отношении она зависит от США и вынуждена хлебать варево из чужих информационных котлов.

Настойчивость чужой пропаганды, желающей настоять на своем, была поразительной и повседневной, причем во всемирном масштабе, и статистика свидетельствовала об этом. Если уж американские средства массовой информации смогли наводнить продукцией своей пропаганды довольно просвещенную и много читающую Канаду, то с множеством других стран дело обстояло еще проще. Стоит вдуматься в некоторые данные об этом пропагандистском шовинизме...

В индустриально развитых капиталистических странах на тысячу жителей приходится 312 газет, в развивающихся — всего 29; книг соответственно — 346 и 90. Это значит, главным толкователем событий становятся американская газета и американская книга — попросту их больше, их вызывающе больше, они лучше отпечатаны и подготовлены с большим умением. Впрочем, и те хилые новости, которые пробиваются ко множеству людей, ищущих слова правды, как правило, бывают уже разжеваны и преобразованы в жвачку цинковыми челюстями гигантских корпораций капиталистических стран — у них широкая корреспондентская сеть и настойчивые продавцы информации. Всю свою враждебность к нам информационные корпорации чужого мира пытаются внушить человечеству — и делают это, можно сказать, с глобальным размахом.

Большая часть зарубежного материала поступает в органы массовой информации несоциалистических стран от четырех крупнейших западных информационных агентств — американских ЮПИ (Юнайтед Пресс Интернэшнл) и АП (Ассошиэйтед Пресс), французского Франс Пресс и английского Рейтер, которые сообща контролируют около 85 процентов новостей в несоциалистическом мире. АП имеет 10 тысяч абонентов в 107 странах, а ЮПИ — 6,5 тысяч получателей информации в 114 странах. С помощью системы ЭВМ и спутников эти два американских агентства контролируют 70 процентов всех распространяемых новостей. В среднем они при этом передают 1 200 слов в минуту, но располагают мощностями, дающими возможность в минуту передавать до 56 тысяч слов...

Не могу сказать, что становилось страшно от ощущения необъявленной, но ведущейся против нас тотальной психологической войны. Напротив, меня в Канаде не раз поражал и радовал контраст между истеричностью телеэкранов и некоторых газетных полос — преимущественно американских полос и телеэкранов — и тем, сколь часто люди, скользнув взглядом по такой захлебывающейся от ненависти пропагандистской полосе, демонстративно отодвигали ее. Не раз я встречался в Канаде и с независимостью мышления, и с довольно стойким иммунитетом к оголтелости антисоветской лжи; почти всегда удавалось нащупать пульс собственного достоинства в чужой руке, протянутой для рукопожатия. «Давай потолкуем начистоту,— собеседник дружески подмигивал.— Что рассказывают о вас, мы уже

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
ГОЛОСА КАНАДЫ

слышали, но как все выглядит на самом деле?»

...Я согласился выступить в передачах двух больших радиостанций, дав интервью известным канадским комментаторам Дейвиду Шацки и Биллу Маквену, широко транслирующим свои программы по Северной Америке и старающимся учитывать при этом точку зрения собственных слушателей. Разговор с тем и с другим начинался со взаимных опасений. (С их стороны: «Не побоитесь ли выступить?» С моей стороны: «Не вы ли причастны к изготовлению всей этой чуши?») Надо сказать, что интервью прошли доброжелательно и живо — обсудили множество вопросов — от афганских событий до стиля газетных информаций, не обижая и не унижая при этом друг друга. С обоими комментаторами я встречался раздельно и, не сговариваясь, тот и другой отметили почти в одних и тех же выражениях: «У наших южных соседей собственные проблемы, мы же пытаемся разговаривать с Канадой по-своему, без истерик. Просто радиоволны спутываются в эфире, зарубежная корреспондентская сеть у американцев куда шире, и мы вынуждены пользоваться ею; они уже не раз прямо-таки с головой погружали нас в потоки тенденциозности...» Точнее многих свои взгляды на эту же тему изложил Доналд Менли, заведующий отделом международной информации популярнейшей в Канаде англоязычной газеты «Глоб энд мейл», что выходит в Торонто. Неторопливый человек в очках, медленно и сосредоточенно передвигающийся среди гранок, машин для фотонабора, кофеварок и прочих реалий журналистского быта, заполнивших все пространство вокруг него, Менли быстро взглянул на меня и развел руками: «Мы не унижаемся до печатанья интервью с королями, премьерами и генералами, изгнанными из своих стран. Мы пытаемся публиковать вашу и американскую точки зрения параллельно, соблюдая некий нейтралитет. Но не забудьте — я нейтрален внутри собственного социального клана. Журналист я, простите великодушно, буржуазный — отсюда и оценки мои; хотя то, что я не принимаю вашей социальной системы, вовсе не означает, что я буду опускаться до охаивания ее с помощью дурно пахнущих аргументов. Критерии порядочности для меня еще и профессиональны — я могу и должен отстаивать свои взгляды, но при всем том пытаюсь делать это, не унижая себя заведомой ложью».

Без особого энтузиазма побывал я на Йонг-стрит, где в огромном угловом небоскребе разместилась редакция «Стар», другой торонтской англоязычной газеты. Пересказывать здесь все, что изрекала эта газета в наш адрес, было бы попросту неприлично — меня интересовало, откуда все это, почему «Стар» столь категорична в своем антисоветизме. Просветить меня взялся некий Джеральд Аттинг, самый авторитетный из международных комментаторов «Стар». Мы уселись в редакционном баре, заказали какую-то выпивку, и каждый демонстративно заплатил сам за себя. Вернее, первым расплатился за свой стакан господин Аттинг — от собственного стакана он и выстроил начало концепции: «Вы, советские, до ужаса дружелюбны. Прямо-таки укачиваете своими объятиями и тостами; да-да, был у вас, знаю! Мне в Сибири показывали молодые города и новые дома на улицах городов древних. Было это красиво, но в «Стар» нас интересуют вещи попроще — мы возбуждаем и удерживаем читательский интерес событиями сенсационными, а вы все демонстрируете красивые города и заводы да устраиваете дружеские обеды с объятиями. Вы дружелюбны до ужаса...»

«Я убежденный антисоветчик,— перешел к уточнениям Аттинг (так и сказал, еще и ладонью по столу хлопнул).— Мы не давали и не дадим положительных материалов о вас, потому что вы всегда будете враждебны мне и моей газете. Что бы вы мне ни подсовывали (в Сибири рабочие хотели поговорить со мной, но я-то знаю, что их специально готовили), я не поверю вам и всегда буду против вас...»

Это был враг. Причем догматически мыслящий — самый примитивный и самый упрямый из возможных врагов. Выступая на радиостанции Си-Би-Си, я рассказал о поразительном душевном окостенении господина Аттинга. Мне редко приходилось видеть таких — чаще они стесняются совсем уж разоблачаться. Но белозубая тень американского президента покачивалась над журналистом из «Стар», благословляя и охраняя его. Когда я спросил об Аттинге у других газетчиков из Торонто, те развели руками: «Личность известная! Он всегда был таков, но никогда не распалялся до такой степени. Атмосфера благоприятствует! Тем более что он связан с американской прессой и часто напрямую работает для их газет».

В калейдоскопе свившихся в клубок впечатлений, имен, голосов, цитат отношение к Советской стране все четче прорезывалось не как личное, но как одна из основ взгляда на все на свете. По отношению человека к Советскому Союзу можно было угадать его мнение о войне и мире (кстати, Аттинг из «Стар» убежден, что новая мировая война неминуема, больше того — «она уже идет»): воззрения на проблемы культуры, труда, свободы — все это переплеталось с отношением к нам, как в фокусе, сходилось в этой точке — вовсе не странно поэтому, что отношение к ней формируют столь упорно, точнее говоря, навязывают.

«Барьер с Запада на Восток куда выше, чем барьер с Востока на Запад,— сказал мне Майкл Лукач, президент Ассоциации «Канада — СССР».— У вас знают западные языки, здесь не знают славянских; у вас давно, внимательно и широко изучают западную культуру и политику, здесь же никто, кроме профессионалов, всерьез не занимается вами. Канада мучительно и давно отстаивает свою самостоятельность от Соединенных Штатов; нынешняя ситуация, когда нашу страну натравливают на вас,— часть долгой дискуссии о праве Канады на самостоятельную политическую линию. У нас все лучше понимают, что далеко не обязательно то, что выгодно правителям США, выгодно для Канады;

мы ведь не посылали своих солдат во Вьетнам, в нашей стране скрывались десятки тысяч американских парней, избегавших призыва. Но промышленность Канады поглощена Штатами; наши средства массовой информации перекрикиваются, подавляются американскими рупорами. Я бы, пожалуй, сказал, что Америка возвращается к временам маккартизма, но если первый маккартистский приступ был внутриамериканским, то второй пытаются сделать универсальным, всемирным. Внедряется, так сказать, глобальный маккартизм. Пока это почти не удается, могу судить даже по членству в Ассоциации — с начала очередной антисоветской истерии (или Мировой Холодной войны, как зовут ее в США) из Ассоциации «Канада — СССР» вышло всего пять человек. Мы на днях проводим свою национальную конференцию и знаем уже, что в члены Ассоциации поступят новые десятки канадцев, хотя не всем из них придется легко...»

Самого Майкла Лукача недавно уволили. Хозяин фирмы вызвал его и развел руками — держать в штате человека, столь тесно связанного с Советской страной, стало опасно. Лукач — художник-дизайнер, в Канаде известный и популярный, но фирма зависит не только от канадских заказов — хозяин поглядывал на юг, оттуда уже грозили. Итак, президент Ассоциации «Канада — СССР» потерял работу. «Хоть бы кто-нибудь из газетчиков, так любящих здесь и в США причитать о правах человека, выступил, защищая меня! — горько улыбается Лукач.— Выгнали меня, и добыть работу будет не так просто. Вот пока играю в цыганском оркестре трижды в неделю, это все, что сумел найти...»

Майкл Лукач — с Карпат, из тех предгорий, где встречаются Чехословакия, Венгрия, Польша, Украина, все там знают по нескольку языков и помнят немало трагедий, рожденных национальной рознью. Из тех мест вышло немало заядлых националистов; вышли оттуда и интернационалисты, которыми гордится мир. С Лукачом все ясно: дед его, прославленный Мате Залка, сражался в Испании за Республику; дядя, Ян Лукач, погиб и похоронен под Барселоной — он был в чехословацкой интербригаде и до последнего вздоха верил в грядущее братство трудящихся. Сам Майкл приехал в Канаду из Чехословакии в 1939 году, спасаясь от фашистов, устраивался в Канаде непросто, но стал известен как художник и музыкант, а затем — и как деятель всеканадских организаций, борющихся за мир и дружбу между народами. Вот уже два года, как он — президент Ассоциации, распространяющей знания об СССР; на апрельском Всеканадском конгрессе вновь избран на этот пост.

«Вас боятся,— говорит Майкл.— Боятся убедительности советского мира. Вы к этому привыкли, а здесь люди не могут поверить в самые простые правды о вас — что в СССР нет безработицы, не существует расовых проблем, не распространены наркотики...» (Лукач и я обедали с одной из влиятельных и достаточно популярных сотрудниц канадского телевидения. Когда Майкл ненадолго отошел от стола, телевизионщица наклонилась ко мне и доверительно, серьезно глядя в глаза мне, спросила: «Мы друзья, правда? Вы мне можете сказать — а то Лукач скрывает,— сколько безработных у вас в стране?..»)

Повторяю, стена, которую возводят, пытаются возвести против нас, строится явно в панике, в спешке: бетонные блоки вперемежку с необожженными кирпичами да банковскими сейфами. Стена весьма непрочная. Я видел, как на демонстрацию трех обычных одночастевых лент о нашей стране (причем никаких объявлений в газетах не было, да и пленки получили с опозданием) народу в стоместный зал Ассоциации набилось так много, что Лукач вынужден был организовать повторный показ. В стену, возводимую, чтобы скрыть советский мир от глаз собственного народа, чужая пропаганда пытается вживить тяжелые глыбы страха, но это оказывается не таким уж легким делом.

Страх, навязываемый по отношению к нашей стране, срастается с неуверенностью в собственном их канадском житье-бытье, и это, пожалуй, главное. Отношение к событиям на Ближнем Востоке — это ведь отношение к отоплению своего дома и к бензину в баке автомобиля; в большинстве случаев — ничего больше (несколько раз мне сообщали популярную сейчас шутку: «Цены на нефть повышаются так быстро, что скоро в Канаде станет выгодно запирать целый город на зиму и всем вместе улетать в Африку, чтобы экономить на отоплении»).

Соединенные Штаты не страдают от угрызений совести и не привыкли экономить ради чьего-то блага. Считается, что на одни лишь домашние кондиционеры США расходуют энергии больше, чем иные африканские страны для всех своих надобностей, включая тяжелую промышленность. США, в которых живет около 6 процентов населения планеты, используют от 40 до 70 процентов естественных ресурсов земного шара, считая сие вполне нормальным. Очень многие богатства, которые США числят своими, расположены, сколь ни странно, за их границами — в Канаде, но северные соседи Штатов понемногу привыкли к этому. Приучили. Если мир и разделен, то вовсе не так, как того заслуживают канадцы, но это-то им и не советуют обсуждать. С юга, ежели надо, умеют прикрикнуть, и уже не один кабинет министров Канады усвоил это на собственном опыте.

Впрочем, все-таки люди хотят дружить. Многие граждане Канады и США — выходцы из соседних прикарпатских деревушек, для многих границы между странами и вправду не существует, хотя в большей степени с юга на север, чем с севера на юг. Для европейских эмигрантов граница между двумя странами эмоционально не была реальной никогда; они чаще всего и не задумывались о том, в каком из северо-американских государств поселились. Со временем, впрочем, все стало определеннее. Как бы там ни было, но Соединенные Штаты самим духом своим куда

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
ГОЛОСА КАНАДЫ

менее терпимы и демократичны, чем их северные — да и прочие — соседи. Притязания «стопроцентного янки» в Канаде выглядят столь же забавно, как замашки техасского жителя на севере США. Бесспорно, Канада не поражена еще бессмысленной мегаломанией Штатов, канадцев не приучили к тому, что они пуп земли и все на свете подчинены им. Это очень важно, потому что каждый канадец мыслит весьма конкретно и не очень склонен к пусканию пыли в глаза. Из десяти миллионов квадратных километров канадской территории обрабатывается всего процентов шесть; двадцатичетырехмиллионное население Канады реально сознает, что резервы страны огромны; любой же американец любит порассуждать о том, что живет на пределе. Канадцы лишь начинают стягиваться в свои города — сельских жителей пока еще довольно много, и лишь к двухтысячному году предполагают, что 60 процентов населения сосредоточится в пятнадцати городах страны, каждый из которых будет населен, по крайней мере, тремястами тысячами обитателей. Впрочем, непосредственно на фермах живет сейчас менее чем полтора миллиона канадцев; остальные рассеяны по городишкам и городкам вдоль южной границы. И если города Канады еще обладают хоть какой-то самостоятельностью средств массовой информации, издают несколько серьезных газет, то городишки накрыты непроницаемым колпаком американских телесетей (глаза и уши провинциальных жителей заслонены американскими новостями, а степные элеваторы опечатаны чужой президентской печатью).

Соединенные Штаты валом валят через границу. Закусочные Макдоналда торгуют своими котлетами в лесных чащах Канады и на каждом углу ее городов. Американские универмаги (начиная с самого дешевого «Вулворта») и американские автомобили (начиная с самого дешевого «Рамблера») постоянно пребывают в поле вашего зрения. Канадца почти уже приучили к тому, что ни котлету поджарить, ни построить автомобиль он не в состоянии. Тем более не в состоянии защитить себя и свой дом: участие лишь в одном общем с США военном пакте — так называемом НОРАД — обходится Канаде в 200 миллионов долларов ежегодно. А если причислить сюда и пресловутое НАТО, то это уже 4 миллиарда долларов, которые Канада обязана тратить на закупку одних лишь американских истребителей.

Да, сосед у канадцев весьма дорогостоящий и (также по причине дороговизны и ненадежности) далеко не всеми любимый. Один из анекдотов об американцах: некий техасец позвонил из монреальской гостиницы к себе на ферму; наутро администратор подал гостю десятидолларовый счет. «Да вы что! — воскликнул техасец.— Я за такие деньги могу дома позвонить прямо в ад!» «Понимаю! — сочувственно кивнул администратор.— Ведь там у вас это местный вызов...» О Штатах как правило, говорят, отмахиваясь, шутя, с прибаутками, но в «эрозии канадской самобытности» повинны они; когда и промышленность, и телевидение, и политика контролируются извне, патриотам Канады остается лишь создавать Комитет за Независимую Канаду (это в самостоятельном государстве-то!). Относительно недавно сформулированная этим (вполне буржуазным и респектабельным по составу) Комитетом декларация гласит: «Наша страна недолго будет оставаться нашей, если мы позволим продолжать ее распродажу иностранцам, если мы разрешим чужой культуре контролировать наши средства информации, если мы и впредь будем следовать в фарватере внешней политики других государств...»

До чего же переплетается высокая политика с проблемами повседневными! Поиск друзей на свете, уход из множества одиночеств, грозящих одиночеством государству и всему обществу, связан с борьбой за собственное достоинство — государственное и личное. Все вместе: если канадец намерен гордиться своей родиной, он не должен позволять унизить ни свою огромную страну, ни самого себя. Это очевидно — но нелегко.

«А люди хотят жить по-человечески,— сказал мне мэр Виннипега Уильям Норри. Подумал и добавил: — Даже в самые грязные времена. Сколько бы ни налипало грязи на отношения между народами, люди хотят жить по-человечески» Мэр энергичен и молод, он хочет многое сделать для расцвета Виннипега и хорошо понимает, что любой расцвет возможен лишь на путях дружбы. «Я послал письмо мэру Львова, нашего города-побратима. Мы готовы принять оттуда делегации, актеров, туристов; хотим расширить сотрудничество. Главным должен быть дух разрядки и дружбы; если дух этот будет осквернен или унижен, всем станет хуже...»

Всем станет хуже... В калейдоскопе своих бесед и встреч я радовался тому, как хорошо многие в Канаде понимают, что наш огромный мир уже не разделишь, как бы ни пытались преуспеть в этом мастера разобщения. Поток унижений и лжи, в котором бы хотели искупать Советскую страну и народ, мил далеко не всем. Больше того, канадцы многое понимают в собственном доме, глядя на обращение с домом чужим. Я оглядываю Канаду, разнообразную и непростую, продолжая думать о том, как поеживается эта огромная страна под взрывными волнами чужой психологической войны — куда от нее скроешься?

Страна богата, красива... До чего же красива! Одна Ниагара чего стоит — ни с чем не сравнимое чудо света, с водяной пылью и грохотом, долетающим до тебя еще издалека. Подъезжая к Ниагаре, на мгновение забываешь и повседневную суету, и зловещие виражи временно беснующейся пропагандистской карусели. Великая природа дарит чувство уверенности в жизни, в добром ее начале. Особенно хороша Ниагара в многоцветье осени, но и в любое время года она убедительно растолковывает, что есть категории временные — премьеры сменяющихся правительств, марки разных автомобилей — и есть, пребудут вечная земля эта, вечная вода и вечные трудолюбивые люди, мечтающие жить по-человечески.

Красив холмистый и по-европейски домашний Монреаль с огромным крестом, сияющим с Королевской горы, давшей городу имя; совершенно не похож на него равнинный Торонто с вечно холодным Онтарио, расплескавшимся у небоскребных подножий; погружен в свои леса и поля Виннипег, поистине — пряжка на славянском поясе Канады, где на улицах разговаривают по-украински, а перед парламентом среди прочих монументов стоят памятники Тарасу Шевченко и Роберту Бернсу. Многолик и многоязык (но в основном все-таки прищурен по-азиатски) тихоокеанский Ванкувер, колоритный и яркий, как все порты. Удивительна и красива Канада, и до чего же однообразен круг ее посетителей. Из США приезжает до 35 миллионов визитеров ежегодно — иные мои знакомые американцы просто отправляются поудить рыбку в холодных манитобских озерах — для них ведь нет ни границы, ни мало-мальски серьезной таможни: американские деньги в большинстве магазинов принимаются даже без предварительного обмена в банке. Из других стран количество туристов измеряется уже десятками тысяч — не больше; иностранец в глубине Канады — явление не слишком распространенное. Жителей США привычно не считают за иностранцев.

Книг, книжных магазинов и библиотек — великое множество (считается, что лишь в школах больше десяти тысяч библиотек), но вкус к чтению собственных литераторов у канадцев вырабатывается с великим трудом. Я расспрашивал у многих своих знакомых, что они знают о Метте Когене, Маргарет Этвуд или Джеке Ходжинсе, только что удостоенных высших в стране литературных премий (по традиции они зовутся Наградами генерал-губернатора) за лучшие книги года. Канадцы привыкли, что все более или менее заметное в литературе приходит к ним из США или оценивается там. (Вспоминаю, как Артур Хейли рассказывал мне, что он, гражданин Канады, живет на Багамских островах, а публикуется только в США — так он добивается меньших налогов и больших тиражей). Впрочем, некоторые — очень немногие — канадские литераторы известны и публикуются по обе стороны канадской границы одновременно. Упоминанием о беседе с одним из них я начал свои записки. Более подробным рассказом об этой беседе завершу их.

...Из Торонто в Виннипег я летел ночью. Спать не хотелось, тем более что сосед мой по самолету, студент из Манитобы, узнав, откуда я, мешал читать, расспрашивал о наших университетах, о том, как живут у нас люди, куда ходят, что едят,— чувствовалось, что кроме навязываемых американизированных сведений нормальному канадцу нужно еще многое. А парень выглядел нормальным канадцем; даже книга, бывшая в руках у него — «Китубийца» Фарли Моуэта,— принадлежала перу одного из самых популярных среди канадцев авторов. Уже больше двадцати лет Моуэта читают постоянно; ни одна из когда-либо написанных им книг не устарела, а каждая новая лишь углубляет репутацию — и в Канаде, и в мире. Я сказал своему соседу, что знаю Моуэта, читал многие его книги и вчера только виделся с самим писателем. «Ух ты,— сказал манитобский студент и задумался. А затем добавил: — Не может быть! Кто у вас разрешит издать Фарли Моуэта?» Нет, парень все-таки читал газеты и верил теленовостям.

Я хотел обидеться, а затем вспомнил самого Фарли, встречу с ним — и раздумал.

«...Очень уж вы обидчивый,— заметил Моуэт и широко улыбнулся.— Нельзя так. Никаких нервов не хватит».

Мы сидели в самой светлой комнате его коттеджа на Кингс-стрит в маленьком городке Порт-Хоп, расположенном в ста милях от Торонто. Городок был тихим, как любой провинциальный северный городишко, а Королевская улица — одной из тишайших в Порт-Хопе. «А я иначе не умею работать,— пожал плечами хозяин дома.— Когда намучишься с мыслями и наконец решишься писать, важно, чтобы никто не мешал,— поэтому и живу в Порт-Хопе...»

Только что вышла новая книга Моуэта «Птицы не пели» — за первые несколько месяцев лишь в Канаде продано больше пятидесяти пяти тысяч экземпляров в твердой обложке — это очень много для дорогого издания, и Фарли радуется успеху, как любой другой писатель на свете. Он так же рад и своим переводным книгам — подводит меня к полке и показывает на ряды советских изданий; с начала шестидесятых годов Моуэта у нас переводят и выпускают книгу за книгой. Самой первой была «Люди оленьего края».

«Птицы не пели» — иная, не такая, как прочие,— говорит Моуэт.— Это новая книга, совсем новая книга для меня. Сейчас, когда от американских границ запахло боевыми кострами, а сверху, от власть имущих, целому народу навязана такая военная истерия, что дальше некуда, захотелось рассказать о том, какая это мерзость — война. Мне ведь еще двадцати не было, когда взорвалась вторая мировая, и довелось поползать на брюхе да пострелять — высаживался в Италии, сражался под знаменитым Монте-Кассино. Мне очень важно рассказать нынешним молодым людям, насколько война отвратительна,— книга именно об этом, и я думаю, что те, кто покупает ее, мне верят...»

Собственно, мы с Фарли Моуэтом и разговаривали о доверии — к литератору, к народу, просто к соседу за палисадником. Посвятив свое творчество людям канадского Севера, став в определенной мере продолжателем повествований, сросшихся в читательском представлении с именами Джека Лондона или Джеймса Кервуда, Фарли Моуэт рассказал об эскимосах столь талантливо и честно, что его услышали всюду. Экзотика гонок на оленьих и собачьих упряжках уступила место жестокому повествованию о гибели целого народа, владевшего некогда огромными просторами Севера. «Настоящие проблемы

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
ГОЛОСА КАНАДЫ

не должны заслоняться вымышленными,— повторяет Моуэт.— Ни за что не должны. Экзотика экзотикой, но Север гибнет...»

Мы разгуливаем по коттеджу, разглядываем моржовые бивни, покрытые кружевами резьбы, нож, привезенный из Уэлленда. Следом за нами, неслышно ступая по коврам, вышагивают две черные охотничьи собаки Моуэта, Эдвард и Лили. Над подстилкой Эдварда красуется большой цветной протрет его тезки, бывшего английского короля, находившегося в каком-то родстве с русскими самодержцами. Фарли Моуэт ироничен и неортодоксален по отношению к себе и к своему окружению. Насчет его монархических симпатий, кажется, тоже все ясно.

«Я считаю, что писатель должен стремиться к определенности в своих отношениях с окружающим миром,— говорит он.— По крайней мере к зрелому возрасту критерии должны окончательно проясниться и стать очевидными для всех. Вот я и написал сейчас о войне, потому что терпеть ее не могу; через несколько месяцев уеду на север писать о своих эскимосах — и это одна из важнейших тем для меня; как ни странно, срастающаяся с военной,— пишу о том, как важно не загадить эту землю и сохранить на ней жизнь».

Невысокий рыжебородый писатель передвигается по небольшой комнате, энергично жестикулируя, и даже когда он присаживается, продолжает казаться, что Моуэт говорит на ходу. Он быстро глядит на меня и повторяет фразу, с которой мы начали: «Очень уж вы обидчивый. Столько мы наговорили друг другу о канадской истеричной антисоветчине, а ведь она в основном чужая, это лишь эхо американских заклинаний. В основном, повторяю, эхо, но есть, конечно, и своя — почему бы ей не быть? Большая страна у нас обязана иметь врагов — внешних или внутренних, настоящих или выдуманных — для того, чтобы решать собственные проблемы, держа население сбитым от страха в одно стадо. Уже давным-давно капиталисты делают из коммунизма этакое пугало — и всегда это будет, пока есть на свете разные политические системы. Я ведь не какой-нибудь там левый с партийным стажем, я вам говорю то, что все чаще пишут в самой что ни на есть буржуазной прессе. Все, кто с ними не согласен,— агенты коммунизма, и все тут. Как-то ко мне обратились из торонтской газеты «Стар» с просьбой прокомментировать очередные заявления Солженицына. Я сказал то, что думаю: оный господин, по-моему, весьма средний писатель и очень реакционный, гадкий политик. Еще я написал, что могу понять позицию людей, соглашающихся с предателем,— тех, кто в конце концов сами его к предательству и склоняли; но я ни за что не верю, когда мне говорят, что предателя можно любить. Через неделю «Стар» напечатала, что Моуэт — марионетка в советских руках, для них это было единственным объяснением, потому что они воспринимают мир в виде «руки Москвы» или «руки Вашингтона», а все человечество — как куклы-марионетки, надетые на ту либо другую руку. «Рука Вашингтона» кажется таким, как люди из «Стар», дружественной — вот они по ней и гадают. Да что говорить: один-единственный массовый канадский еженедельник «Маклинз» — не более чем плохая копия американского «Тайма». Канада никогда не имела собственной большой философии; более или менее известные наши писатели и деятели искусств отсасывались и отсасываются Штатами; бизнес наш съеден американцами, а голос у денег весьма громкий... Пожалуй, опорой канадской идентичности остается инстинкт самозащиты да еще вера в то, что политическая зрелость Канады кристаллизуется из нелегкого ее опыта, из понимания того, что соседи у нас есть не только на юге, но и на севере — Советский Союз и в сотрудничестве с вами мы могли бы достичь многого, не неся никаких моральных потерь». (Журнал, издаваемый прогрессивным литератором Дайсоном Картером и ратующий за дружбу и взаимопонимание с Советской страной, так и зовется: «Северные соседи».)

«...Впрочем, если хотите знать, я не очень опасаюсь американских президентских скандалов — все это поверху, нормальные люди в Северной Америке никогда войны не хотели и не хотят — вы же знаете. Антисоветская пропаганда глубоко не проникла и коркой лежит на поверхности. Но тем не менее надо считаться и с традиционным желанием Штатов навязываться в благодетели и советчики. Если их не слушают по-хорошему, они и прикрикнут, и ногой топнут. Но все-таки Канада была, есть и должна оставаться сама собой — сколько же можно, чтобы южные соседи воспринимали нас только в хоре, управляемом их дирижерской палочкой или аж целой палкой...»

Когда мы говорили о нравах американских теледикторов, вещающих голосами унтер-офицеров в оккупированной стране, о категоричности американских газетных рекомендаций, вспомнились горькие слова, недавно опубликованные в приложении к «Нью-Йорк таймс» хорошо известным в нашей стране прозаиком Джоном Херси: «Мы экспортируем не только оружие, но и мораль. Именно пристрастие к миссионерству побуждает нас выбирать наших Картеров». А Фарли Моуэт прокомментировал ситуацию еще откровеннее в своем широко известном «Письме к сыну» (в прошлогодней мартовской книжке «Иностранной литературы» оно опубликовано на русском языке): «Я не хочу, чтобы у тебя оставались иллюзии, будто ты живешь в демократической стране, будто демократия защищает тебя. Ты, сын мой, раб, рожденный и вскормленный под эгидой Соединенных Штатов... Ты должен признать, что суровая действительность, которую не способны замаскировать сладкоречивые разглагольствования торгашей, такова — ты раб и не более того... Хозяин живет далеко на юге».

При всей категоричности таких суждений в них немало от давней боли. Многие канадцы воспринимают ухудшение отношений с Советским Союзом как силой навязанное им из США; это стало не только частью отношения к нам — это и часть от-

ношения к американскому шовинизму, нежелание, чтобы на тебя орали и повелевали тобой без твоего желания.

«У нас с вами немало общего. Взять хотя бы проблемы освоения Севера, северных районов — Штаты даже не пытаются решать такие проблемы,— ваш опыт и сотрудничество с вами куда как важны для Канады, даже то, что мою книгу о Сибири, написанную больше десяти лет назад, все время переиздают — показатель такого интереса. Но в то же время, когда я захотел выпустить книгу Юрия Рытхэу о Советском Севере, мне отказали в субсидиях на издание; поездки в СССР не поощрялись и не поощряются — даже напротив... Думаю, что можно и следует говорить о барьере, выстраиваемом на пути объективной информации о вашей стране. С одной стороны, интересно и важно (вот и книгу мою о Сибири переиздают), с другой стороны, страшновато, чтобы народ не узнал о вас больше (книгу Рытхэу издать уже помешали). Мощный американский натиск против участия в Олимпиаде прежде всего вызван той же причиной — боязнью, что объективные сведения о вашей стране дойдут до людей и заставят их задуматься над порядками в собственном доме...»

Фарли Моуэт улыбнулся и погрозил мне пальцем: «Я уже говорил вам, что я самый типичный канадец и взгляды у меня самые распространенные — в Канаде очень многие согласны со мной. Люди устали от психологической войны, от дезинформации, запугиваний, от навязываемого нам комплекса неполноценности по отношению к Соединенным Штатам. В условиях мира мы сильны и бываем самостоятельны; в условиях войны — то ли «холодной», то ли «горячей» — Канада немедленно становится «младшим партнером» своего южного соседа, требующего, чтобы перед ним стояли навытяжку. А я не хочу стоять навытяжку ни перед кем — большинство канадцев тоже не хочет. Уроки достоинства, собственного и государственного, которое вырабатывается в противостоянии попыткам подчинить тебя и унизить,— серьезная тема для размышлений и одна из важнейших в литературе тем. Вот видите, я даже начал рассказывать вам, о чем напишу завтра...»

Мы долго еще разгуливали по дому, разглядывали книги, пили какой-то особенно целебный, по мнению Моуэта, ямайский ром и разговаривали с собаками, которых становилось все больше: они спали в креслах, ожидая обещанной поездки на Север. Дом был гостеприимен, и хозяин был добр, и свежие газеты, лежащие у порога, казалось, отряхивались от плохих новостей.

Моуэт включил телевизор, поглядел на американского президента в теннисе, который лучезарно рекомендовал голосовать на ближайших выборах за себя. Фарли хмыкнул и выключил говорящий ящик. За окнами было тихо; Порт-Хоп погружался в сумерки, где невидимые радиоволны сталкивались, позвякивая, словно стальные каски,— очень уж много военного металла несли они в себе. Тишина, которой так дорожил добрый хозяин дома, бродила по Кингс-стрит и заглядывала в окна, отшатываясь от телевизионных экранов.

МОНРЕАЛЬ—ВИННИПЕГ—ТОРОНТО,

МАЙ 1980 г.

◆

ДЖЕЙМС БОРЕН

СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!

Справочник бюрократа

ПРИЗЫВ К БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сомкните ряды, о вселенские бюрократы, и слейте свои голоса в звучной нечленораздельности! Двиньтесь во все пределы земные и неустанно бормочите в уши людские. Ибо занимается заря золотого века бездеятельности, и скоро мир будет принадлежать нам!

Да будет вам ведомо, что с начала времен человек вел нескончаемую битву с силами природы. Он пытался смягчить последствия резких перепадов влажности и температуры, столь донимающие людей во многих областях земного шара. Он старался воспрепятствовать эрозии почвы, ставя препоны воздействию воды и ветра при смене времен года. Он восставал против непрерывного изменения, которое лежит в основе всех тайн природы.

Но ничто не сравнится в благородстве с той беззаветной борьбой, которую, вооружившись духом динамичной бездеятельности, вели убежденные бюрократы, обороняя твердыни творческой волокиты от натиска граждан, требовавших к себе внимания. На протяжении столетий стойкие бойцы обоего пола отражали атаки апостолов перемен и успешно оберегали священное статус-кво. И в первых рядах бились профессиональные бюрократы, неуклонно провозглашая, что любая перемена всегда опасна, а прогресс — величайшая ошибка человечества.

Пока ученые исследовали законы природы, управляющие изменениями, а философы искали скрытый смысл в своде этих законов, профессиональные бюрократы с рвением крестоносцев обрушивались на общественные институты, дерзко угрожавшие неизменности социальных устоев. Пока поэты черпали вдохновение в прекрасных тайнах природы, а композиторы воплощали в симфониях движение жизни, профессиональные бюрократы без устали постукивали пальцами, совершенствуя сложную систему бездеятельности — залог спасения бюрократии от новых идей и потенциальных перемен.

Профессиональный бюрократ (ниже именующийся также «пробюр») — это в первую очередь лицо, посвятившее себя оптимизации статус-кво. Ловкое применение да-нойности и решительного подсукнизма позволяет пробюру засушить любую живую идею. Последовательный подсукнизм и конструктивная волокита — вот величайшие шедевры бюрократического искусства.

Так обратим же, собратья-бюрократы, взоры на горизонт и отыщем ту блистающую звезду надежды, что будет светить нам на тернистой тропе, которой мы все должны пройти, дабы достичь приюта безопасности и мира!

Сомкнем ряды и двинемся вперед во имя творческого статус-кво. Станем вербовщиками и наставниками нового поколения бюрократов. Отправимся же по земным градам и весям и будем создавать комиссии!

Общение в письменной форме

В любой хорошо поставленной бюрократии то, о чем сообщается, далеко не так важно, как искусство, с каким используются слова, таблицы и другие средства общения. Отточенная риторика — вот основа эстетики этого искусст-

ДЖЕЙМС БОРЕН — JAMES H. BOREN

Американский социолог, специалист в области истории и философии педагогики; бывший чиновник госдепартамента.

Мы публикуем фрагменты его книги «Сомневаясь, бормочите! Справочник бюрократа» («When in Doubt, Mumble. A Bureaucrat's Handbook». New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1972).

ва. Бюрократический опыт показывает, что начинающие администраторы и неоперившиеся бюрократы должны учиться применять те абстрагирующие оговорки, на которых зиждется различие между обычным изложением мысли и шедевром невнятицы.

Например, начинающий бюрократ может написать: «Исходя из основанного на документах доклада комиссии, я рекомендую отклонить указанное предложение». Подобные заявления свидетельствуют о полной беспомощности и недостаточном знакомстве с принципами искусства динамичной бездеятельности.

Опытный бюрократ прибегнет к абстрагирующей оговорке: «Хотя первичная комиссия по изучению вопроса провела квалифицированный и достаточно глубокий анализ альтернативных ресурсных конгломератов в разрезе указанного предложения, оптимальные функции, как показывают тематические изыскания комиссии, дали бы основания для неутвердительного отзыва, если бы административное руководство было вынуждено принять незамедлительное решение. Ввиду чрезвычайной важности множественных аспектов указанного предложения я рекомендовал бы создание особой группы, на каковую была бы возложена соответствующая разработка приемлемых вариантов административного подхода к предполагаемому решению. Надежные и проверенные административные процедуры позволят выявить практичность указанного предложения и присовокупить к нему факторы нарастающей жизнеспособности, необходимые для того типа творческого обновления, который функционирует в пределах, обозначенных соответствующими инструкциями».

Искушенные пробюры рекомендуют неофитам бюрократического искусства три основных способа овладения письменной речью профессиональных бюрократов. Эти три способа отнюдь не исключают друг друга, а, наоборот, дополняют и усиливают. Назовем их: 1) лексиконная формула, 2) конструктивное подражание и 3) использование гулких слов.

Лексиконная формула представляет собой несложный, но эффективный способ овладения бюрократическим языком. Практикант должен самыми простыми словами изложить идею, которую он хотел бы выразить на этом языке. Полученная фраза затем украшается уточняющими прилагательными и наречиями, которые обеспечивают гибкость толкования. Изготовленное таким способом утверждение с успехом выдержит испытание временем и все изменения в ведомственной политике.

Например, бюрократ хочет сказать: «Сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится». С помощью лексиконной формулы замены слов и выражений он сможет написать: «В настоящее время мне представляется, что практическое осуществление этого плана вызывает серьезные сомнения». А дальнейшее применение этой формулы позволит произвести на свет следующее: «Преимущества данной позиции дают мне возможность предположить наличие сомнительных или, в лучшем случае, невыявленных элементов, которые могут оказать негативное воздействие на конечное осуществление объединенной программы».

У профессионального бюрократа всегда должен быть под рукой словарь синонимов. Он помогает пробюру овладеть искусством невнятицы.

Конструктивное подражание строится на использовании семантических отголосков выдающихся образчиков бюрократического стиля. В трудах виднейших бюрократов, подвизающихся в государственной, академической и деловой сферах, бренчание струн прилагательных и наречий слагается в стройную гармонию, и, штудируя прекрасные произведения признанных мастеров, тренирующиеся молодые бюрократы овладевают искусством отточенной непрозрачности. Такие семантические отголоски включают отдельные элементы лексиконной формулы, но гармоничное бренчание меняется от бюрократа к бюрократу точно так же, как ямб у разных поэтов звучит поразному.

Гулкие слова, пожалуй, представляют собой самое полезное из орудий, позволяющих молодым бюрократам сразу же излагать свои мысли приемлемым бюрократическим языком. Хотя гулкие слова в своем развитии подразделялись на категории, тяготеющие к академической, деловой или государственной сферам, вполне допустимо и их перекрестное употребление.

Таблица 1/А Альфа[1]

Для составления гулких бюрократических фраз задумайте трехзначное число Выберите соответствующее слово из каждой колонки — и вы получите возможность писать и говорить с «оркестрованной риторической целостностью» (см. 899 раздела «Общее применение I»)

Общее применение 00 (интерпретивная коммерческая сфера)		
0. соответствующий	0. многоступенчатый	0. обязательства
1. предполагаемый	1. предварительный	1. дивиденды
2. имеющийся	2. корпоративный	2. параметр
3. планируемый	3. регулирующий	3. поступления
4. добавочный	4. переходящий	4. устранение
5. умеренный	5. дробный	5. конгломерат
6. модифицированный	6. ответственность	6. вменение
7. реорганизованный	7. остаточный	7. сектор
8. рекапитализированный	8. инвестиционный	8. вопрос
9. установленный	9. неустойчивый	9. уровень

[1] Разделы таблицы даны выборочно *(прим. перев.)*.

Общее применение I (академическое программирование с казенными обертонами)

0. систематический	0. очевидный	0. избежание
1. граничащий	1. гипотетический	1. синтез
2. программированный	2. мотивационный	2. обзор
3. многопредметный	3. регулируемый	3. методология
4. концепционный	4. институционный	4. анализ
5. пониженный	5. конфронтирующий	5. система
6. неправомерный	6. эмпирический	6. процедуры
7. факультативный	7. профессиональный	7. реакция
8. оркестрованный	8. ресурсы	8. детерминизм
9. максимальный	9. риторический	9. целостность

Общее применение VI (риторические имитации широкого приложения)

0. оговоренный	0. повышенный	0. конференция
1. функциональный	1. обобщенный	1. стратег
2. технический	2. парламентарный	2. отдел
3. законченный	3. корпорационный	3. специалист
4. подготовленный	4. процедурный	4. эффективность
5. агрессивный	5. рабочий	5. способность
6. соответствующий	6. кризисный	6. участие
7. коррелированный	7. обращающийся	7. тактик
8. безответственный	8. административный	8. требования
9. противоречивый	9. авторитетный	9. спектр

Общее применение VII (согласованное конфронтационное уклонение)

0. приписываемый	0. реагирующий	0. изучение
1. адаптированный	1. относящийся	1. исполнение
2. документированный	2. дубликат	2. правила
3. лимитированный	3. внутренний	3. колебания
4. поправочный	4. управление	4. приближение
5. принятый	5. совместный	5. расхождения
6. уравновешенный	6. предварительный	6. связь
7. соответствующий	7. фискальный	7. обоснования
8. оцененный	8. бюджетный	8. совпадение
9. значимый	9. взаимный	9. дипломатия

Общее применение VIII (формулирование воздействий)

0. итоговый	0. информационный	0. стабилизация
1. максимум	1. этический	1. вероятность
2. перцептный	2. совпадающий	2. валидность
3. систематизированный	3. обеспечивающий	3. комиссии
4. мобилизуемый	4. многосторонний	4. структура
5. табулированный	5. контрольный	5. уникальность
6. продуктивный	6. непроизводительный	6. ликвидность
7. вертикальный	7. определяющий	7. охват
8. всеобъемлющий	8. колеблющийся	8. размещение
9. регулируемый	9. ресурсы	9. усилия

Использование гулких слов позволяет начинающему бюрократу писать с апломбом бюрократа опытного. Например:

«VI-004, благодаря которой VI-115 может содействовать VI-756, зависит отчасти от VI-683, необходимого VI-249. Разумеется, если VII-250 войдет в противоречие с VII-566, рекомендуется прибегнуть к VII-384 для уравновешивания VIII-847».

Или же, если молодой бюрократ, подвизающийся в деловой сфере, пожелает составить экономический прогноз на ближайшее будущее, он может написать:

«00-111, по-видимому, не превышают 00-200 в пределах 00-883. Если 00-091 будет и впредь приближаться к 00-339 для 00-925, это указывает на 00-642. Предусмотрительные и надлежащие действия обеспечат 00-339 программу».

Для овладения приемами бюрократического общения пробюр должен при каждом удобном случае отрабатывать три основных подхода. Языковые пируэты способствуют вдохновенному утверждению принципов динамической бездеятельности. А потому необходимо, чтобы бюрократы постоянно совершенствова-

лись в искусстве перевода. Например, читая за завтраком газету, бюрократ может мысленно переводить заголовки на свой профессиональный язык. Даже список покупок открывает широкое поле для упражнений в семантическом переводе. Так, вместо того чтобы ограничиться одним словом «картошка», пробюр может написать: «При наличии надлежащего соответствия вкусового спектра оптимальному состоянию спелости — пакет картофеля». Мужчины и женщины, ревностно отрабатывающие выражение мыслей на профессиональном языке, обеспечивают себе место на верхних ступенях иерархической лестницы.

Отточенное бормотание

Устное слово позволяет без труда создавать ту конструктивную непрозрачность, которая дает бюрократу возможность выиграть время, требующееся для тщательной оценки ситуации. Если у бюрократа есть сомнения относительно обсуждаемых вопросов или же намерений начальства, он может отточенно бормотать по данному поводу что-нибудь нейтральное.

На отточенное бормотание не следует смотреть с пренебрежением или несерьезно. Это весьма эффективный прием, равно полезный как для опытного, так и для начинающего бюрократа. Тщательное изучение практики мастеров отточенного бормотания выявило два основных подхода к этой форме общения — горизонтальный и вертикальный, причем выбор, по-видимому, определяется в первую очередь личными вкусами.

Горизонтальное бормотание представляет собой свободную перегруппировку звуковых вариаций. При этом важны не столько слова, сколько тон. Голосовые модуляции можно перемежать отдельными словами со связующими предлогами и союзами, что создает ощущение внятности. Это следует сочетать с внесловесными размышленческими приемами таким образом, чтобы возникало впечатление максимальной компетентности.

Опытные вашингтонские бюрократы отдают пальму первенства в художественном бормотании Пентагону, государственному департаменту и министерству жилищного строительства, но в последнее время особым источником вдохновения для тех, кто изучает это искусство, все больше становится Белый дом. Так, Генри Киссинджер продемонстрировал удивительно емкую прямолинейность, отвечая журналисту, который спросил его, насколько более результативной была поездка президента в Пекин по сравнению с поездкой туда самого Киссинджера.

Киссинджер сказал: «Само собой разумеется, что обсуждения носят совершенно иной характер, когда в них участвует президент Соединенных Штатов, чем когда в них участвует лицо, не облеченное верховной властью, у которого нет права выступать с конкретными заявлениями. Главная цель этой поездки заключалась в том, чтобы дать толчок определенному ходу событий и эволюции в отношениях между нашими двумя странами, которая, как признается обеими сторонами, сначала должна быть медленной и представлять много трудностей и для которой очень многое зависит от верной оценки каждой из сторон понимания другой стороной того, что сопряжено с этим процессом, а также от верной оценки каждой из сторон надежности другой стороны в том, насколько в ее возможностях будет продолжать его в течение времени, требующегося для успешного его завершения. В этом смысле почти обязательно, чтобы такие обсуждения вели главы правительств, и в этом смысле я сказал бы, что по глубине и серьезности эти обсуждения, само собой разумеется, превзошли те, которые имели место во время моих визитов, и также превзошли наши ожидания» [1].

Чтобы преуспеть как в горизонтальном, так и в вертикальном бормотании, бюрократу необходимо придерживаться главного правила всех бормотателей: БОРМОТАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИСТОЧАТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ ИСКРЕННОСТЬ.

Вертикальное бормотание характеризуется внятной тональностью с легкими обертонами при перемещении слогов. Осуществляется оно через количественно неограниченное нанизывание слов. Необходимое условие, без которого речь вертикального бормотателя не обретет требуемой весомости, составляет видимость прямоты и ясности. Наиболее выдающиеся вертикальные бормотатели обретаются в стенах Пентагона и государственного департамента, а цитаделью горизонтального бормотания считается министерство жилищного строительства, однако, опираясь на более широкий географический базис, свою лепту в это искусство внесли и деятели просвещения.

Обремененный учеными степенями бормотатель вертикальной категории может, например, сказать: «Чтобы избежать реструктирования дельфической проекции помимо экспериментирования в матричной методологии двоякого воздействия, необходима постоянная готовность к регулированию собственных дифференцированных и абсолютно взаимосвязанных представлений о внешней среде до тех пор, пока конвергенция мнений не придет в гармонию с разнообразными

[1] Пока материал готовился в набор, печать принесла не менее выразительные примеры аналогичного порядка. Один из них мы считаем целесообразным привести в данном примечании: В. Кобыш в своей статье «ОСВ-2: лексика и семантика» цитирует недавнее выступление Джеймса Картера: «Такое последующее развитие событий, которое заставило бы меня отменить договор, явилось бы результатом консультаций с членами сената с целью определить нашу заинтересованность, которая послужила бы причиной отказа, и в этом случае я поставил бы Советский Союз в известность, что условия договора больше не являются обязательными». «Литературная газета», 26 марта 1980 г.

Комментарии вряд ли требуются *(прим. ред.)*.

ДЖЕЙМС БОРЕН
СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!

самоструктурами». Тут и целостность, и бюрократическая прозрачность, и умеренная вертикальность.

Вертикальное бормотание очень выигрывает от бархатного произношения гладко обкатанных гласных звуков. Оно достигает истинных высот совершенства, если в надлежащих паузах использовать жесты и мимику опытного размышленца.

Марафонское бормотание требует постоянной многочасовой практики и самоотверженной преданности невразумительному словолитию. Искусство марафонского бормотания подразумевает гармоничную игру на комплекте словесных струн, свойства которых обеспечивают глубину интонирования и общую звучность. Нет ничего более неприятного, чем оказаться в присутствии дилетантствующего бормотателя-марафонца, а потому будущему профессионалу надлежит упорно тренироваться в уединении своего дома или автомобиля, пока он не овладеет полностью всеми тонкостями игры на марафонских словесных струнах.

Но какую бы из форм бормотистики[1] ни применял бюрократ в своей устной речи, всегда полезно сочетать ее с приемами мощного размышления. Так, вариации модулированного словолития можно объединять с интонационными смещениями и с изменениями в мимике, которые указывают на искренность и компетентность.

Когда лицо, практикующее бюрократическое искусство, не понимает обращенного к нему вопроса или же не знает ответа на вопрос, который все-таки понимает, оно может спасти свое достоинство и свой статус при помощи тщательно составленных образчиков бормотистики.

СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!

Искусство размышления

Бюрократ, что-либо возглавляющий, легко может избежать риска, которым чревато всякое активное руководство. Расширив участие своих коллег в принятии и утверждении решений, он может оптимизировать статус-кво с минимальным риском для себя. Председательствуя на заседаниях всяческих комиссий, комитетов и специальных групп, он может выступать в роли мощного размышленца и использовать пустопорожние языковые формы, чтобы выражать большую озабоченность, глубокие раздумья и абсолютную компетентность.

Начинающему бюрократу следует изучать язык жестов и мимики опытных мастеров. Когда бюрократ не желает высказаться по какому-либо вопросу, поскольку он о нем ничего не знает или же предпочитает остаться в стороне, в его распоряжении есть широкий ассортимент разнообразных способов уклонения.

Бюрократ может наморщить лоб, сосредоточенно созерцая некое небесное тело в дальнем углу комнаты. Он может медленно сложить губы трубочкой, или пересчитать кончиком языка коренные зубы, или задумчиво поглаживать подбородок, откинувшись на спинку кресла. Он может также тихо побарабанить пальцами по столу или потрепать большим и указательным пальцами свой второй подбородок.

Бюрократ, курящий трубку, обладает особым преимуществом, ибо традиционный образ курильщика трубки подразумевает надежность, спокойствие и мудрость. Курильщик трубки может не только неторопливо выпускать ароматные колечки сизого дыма, но и задумчиво умолкать, чтобы набить трубку или, наоборот, выколотить ее. В тяжелых случаях он может даже аккуратно развинтить трубку и тщательно прочищать ее ежиком. При этом полезно скосить глаза, продолжая морщить лоб.

Начинающему бюрократу рекомендуется ежедневно отрабатывать перед зеркалом разнообразные приемы преуспевающего размышленца. Ежедневную получасовую тренировку перед зеркалом никак нельзя считать напрасной тратой времени, ибо по лестнице служебных повышений поднимаются лишь те, кто гордится своей профессией и совершенствуется в умении ненавязчиво демонстрировать начальству неориентированную компетентность.

Как сделать доклад

Пробюр, выступающий с докладом на заседании ученого общества, правления или межведомственной комиссии, должен разбираться в своей аудитории лучше, чем в предмете доклада. Ему, например, следует знать, сколько ответственных лиц будет присутствовать на заседании и кто из них явится с собственными женами. Тщательный анализ аудитории необходим пробюру, ибо только так сможет он продемонстрировать свою нынешнюю и будущую полезность людям, от которых в той или иной мере зависит его дальнейшее продвижение наверх.

Работа над докладом, кроме того, позволяет с успехом применить лексиконную формулу и конструктивное подражание. Смысловые пустоты, которые придают докладу бюрократическую достоверность, рекомендуется заполнять гулкими словами вертикального бормотания. Готовя доклад, следует в первую очередь заботиться о том, как он прозвучит с трибуны, а уж только потом о его содержании.

Работая над тезисами будущего доклада, необходимо обращаться за советами к пробюрам старше по положению и, конечно, к тем, кому принадлежит решающее слово.

Предположим для примера, что пробюру предстоит сделать доклад о применении окаменевшего гуано летучих мышей (ОГЛМ) как удобрения для пальм и цветущих растений в кадушках и горшках. Если президент компании считает себя знатоком гуано летучих мышей и

[1] Суффикс «истик» использован для обозначения целенаправленности. Так, «бормотистика» подразумевает целенаправленное бормотание, «смутнистика» — запрограммированную смутность и т. д. *(прим. автора)*.

если он — сторонник всемерного расширения добычи ОГЛМ, пробюр поступит разумно, включив в свой доклад несколько слов, указывающих на то, что он вполне разделяет взгляды главы своей компании.

Если же пробюра пригласил сделать доклад президент какой-нибудь другой влиятельной национальной ассоциации и если этот президент опасается, что промышленное соскребывание ОГЛМ поставит под угрозу среду обитания, пробюру следует включить в доклад несколько слов, которые могут быть истолкованы как озабоченность экологическими последствиями промышленной добычи ОГЛМ. Подлинно профессиональный бюрократ должен в совершенстве владеть искусством сидения между двумя стульями. Строго придерживаясь черты, разделяющей две позиции, пробюр может заручиться одобрением обеих враждующих сторон.

Если же рекомендации начальства ни малейшего отношения к делу не имеют и, следовательно, использованы быть никак не могут, пробюру следует включить в доклад несколько излюбленных словечек и выражений этого начальства, чтобы обеспечить психологический эффект «ага, вот оно!», создающий у вышеупомянутого начальства впечатление, будто доклад содержит его указания. Остальные слушатели ничего не поймут, но это и неважно: доклад — средство демонстрации докладчика, а не идей.

Твердым шагом направляясь к трибуне, пробюр должен придать своему лицу выражение глубокой убежденности, что ему есть что сказать и он рад случаю сказать это.

Многие начинающие бюрократы тратят слишком много времени на содержание доклада в ущерб более важным факторам вроде внушительной звуковой подачи, риторической целостности и языка жестов и мимики. Пробюру следует игнорировать вероятные противоречия, которые докучные пуристы могут отыскать в его докладе, и сосредоточить усилия на отработке звучности тона и словообильности, выражающих и глубокую осведомленность, и искренность. Если голосовые данные пробюра жидковаты, ему необходимо произнести первые фразы доклада со всей доступной ему силой и громкостью.

Установить контакт с аудиторией, подкупить ее искренностью можно при помощи очков. Искушенный оратор-бюрократ время от времени меняет тональность доклада, наклоняясь вперед над краем трибуны, снимая очки и продолжая говорить с отработанной непринужденностью.

Прибегать к приему снятия очков в течение одного доклада следует не более трех или четырех раз — в зависимости от его продолжительности. Если пробюр в обычных обстоятельствах очками не пользуется, он должен купить в театральном магазине недорогую пару с простыми стеклами, причем не в золотой, но обязательно в роговой оправе.

Ощущение непринужденности и искренности пробюр может усилить, сняв очки перед завершением доклада и убрав их в нагрудный карман или в очешник. Такой жест, кроме того, побуждает аудиторию приготовиться к надлежащим аплодисментам, так как показывает, что конец доклада уже близок.

Искушенные докладчики обязательно подают четкий сигнал, что собираются вот-вот кончить. Если не удается сделать это косвенно и ненавязчиво, пробюру следует воспользоваться фразой «и в заключение...». Это нежелательно, но все же лучше, чем закончить доклад неожиданно для аудитории и остаться без аплодисментов.

Многие неопытные бюрократы по неосмотрительности прямо излагают то, что намеревались сказать, и возвращаются на свое место. Это роковая ошибка! Присутствующие в зале не заслуживают подобного неуважения: их необходимо предупредить, что доклад идет к концу. Тогда им легче исполнить свою роль — роль аудитории — и показать, что они не только внимательно слушали, но и все поняли.

Закончив доклад, пробюр может объявить, что в целях экономии времени он с удовольствием ответит на возможные вопросы там-то и тогда-то. Это обеспечивает ему признательность председателя заседания, который, как и все ему подобные, озабочен в первую очередь «соблюдением регламента». Довольны бывают и присутствующие в зале, так как они уже устали сидеть. А любители кофе, возможно, даже почувствуют к нему сердечную благодарность. Но главное, этот прием осаживает тех честолюбивых пробюров, которые, не получив возможности сделать доклад, жаждут привлечь к себе внимание хотя бы с помощью какого-нибудь умопомрачительного вопроса.

Далее следует образчик доклада в помощь пробюрам, которым предстоит первое крещение в этой важнейшей сфере бюрократических дерзаний. Вступление и заключение можно без труда приспособить почти к любой теме. Промежуток между вступлением и заключением соразмеряется с регламентом, предложенным устроителями конференции. Прекрасным материалом для его заполнения служат статистические данные. Важнее всего в докладе не длина и не содержание, но словесная структура, обеспечивающая максимум выражения искренности, компетентности и глубокого интереса к проблеме.

Образчик доклада об использовании окаменевшего гуано летучих мышей для удобрения пальм и цветущих растений в кадушках и горшках.

Господин председатель, президент . . . . . ,мэр . . . . . ,

ДЖЕЙМС БОРЕН
СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!

достопочтенные служители церкви, уважаемые гости, дамы и господа!

Как приятно вновь оказаться в прекрасном городе . . . , заслужившем всемирную известность своим прогрессивным подходом к проблемам урбанизации в нынешние трудные времена! Обновление разметки бейсбольного поля, ремонт двух площадок на вышке городского бассейна и назначение трех комиссий для предварительного изучения материалов по истории графства . . . . . свидетельствуют о том, что это — передовой город с передовым руководством. Его замечательный гражданственный дух может сравниться только с теплотой его гостеприимства. Вот почему так приятно вновь встретиться с вами здесь сегодня для обсуждения одной из самых сложных и противоречивых современных проблем, касающихся содержания растений в кадушках и горшках.

Никогда за всю историю не привлекало к себе столь пристального внимания многофазовое использование окаменевшего гуано летучих мышей. Некоторые рассматривают последние шаги в этом направлении как волнующее новое применение созданных природой и временем естественных удобрений для подкормки пальм и цветущих растений в кадушках и горшках. Они приветствуют его как гармоничный элемент, созвучный требованиям охраны природы, каковым является органическое питание человека, животных и растений.

Другие, однако, рассматривают промышленное соскребывание окаменевшего гуано летучих мышей как экологическую угрозу. Удаление окаменевшего гуано летучих мышей, известного также как ОГЛМ, из известняковых, а также гранитных и диоритовых пещер может изменить структуру пещер и в определенной степени оказать отрицательное воздействие на наличествующие там сталагмиты в связи с изменением характера падения капель с соответствующих сталактитов.

В обеих этих позициях, уважаемые дамы и господа, есть своя уравновешивающая мудрость. Но прежде чем перейти к более подробному изложению результатов моих исследований по вопросу о применении ОГЛМ, следует обозреть его в надлежащей перспективе. Начало изучения окаменевшего гуано летучих мышей восходит к скромному, но любознательному фермеру в горах . . . . .

(После этого вступления пробюру следует применить гулкие слова, прием конструктивного подражания и семантическую оркестровку. При выборе слов и фраз главное внимание следует обращать на тональность, способствующую выражению (1) компетентности, (2) искренности и (3) уважения к коллегам в президиуме и в зале. В соответствующий момент гулкие слова перегруппировываются так, чтобы можно было перейти к заключению.)

В заключение, уважаемые дамы и господа, постараемся полностью отдать себе отчет в том, что проблемы — это, в сущности, движение вперед. Если мы объединим усилия, чтобы отвести окаменевшему гуано летучих мышей небольшую, но тщательно разработанную роль в будущем расширении использования пальм и цветущих растений в кадушках и горшках, мы сможем обеспечить всемерные возможности для углубленного изучения максимизированного программирования естественных удобрений. Однако при этом необходимо сбалансированно смелое рассмотрение опосредствованных последствий, которые соскребывание ОГЛМ может иметь для экологической гармонии. Памятуя об этом, я рекомендую создание авторитетной комиссии из экологов и представителей промышленности в целях разработки правил и инструкций для оправданного использования ОГЛМ в рамках экологических требований, что может способствовать становлению новой отрасли промышленности. Именно этот дух прогрессивного компромисса позволяет нам брать лучшее из прошлого во имя лучшего в будущем.

Господин председатель, если по моему докладу есть вопросы, я с величайшим удовольствием отвечу на них. Но в целях экономии времени я занял место в буфете за первым столиком справа от двери и буду рад ответить на все вопросы там.

Опасности общения

В США за карточными столами, за столами переговоров администрации и профсоюзных представителей, за столами дипломатических конференций в наши дни постоянно обсуждается необходимость более тесного общения, которое обеспечивает обмен мыслями и взаимопонимание. Тот факт, что обмениваться, возможно, нечем, разумеется, никакого отношения к потребности в общении и к формам этого общения не имеет.

Некое видное лицо в федеральном правительстве начало свою речь перед группой ответственных чиновников следующими словами: «Мы должны добиваться единения между людьми, а потому необходимо собирать их вместе для обмена мыслями».

Пробюр ни в коем случае не должен возражать против собирания людей вместе, ибо это — первый шаг в организации комиссии или в создании комитета для изучения данного вопроса. Опасность для бюрократа представляет не объединение людей в группы и не форма обмена мыслями, но реальное содержание, которое может вкрасться в официальные или неофициальные дискуссии после того, как люди будут собраны вместе. Сделать общение содержательным — значит напрашиваться на расхождение во взглядах и на нарушение бюрократической гармонии.

Избыток общения

Общение и обмен мыслями между женами не раз приводили к нарушению мира и

гармонии в отношениях между соседями. Если во время совещания за утренним кофе жена узнает, что ее мужа видели в летнем ресторане или в момент, когда его штрафовали за превышение скорости, можно ожидать супружеской бури. Если за утренним бриджем обсуждается вопрос о том, что автомобиль соседа был замечен в загородном мотеле, это может привести к взрыву, причем не к одному. Спрашивается, какой конструктивной цели служат подобные дискуссии, когда жены безответственно обсуждают пристрастие мужей к загородным ресторанам, экзотическим массажным салонам и отнюдь не благочестивым ночным бдениям?

Политические лидеры, честно обменивающиеся мыслями со своими избирателями, рискуют проиграть на выборах.

Политическим бюрократам ни в коем случае не следует информировать или просвещать своих избирателей, а использование логики всегда опасно. Профессиональный политический бюрократ (полибюр) общается только с помощью тщательно отработанных терминов, легко сочетающихся с эмоциональным припудриванием. Полибюры, преуспевшие на политической арене, умели подать себя, не вложив ни малейшего содержания в изложение своих взглядов на злободневные проблемы. Те, кто вопреки здравому смыслу пытается излагать эти взгляды честно, не уравновешивая термины нужной степенью эмоциональности и тонким чувством темпа, неизбежно рано или поздно покидают центр арены.

■

Профессиональные бюрократы ни на секунду не должны забывать об опасностях содержательного общения. Им необходимо тщательно отработать приемы, помогающие ставить во главу угла не содержание, а форму. Например, когда группа граждан собирается для организации борьбы за политические реформы, пробюру следует превратить обсуждение политических проблем в запутанные прения относительно частных процедурных моментов. Если ему удастся затянуть эти прения на несколько часов, основные вопросы либо вовсе не будут поставлены, либо к тому времени, когда до них дойдет очередь, борцы за реформу уже утратят способность что-либо понимать. В критических ситуациях, когда, например, содержательный вопрос возникает неожиданно, пробюр должен требовать рассмотрения всей проблемы в надлежащей перспективе. Такой прием обеспечивает деконцентрацию внимания, которое иначе могло быть сосредоточено на сущности проблемы, а кроме того, дает толчок дебатам о форме.

Предположим для иллюстрации, что предпринята попытка закрыть в Пентагоне бюро, которое занимается инвентаризацией и шлифовкой кремней для мушкетов. Пробюр должен сразу же внести предложение о рассмотрении вопроса в надлежащей перспективе. Можно проследить деятельность бюро до эпохи войны за независимость, а затем долго и убедительно объяснять, как важны для армии традиции и как полезно их беречь. Обращение же к истории кремневого оружия вообще и мушкетов в частности дает возможность перевести дискуссию на какую-нибудь смежную тему. Подобная широкая дискуссия позволит заменить суть вопроса перспективой и в результате разработка конкретных рекомендаций будет отложена до следующих заседаний.

Сохранение вида

Вербовка начинающих бюрократов и приобщение их бюрократическим таинствам является священным долгом каждого пробюра во имя сохранения статус-кво. Поиски потенциальных новобранцев можно облегчить, наблюдая за семьями, уже подвизающимися на орбите бюрократизма. Сыновья и дочери, племянники и тетки, сестры и двоюродные братья — короче говоря, все родственники практикующего пробюра — представляют собой первоочередных кандидатов для заполнения вакансий, которые могут возникнуть из-за переводов, уходов на пенсию или утверждения новых штатных единиц.

Вербуя родственников практикующих бюрократов, пробюр способствует укреплению учрежденческой стабильности, а это — одна из основных целей всего бюрократического братства. Разумеется, ни один пробюр не рискнет взять родственника в свой отдел, но он воспользуется «системой взаимных услуг», когда коллега-бюрократ берет этого кандидата-родственника к себе и тем самым приобретает право на подобное дружеское одолжение в недалеком будущем.

Неудачник Макиавелли

Хотя в конечном счете Никколо Макиавелли и оказался неудачником, тем не менее как полибюры (политические бюрократы), так и адмінбюры (административные бюрократы) неоднократно черпали кое-какие вдохновляющие идеи и полезные советы из его классического труда «Государь». До сих пор его роль как просто наблюдателя и как активного деятеля выяснена еще не вполне, а его личная философия достойна того, чтобы ее исследованием занялась ученая комиссия, но тем не менее один факт ясен и неопровержим: в сердце своем Макиавелли был бюрократом.

Письмо, которым Макиавелли сопроводил свой консультативный, не подлежащий оплате доклад, представляя его герцогу Лоренцо Медичи, дает веское доказательство приверженности принципам мощного размышленца. «Я приложил много стараний к тому,— указывает он,— чтобы тщательно его продумать». Развивая свои рекомендации, Макиавелли пишет:

«Я думаю также, что счастлив будет

тот, чей образ действий согласуется с особенностями времени, и равным образом несчастлив тот, чей образ действий расходится со временем. Поэтому можно наблюдать, что люди, стремясь к общей для всех цели, а именно к славе и богатству, поступают различно: одни берут осторожностью, другие натиском, один насилием, другой хитростью, одни терпением, другие противоположным ему свойством; и этими различными путями все могут прийти к одной и той же цели».

Хотя Макиавелли и потерпел неудачу, он проник в сущность практического осуществления власти настолько, что а) простые граждане с помощью его книги могут лучше разобраться в том, как функционируют бюрократы, и б) бюрократы могут научиться из нее, как продвигаться все вперед и выше внутри бюрократических иерархий.

Осторожность

Известны случаи, хотя и немногочисленные, когда бюрократы добивались повышения с помощью предусмотрительности и того, что оказывались в нужный момент на нужном месте. Например, академический бюрократ желал из простого профессора стать деканом. Он учел, что его декан приближается к пенсионному возрасту, а также то, что ректор весьма ценит рекомендации этого декана. Профессор разработал план и очень осторожно начал предлагать декану свои услуги, когда дело касалось скучных и будничных дел. Он помогал писать отчеты, соглашался в нерабочие часы заседать в учебных комиссиях и составлял справки по факультетскому бюджету. На заседаниях факультета он демонстрировал безоговорочную преданность как декану, так и ректору.

Это осмотрительное, но настойчивое кружение около власть имущих в конце концов обеспечило ему пост декана. Будучи известной величиной, он не внушал опасений ректору, убежденному, что он и впредь ни в чем не явится ему помехой, а декан, рекомендуя его, питал уверенность, что его преемник сохранит все существующие программы и тем самым обеспечит своему учителю академическое бессмертие.

Натиск

Энергичные действия, неотъемлемые от того, что Макиавелли определил как «натиск», не согласуются с апробированным образом действий профессионального бюрократа, и убаюкивающая система бездействия в конечном счете лучше обеспечивает достижение облюбованной ступени иерархической лестницы.

Насилие

Прямая ликвидация начальника, являющегося помехой для повышения бюрократа, рекомендована быть не может. Расчистка пути наверх с помощью насилия не только чревата нежелательными последствиями, но и представляет собой примитивный, совершенно непрофессиональный прием. Искусство бюрократии достигло высочайшей степени развития, и в распоряжении профессионального бюрократа имеется широкий выбор сложных маневров, соответствующих его профессиональному статусу. Усложненность и артистическую тонкость всегда следует предпочитать простоте и прямолинейности.

Хитрость

Хотя Макиавелли и должен считаться неудачником, как не выдержавший основной проверки на преуспевшего бюрократа, он тем не менее попал в цель, усмотрев в хитрости важнейшее орудие тех, кому удается добиться власти и удержать ее. В развитии этого свойства хитрый бюрократ, подобно красноречивому бормотателю, ограничен лишь теми барьерами, которые он сам себе устанавливает.

Например, бюрократ помогает своему начальнику разрабатывать важный проект, который будет затем представлен главе данного учреждения. Он ничего не критикует и, наоборот, всячески поддерживает своего начальника в его идеях, хотя на вечернем заседании узнал от секретарши главы учреждения, что ее шеф ждет прямо противоположных идей. Во время официального представления проекта бюрократ бдительно выжидает удобного случая нанести эффектный удар, который удивит и ошеломит его начальника, но будет одобрен главой учреждения.

Удар следует наносить тоном глубокого соболезнования, но так, чтобы продемонстрировать собственную способность быстро ориентироваться и здраво рассуждать. Например, бюрократ может сказать своему начальнику:

— Джордж, я знаю, как долго и упорно вы разрабатывали это предложение, но сейчас, пока я вас слушал, мне вдруг пришло в голову...

Бюрократ, который хитер и терпелив, в конце концов проскользнет наверх.

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

Принципы откладывания решений, комитетская процедура и механизмы санкционирования

История применения комитетов по изучению восходит ко временам Адама и Евы и берет начало в дискуссии между Евой и змеем по вопросу о последствиях вкушения от плода с древа, произраставшего посредине Эдемского сада. По мнению некоторых ученых, уделивших немало времени историческим разысканиям, следующей важной стадией в развитии процесса комитетотворчества стало решение «потомства сыновей Ноевых» построить башню высотою до небес. Как полагают осведомленные теологи, тогда был создан комитет для изучения вопроса о выполнимости этого плана, еще один комитет по выбору строительного участка и третий комитет по разработке программы использования стройматериалов: кирпи-

ча, камня и извести. Однако высшая инстанция, судя по всему, не санкционировала проект, и комитеты были распущены. Принятые меры: смешаны языки всей земли.

Отсюда и пошло увлечение людей комитетами, санкциями, бюрократическим бормотанием.

Ныне почти немыслимы такие меры, которые могли бы быть приняты без привлечения к этому какого-нибудь комитета. Все известные организационные формы, в рамках которых мы трудимся, развлекаемся или, скажем, исповедуем религию, опутаны бюрократической красной тесьмой комитетской деятельности. Плановые комитеты, бюджетные комиссии, мандатные комиссии, комитеты по украшению, комитеты по питанию и так далее, и так далее, без числа. Поистине нет у динамичной бездеятельности лучшей помощницы, чем комитетская процедура!

При всем многообразии форм современных комитетов они остаются по существу все тем же изначальным комитетом, известным издревле. Как-то раз один политик на востоке Техаса, ораторствуя перед толпой, показал ей стеклянную банку, в которой сидел большой таракан. К спинке таракана были приклеены клочки шиншиллового меха. И хотя оратор в изысканных выражениях восхвалял свою шиншиллу, она оставалась все тем же тараканом. Сегодня правительственный аппарат кишмя кишит президентскими специальными комиссиями и комитетами экспертов с самыми благозвучными названиями.

Комитеты по изучению — это излюбленное орудие бюрократа, с помощью которого он предотвращает принятие решений, которые могли бы прибавить ему работы, создать для него затруднения или иметь какие-либо другие нежелательные последствия. Когда общественные дискуссии приобретают чрезмерно эмоциональный характер и начинают угрожать покою бюрократии, бюрократическое руководство может просто-напросто спихнуть спорный вопрос на изучение в комитет. При этом бюрократ, как это чаще всего бывает, вовсе не заинтересован в получении каких бы то ни было серьезных рекомендаций; его ведь интересует совсем другое — найти приемлемый способ оставить вопрос в нерешенном и не причиняющем беспокойства состоянии, покуда не улягутся общественные страсти. Бюрократ, создающий комитет, отнюдь не должен раскрывать членам комитета свою действительную цель, но он может использовать членов комитета в качестве: 1) рупора, призванного обратить внимание общественности на искреннюю озабоченность бюрократа данной проблемой; 2) буфера между бюрократом и широкой публикой; 3) узаконенного средства для создания оттяжек, задержек, проволочек и вообще для максимальной отсрочки решения.

В наши дни в федеральном правительственном аппарате насчитывается примерно 850 групп по изучению, являющихся эффективными инструментами оттягивания всякого дела. Подобные группы могут развиться во временные комиссии. Временные комиссии могут развиться в постоянные агентства или в бюро внутри агентств, а неотложный характер проблемы может оказаться преобразованным в долгосрочную неотложную программу.

Комитеты могут осуществлять свою деятельность через ряд подкомитетов, но наиболее широкие возможности набраться опыта по части волокиты предлагают бюрократу межведомственные и междепартаментские комитеты. Представители, заседающие в таких комитетах, не могут, понятно, связывать свои ведомства обязательствами, не проконсультировавшись с руководством ведомства. Это создает благоприятнейшие условия для оттяжки принятия решений. Когда же в конце концов выносится предварительное решение, оно, разумеется, обязательно облекается в осторожные формулировки «соглашения в принципе». Столь гибкая резолюция позволяет бюрократу маневрировать, добиваясь максимально престижного поста для себя буквально до последней минуты существования межведомственного комитета. При умелом подходе бюрократ может сделать из своего назначения в межведомственный комитет пожизненную карьеру.

После того как доклады по изучению будут рассмотрены комитетами по рассмотрению, а доклады комитетов по рассмотрению будут обследованы комитетами по обследованию, доклады комитетов по обследованию должны быть скоординированы комитетами по координированию. Полный набор согласованных резолюций призван обеспечить должную эскалацию процесса откладывания решения, этой основы основ динамической бездеятельности.

Визы и санкции бывают двух родов: непосредственные и многоступенчатые. Непосредственные санкции оставляют кое-какие возможности для волокиты, но совсем мало возможности для отмены решений. Ведь непосредственная виза представляет собой единичный акт, не связанный с предыдущими санкциями других бюрократов. Например, если преподаватель должен получить разрешение руководителя кафедры на покупку коробки канцелярских скрепок и если для этого не требуются никакие другие разрешения, мы имеем дело с простой, непосредственной санкцией.

Примером другой разновидности непосредственных санкций может служить случай делопроизводителя, которому нужно приобрести набор канцелярских принадлежностей для архива. Делопроизводитель должен получить визы директора учреждения, начальника отдела и помощника финансового ревизора, но ни одна из этих трех санкций не зависит от наличия предварительной санкции

ДЖЕЙМС БОРЕН
СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!

одной из двух остальных санкционирующих инстанций. Простое отношение (испрашивающий санкцию — налагающий санкцию), не предусматривающее требования многоступенчатости, является сравнительно малоэффективным средством задержки принятия решений.

Многоступенчатые санкции — это такие санкции, которые требуют соблюдения строгой очередности при их получении. Скажем, преподавателю университета где-нибудь на Среднем Западе, который пожелает съездить в Денвер на важную конференцию работников образования, возможно, потребуется разрешение на эту поездку семи различных инстанций. Прежде всего ему, по-видимому, придется заручиться разрешением руководителя своей кафедры. Во-вторых, ему понадобится разрешение декана, затем — разрешение заместителя ректора университета по учебной части. Окончательным разрешением со стороны университетского начальства должна стать виза ректора университета — если только ректор не решит, что финансовый ревизор должен поставить на форме с просьбой о разрешении поездки печать, удостоверяющую, что средства на поездку имеются. После этого, вероятно, потребуется санкция казначея штата, но все предыдущие санкции будут недействительными, пока, в соответствии с установленным законом предписанием, просьбу не утвердит, поставив свой гриф, губернатор штата.

Если декану случилось уехать в другой город на другую конференцию и наш профессор физически не может добыть его подпись, плакала его поездка на важную конференцию: заместитель ректора по учебной части не наложит свою санкцию без визы декана. Конечно, если декан успеет вернуться вовремя, многоступенчатая процедура наложения санкций может возобновиться, начиная с этой инстанции и дальше в порядке возрастания.

В Пентагоне, государственном департаменте и международных агентствах обычным явлением считаются многоступенчатые процедуры санкционирования, предусматривающие последовательное наложение от пятнадцати до двадцати виз. Благодаря многоступенчатым санкциям удается отсрочивать принятие решения иной раз на полгода, особенно если привлечь к этой процедуре генеральный совет.

Вот почему пробюр кровно заинтересованный в устранении всякой поспешности при принятии решений, должен всячески содействовать наращиванию многоступенчатости в процедуре санкционирования.

Во имя сохранения статус-кво и придания надлежащей роли динамической бездеятельности как фактору, обеспечивающему уклонение от дела и оттягивание решения, бюрократы Америки призваны благоговейно оберегать комитетские процедуры и механизмы санкционирования.

Смелое непринятие решений, динамическая бездеятельность, уклонение от дела, бормотание с прицелом на создание комитета, руководство с помощью нюха — такова основа той драпировочной ткани, которую мы, американцы, по всей вероятности, используем в конце концов как занавес у своего ложа. Поплотнее задернув его, мы сможем погрузиться в приятные сны.

Широко распространена практика выбора комитетом консультанта, чьи взгляды известны и, следовательно, могут совпасть со взглядами членов комитета. В этом случае рекомендации консультанта придают дополнительный вес и авторитет решениям комитета. Они же могут сыграть впоследствии роль объективного буфера, призванного оградить комитет от критики.

Использование консультантов, которые заведомо скажут вам именно то, что вы хотите услышать, является известным бюрократическим приемом, которому можно присвоить название «эхосультирование». Обычно процедура эхосультирования осуществляется методом согласоанализа. Консультант может превратиться в эхосультанта, если на него падет выбор людей, знакомых с его профессиональной работой. В таких случаях он может выступить в роли эхосультанта, сам того не ведая. Однако бывают и другие случаи, когда профессионального эхосультанта, владеющего методом согласоанализа, избирают в результате тщательного обсуждения всеми заинтересованными сторонами. Комитеты по подбору кандидатур на председательские должности обычно прибегают к услугам эхосультантов как в процессе выработки критериев, так и при окончательном выборе председателя.

Преуспевающим педбюрам (то бишь бюрократам от педагогики) не пристало тратить свое драгоценное время, познания и ораторские таланты на такие явные излишества, как занятия со студентами. Педбюры должны «публиковаться»; они должны постоянно разъезжать, выступая то в клубах разных обществ, то на собраниях родительско-студенческо-преподавательских ассоциаций, то в теледискуссиях. Их долг — возделывать ниву субсидируемых фондами и государством исследований в надежде пожать богатый финансовый урожай для дальнейшего проведения исследований, ориентированных на получение субсидий, и для подготовки дальнейших публикаций, ориентированных на служебное повышение. На подобных качествах педбюров держится движение за бюрократию и братство бюрократов

Как уцелеть при смене администрации

Хотя сохранение должностей помельче с грехом пополам гарантируется законом, влиятельные посты прямо на корню закупаются политическими претендентами, лидерами партий, кадровиками, ведающими административным персоналом Конгресса, и специалистами из Белого дома, занимающимися назначением отзывчивых кандидатов на тепленькие местечки.

Прейскурант для желающих приобрести высокие посты (официально он называется по-другому) выпускается после победы на выборах новой администрации в виде издания для внутреннего пользования. Ревниво оберегаемый и тщательно изучаемый как искателями должностей, так и назначающими на них, этот прейскурант перечисляет руководящие посты во всех правительственных департаментах и агентствах. По сути дела сей прейскурант содержит перечень высоких должностей, которые в первую очередь могут стать объектом домогательств, с указанием сроков, когда их можно заполучить, размеров жалованья и прочих сведений, представляющих интерес для политических лидеров, «облеченных доверием» народа.

Еще до издания прейскуранта теплых местечек, предназначенного для избранных, и задолго до церемонии введения в должность нового президента в Вашингтон стекаются опытные участники политической игры. В глазах у них — упование, в позах — решимость, в руках — список своих заслуг, явившихся вкладом в политическую победу.

Однако ко дню вступления президента в должность к этим бывалым ловцам чинов присоединяются тысячи и тысячи политических новичков, которые тоже пытаются залучить в укромный уголок своего сенатора или конгрессмена и уговорить его посодействовать назначению просителя на какой-нибудь высокий пост. Новички с теплотой и ожиданием во взоре напоминают победившему кандидату, как они обменялись рукопожатием в начале его кампании. И долго еще продолжают они бесцельную погоню за ответственной и престижной должностью.

А в это время опытные политиканы и представители торгово-промышленных и профессиональных организаций, разумеется, уже составляют тексты коммюнике для печати, в которых поздравляют новую администрацию, назначившую их человека. Сенаторы и конгрессмены поддерживают постоянный контакт с политическим руководством избирательной кампании в малоизвестных широкой публике служебных кабинетах избранного, но еще не вступившего на пост президента. Там они действуют плечом к плечу с членами национального комитета партии, председателями партийных организаций штатов и крупнейшими вкладчиками в фонд избирательной кампании.

Такова общая картина, на фоне которой профессиональный бюрократ энергично и скрытно, отчаянно и стоически старается укрепить свои собственные связи с партийными боссами — непоколебимыми поборниками новой администрации. Вот тут-то и должно проявиться умение пробюра уцелеть, несмотря ни на что.

Как уцелеть на государственной службе (перечень рекомендаций)

Методы, применяемые пробюрами для того, чтобы уцелеть в ходе болезненной ломки, которой сопровождается смена администрации, столь же многочисленны и многообразны, сколь многочисленны и многолики сами пробюры. Поэтому прилагаемый перечень следует рассматривать не как исчерпывающий свод руководящих указаний, а как список проверенных приемов, которые могут быть взяты на вооружение в их настоящем или модифицированном виде пробюрами, стремящимися уцелеть.

1. Бюрократы низшего ранга могут безопасно отсиживаться на своих местах, ничего не предпринимая до тех пор, пока им не удастся узнать, кто будет их новым начальником. Ибо главной мишенью политических заправил становится дичь покрупнее — высокопоставленные бюрократы.

2. Если у высокопоставленного пробюра возникнут приватные сомнения относительно того, останется ли его партия у кормила правления, он должен заранее подготовить основу для перевода своей должности в категорию, пользующуюся защитой закона о гражданской службе. При тщательно организованной и своевременно проведенной операции по переводу занимаемого им поста из одного разряда в другой пробюр, быть может, сумеет удержаться при смене администрации, но ему, возможно, придется довольствоваться после этого должностью рангом пониже. Однако ведь главная цель пробюра — это уцелеть.

3. Пробюр должен, если представится такой случай, добиться своего назначения в департаментский комитет по передаче полномочий новой администрации. Такой комитет находится под руководством сил, одержавших победу на выборах; поэтому, воспользовавшись благоприятной возможностью продемонстрировать свою компетентность, рассудительность и преданность интересам департамента, пробюр получит шанс удержаться на своем посту или войти в новую команду. Как правило, члены комитета по передаче полномочий заботятся о своих собратьях по комитету.

4. Пробюру следует составить полный реестр своих связей с партией, победившей на выборах. Надо внести в него всех друзей, принадлежащих к этой партии, и прежде всего тех (если таковые имеются), кто был политически активен и имеет официально зарегистрированные заслуги перед победившим кандидатом. Особенно полезными могут оказаться связи в Конгрессе.

5. При каждом удобном случае пробюр должен показывать, какой он незаменимый специалист: ссылаться на свой многолетний опыт, владение профессиональным жаргоном и т. д. и т. п. Знание административных правил своего департамента дает пробюрам дополнительный шанс. Некий выдающийся руководитель одного специализированного фонда однажды заявил: «Если не може-

---

ДЖЕЙМС БОРЕН
СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!

те поразить их своими блестящими способностями, ошеломите их чем-нибудь другим».

6. В период смены власти пробюр может счесть целесообразным заполнить анкету (форма 171), с тем чтобы иметь возможность сразу же вручить ее какому-нибудь работнику отдела кадров или вышестоящему начальнику, если вдруг ему неожиданно подвернется должность, назначения на которую он добивался месяцами.

7. При неблагоприятной обстановке пробюр, возможно, сочтет за благо перевестись в оперативный отдел, работающий где-нибудь в другом месте. Здесь он не будет мозолить глаза кому не надо и может рассчитывать на то, что о нем позабудут. Если же пробюр служит в центральных учреждениях в Вашингтоне и не имеет возможности перевестись в оперативный отдел вне столицы или на какой-нибудь международный пост, ему рекомендуется быть тише воды, ниже травы. При смене администрации пробюр не должен высовываться.

Как уцелеть на службе в корпорации (перечень рекомендаций)

Перемены в руководстве крупной корпорации или даже маленькой фирмы чреваты по существу совершенно такими же опасностями для должностных лиц, какими характеризуется смена администрации в федеральном правительстве. Каждый пробюр должен вооружиться своим собственным списком факторов, помогающих уцелеть, но, возможно, ему пригодятся предлагаемые ниже рекомендации.

1. Составьте список своих друзей среди акционеров, выступавших за смену руководства, а также список друзей своих друзей. Воспользуйтесь обоими.

2. Займитесь поисками малоизвестных фактов о новом начальнике и главных его помощниках: сферы личных интересов, хобби, театральные вкусы и т. д. Воспользуйтесь ими.

3. Если создается комитет по передаче полномочий, постарайтесь стать членом этого комитета. В том случае, если вам не удастся стать полноправным членом, устройтесь на какой-нибудь административный пост рангом пониже. Это даст вам возможность проявить готовность к сотрудничеству, а главное, наглядно продемонстрировать свою компетентность и преданность интересам компании.

4. Пробюру — служащему корпорации, не сумевшему пристроиться в том или ином качестве при комитете по передаче полномочий, рекомендуется ознакомиться с новейшей терминологией и последними веяниями в области его специализации. Применяя к месту и не к месту эту терминологию и оперируя всеми атрибутами своей профессии, пробюр может с успехом выдавать себя за незаменимого специалиста.

5. Поддерживайте непрерывную циркуляцию бумаг через ящики для входящих и исходящих документов. Если поток служебных бумаг недостаточно интенсивен для того, чтобы создать видимость кипучей деятельности, пробюр должен сам позаботиться о его усилении. Так, он может написать ряд индивидуально отпечатанных циркулярных писем клиентам и друзьям по какому-либо ничего не значащему деловому вопросу или же разослать просьбы о высылке каталогов и фирменных бюллетеней по адресам, указанным в промышленных журналах.

6. Позаботьтесь о том, чтобы вам чаще звонили по деловым вопро́сам. Достигается это посредством обычной процедуры наведения справок. За время, когда остальные сотрудники уходят на обед, пробюр должен организовать как можно больше ответных телефонных звонков. Поскольку люди, которым вы позвоните в обеденный перерыв, по всей вероятности, тоже ушли обедать, попросите передать им, чтобы они вам позвонили потом.

7. Составьте рабочий документ о том, каким образом следовало бы изменить (в целях усовершенствования!) ваш круг обязанностей, с тем, чтобы они лучше соответствовали изменившейся структуре компании. Подачу этого документа надлежит тщательно подготовить и спланировать, но вручить его начальству надо в самой непринужденной манере.

8. До тех пор, пока пробюр не сориентируется в новых тенденциях кадровой и административной политики, ему рекомендуется держаться как можно незаметней. Ведь основное правило, которым надлежит руководствоваться, когда возникает некоторая неясность в отношении того, в какой степени пробюр должен быть виден и слышен, гласит: «Если сомневаешься — стушуйся».

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

Под гипнозом бюрократического бормотания

Бюрократия поистине неисчерпаема. Ее осуждают, сокращают, клеймят, но на месте срубленных голов у нее, как у сказочного дракона, вырастают новые, числом поболее. К примеру, давно ли Джимми Картер божился, что урежет и усмирит вашингтонскую бюрократию и на этой репутации антибюрократа из глубинки въехал в Белый дом, а как разросся при нем столичный чиновничий муравейник! Неисчерпаема она и как предмет для исследования: вслед за классиками современного бюрократоведения Паркинсоном и Питером, чьи произведения имели вполне основательный и повсеместный успех, в том числе и у нас, появилась целая вереница их последователей. Один из наиболее заметных — Джеймс Борен, хотя, как всякий подражатель, он склонен в чем-то повторять «великие образцы». Но вместе с тем довольно успешно высвечивает пока еще не вполне изученные качества бюрократии, опять же — увы! — неисчерпаемые. Не потому ли книга Борена удостоилась похвального предисловия Л. Дж. Питера?

Оригинален и остроумен заложенный в названии книги призыв Борена к бормотанию. Рецепт поистине спасительный для людей бюрократической организации. Ибо бессмысленная невнятица действует как дымовая завеса, скрывая ничтожность организации и одуряя или усыпляя зрителей. Например, телезрителей США, включающих программу новостей и вынужденных искать смысл в выспреннем бормотании своих так называемых государственных мужей. Они произносят высокопарные фразы о важности всеобщего мира, одновременно подрывая этот мир акциями своих разведок и вооруженных сил. Их манера держаться напыщенна, а сущность убога. Резонно изумилась недавно одна французская газета: почему столь великая и богатая страна руководима столь посредственными деятелями? Конечно, и в темном бормотании заложен определенный смысл, но до него приходится докапываться и, как это делают археологи, воссоздавать по отдельным атрибутам образ жизни целых цивилизаций.

Жизнь, однако, показывает, что невнятицу не всегда следует понимать буквально, ибо существует и отточенное, элегантное бормотание, которое детально и наглядно классифицирует Борен. И как есть книги по поваренному искусству, так книга Борена содержит руководство по ораторскому искусству для бюрократов.

Бездеятельность — так определяет Борен образ жизни бюрократии. Какой контраст с эффективностью и рациональностью, которые всего несколько десятилетий назад усматривал в западной бюрократии Макс Вебер, крупный буржуазный социолог, положивший начало систематическому ее исследованию. Неужели же она так выродилась? Не точнее ли предположить, что именно бездеятельность была заложена в самой ее природе, более явственно обнаруживаясь, однако, по мере растущего загнивания социального строя?

В. И. Ленин, как бы заглядывая на десятилетия вперед, указал еще в начале века на общую — и для царской России, и для парламентской Англии — бесконтрольность привилегированной бюрократии, которая и порождает бездеятельность и паразитизм. «...Только бы в бумагах было все в порядке,— писал тогда Ленин,— а больше ни до чего нет дела чиновнику, который стремится лишь получать свое жалованье и выслуживаться перед начальством» [1].

Так и сегодня в бумагах, подготовленных бюрократом для трескучих речей западных политиков, все в порядке, не то что в окружающей действительности.

Как следует из книги Борена, современные бюрократы завидно деятельны лишь в том, что касается их личных и родственных интересов: забота о сохранении вида осуществляется с изобретательностью — не рискуя брать родственников в собственный отдел, пробюр ориентируется на систему взаимных услуг в расчете на ответное дружеское одолжение коллеги, взявшего в свой отдел его родственника.

Борен без достаточного основания обобщает кастовые признаки всех своих героев сокращением «пробюр» (профессиональный бюрократ). Но поскольку для нас важна не столько профессия, сколько классовая принадлежность, вспомним о другой аббревиатуре, похоже, неведомой Борену. Задолго до появления его книги в Индонезии времен Сукарно, где чиновники и прихлебатели «отца нации» на все лады пели о «направляемой в интересах народа демократии», родилось сокращение «кабир» (капиталистический бюрократ), вошедшее в народный язык. Так что сокращения можно варьировать, но социальный их смысл неизменен.

Ибо, скажем, Сукарно был свергнут, но и при новом режиме бюрократия осталась. Кстати, не просто осталась, но приложила руку к его свержению: ведь проводившиеся перемещения и смещения в государственном аппарате создавали невыносимое для нее чувство неуверенности. Как мы видели, осталась бюрократия и в США после прихода Картера к власти, хотя президент-проповедник произнес немало антибюрократических инвектив. А каков результат? Ответ дан в новейшем исследовании профессора Калифорнийского университета Н. Фрида «Результативность американской бюрократии» (Бостон—Торонто, 1976): «Принимаются законы, издаются президентские директивы... дела же становятся хуже, а не лучше». Именно в этом справедливо усматривает профессор Фрид «кризис доверия к администрации американского общества» — «разрыв между ожиданиями и результатами».

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 275.

Более того, бюрократия ловко спекулирует на этих ожиданиях. Они используются как предлог для создания все новых организаций, превращающихся в кормушку для аппарата, тогда как первоначальные проблемы только усугубляются.

Сейчас конгрессу США пришлось, по требованию негодующих налогоплательщиков, заняться вопросом так называемой «скрытой рабочей силы» — людей, выполняющих государственные заказы и поручения, но не числящихся в штате. Таких нахлебников насчитывается, по сведениям американской печати, не менее четырех миллионов; причем наиболее ловким из них оплачивается не только их мнимый труд, но и питание семьи, жилье, даже такси («Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», 18 февраля 1980). Пытаться приостановить этот процесс — все равно что одолеть медведя с помощью прутика, заявил сенатор США Прайор, а уж он-то знает дело.

Американский социолог Юджин Льюис построил недавно модель бюрократического общества, которое, по его мнению, состоит из лидеров бюрократических организаций (вместо homo politicus, открытого еще Аристотелем, он предпочитает говорить о homo bureaucraticus), их многочисленных клиентов и еще более многочисленных жертв. Последние — это «безымянная масса, зависящая от решений, которые принимаются независимо от них».

Какая безотрадная картина! Эту книгу («Американская политика в бюрократический век», Кембридж, 1977) Ю. Льюис открывает посвящением своим детям. «Пусть они,— выражает робкую надежду автор,— помогут создать Америку с меньшим числом клиентов и жертв». Пока что, однако, состояние жертвенной пассивности достаточно характерно для массового сознания современного бюрократизированного буржуазного общества.

Без риска ошибиться можно предположить, что и бюрократы с удовольствием читают книгу Борена, посмеиваясь при этом. Посмеиваются и продолжают свою плодотворную бездеятельность. В этой гибкости — один из секретов их устойчивости. Похоже, и довольно безобидное подтрунивание над буржуазной бюрократией тоже становится элементом буржуазной же массовой культуры. Можно предположить, что улыбки сползли бы с иных лиц, если бы антибюрократические комментаторы, подобные Борену, копнули бы глубже, обнаружив социальные корни бюрократии. Ибо Борен иронизирует над бюрократическими методами, стилем управления, тогда как в бюрократическую форму облачена паразитическая власть эксплуататорского класса.

Но неужели эта власть непреоборима? Вряд ли. Как сказал великий американец Авраам Линкольн, можно все время обманывать одного человека, можно некоторое время обманывать весь народ, но нельзя все время обманывать весь народ.

Есть все же и свидетельства понимания истинных причин и следствий, более того, серьезных критических оценок. К примеру, в Англии в 1973 г. был проведен опрос с целью выяснения степени доверия, которое испытывает население к представителям разных профессий. В результате, если врачи собрали 75% голосов, то государственные служащие — лишь 7%, министры, профсоюзные лидеры и члены местных органов власти — 5%, а члены парламента (наряду с журналистами) — и того меньше, 4 процента (правда, рекорд поставили финансисты и бизнесмены — всего 2 процента). Да и при всех возможных оговорках по поводу книги Борена успех сатирических произведений, подобных ей, свидетельствует о достаточной живости и остроте антибюрократического сознания, что позволяет смотреть на будущее этой проблемы не столь пессимистически, как Льюис.

Е. АМБАРЦУМОВ

◆

ТРАДИЦИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ МИРА

О творчестве Яни Хрисопулоса

Встреча с болгарским живописцем была кульминацией дня. К дому Яни Хрисопулоса я подходил с чувством трепета, словно приближался к священному храму. Человеку неведомо, сколько ведущих вверх или вниз ступеней уготовано ему впереди. В одну и ту же реку мы, по мысли мудреца, вступаем и не вступаем. Мы существуем и не существуем. Мир художника — всегда тайна. И сам человек — тайна не меньшая. Только у окружности начало и конец неизменно совпадают. А нрав человека — его демон. Он подобен природе моря, о котором Гераклит как-то сказал, что оно наполовину земля, а наполовину смерч...

Таинство творчества художника... Волшебный мир пластических образов. По слову поэта, убогая душа подобна слепому нищему, который, попав в чудесный сад, слышит его запахи, но не видит прелестного цветения деревьев и растений. В Созополе кажется, будто сама природа наделена эмоциями и способна чувствовать, как человек. И оттого трудно разграничить ее жизнь и жизнь людей. Сменяющие друг друга живописные пейзажи вызывают в человеке душевный подъем, восхищение. Прекрасное пронизывает все вокруг, и надо почувствовать, понять его — в приливах, отливах, восходах, в лунных ночах, в повсеместном присутствии чего-то загадочного и глубокого, как само море, подлинного, как кремнистая почва полуострова, на котором вырос Созополис — «город спасения».

Не помню, у кого из классиков мне встретилась мысль о том, что одно из неотъемлемых свойств эстетического акта — потребность оправдания человека и природы, в сущности она воплощается в каждом художественном творении...

Вокруг было темно и почти безлюдно. Фантастически спокойная атмосфера. Свет уличных фонарей едва пробивался сквозь густой и вязкий туман. Со стороны моря веяло ночной прохладой. И я чувствовал, что сама земля будто источает волнение, как живое существо с пульсирующей кровью. Все сильнее овладевало мною состояние «очарованного странника», с каждым часом Созополь — мечта художников и поэтов — становился все ближе. Поистине, увидев однажды этот город, трудно не воскликнуть: остановите землю, я здесь сойду...

С самого порога десятки картин встречают вас. Буквально от пола до потолка занимают они стены вокруг крутой спиральной лестницы. Ощущение открытия, радости нарастает по мере подъема вверх по лестнице, словно вы движетесь вместе с художником к вершинам его мастерства. Зрелище это не может не впечатлять. Все более властно оно увлекает вас, захватывает, не отпускает от себя. Соприкосновение с первым же полотном переносит в красочное царство мариниста. Вы погружаетесь в морскую стихию, ощущаете ее движение, перекаты волн, они подхватывают вас и несут от холста к холсту — не свидетельствует ли это само по себе о верности живописца великой правде жизни, эстетической правде?

Обитель художника не назовешь, пожалуй, дворцом. Впрочем, само помещение почти не привлекает внимания, менее всего думаешь о том, скромно оно или богато в действительности. Со всех сторон вас окружают картины, одни картины и только картины. Им давно уже здесь тесно, они наступают одна на другую. Многим не нашлось места на стенах, и они лежат на полу. Рядами и стопками. Дом более чем переселен. Обитатели его взывают, вопиют... Увы, ослепительный Феникс, гласит восточная народная мудрость, нередко ютится в курятнике, подобно светящейся жемчужине, рождающейся в грубой раковине... При-

Иллюстрации к статье см. на обложке «ИЛ» № 7, 1980 г.

меты реальности, в которой уживаются крайности материального и духовного, начала гениальности и скромности. Не потому ли говорят: море оттого велико, что и ручейками не брезгует?.. «Глупо,— пишет в «Записках от скуки» Кэнко-хоси,— всю жизнь истязать себя, не зная минуты покоя в погоне за славой и выгодой. Когда у тебя много богатств, ты нуждаешься в защите своей плоти. Богатство — сводня, заманивающая бедствия и навлекающая беспокойства. Пусть после твоей смерти подопрут деньгами твоими хоть Большую Медведицу — людям они ничего, кроме обузы, не принесут. И то, что глупцу они радуют взор и доставляют удовольствие, недостойно внимания» [1].

Родился Яни Хрисопулос в начале нашего столетия в Созополе, древнейшем из поселений на болгарском Черноморье. Родной свой город он никогда не покидал надолго. И теперь, на склоне лет, все его помыслы лишь о Созополе. Ни другие города, ни ближние и дальние земли не манили его в прошлом, не привлекают и сейчас. Единственное желание художника — не расставаться с родным краем, до конца дней остаться в Созополе.

— Я пришел в жизнь на этой земле, под этим небом. Всем сердцем к ним привязан. Не мыслю своего существования вне Созополя, без извечного здешнего уклада, без связанного с морем бытия. Не могу без своего стародавнего Созополиса — «города спасения», он — неотъемлемая часть меня со дня моего появления на свет. Здесь — вся моя жизнь... И без моря не могу. К нему неизменно восходят все мои поиски, обретения, все творческие муки. Мои радости и печали, восторги и надежды. Без моря мне просто невозможно,— не без внутреннего волнения говорил Яни Хрисопулос, как бы приоткрывая глубинные корни своего искусства, своего творческого импульса.

Есть на свете немало людей, которые всю жизнь как-то не задумываются над целью своего существования. Живут, работают, суетятся и не дают себе труда осмыслить, во имя чего они это делают. Порой лишь на склоне лет приходит им в голову вопрос: ради чего я жил, к чему стремился, чего достиг?

— В искусство люди приходят по-разному. Каждый своей тропой. Мне не довелось учиться, получить высшее образование. Я рос в этом провинциальном городке. Редко перед кем раскрывались тогда двери столичного храма просвещения. Меня окружала суровая, бедная обстановка. Но я не сетую. Напротив, я жил среди людей труда, хоть они и испытывали нужду. Не всякий день в их доме был хлеб насущный. Но никогда они не теряли присутствия духа, всегда зрили в лучшее, сохраняли радушие и приветливость. Мне по сердцу были простые и гордые труженики. Были и останутся навсегда. Нет у меня оснований корить судьбу...

Работы Яни Хрисопулоса впервые выставлялись в 1934 году в Бургасе, затем в 1936 году — в Казанлыке и в 1937 году — в Пловдиве. В 1949 году картины художника были показаны в Софии. Выставки подводили итог многолетнему творчеству живописца — певца болгарской земли. Они давали возможность зрителям ознакомиться с его художественными исканиями, связанными с глубоким и искренним воплощением природы болгарского Черноморья.

Творчество Хрисопулоса вызывало смешанные чувства у столичных ценителей искусства: раздражение у одних, привыкших к канону, и смущенное удивление у других. Самовлюбленных эстетов и снобов возмущала дерзость провинциального живописца, бросившего вызов вельможам от искусства, чванливым павлинам. Представленные на выставке работы поразили всех, ибо художник, дотоле никому неведомый самоучка, вдруг возник как сложившийся мастер, как маринист редкого дарования. Картины Хрисопулоса отнюдь не всегда приходились по вкусу академикам. Выставка не осталась незамеченной. И несмотря ни на что, Яни Хрисопулос в том же году стал членом Союза болгарских художников. В 1960 году в столице Болгарии с успехом прошла персональная выставка художника.

■

Пути художника неисповедимы, как неисповедима сама мера благожелательности и предубежденности. О вещах мы часто судим не по их действительной сущности, не по реальному их значению, но по соображениям побочным, субъективным, отталкиваясь от личных симпатий и антипатий. В самом деле, иные критики исходят из так называемых «объективных данных» — формальных свидетельств об образовании, диплома, ученых степеней, лауреатских званий... Как будто в этом залог таланта! Но разве академическая аудитория или торжественный зал сами по себе способны гарантировать рождение истинного творца? Сколько оснащенных дипломами лиц устремляется в искусство из стен художественных школ, консерваторий, литературных институтов, а многим ли из них удается утвердиться — не в должности, а в творческом созидании — настоящими артистами, композиторами, писателями? И разве присвоение звания профессора академии живописи, музыкальных и литературных учебных заведений — одарять своих питомцев талантом живописца, композитора, поэта? Таланту не обучают. Обучить можно грамоте, ремеслу, истории и законам искусства, музыки, литературы. Излишне повторять истину, что таланты рождаются. Самоучка? Это — часто самородок, от природы наделенный тем, что не дается никаким академическим образованием, никакими дипломами и званиями. Это, по всей видимости, «свыше». Существуют какие-то флюиды, рождающие обостренную тягу к искусству, к прекрасному в мире.

— Без настоящего таланта, без врожденного дара едва ли мыслим истинный художник,— говорит мой собеседник Яни Хрисопулос.

Тот, кто лишен «искры божьей», заведомо обречен в мире искусства. Ему уготована судьба ремесленника. Академии и про-

[1] Кэнко-хоси. Записки от скуки. М., «Наука», 1970. стр. 61.

фессора тут бессильны, хотя нередко такому человеку достаются дипломы с отличием, а в дальнейшем различные общежитейские обстоятельства обеспечивают ему и высокие звания, и разного рода поощрения. К сожалению, таких ремесленников куда больше, чем самородных живописцев, творцов подлинных художественных ценностей.

Гераклит, помнится, называл не заслуживающими доверия тех, кто «не умеет ни выслушать, ни высказать». О собеседнике моем можно с полной уверенностью сказать, что он может и то, и другое, но стихия его — ярко и талантливо выражать себя в красках и образах, в созданных им картинах, которые, словно удивительные цветы волшебного садовника, убедительнее всего повествуют сами о себе.

Как сказал поэт, от интенсивности света, от цвета воздуха и неба зависят краски полотен живописцев в различных землях. Так и речь людей, произносимые ими слова имеют различную окраску, живут в своих традициях, осмысливаются по законам их творца — самого народа.

Глаз — более точный свидетель, чем ухо. Свет и зрение — путь к мозгу. Глаз, однако, должен не только видеть, но сообщать мозгу об увиденном. Именно искусство призвано совершенствовать средства, обращенные к интеллекту, отыскивать новые пути, ведущие к мозгу, раскрывать объективность законов и закономерностей природы, человеческого и общественного опыта.

Природа — постоянно творимая красота. Море, скалы и человек — величайшие создания великого ваятеля — природы. Тысячелетиями громады волн обрушиваются на скалистую толщу берегов, обтесывая и обкатывая камни, вымывая податливые и оставляя упорные породы. Под воздействием ветра и массы морского песка, увлекаемого волнами, прибрежные скалы приобретают самые удивительные формы и очертания, образуют причудливый мир света, линий и синевы, которую без устали гонят на созопольские берега шумящие волны из необозримой морской дали.

■

— Стихия живой воды и стихия камня, утесы, нагромождения скал,— продолжал Яни Хрисопулос,— самые ранние впечатления моего детства, они неизменно питали мои глаза, они составляли фон, на котором протекала моя юность. Я могу назвать этот фон частью мира своей души — той, что стала главной материей моего творчества. Воплощение единства природы и человека — вот его неизменная тема. Сама природа — хранительница тайн — помогает человеку, если он наделен пытливым умом и зорким оком, проникать в законы ее первозданности. И здесь нельзя отделять знание точное от знания эмоционально-художественного. Это лишь разные формы постижения многообразия действительности. «Цель художника,— в одном из своих писем писал Лев Толстой,— не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях». Не радость ли это: морской воде удивиться, живым журчащим потокам среди скал и камней. Удивиться нескончаемому бегу реки, встретившейся на твоем пути. Разве не одолевает человека желание остановиться и присесть у берега, вглядеться, вслушаться и насладиться музыкой играющих ручьев, шелестом березы и вербы, красками вечернего заката. Испытать душевную радость.

Если бы истинным счастьем было услаждение тела, говорили в древности, то счастливыми называли бы быков, когда они находят горох для еды. Разве не предпочтут ослы солому золоту и перлам?

Природа, самая ее сокровенная сущность не на поверхности, но в глубине. Многообразие форм и красок как бы отражает глубинное ее строение. Они возникают из самых корней окружающего нас мира. И верное изображение природы может рождаться только из знания ее законов. Именно взмах этих двух крыльев — науки и искусства — устремит в будущее развитие человечества, так я полагаю.

— Как, по вашему мнению, соотносятся между собой талант художника и труд, который он вкладывает в свое творчество? — спросил я у Яни Хрисопулоса: замечательный дар живописца он сочетает с неутомимым трудом.

— Самоочевидно, что человек, творческим даром не отмеченный, не может стать талантливым художником. Призвание — непременное условие в искусстве. Но одного призвания далеко не достаточно. Врожденное дарование может остаться бесплодным, если его не развивать. И тут все решает упорный труд. Труд неустанный, каждодневный, осмысленный, решает судьбу художника. Я бы определил доли таланта и труда художника как один к девяти.

— Каким образом, на ваш взгляд, приходит творец к осознанию своего предназначения?

— Здесь, мне кажется, все индивидуально. У каждого художника — свой опыт, свои привычки и наклонности. Мне проще говорить о себе. Мои занятия живописью начались с детского развлечения. Мне нравилось рисовать. Родители же обучали меня музыке, игре на скрипке. Страсть к рисованию тем не менее не угасала. Я познакомился с художником-маринистом Александром Мутафовым, который работал тогда в Созополе. Он дал мне первые уроки перспективы, познакомил с начальными техническими приемами. В сущности, я прошел путь самоучки...

— Вы никогда не учились?..

— Очень короткое время — у Мутафова и всю жизнь — в просторной академии Моря... Сколько бы человек ни раздумывал о судьбе своей — ему не оторваться от почвы и неба. Именно здесь он достигает высот прозрения и мудрости. И подлинная любовь к природе может быть воспитана только на основе постижения жизни. Почему с такой любовью человек припадает к земле, пшеничному колосу, к ручью, мор-

ским волнам, цветам и траве? Оттого, что сам он — неотделимая частица природы. Безуспешны попытки оторвать человека от естественного его окружения, от его связи с природой.

— Считаете ли вы, что призвание передается по наследству, переходит от родителей к детям?

— Делать обобщения нелегко. Когда я думаю о своей жизни, я не могу не вспомнить, что у матери моей были хорошие руки: она неплохо рисовала, умело рукодельничала, но она скончалась, когда мне было одиннадцать лет. Дед был резчиком по дереву. В Созополе это ремесло никогда не умирало. Наши мастера пользовались большой славой. От прежних времен сохранился, например, резной иконостас и некоторые предметы церковной утвари в церкви св. Богородицы. Во многих созопольских домах еще и теперь можно встретить резные иконостасы, редкие иконы старинных мастеров.

— Что же, как вам кажется, послужило толчком, внутренним импульсом для ваших серьезных занятий живописью?

— Любовь... страстное чувство к женщине, которую я боготворил... Именно в любви, в моем понимании, зиждется начало искусства и вообще творческой активности. Нет истины там, где нет любви... Какое-то глубокое чувство нисходило на меня, словно осеняло, и вечно бегущие волны, и неизбывная симфония моря стали казаться мне частью самого меня, частью общего нашего бытия, единой стихией всеобъемлющей природы, порождающей все сущее на земле, всех нас, наши чувства и мечты. Я погружался в открывавшуюся мне реальность, в душу человека. Я стал выше ценить красоту дикой природы, морскую стихию, очарование нашего удивительного полуострова, неповторимое обаяние Созополя...

Искусство для Хрисопулоса стало его судьбой. Как же сильна должна быть колдовская власть живописи, если она отрывает человека от привычного покоя, от житейских благ и удовольствий и беспощадно гонит его к мольберту, к палитре, к кистям, заставляя трудиться самозабвенно, с упоением, без устали, днем и ночью, месяцами, годами. Чтобы вдохновенным своим трудом создать более четырех тысяч картин... Поистине радости мирские — лишь краткий сон.

— Яни теперь почти не пишет,— с горечью сказала жена художника.— Он плохо видит, зрение его совсем ослабело. Но оторвать его от мольберта невозможно. Ведь ты же не видишь, не различаешь цвета, много раз говорила я ему. Но он неумолим: «Я различаю краски уже не глазами, а душой. Они все у меня в груди. Безошибочно знаю, где и какой тон должен быть у волн и скал, помню цвет, оттенок каждого мгновения. Кисть мою теперь ведет моя память...»

Да, искусство — это память художника, память о неповторимых мгновениях в вечном движении жизни. Тысячи талантливых полотен — это память души Яни Хрисопулоса. Художник пишет то, во что он верит, что любит...

— За долгую жизнь я много раз прощался со своими созопольскими земляками, покидавшими город. Одни перебрались в Бургас или Софию. Других судьба забросила в заморские страны, на чужбину. Кто-то прельстился более выгодными материальными условиями, кого-то увлек авантюризм. Не однажды предлагались мне заманчивые блага — только переселись в другую страну... Но даже сама мысль покинуть родные болгарские берега, расстаться с Созополем, с морем рождает во мне возмущение, внутренний протест. Нет, здесь родился, здесь рук не покладал всю жизнь. И только здесь предадут меня земле...

Да, Яни Хрисопулоса никакими силами не оторвать от породившего его края, никакими посулами не завлечь во враждебный стан, чуждый его вере, нравственным принципам, которые несовместимы с его глубокой преданностью родному городу. Нам выпало жить в условиях неутихающей идеологической битвы противоборствующих миров. Время повелевает, требует зрелости, гражданственности. Таким натурам, как Хрисопулос, чужда неопределенность в убеждениях, половинчатость веры и чувств. Они не могут полулюбить, полуненавидеть. Их природе свойственны чувства и вера всесильные: у них либо любовь, либо полное неприятие... Они сильны исповедальной открытостью своих мыслей. И не обходят острых углов и ситуаций жизни, не страшатся говорить о них прямо, хотя это не всегда обходится без последствий, без травм душевных и физических. Не миновали невзгоды и Яни Хрисопулоса. Инфаркты и другие тяжкие недуги не приходят без причины. И не проходят бесследно. Одни лишаются душевного равновесия, другие — зрения. Немало еще людей с искалеченными судьбами!

— Как-то,— продолжал Хрисопулос,— я побывал в Греции, встретился там с земляками, покинувшими в разное время Созополь. Представьте, со мной они предпочитали говорить только по-болгарски, с удовольствием пели болгарские песни, расспрашивали обо всем, сокрушались, что уехали из Созополя. Искренне признавались, что тоскуют по родному краю...

Хрисопулос встал, сделал несколько шагов по студии, вернулся, сел на прежнее место.

— В Афинах один мой друг и бывший земляк признался мне, как скорбит он при мысли о том, что ему суждено уйти из жизни, так и не увидев более Созополя. Да, родина — это не абстракция. Это — земля, которая тебя породила. Земля, на которую ты опирался в своей жизни, с которой тебе открылось небо, где влился воздух в твою грудь, вселилась вера. Как благодарен я судьбе, что не покинул свою родину, свой город. Не покинул и ради женщины, к которой страстно был привязан. Я предпочел расстаться с ней навсегда...

Так внезапно всплыла на поверхность одна из тайн личной жизни и творчества художника.

Потерять зрение — несчастье для любого человека и трагедия для живописца. Такую трагедию пережил Бетховен, утративший слух. Велико несчастье музыканта, оказавшегося глухим, когда душа его полнилась великими звуками, снискавшими ему бессмертие.

Яни Хрисопулос с каждым днем видит все хуже. Он слепнет, но продолжает стоять за мольбертом, не выпуская из рук кисти. Можно ли здесь оставаться безразличным, не замечать высокого образца, художника с ясными философскими убеждениями, гуманиста, самозабвенно служащего родному краю, своему народу?

Человеку дано прожить только одну жизнь. Второй не бывает. И не каждому удается прожить ее набело. Не каждый способен глубоко ее осмыслить. Причины — самые разные. И слишком их много. Не об этом сейчас. Осмысление жизни часто начинается не в первой половине человеческого существования. Скорее это случается во второй, на склоне лет, когда и опыт иной, и взгляд на жизнь неизмеримо шире.

Да, Яни Хрисопулос весь свой творческий путь неразрывно связал с морем, живет им, сроднился с его стихией. Море стало его духом. Безмерна любовь к нему живописца. Художник знает: морю нужна его любовь. Никогда он его не покидал, никогда от него не отворачивался, не изменял своим чувствам, своей верности этой стихии. И потому с такой убежденностью произносит афористическую фразу: «Одной жизни мало, чтобы передать на холсте волну». Поистине жизнь человека коротка, и бесконечно многообразны лики вечно меняющегося мира, его превращения, неисчерпаемо многоцветие красок. И потому главный образ, которому поклоняется художник,— это живая природа, великий гений, творец и законодатель жизни, источник всех красот земли, всех поэм, всей музыки. В ней черпает творческую силу и высокий гуманизм созидатель искусства — художник, человек.

— Столько десятилетий живу я в Созополе,— продолжал Хрисопулос после паузы,— но ни разу облик моря не представал одним и тем же. И как ни богато человеческое воображение, как ни вместительна палитра художника, море недостижимо богаче и многообразнее в своей ошеломляющей естественности, в неиссякаемой переменчивости. Оно никогда не выглядит одинаковым. Море, как солнце, обновляется каждый день, всегда и непрерывно оно возникает иным перед взором — то спокойным, то бурным, то смиренным, то мятущимся. Его дыхание порой замирает, порой напоминает извержение вулкана. Всякий раз, когда я наблюдаю движение волн, они и все вокруг освещаются по-новому. Мир волшебный и земной, реальный и воображаемый. Море, волны, вода стали для меня символом, началом всех начал, земли живительным чудом. Символом полноты содержания, олицетворенным смыслом сущего.

Мне вспомнилось справедливое замечание английского пейзажиста Констебля: «Мир велик: не только один день, даже один час не похож на другой».

Всякий раз, когда вновь обращаешься к полотнам Хрисопулоса, обнаруживаешь все новые особенности, самобытность, индивидуальность почерка, свойственную лишь ему цветовую гамму, не замеченные ранее черты и детали. Улавливаешь магическое превращение жизненной правды в правду искусства, образное постижение окружающего мира, мира природы и человека, их общения, их нерасторжимости. Зрителю передаются философские раздумья художника, его покоряет стихия живописи, захватывает поток красок и звуков, приобщающих его к тайнам вселенной. Вся деятельность Хрисопулоса свидетельствует о том, что цель его искусства — служение людям. Ибо творчество его — плоть от плоти любящего и страдающего человечества.

И разве общечеловеческое не обнаруживается в самой естественности, в органичной близости к природе, к тому источнику, из которого все происходит и благодаря которому все существует? Естественность, любовь и близость к природе есть богатство душевное, нравственное. Природа, все живое в ней мстит человеку, лишенному нравственных, возвышенных начал в обращении с ней, человеку, зараженному нелепой идеей своего превосходства и сознанием неудержимой, яростной, не облагороженной интеллектом силы.

В полотнах Хрисопулоса нет и тени высокомерия по отношению к природе, как нет и обратного — приниженности человека перед ней. Не к усовершенствованию форм поругания природы и угнетения человека человеком устремлено его творчество, но к усовершенствованию эстетического восприятия действительности, прославлению прекрасного в природе, красоты в человеке. Хрисопулос наделен щедрым, неиссякаемым талантом, его творчество исполнено здоровья и вдохновения. Созданный им мир, проникнутый поэзией моря, атмосферой и романтикой Черноморья, прокладывает самобытный и неповторимый путь в искусстве.

Национальный гений, воплощенный в произведениях искусства, получает признание не только у себя на родине, но и за ее пределами. Он сближает людей общечеловеческим смыслом своих творений. Возвеличивает все причастное к нему. Утверждает животворную традицию интернационализма. Его творчество становится благородным полем взаимного ознакомления и доброжелательного общения все большего числа людей разных стран мира. Живопись Яни Хрисопулоса привлекает многочисленных зарубежных деятелей культуры, искусства, литераторов, которые часто посещают созопольского мастера, обсуждают с ним проблемы эстетики и современности, пишут статьи и очерки о его работе и жизненном пути. Связи эти постоянно ширятся и упрочиваются.

Замечательное мастерство Яни Хрисопулоса нашло свое выражение и в созданных им пейзажах старого Созополя. Перед зрителем словно возникает другой Созополь — удивительный по своему неповторимому облику город, каким он был в начале века или каким он предстал воображению художника, певца дощатых жилищ времен болгарского Возрождения. Это был городок, приютившийся на каменистом полуострове, широко открытом морю и всем ветрам. Деревянные постройки его местами почернели, местами покрылись серо-

зеленым налетом, образовавшимся с годами от соленого и влажного дыхания моря и неутихающего ветра. Это жилища скромных людей — рыбаков, корабельщиков, виноградарей, горняков, резчиков по дереву. От городских пейзажей Хрисопулоса веет стариной, всем, что образует привычный фон повседневной жизни и векового бытия жителей Созополя. Простые и суровые композиции говорят о высоком искусстве живописца, сумевшего увидеть во всем, даже в малом, типичное, неумирающее, эстетически устойчивое.

Подобно старым мастерам реалистической школы, Хрисопулос тщательно выписывает и детали, не нанося при этом ущерба целому, а, напротив, лишь подчеркивая главное. Внимание к детали выявляет проникновение живописца в контекст пейзажа, его желание запечатлеть все, что стало неотъемлемой частью его художественного видения. В картинах Хрисопулоса, будь то марины или пейзажи старого Созополя, нет бесстрастного следования натуре. Здесь живет и изящно выписанная деталь, и искрящаяся плоть потока, и отсвечивающая сполохами зарниц тонкая кромка далекого горизонта. Многие работы его воспринимаются как старинные гравюры. И в то же время в них запечатлены перемены, которые несет с собой река времени.

— К какому направлению, к какому художественному методу вы относите свое творчество и эстетические взгляды? — поинтересовался я, хотя вопрос этот был для меня достаточно ясен.

— К реалистическому... Был и остаюсь твердым сторонником реализма. Ни натурализм, ни фотография, ни абстракционизм, ни маньеризм меня никогда не привлекали. Иногда пишу в духе импрессионизма. Но правду говоря, скорее для того, чтобы доказать (не себе конечно), что я могу работать не только в одной манере. К тому же имеет значение психологическое состояние, настроение, момент восприятия природы, моря, скал. Иногда меня упрекают в старомодности, преувеличенной реалистичности. Однако пишу я так, как вижу и чувствую мир. В свое время я интересовался работой старых мастеров иконописи, среди которых особо выделял ту из «Тайных вечерь», где в облике апостолов изображены простые рыбаки, без нимбов и ореолов, на фоне зеркальной бирюзовой глади моря и золотого корабля с оранжевыми парусами... Учиться приходилось у всех и у всего. Но раньше и прежде всего я наблюдал живую природу, изучал море, всеохватное море, стремился к постижению загадочной его стихии. Море и скалы. И люди, ушедшие в море, с их неизбывной тревогой в сердце — вернутся ли они на землю, к родному очагу, увидят ли близких... Любое состояние души, ощущение звуков, запахов, самого воздуха открывает связь человека с природой. Природа же определяет наше отношение к прекрасному в жизни, как в общественной, так и в личной сфере.

Упоминание об упреках в приверженности реализму воскресило в моей памяти беседу о реализме и поисках новых путей в искусстве с Сальвадором Дали в Нью-Йорке, где фантастические композиции, а также экстравагантная внешность и манеры снискали художнику шумную популярность. Помнится, во время одной из телевизионных передач, которую вел прославленный Мэрв Гриффин, произошел любопытный диалог.

— Кого вы считаете самым гениальным художником нашего времени? — спросил Мэрв Гриффин.

— Себя! — объявил Сальвадор Дали.

— А Пикассо?

— Он тоже художник и тоже родом из Испании...

— Верите ли вы в чье-либо бессмертие? — поинтересовался Мэрв Гриффин.

— Да, в свое собственное,— моментально ответил Сальвадор Дали, продолжая, так сказать, «навешивать лапшу на уши» телезрителей.

— Вы имеете в виду свои произведения? — уточнял Мэрв Гриффин, как бы желая склонить собеседника к более откровенному и серьезному тону.

— И произведения, и себя лично!

— Не совсем вас понимаю...

— Мне открылась недавно тайна бессмертия человека... это вселяет веру...— обронил многозначительно Сальвадор Дали.

— Непостижимо... Неужели вы действительно...— пытался овладеть беседой растерянный Мэрв Гриффин.

— Можете не верить... Убедитесь сами со временем,— невозмутимо произнес Сальвадор Дали, погладив концы своих вызывающе вздернутых усов. И зрители, как говорится, стали подбрасывать чепчики, выражая бурные восторги. Поистине смех ослабляет натянутость мускулов. Юмор — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни сокровищ, но его жертва чувствует себя перед ним точно связанный заяц.

Таков Сальвадор Дали. Таковы его амбиции и необузданная фантазия, питательной средой которых являются социальные и психологические истоки мифа о сверхчеловеке, широко культивируемого на Западе.

Одинокие пророки... Сколько их блуждает по свету! Нельзя сказать, что это вовсе неразумные существа. Но разум — несравненный высокий дар, приобретаемый не иначе как победой над страстями и амбицией.

Во время наших нью-йоркских бесед в конце шестидесятых годов Сальвадор Дали, выражавший настойчивое желание устроить выставку своих работ в Москве, старался доказать мне, что в его творчестве реалистическое начало и новаторские поиски не находятся в противоречии. Мне было ясно, что речь здесь идет не просто о самонадеянной посредственности.

— Новаторство прекрасно. Однако оно не снимает вопроса: увидит ли мир порожденные им подлинные художественные ценности? — заметил я в ходе нашей дискуссии.

— Художник имеет право и обязан искать новые средства и пути выразительности. Я бы сравнил эту внутреннюю потребность с воспалительным процессом, когда

внутри словно что-то зреет, нарывает...— убежденно объяснял мне Сальвадор Дали.

Нужно ли пространно доказывать, что ищущий дух вызывает новые волнения, порывы, дерзновенные мысли? Но наряду с этим художник не может не обращаться к себе с вопросом о смысле существования, о предназначении человека, о повторимости и неповторимости прекрасного в жизни.

— Однако древо поисков и экспериментирования рискует превратиться в чудовищную виселицу искусства...

— Искусство и новаторство не знают границ, если речь идет о творчестве настоящего художника,— парировал Сальвадор Дали, явно имея в виду себя.

— Поиски нового граничат порой с одержимостью,— сказал я,— в ваших работах они нередко приводят к утрате чувства эстетического стыда. Во всяком случае, его очень не хватает во многих сюрреалистических и абстрактных этюдах, насыщенных патологией секса и эротикой.

— Эротические и сексуальные мотивы в искусстве — явление всеобщее на Западе. Это — знамение времени. Оно свидетельствует об известной эрозии ценностей прошлого, отживающих свой век,— меланхолично ответил Сальвадор Дали на мою реплику, давая мне понять, что бессмысленно противиться веяниям моды в обществе вседозволенности и попрания принципов нравственности, общепринятых моральных устоев. Ведь искусство на Западе — это в значительной степени товар, который продается и покупается за деньги, как любой другой товар, или это одна из форм выгодного помещения капитала. И многие художники занимаются больше извлечением прибыли, чем творческими поисками.

— Общественное, в моем понимании, проходит через индивидуальное восприятие и сознание и становится неотъемлемой частью порывов и свершений художника. Человек живет и любит не в условном, абстрактном пространстве. Он бессилен отделить свою судьбу от окружающей действительности. Между тем в основе многих ваших картин лежат идеи разрыва связей между людьми, метания личности, духовная ее опустошенность, а большинство образов напоминает заблудших в пустыне цивилизации...

— Поиски тем и интересны, что сталкивают человека с непривычным, чуждым повседневности, а порой вызывающим...— продолжал Сальвадор Дали.

— Но разве воплощение этого в ваших картинах по сути своей не ведет к отрицанию человеческой личности, разве в них не утверждается распад, разрушение интеллекта? Что вообще остается от личности в таком случае?

— Искусство призвано вызывать эмоциональный взрыв, шокировать, поражать необычностью сюжетов, патологией...— настаивал Сальвадор Дали.

— Но ведь это способствует развитию всякого рода психозов, подавляющих моральную сопротивляемость человека, убивающих личность...

— Произведения искусства должны иметь собственную самодовлеющую ценность,— почти патетически воскликнул мой оппонент.

— Но ведь произведения искусства — не абстрактно-эстетизированные продукты вымысла и больного воображения... Все это неотвратимо придет к печальному закату, ибо недолговечность подобного явления обусловлена бессмысленностью, бездуховностью, нравственной опустошенностью.

— Вы слишком суровы... Человек не должен лишать себя чувства самосострадания и самооправдания. В творческих поисках несомненно таится глубоко исповедальная интонация самого живописца. Другое дело, каковы итоги мучительных этих поисков, что является удачей, чему суждено оставить след в искусстве. Неужто все это лишь пустые грезы? Ведь кое-что получается. Не находите ли вы, например, интересным предложенный мной образ движения времени в виде текущих часов?

— Однако образ этот близок скорее к реалистической манере...

— Так ведь в основе своей я — реалист, и притом самого классического толка. Разве не доказывают это мои работы, написанные в самых строгих реалистических традициях? Правда, некоторые полотна имеют мифологические или христианские сюжеты, как, например, картина с изображением Христа, находящаяся в национальном музее в Вашингтоне. И все же это самая доподлинная реалистическая живопись,— горячо доказывал Сальвадор Дали. И, достав из шкафа толстый альбом репродукций своих картин, художник продолжал: — Готов вызвать на пари любого художника мира: докажу, что являюсь рисовальщиком вне всякой конкуренции, притом именно в реалистической манере! Не обессудьте, как говорится, но попробую продемонстрировать это и сейчас...

Сальвадор Дали раскрыл альбом и за несколько минут сделал набросок всадника на коне. Великолепный рисунок напоминал в своей законченности работу мастеров классической гравюры.

■

Вернемся, однако, к нашей встрече с Яни Хрисопулосом, который заметил, что в основном он идет от наблюдения через обогащение сердца к обобщению, художественному синтезу.

Сущность искусства для него не сводится к решению формальных задач. Главное в нем — выражение владеющих живописцем идей. И история искусства — неотторжима от истории духовного движения вообще.

Во время наших встреч Яни Хрисопулос горячо и убежденно говорил о своих взглядах на живопись, об эстетических принципах, о прекрасном в жизни. И передо мной раскрывались новые грани его дарования, острая впечатлительность художника, широта его эмоционального мира, глубина и весомость оценок. И сам он в моих глазах все более утверждался как вдохновенный певец Черного моря, патриотически влюбленный в свой край, род-

ной Созополь. Яни Хрисопулосу, смею верить, суждено войти в летопись реалистического искусства живописцем глубоко оригинальным и немного таинственным, романтичным. Его создания, выражающие настроения и дух целого поколения, обладают огромной эмоциональной силой, дороги и близки нам, нашему мировосприятию, эстетике нашего времени.

Прискорбно, однако, что творчество Яни Хрисопулоса, давно получившее известность среди специалистов у него на родине и за рубежом, мало знают в широких кругах, в народе. Мне часто случалось посещать выставки картин в Софии и других городах Болгарии. Много видел я художников самых разных школ и веяний — от реализма до абстрактного экспериментирования. Но нигде не встречал я выставки или хотя бы экспозиции отдельных работ Хрисопулоса. Парадоксально, быть может, но ни разу не попадалось мне на глаза ни одного полотна или рисунка из всех четырех тысяч его произведений. Понадобилось приехать в Созополь, чтобы только здесь познакомиться, наконец, с творчеством этого живописца, с богатством души человека и художника. Нисколько не сомневаюсь, что и всем другим любителям живописи было бы отрадно встретиться с миром искусства Яни Хрисопулоса — мариниста великого постоянства, творческого вдохновения, огромного трудолюбия и безграничной преданности искусству. Тодор Живков, во время недавнего пребывания в Созополе, посетил мастерскую художника и познакомился с его творчеством, что принесло большое удовлетворение землякам и почитателям живописца. Можно надеяться, что еще при жизни живописца двери музеев и галерей в столице и других городах страны откроются для работ Хрисопулоса и они станут доступны широкой народной аудитории.

И до сих пор мне слышится его речь с меткими афоризмами обобщений, взволнованный его голос: если человек рожден настоящим художником, он естественно приходит к реализму. И тогда достаточно ему остановить свой взгляд на самых обыкновенных, даже ничтожных вещах, как они тотчас согреваются светом его души. Свет этот вспыхивает в каждом предмете, в каждом образе. Исчезает мертвая вещественность, претворившись в вечное, прекрасное, истинное искусство. Но если ты сам потеряешься, растворишься в этой вещественности, то станет очевидным — на стезю творца ты вступил зря, ибо мертвый предмет всегда будет совершеннее, чем твое мертвенное изображение. Такова сокровенная суть позиции живописца. Нельзя не видеть в ней наряду с эстетическим подходом и дидактический, ту самую дидактику, которая готова всегда влететь в окно, даже если ее выталкивают в дверь.

— Существует мнение, будто испытания, мучительные переживания, страдания человека часто стимулируют творческую деятельность художника. Каков ваш личный взгляд и опыт? — спросил я Хрисопулоса.

— Ответ, вероятно, не может быть однолинеен. Философии насилия и садизма я никогда не разделял. И с нанесением людям всякого зла и страданий не мирился. Ничего плохого против других не замышлял ни явно, ни тайно. Одно было всегда желание — оставить людям, родному городу все, что способен был сделать за всю жизнь. Но признаю, что драматизм ситуаций, в которых по разным причинам оказывается человек, несомненно влияет на его состояние, и иногда чрезвычайно глубоко и сильно. Мне самому нередко приходилось в жизни преодолевать трудности, испытывать горечь и страдания. Борьба душевная требует от человека собранности, твердости духа. Такая борьба помогала мне утверждаться как художнику. Драматизм жизненных обстоятельств способен возбуждать в людях творческий подъем, одержимость и даже страсть, и это порой приводит к новым композиционным решениям, стилевым находкам, оригинальной изобразительной трактовке...

Таинственны мотивы и побуждения творчества, это далеко не одна радость и восторг, очень часто искусство питается горем, жизненными бурями и страданиями... Личные трагедии, похоже, усиливают порой восприимчивость, обостряют реакцию, возвышают человека, делают его более тонким и чутким. И художник замечает тогда, что созданные им образы выстраданы, внутренне пережиты. Чувствуется, что возникли они в результате раздумья, переживания, как выражение сложной душевной потребности, как эмоциональный отклик, как выход... Полотна Хрисопулоса — олицетворение человеческих переживаний.

— Без боли,— продолжал Хрисопулос,— жизнь не обходится. Существование — это отнюдь не одна безмятежность, гладкое скольжение без препятствий и встречного ветра. Без горького невозможно оценить сладости жизни. Боль способна нередко усиливать ощущение радости и достигнутого успеха, счастья от одержанной победы.

И я подумал, что сказанное художником может относиться не только к жизни отдельного человека. Оно приложимо и к жизни народа. Разве история болгар не представляет собой тысячу триста лет страданий, не является памятью земли и крови?

Лев Толстой, обладавший огромной музыкальной чуткостью, ощущал истинное блаженство, слушая Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шопена. Особенную необходимость он испытывал в музыке Бетховена и Шопена, служивших ему нередко стимулом в литературном его творчестве,— говорил о том, что музыка «переворачивает» душу. «Как ни тяжело это бывает,— писал Толстой,— люблю испытывать». Испытывать, переживать, страдать... Художник нуждается в драматизме чувств, в глубоких и сильных душевных волнениях. Не раз и не два трагическая страстность «Аппассионаты» исторгала слезы из глаз Толстого.

Однажды я увидел в руках профессора Л. Тодоровой книгу-альбом с дневниковыми записями Хрисопулоса, которую она увлеченно читала. Меня заинтересовали эти записи и заметки искусствоведов, в разное время опубликованные в периодической печати. Вот некоторые из них, записанные

мною в переводе с болгарского: «Море — это музыка. Люди сравнивают Созополь с Венецией, но мой город я нахожу гораздо красивее. Стоит закрыть глаза, как я мысленно представляю себе старые романтические места. Вы спрашиваете меня о моем художническом кредо. Созополь и море — вот моя школа и моя философия. Годы творчества приучили меня чувствовать себя молодым. Палитры моей мало, чтобы передать все, что я видел и перечувствовал. Я не стал музыкантом, но я — музыкант кисти.

Уже столько лет я живу в Созополе, но никогда не видел у моря одного и того же утра или заката. Оно постоянно меняется, как вечная песня. Мои ощущения — не плод фантазии. Каждый день я всматриваюсь в море — и на рассвете, и перед рассветом, и в обед, и под вечер, и на закате. И всегда оно кажется разным и удивляет богатством красок и оттенков. И этот вечный его ритм во все времена года не навевает ни скуки, ни апатии. У моря есть свои настроения. Я вижу в нем столько силы и многообразия, что кажется, мне нужна еще целая жизнь, чтобы его изучить. В зимние бури, когда моя студия содрогается, точно беззащитный корабль среди бушующих волн, мне кажется, что я должен бросить якорь. Морскую стихию невозможно ни выразить словами, ни передать красками.

Опыт учит: набегает большой вал, затем второй — поменьше, затем третий — еще слабее... Это основная гамма моря. Но последовательность волн не влечет за собой постоянной последовательности тонов. При каждом ветре море разное...»

Новые заметки, рецензии и новые записи; отвечая на вопрос одного из своих собеседников о том, каким художник видел море в разные времена, Хрисопулос сказал:

«Я живу между двумя морями: тем, что я создал, и тем, что создала природа. Оба моря соперничают и борются в моей жизни. Спорят, какое из них сильнее, безбрежнее и разнообразнее. Признаю, что настоящее море куда как сильнее. Не будет его — не будет и моего моря. То море, что набегает на берег, огромно, вечно. Оно всегда несет нам что-то неожиданное. Только всматривайся и «впитывай». Плохо лишь, что зрение у меня слабеет. И теперь мне нельзя много работать, должен беречь глаза, пока они еще смотрят. Правда, я уже плохо вижу, но краски не становятся бледнее. Глаза мои видят хуже, зато внутреннее зрение обостряется. Это от возраста, от жизненного опыта. Я вижу теперь больше цветов, море сильнее и еще огромнее. Все море да море, скажешь, но оно такое разное...»

«Сначала это была пестрая вода. Очень живая, бурная, неспокойная вода. В ней лодки и люди. Рыбная ловля и бури. Потом я начал видеть в ней вечную стихию. Часто даже темную и враждебную человеку. Тогда люди были малы и слабы, их лодки были утлыми суденышками. Теперь многое изменилось. Рыбаки уходят далеко от Созополя. Они завладели морями, океанами. Этим я восхищаюсь и сегодня — морем, его силой и красотой, и человеком... Но образ моря не легко получается на полотне. Много раз стоял я на берегу, когда меня яростно бил ветер, дождь хлестал, как плетью, молнии слепили. И из десятков встреч с разбушевавшимся морем и небом родилась одна картина. Хаос этот — не только материя. Это философия. Ни одного человека нет на картине. Но когда я писал ее, я думал прежде всего о людях, потому что моряк живет и трудится в стихии моря. Сейчас, когда я говорю об этом, где-то в морях и океанах люди сражаются с этой стихией. Корабль с людьми против этого бешеного неба и моря. В этом сила человека и его величие.

Море — это мое большое волнение. О некоторых моих картинах говорят, что это модернизм. Не знаю точно, что это такое. Знаю только, что такие чувства я испытывал в этот момент. И еще знаю, что жизнь бесконечно богата, настроения природы многообразны, перевоплощения ее удивительны, как сама жизнь».

И снова предо мною его всепрощающая улыбка. Добрая и молодая. И эти глаза, видевшие так много, которые сейчас слабеют, которым с каждым днем все труднее смотреть на свет. А какой свет в них — от неба, моря, людей! Лишь такие глаза и такая душа могут увидеть и передать людям столько прекрасного.

Сочетая в своих лучших полотнах смелость дерзания и чувство меры, реалистический взгляд на мир, верность традициям мастеров прошлого, Яни Хрисопулос, маринист и пейзажист, проникновенно выражает своим творчеством патриотическую любовь к родной земле, славит необыкновенную ее природу.

Трудясь в своей мастерской, живописец никогда не отгораживался глухой стеной ни от жизни своего отечества, ни от судьбы родного города. Гражданственность и сознание общественного долга воплотились не только в его творчестве, но и в активной деятельности на благо соотечественников и, в частности, в горячей заботе об охране памятников старины Созополя.

Яни Хрисопулос — великий и скромный патриот не только своего края, но патриот человечества, неутомимый наблюдатель, постоянно испытывающий жизнь в разных ее проявлениях. Для Хрисопулоса живопись — это искусство, которому художник отдает все, что у него есть, самого себя.

Антирубрика

ЮЛИАН ТУВИМ

ИСТОРИЯ ОДНОГО АФОРИЗМА

Редакция некоего единоразового издания, прибыль от которого предназначалась в пользу учащейся молодежи, обратилась ко мне с просьбой прислать какое-нибудь произведение: стихотворение, новеллу или афоризм. Цель письма благородная, просьба вполне вежливая, так что отказываться не было повода. Легче всего, подумал я, будет сочинить афоризм и для большей уверенности полез в словарь под названием «25 000 иностранных слов», где между «афонией» и «Афродитой» было написано:

«АФОРИЗМ — лаконично выраженный принцип, отрывок, максима, сентенция».

Чтобы окончательно убедиться в правильном понимании сути предпринятой работы, я проверил также выражение «максима» (основной руководящий принцип, норма поведения) и «сентенция» (краткое изречение, содержащее прекрасную нравоучительную мысль, глубокую правду жизни), после чего принялся сочинять афоризм.

Прежде всего, подумал я, мое краткое содержательное изречение, мой основной руководяший принцип, выраженный лаконично, моя глубокая жизненная правда и прекрасная нравоучительная мысль — словом, мой афоризм должен касаться молодежи, и притом молодежи учащейся, ибо именно для нее и выпускается единоразовое издание. Посему напишу-ка я что-нибудь о силе знания, о значении и благодатных последствиях учения. Спустя некоторое время афоризм был готов: «Знания и учение очень для молодежи важны».

Мне показалось, что это выражение звучит недостаточно хорошо и даже, надо признаться, банально! Столь сухое изложение общеизвестного факта показалось мне слишком примитивным. Надо расцветить его, украсить, добавить немного поэзии. Я перечеркнул свой афоризм и написал новый: «О, знание! Когда б не ты — учащаяся молодежь своей не обрела бы силы!»

Однако я снова задумался. Конечно, если бы ученики и студенты обладали бы решающей силой — тогда дело другое. Афоризм был бы правильным. И я, перечеркнув написанное, сочинил еще один афоризм: «Знание — точно солнце, оно ведет к лучезарному будущему и могучему завтра!»

Это звучало очень красиво, но, по сути, куда как глупо: солнце вообще не «ведет», а если уж и движется само — то к закату, и «могучее завтра» показалось мне слишком напыщенным. Размышляя таким образом, я создал следующий афоризм: «Учение — это зерно, которое дает всходы: силу и веру!» Но даже и эту лаконично выраженную, прекрасную, нравоучительную мысль я тоже зачеркнул. Все эти афоризмы не удовлетворяли меня, и я решил оставить в покое молодежь с ее знаниями, переключившись на более широкую — общественно-патриотическую тему. Не прошло и получаса интенсивного мышления, как у меня образовался большой выбор сентенций: «От слов — к делу! Ибо из слов не выкуешь ни меча, ни лемеха!», «Свобода народа — его величайшее сокровище, а сокровища народа — его величайшая свобода», «Общество — как море. Выйдя из берегов, оно заливает бездушные пустыни завтрашних дней и дел!», «Труд для родины — как дерево: стремится ввысь и утоляет жажду жаждущих верой в светлую лучезарность духа!», «Наполеон (?!!) сказал: «Государство — это я». «Пусть каждый гражданин помнит, что он носит в своем ранце жезл дела и духа!»

Должен признаться, я все это порвал. Меня озарило! Надо написать что-нибудь о женщине, о любви! Что-нибудь изящное, в меру фривольное, остроумное. Например: «Женщина как роза. На то у нее и шипы, чтобы прикрывать их лепестками!», «Женщины упрекают мужчин в том, что те их не понимают. Мон дьё! Разве цветы спрашивают росу, почему мотылек прикасается к ней», «Любовь — это сон, сказал поэт. Согласен, ответил философ. Но на дне этого кубка (?!!) тонут иллюзорных снов мечтанья. Поэт заплакал...», «Говорят, что наша прабабка Ева была первой женщиной. Возможно. Но в таком случае где она подглядела фасон фигового листка?» (В первую минуту

я был в восторге от игривого и легкого остроумия этого афоризма, потом успокоился.) «Узы супружества — точно роза. Чем чаще их рвешь, тем нежнее они расцветают», «Мужчины и женщины — это два полюса одной земли. Счастье — меридиан, супружество — глобус, любовник — экватор, дитя — тропики, а развод — путешествие».

Эти воспоминания о создании афоризма для студенческого издания я пишу в светлой белой комнате с зарешеченным окном. Мне здесь хорошо и спокойно. Доктор приходит два раза в день. После четырехмесячного пребывания здесь я уже начинаю понимать, что он говорит мне. Во время прогулки я подружился с коллегой, который живет в этом доме уже третий год. Он провозгласил себя турецким султаном, а всех нас считает своим гаремом. Он познакомил меня со своим Великим визирем. Это один инженер из Познани, очень милый человек, жаль только, что он целый день поет петухом и ползает на четвереньках.

Кормят неплохо. Со сном дело обстоит хуже. Коллеги поют по ночам, а сторожа обливают их холодной водой.

ИЗ ЦИКЛА «СОВЕТЫ ОСТРЯКАМ»

Если кто-нибудь скажет тебе: «Извините, но я думал, что...» и т. д., ответь ему: «Индюк тоже думал!»

В соответствующий момент хорошо прибегать к помощи фразы: «Любопытство — первый шаг в ад!»

Чихнувшему следует пожелать: «Сто тысяч на мелкие расходы!»

Рекомендуется говорить: «Поздравляю, но не завидую».

Останавливай на улице машины, крича шоферу: «Эй, у тебя колесо вертится!»

И вообще — будь остроумным!

АФОРИЗМЫ

Меня удивляет не то, что астрономы пооткрывали разные планеты (кстати говоря, совершенно зря), а то, что им удалось узнать, как они называются.

Просто не понимаю, что творится вокруг: стали умирать люди, которые никогда до этого не умирали!

Роман — это мечта одинокого человека, а одиночество — мечта человека, у которого роман.

Садится некий господин за письменный стол и дни и ночи напролет пишет роман. Не лучше ли пойти в книжную лавку и за несколько злотых купить себе что-нибудь готовенькое?

Когда тебе что-то попадает в глаз, помни, что это частичка космоса.

Тяжелые времена! Часто приходится обходиться без вещей, о существовании которых наши деды и мечтать не могли.

Глупец ученый глупее глупца неученого.

Я слишком стар, чтобы все знать.

Птица, увидев червяка на вершине дуба, спросила: «Как же ты сюда попал?» — «А пресмыкаясь, пташечка, пресмыкаясь!»

Синоним — это слово, к которому писатель прибегает, когда не знает, как пишется нужное слово.

Ссылки на судьбу у тирана — оправдание преступления, у глупца — оправдание поражения.

Жаргоны — это классовые бунты против господствующего языка.

Если бы люди не вздыхали, мир бы задохнулся.

Оказалось, что самой большой мощью обладает самая малая частица материи.

Перевод с польского
ЗИНАИДЫ ШАТАЛОВОЙ

ГЕРМАН БУРГЕР

ВИЗИТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Читатели являются по вызову, как настройщики роялей. Они приходят в состоятельные дома, в которых есть библиотеки. На них униформа читательского института «Легиссима»: белая сорочка с отложным воротничком и шелковый шейный платок, желтый в черную крапинку. В чемоданчиках они носят с собой очки для чтения. В их обязанности входит настройка библиотек, перечитывание-освежение старых книг и чтение новых. Они приходят рано утром, когда дети еще едят яйца всмятку. Для небольших библиотечек достаточно одного читателя, для обширных библиотек вызывают целую бригаду читателей. В войлочных тапочках они неслышно проходят в библиотечную комнату. Старший читатель делает знак тремя короткими ударами в дверь столовой, на что мать приказывает детишкам сидеть тихо. «Читатели пришли»,— шепчет она.

Читатели вынимают очки и принимаются за работу. Старший читатель настраивает библиотеку согласно новейшей историко-литературной концепции эпох. Смотря по тому, куда относят Гёльдерлина — к классикам или к романтикам, он ставит его либо после Шиллера, либо перед Новалисом. Наиболее спорный вопрос — где на-

чало новой литературы. То она начинается с Бюхнера, то аж с «Бури и натиска». Старший читатель также проверяет, все ли в книгах на месте. Пересчитываются главы, проверяется их порядок. Потом старший читатель распределяет закладки. Все модные книги снабжаются закладкой, в любом месте. Закладками служат желтые полоски бумаги в черную крапинку с большой буквой «Л». В проверенных книгах на первой странице ставится штемпель. По особому желанию хозяина старший читатель читает пропылившиеся книги всех эпох, конечно по методу скорочтения. На «Вильгельма Майстера» он тратит три часа. Освеженные книги получают особый шпемпель.

Группа читателей занята чтением новинок. Книги раскладываются по издательствам. Каждый читатель — специалист по определенному издательству. Многие клиенты покупают все новинки подряд. В таких домах читатели работают днями, даже неделями. Когда приходит время пить кофе, в столовую является представитель от читателей и докладывает хозяину о прочитанном. В коротких, сжатых формулировках он обобщает содержание каждой книги, дает ее резюме. Хозяин записывает резюме в маленькую записную книжку, которую жена достает из хозяйского смокинга, а затем, после доклада, опять прячет в его внутренний карман. Потом речь заходит о пробелах в библиотеке. Хозяин предоставляет кредит, и уже на следующее утро один из читателей сидит у телефона и раздает заказы. Поскольку на дому трудно одолеть все новинки, недостающие книги заказываются «уже прочитанными». Книжные магазины тоже нанимают читателей-профессионалов, которые, стоя за конторкой в задней комнате, читают за клиентов,— этим по карману читаные книги. Они обходятся покупателю дороже, так как продаются уже с резюме. Хозяин библиотеки относится с пониманием к перегруженной читательской бригаде.

После застольного разговора представитель от читателей снова удаляется. Всех читателей кормят в библиотечной комнате. У хозяек есть специальные меню для читателей: ветчина или мясное ассорти. После обеда на стену проектируются синхронные контрасты, чтобы освежить глаза. В предвечернее время старший читатель принимает школьников и студентов данного дома и информирует их о книжных новинках. Иногда случается, что какой-либо школьник в своем юношеском идеализме хочет взяться за книгу. «Позвольте,— говорит тогда старший читатель, как хорошо воспитанный официант, ласково отнимающий у нетерпеливого гостя разливную ложку,— позвольте!» И он вслух читает для этого школьника нужное место.

Кроме читателей, которые, погрузившись в мягкие кресла, обрабатывают и сортируют новинки литературы, есть еще полезаметчики. Они делают, в зависимости от привычки дома, карандашами, шариковыми ручками или фломастерами заметки на полях. Одни места они отмечают восклицательными, другие — вопросительными знаками. Они подчеркивают по целому или же по полпредложения, распределяют цитаты из других произведений равномерно по главам. После того, как заметки на полях готовы, книги проходят через руки цирюльника, как его называют в читательской среде. Он загибает уголки, время от времени смачивает какую-либо страницу и снова ее разглаживает, прочесывает книги грубыми ударами руки, чтобы они носили следы чтения в среднем темпе. Обработанные таким образом, книги опять попадают к старшему читателю, который в соответствии с новейшими научными критериями присоединяет их к библиотеке. То, что этот порядок временный, хозяин знает не хуже, чем институт «Легиссима», поэтому последний обязуется присылать в период между большими ремонтами представителя, который бы переставлял книги в соответствии с модными течениями. Эти представители имеют среди домохозяек, которым и без того некогда отдавать книги в читку, не лучшую славу, так как они часто являются не во-время, как снег на голову. К тому же им свойственны заискивающие коммивояжерские повадки. Хозяйки спрашивают в дверях: «Не могли бы вы прийти в другой раз?» — на что представители с улыбочкой пожимают плечами и опять стаскивают с пальцев белые перчатки.

Выполнив свою работу, читатели снимают вечером в последний раз войлочные тапочки. Хозяин прохаживается вместе со старшим читателем по отремонтированной библиотеке и чувствует себя духовно обновленным. Пока читатели обсуждают с хозяйкой в передней нехватку персонала в читательском институте, причем хозяйкин младшенький держится за ее передник, старший читатель с гордостью мастера-обойщика показывает отремонтированные стеллажи с книгами, лес закладок, разделяющих целые эпохи, тянущие с полки на полку друг к другу руки. В виде выборочной проверки, которая отнюдь не является контролем — на ней настаивает старший читатель,— хозяин дома берет с полки какую-нибудь новинку: книга ничем не выдает своей девственности. Стоящие корешок к корешку тома излучают доверительный авторитет прочитанных книг, ни один не может пожаловаться на чуждое ему соседство. Классики выглядят не только употребленными, но скорее даже злоупотребленными.

«Со временем нам нужно прийти к тому,— говорит старший читатель после обхода,— чтобы книги сами друг друга читали. Ведь литература постоянно сама производит новую литературу, так пусть она ее и потребляет. Скоро вы сможете обходиться без читателей!» Хозяин значительно кивает в ответ на данную сентенцию, однако отмечает эту утопию приветливым, почти дружеским движением руки, так что его сигара роняет пепельный столбик. Он-де счастлив, что средства ему позволяют отдавать книги в читку.

Прощаясь, он договаривается со старшим читателем о следующем визите. Старший читатель не может ничего обещать, однако надеется, принимая во внимание надежность клиента, что сможет учесть его пожелание на следующий год, непосредственно после выхода в свет осенних новинок.

Перевод с немецкого В. КУЗАВЛЕВА

◆

Среди книг

Издано в СССР

ТУДОР АРГЕЗИ СНОВА СРЕДИ НАС

Ф. К. Видрашку. Тудор Аргези. Жизнь замечательных людей. М., «Молодая гвардия», 1980.

21 мая 1980 года, по решению ЮНЕСКО, во всем мире отмечалось столетие со дня рождения классика румынской литературы Тудора Аргези.

В нашей стране к этой дате вышла в свет хорошо документированная повесть о сложной жизни и многогранном творчестве, продолжавшемся более семи десятилетий.

Книга Ф. К. Видрашку освещает различные аспекты жизни и творчества Аргези. Это и история его любви к жене, Параскиве, которая удивляла даже многочисленных недругов поэта самоотверженностью и достоинством, с которыми она переносила самые тяжкие невзгоды, включая и заточение Аргези в тюрьму в годы первой мировой войны и в лагерь в период второй мировой войны. Это и повесть о замечательной дружбе Тудора Аргези с такими собратьями по перу, яркими фигурами Румынии его поколения, как Николае Кочa — первым печатавшим в Румынии, в своих газетах «Факла» («Факел») и «Кемаря» («Призыв») правду о Великом Октябре, свидетелем которого он был, как Гала Галактион, «Социалист в рясе», о котором сам Аргези говорил: «Он всю жизнь будет метаться между биением своего пролетарского сердца и звоном церковных колоколов», что не мешало ему, однако, прославлять Октябрь, выступать мужественно на стороне коммунистов, против реакционеров, против фашизма и войны. Среди этих друзей Аргези был и «красный» принц Скарлет Калимаке, один из основателей общества «Друзья СССР» и издатель левого журнала «Клопотул» («Колокол»).

Главное внимание автор книги о Т. Аргези уделил его особому пути в литературе, его философским размышлениям об искусстве, направленности его основных произведений («Подогнанные слова» «Черные ворота», «Цветы плесени», «Ветер, земля», «Песнь человеку» и т. д.). В контексте раскрытия образа самого поэта и его отношения к жизни в книге приводятся многочисленные отрывки из его памфлетов, статей, а также различных стихов Аргези в переводах А. Ахматовой, Н. Матвеевой, И. Гуровой, А. Вознесенского, К. Ковальджи, В. Левика, А. Штейнберга, В. Корчагина и других, а белых стихов в переводах самого Ф. К. Видрашку.

Книга знакомит читателя не только с друзьями Аргези, но и показывает его недругов, реакционеров, шовинистов, которых он смело разоблачал. Следует ли удивляться, что единственной «наградой» за такую деятельность могли быть лишь травля в буржуазной прессе, тюрьма и лагерь. Только в годы народной власти талант его получил высшую оценку. Т. Аргези был избран в члены румынской Академии, был удостоен Государственной премии и звания Героя Социалистического Труда, найдя признание в Советском Союзе и других странах.

Лира поэта Аргези, как и Пушкина, зазвучала, когда он обучался в лицее. Это было в 1896 году. А два года спустя... он постригся в монахи. Шесть лет монастырской жизни, тяжелых сомнений, размышлений... нет больше иеродиакона Иосифа, снова он Ион Теодореску, каким было его настоящее имя. Он уезжает в Париж, а оттуда в Швейцарию, где остается более шести лет. Именно об этом периоде, о встречах Аргези с молодыми русскими революционерами, от которых он узнает о Ленине и героической борьбе народа России с самодержавием, автору книги удалось узнать и поведать читателям много нового, интересного.

Аргези никогда не забывал об этих встречах. И когда вернулся в 1910 году в Румынию, твердо решил посвятить свое перо борьбе за социальную справедливость, за счастье трудового народа, за то, чтобы «от плесени освободилось старое общество». В 1931 году вышел его сборник стихов «Цветы плесени».

Узнают читатели книги и о том, что Аргези отдал много сил переводам произведений русских писателей — Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Куприна, баснописца Кры-

лова, а также западных классиков — Шекспира, Мольера.

Десятилетиями Аргези и его друзья Н. Коча, Г. Галактион выступают против прогнившего буржуазного общества старой Румынии. В книге приводятся фрагменты этих выступлений-памфлетов. В газете «Факел» своего друга Н. Кочи, когда ожидался перед первой мировой войной приезд в Бухарест Николая II, Аргези писал: «Настанет время, когда могучий русский народ топнет сапогом, и золотой венец бездарного монарха покатится в пропасть вместе со своим хозяином». Аргези изобличал фарисейство духовенства, военные приготовления правительства Карла I, настаивая на нейтралитете Румынии в годы первой мировой войны. В журнале «Хроника» он и его друг, верующий социалист Г. Галактион, разъясняли, что эта война есть война империалистическая. Когда 15 августа 1916 года Румыния все же вступила в войну на стороне Антанты и царской России, журнал «Хроника» закрыли, а Аргези с группой других писателей и журналистов угодил надолго в тюрьму.

После освобождения из заключения Аргези жадно читал о том, что произошло за это время в мире, в стране. В России свершилась Великая Октябрьская революция, которую он и его друзья пламенно приветствовали. И снова он ведет борьбу оружием своих памфлетов против реакции, а позже против фашизации страны. Не сложил он это оружие и в разгар шовинистического угара и засилья клики Антонеску и его гитлеровских покровителей. Аргези посмел выступить даже против самого Манфреда фон Киллингера, гитлеровского министра, а фактически гаулейтера Румынии, в статье «Эх, барон...». И где? На страницах «Информации дня» — одной из самых распространенных газет. На рассвете следующего дня, 1 октября 1943 г., Аргези был арестован, и начался период его жизни в лагере политзаключенных Тыргу-Жиу, где находились многие журналисты, писатели, деятели искусства.

Уже в старости на вопрос еженедельника «Контемпоранул» «Что значит для вас Ленин?» Аргези отвечает: «Это единственный человек, сумевший за одну, очень короткую жизнь осуществить свои идеи с такой полнотой и грандиозностью. Ум и ни с чем не сравнимая гениальность Ленина преодолели и перемололи само время... Он жив и будет вечно жить среди народов».

Дальнейшие главы книги рассказывают о деятельности Т. Аргези после освобождения страны, о том, как и после победы над фашизмом он призывал не забывать прошлое. Он бичует не только фашистское отребье, совершившее столько преступлений, но и тех, кто безропотно терпел избиения, издевательства. В феврале 1945 года он писал: «Корни нашего 23 августа — в почве Сталинграда, откуда началось всепобеждающее наступление советских войск...» После освобождения страны у Аргези как бы выросли крылья. Именно тогда и появляется его замечательный цикл стихов «Песнь человеку» А позже, уже на 77-м году жизни, его ждала, по его собственному выражению, самая большая радость: он увидел своими глазами Москву, Ленинград. Аргези прибыл в нашу столицу в составе делегации, которая приняла от советского правительства художественный фонд Румынии, сданный на хранение России 40 лет тому назад, в 1916 году, когда большая часть Румынии была оккупирована немецкой армией и все эти ценности были вывезены. Считалось, что они потеряны навсегда.

Вот тогда-то мне, знавшему уже много лет творчество Аргези, довелось лично познакомиться с ним во время передачи румынского художественного фонда, происходившей в Кремле 6 августа 1956 года. Он был глубоко потрясен тем, что страна, пережившая две мировые войны, великую революцию, гражданскую войну и интервенцию, в невероятно трудных условиях полностью сохранила художественный фонд страны, которая выступила против нее в 1941 году вместе с гитлеровской Германией. Все эти богатства, включавшие 39 320 предметов, в том числе 1350 полотен крупнейших художников Румынии, были возвращены народу и правительству новой Румынии по описи, составившей четыре объемистых тома. В книге имеется фотоснимок статьи Тудора Аргези на румынском языке об этом замечательном событии. Горячую признательность всему советскому народу за все это высказал Аргези в книге «Старый мир и новый мир», появившейся в 1957 году после его 45-дневного пребывания в СССР.

Почитателям таланта Аргези хорошо знакомы его слова: «Моя душа хранит с минувшим связь, я вижу прошлое за слоем пыли». Именно поэтому он снова и снова возвращается к прошлому. Не случайно объемистый том памфлетов, рассказов, записок и «таблеток», подготовленный им к печати как раз перед поездкой в СССР в 1956 году, был озаглавлен «Страницы былого». Это пришлось не по вкусу тем, кто принадлежал к кругу персонажей «Страниц былого». На их упреки: «Зачем ворошить прошлое?» — Аргези с присущей ему страстностью ответил: «Если мои слова жгут и сегодня, как крапива, это неплохо, это значит, что они своевременны».

Своевременно и само творчество Аргези.

М. Н. РОЗЕНФЕЛЬД

ДРЕВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В АВСТРАЛИЙСКОМ ЛЕСНОМ ПОСЕЛКЕ

Патрик Уайт. Древо человеческое. Роман. Перевод с английского Н. Треневой. Предисловие В. Скороденко. Москва, «Прогресс», 1979. (Мастера современной прозы. Австралия)

Патрик Уайт — «австралийский Фолкнер» (как все литературные уподобления, характеристика эта приблизительна, но основания для такой аналогии есть), нобелевский лауреат 1973 года — впервые появляется на горизонте русского читателя. Роман, изданный в серии «Мастера современной прозы», был опубли-

кован в Австралии в 1955 году Знакомство несколько позднее, однако выбор произведения представляется удачным, а включение его в эту серию — справедливым. Патрик Уайт действительно мастер, что не всегда можно с чистой совестью сказать об иных, хотя и вполне достойных, прозаиках, в ней фигурирующих. А в том, что для первого знакомства избрана книга, появившаяся на полпути писательской биографии автора, есть свой резон — «Древо человеческое» занимает особое место среди произведений Патрика Уайта. Как и каждый значительный художник, П. Уайт неделим в своем творчестве; все, что он пишет, растет из единого ствола его личности, мироощущения, поэтики. Тем не менее художественный мир его не только многолик — от книги к книге (а нередко и в пределах одной книги) меняется сам повествовательный тембр, само звучание голоса автора. Голос этот чрезвычайно богат тонами и оттенками — от плавного, мягкого, лирического звучания до скрежещущих диссонансных периодов, исполненных едкой и замораживающей иронии. Книги Уайта дают возможность критике (и она этой возможностью широко пользуется) считать его «жестоким» писателем, какими-то гранями своей эстетики сопричастным модернистской «поэзии уродств». Но вот Нобелевский комитет присудил П. Уайту премию по литературе, отмечая его выдающиеся достижения в области эпического и психологического повествования,— и не ошибся в своей характеристике. П. Уайт — писатель сложный, однако не стоит, пожалуй, тут же подверстывать к этому эпитету неизменного его спутника «и противоречивый». От противоречивости не свободно ни одно живое человеческое существо, есть она, разумеется, и у П. Уайта, однако главенствует в нем, связывая воедино разные аспекты и пласты его творчества, такое свойство — именно оно-то и вызывает у читателя «фолкнеровские» ассоциации: Уайт создает свой собственный «мифологизированный» образ и облик Австралии. Образ и облик, резко не совпадающие с «мифом» официозным, идеализирующим как прошлое, так и настоящее страны. Именно поэтому, как отмечают внимательные исследователи «мира Патрика Уайта», на родине его признали и позднее и неохотнее, чем в Европе и в США. Точно и выразительно сказал об этом В. Муравьев в своей рецензии на сборник рассказов Уайта: «Уайт не описывает Австралию, он, если можно так выразиться, пишет ее, то есть воссоздает смещенный изнутри, небывалый и неповторимый пейзаж особого состояния духовной жизни — пейзаж свежий, яркий и в то же время несколько зловещий» [1] (Надо заметить, кстати, что о П. Уайте в нашей критике уже высказывались интересные, обстоятельные, хотя и не всегда сходные суждения: в этой рецензии В. Муравьева, еще раньше — в статье А. Петриковской [2] и, наконец, в предисловии В. Скороденко к настоящему изданию.) «Древо человеческое» выделяется в творчестве писателя как эпическое повествование, как художественное исследование душевной жизни его героев и как книга, в которой сильнее всего звучит голос «мягкого», «плавного» Уайта. Герои эти, фермерская чета Паркеров — Стэн и Эми, жизнь, вернее, бытие которых прослеживается Уайтом с юности до старости, на протяжении нескольких десятилетий, завершающихся в середине тридцатых, незадолго до второй мировой войны,— в первой войне Стэн Паркер участвовал, и это была единственная его дальняя отлучка из дома. На протяжении всех этих лет Паркеры живут в своем замкнутом — и собственноручно созданном — деревенском мире: ферма их выросла на участке дикого леса, расчищенного некогда Стэном, а поселок Дьюрилгей («Плодородный») — вдоль дороги, ведущей в глубь леса от этого первого дома, поставленного молодым Паркером. Бытие Паркеров полностью подчинено неизменному, четкому ритму круговорота природы, ритму, который лишь изредка взрывается стихийными бедствиями: наводнением в сезон дождей, лесным пожаром — в легкую сушь. Труд — нелегкий, однообразный, не отпускающий — основа этой жизни, ее плоть и сущность. Паркеры — честные уравновешенные, доброжелательные люди, пристально-внимательные к жизни природы, которая дает им не только хлеб насущный, но и прочное ощущение своего места в мире. Цветы в их саду, овощи и злаки, домашний скот, собаки, куры — все это существует вокруг них как бы на правах членов семьи,— так зорко, не обезличенно видят их владельцы этой маленькой, медленно поспевающей за временем фермы. Казалось бы — деревенская идиллия, гармония «простых душ», фермерская пастораль в австралийском варианте? Такая книга могла бы быть написана, но только не Патриком Уайтом — даже «мягким», эпичным, каким он предстает в «Древе человеческом». Может быть, он раскрывает жестокие социальные распри и коллизии, таящиеся под неторопливой безмятежностью сельской жизни? Нет — он не Стейнбек и не Колдуэлл, хотя в характерных, гротескных эпизодах жизни Дьюрилгея есть нечто сродни их сочным и грубым картинам американского Юга и Запада. Может быть, подобно Фолкнеру, он обнажает ярость человеческих страстей, столкновения стихийных враждующих начал, гнездящихся в темных провалах сознания? И этого не скажешь — все действие «Древа человеческого» беспрепятственно течет в берегах естественного человеческого существования, в понятие которого входит и смерть. А если случается и смерть насильственная — то и она обставлена буднично, и рассказано о ней скупо.

Драматизм и дисгармоничность романа — с самого начала разрушающие наше представление о «пасторали» — связаны с внутренней его кардинальной темой. Определение ее может прозвучать высокопарно, и даже претенциозно, тем не менее оно соответствует истине. Скажем так: путешествие пленного духа человеческого через земное существование. «Пленный дух» не стремится в некую мистическую сферу — как мистика, так и вообще религиозное начало отсутствуют в идейно-художественной систе-

[1] «ИЛ» № 1, 1976.
[2] «ИЛ» № 6, 1972.

ме Патрика Уайта. Герои его живут на земле, а с богом в случае необходимости ведут диалог скорее формальный, во всяком случае — неудовлетворяющий их. Но это вовсе не значит, что они живут приземленно. И Стэн и Эми, пожизненно и каждый в одиночку (нет у них дара словесного общения — и в этом одна из драм крепкой супружеской связи Паркеров), бьются над неутоленным стремлением постичь «суть вещей» и смысл своего существования. Это — не философские поиски, даже не мысли, а нечто эмоциональное, бесформенное, но из-за этого не теряющее своей интенсивности. Драма немоты и неспособности до конца понять другого, сопровождающая всю историю супружества Паркеров, его коллизий, измен, обид — так и остающихся невысказанными,— это все же линия подспудная, и брак их выдерживает все испытания, и внешние и внутренние. Совсем по-иному складываются судьбы двух детей Паркеров, Тельмы и Рэя. И не только потому, что оба они отрываются от корней, уходят в город, отрекаются от труда, наполняющего жизнь родителей. Происходит все это именно потому, что Рэй и Тельма из другого материала слеплены. Рэя с детства сжигает беспокойство — эгоистические, разрушительные инстинкты оказываются сильнее семейной атмосферы, где царят порядочность и доброта. У Тельмы — ущербность иного рода: сухость, бесплодность души, способной лишь на суетные побуждения, которые не выходят за рамки «элегантной респектабельности» и комфорта; даже музыка, с детства вошедшая в ее жизнь, воспринимается ныне Тельмой как одна из форм потребительского «изыска», даже щедрость ее не приносит радости людям. Не в том суть искривленных судеб второго поколения Паркеров, что Тельма и Рэй отрясли с ног своих прах и грязь родительской фермы, что Рэй — перекати-поле и нечист на руку, а Тельма, практично, но безрадостно выйдя замуж, устроила себе комильфотное и тоскливое существование. Причина глубже: того драматического, духовного начала, которое присутствует, невысказанное и все же неизменное, в жизни старших Паркеров, дети их так и не обрели. Во втором поколении оно как бы ушло в землю — чтобы снова пробиться наверх в мальчике, сыне Рэя который смутно чувствует в себе зарождение некой поэмы — всеобъемлющей, по уитменовски вбирающей краски и звуки мира. С этим мальчиком — не случайно он не назван по имени — связана лирическая тема книги, тема деревьев и древа человеческого, снова возникающая в финале. Может быть, именно ему, внуку Стэна и Эми, дано будет преодолеть проклятие немоты, выразить «суть вещей» и понять свое место и назначение. Так появляется в финале романа еще одна важная тема Уайта — творчество. Но когда в одной из поздних его книг «Вивисектор» (1970) она становится центральной, раскрываясь в истории художника, личность Уайта-художника обнаруживает иные свои грани Подчеркнутая физиологичность, жестокий эгоцентризм художника (выражающий его убежденность в своем праве быть «вивисектором») — все это весьма далеко от целомудренной сдержанности, присущей самой атмосфере «Древа человеческого». Интересно также перебросить мостик от «Древа» к еще более позднему, пока последнему роману Уайта «Око бури» (1973). По внешним признакам это также семейный роман, в котором отчетливо звучит тема отцов и детей. Но центр бытия героев «Ока бури» — не труд, а деньги, и ведет их по жизни не безмолвное доверие к потоку бытия, а потребительское, хищническое и отлично артикулированное (оба поколения богатой и престижной семьи Портеров — люди интеллигентные) стремление взять как можно больше, не поступаясь ничем. Брезгливое отвращение автора к буржуа во всех его ипостасях (один из главных персонажей романа — маститый актер) отчетливо проступает в романе; и все же — как в «Древе человеческом» — главным для Уайта остается внутренний мир человека, раскрывающийся прихотливо, неожиданно, в трудноуловимых, наплывающих друг на друга фрагментах лирического повествования, в блистательных и виртуозных подчас «моментальных снимках» душевного состояния. Стилистическое богатство прозы Уайта ставит труднейшие задачи перед его переводчиком. И в «Древе человеческом», более однородном и целостном по своей стилистической структуре (хотя и здесь немало переходов — от комической характерности к «чистому эпосу»), чем, скажем, «Око бури», русский текст отражает масштаб этих трудностей. Прекрасно удались Н. Треневой главы, повествующие о «катаклизмах» природы, и не менее выразительны сугубо бытовые сцены, окрашенные грубоватым юмором, а вот там, где «ничего не происходит», кроме потаенной, банально и скупо выражаемой словами (так и в оригинале) душевной жизни, авторская интонация иной раз теряется — между тем в оригинале она присутствует.

В итоге же можно сказать, что русское издание «Древа человеческого» вполне заслуживает читательскую признательность и вызывает желание прочесть и другие книги Патрика Уайта: «Фосс», «Око бури», рассказы, книги, открывающие иные грани личности этого большого художника.

И. ЛЕВИДОВА

Издано за рубежом

ХРОНИКА РЕВОЛЮЦИИ И КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Urbano Tavares Rodrigues. Desto agua beberei. Amadora, Bertrand, 1979. Урбано Таварес Родригеш. Изопью эту чашу до дна. 1979.

Есть любопытный закон читательской оптики: одно дело воспринимать книгу уже признанного, но лично незнакомого писателя, совсем

иное — читать строки друга, присутствие которого незримо ощущается за каждым поворотом сюжета, за каждым из созданных им героев.

Автору этих заметок посчастливилось в течение нескольких лет видеть Урбано Тавареша Родригеша [1] в гуще разбуженного народа, неоднократно встречаться с ним в калейдоскопической смене недавних португальских событий. Новый роман маститого прозаика «Изопью эту чашу до дна» напомнил португальцам о многом: он вырос из тревожного бытия сегодняшней Португалии, из хаоса газетных сообщений, из глубоких раздумий автора о судьбах родины и революции.

Когда произошел антифашистский демократический переворот 25 апреля 1975 года, Урбано Тавареш Родригеш считался в стране уже одним из самых любимых и плодовитых прозаиков левого направления. До апрельских событий им было написано свыше 40 книг (романов, рассказов, эссе, путевых заметок и др.), многие из которых переведены на основные европейские языки, в том числе на русский [2]. По-юношески живой и стройный, несмотря на то что ему уже давно за пятьдесят (он родился в 1923 году), Урбано прошел через ужасы фашистской тюрьмы Кашиас, где его зверски били и сделали полуинвалидом. «Революция гвоздик» выдвинула его в первые ряды бойцов за новую, социалистическую Португалию, которой он и сейчас бескорыстно служит своим искусством. «Писатель всегда завербован. Но когда он поет хвалу по заказу, он изменяет своему назначению»,— любит повторять Урбано и добавляет: «Литература не делается без правды, а правда всегда с народом!» Поэтому неудивительно сверхчуткое, благоговейное отношение этого профессионального художника к творческим возможностям простых людей труда. Выходец из помещичьего класса, испытавший искус всевозможных «измов» — сюрреализма, «магического» реализма, неореализма (он начал писать в парижской эмиграции),— коммунист Тавареш Родригеш в разгар революции призывает интеллигенцию помочь трудящимся создавать рассказы — свидетельства об их жизни, «рассказы, которые не смог бы честно и верно сочинить ни один литератор, не побывавший на месте рабочего».

На I национальном съезде писателей, в созыве которого активное участие принял Урбано Тавареш Родригеш (май 1975), впервые после полувековой диктатуры обсуждался вопрос: как могут помочь деятели культуры победе социализма в Португалии? Горячо говорилось о тяжелом наследии фашизма, о необходимости писать книги о народе и для народа. В то незабываемое время спорили и писали, конечно, о многом, но очень часто творческая интеллигенция, опьяневшая от буржуазного «плюрализма» и захваченная перипетиями межпартийной борьбы, не находила времени для серьезной литературной работы. На страницах печати некоторые критики глубокомысленно рассуждали о том, что революционные эпохи якобы не способствуют писательскому труду, что для создания сто́ящих произведений необходима «историческая дистанция» и т. д. Одним из тех, кто остался верным прямому долгу литератора и решениям съезда, был Урбано Тавареш Родригеш. За послеапрельское пятилетие им опубликовано около десятка книг — художественной прозы и публицистики,— отразивших сокровенное и общеизвестное, трагическое и великое в жизни Португалии послереволюционных лет. Впрочем, названия говорят сами за себя: «Боевой клич» (1975), «21 день борьбы» (1975), «Реестр горячей осени» (1976), «Когда голуби красные» (1977), «Элегия надежды» (1977), «Край земли» (1977) и другие.

Художник поколения, пережившего войну, разгул фашизма в Португалии, крах португальской колониальной империи в Азии и Африке, победу антифашистской революции в своей стране, а ныне наступление реакции, Урбано Тавареш Родригеш в своем творчестве никогда не теряет исторического оптимизма. Главная движущая пружина его рассказов, романов и эссе — извечная борьба за человеческое достоинство, свободу и социальную справедливость. Писатель, на себе испытавший нравственные и физические унижения при фашизме, и в хитросплетениях современной общественной жизни умеет разглядеть людей, от которых исходит угроза фундаментальным человеческим ценностям. Не абстрактное зло, а живые люди, носители этого зла, в конкретных условиях конкретной страны — представители правящего класса и их приспешники — становятся главным объектом его разоблачений. Умелый рассказчик, одинаково хорошо владеющий пластикой народной речи и ресурсами утонченной языковой культуры, Урбано любит ставить своих героев в экстремальные ситуации: жестокости, ненависти, насилия, чтобы, по контрасту с торжествующим злом, показать в «маленьких» людях высшие проявления добра, нравственности и гуманизма.

Роман «Изопью эту чашу до дна» во многом продолжает эту линию. В то же время нельзя забывать, что он создан в изменившемся политическом климате, когда португальская реакция оправилась от поражения и призрак ее господства вновь надвинулся на страну. Поэтому книга и по содержанию, и по форме знаменует новый этап в творчестве писателя. Он стал философичнее и глубже, значительно увеличил широту обстрела и обзора действительности и бьет уже не столько по отдельным врагам демократии, сколько по возрождающемуся фашизму в целом. Однако предоставим слово самому автору: «Изопью эту чашу до дна» — по-моему, роман, теснейшим образом связанный с историей революционного и контрреволюционного движения в Португалии последних лет... В нем, если внимательно присмотреться, можно увидеть и что-то от народно-песенного начала, и мое всегдашнее стремление

[1] Статья Урбано Тавареша Родригеша «Книги Ленина в моей жизни» опубликована в «ИЛ» № 5, 1980.

[2] Часть новеллистики писателя вошла в сборник «Суррогат счастья». М., «Художественная литература», 1977.

не повторяться, а переделывать, искать, изобретать что-то новое на уровне повествовательной техники. Я воспользовался моделью плутовского романа и художественно-публицистического фельетона XVIII века и думаю, что нашел собственные решения, которые с удовольствием осуществил на практике. Дело в том, что, дав себя увлечь вымышленным художественным материалом, прежде всего женскими персонажами, которые нагляднее отражают социальные преобразования с их нерешительностью, болезнями роста и достижениями; посвятив много страниц Аграрной реформе, ставшей для меня великим, героическим мифом, я, видимо, вторгся в лирико-эпическую стихию. И не жалею об этом...» [1].

Роман «Изопью эту чашу до дна» представляет собой серию случайных, на первый взгляд, глав-эпизодов из жизни демобилизованного солдата Жоао Эркулано, который за короткий срок меняет ряд профессий: страхового агента, сельскохозяйственного рабочего, привратника, мусорщика, официанта и т. д. Скитания Жоао Эркулано по стране в поисках заработка, его встречи с самыми разнообразными людьми дают возможность автору воссоздать как бы «изнутри» и «снизу» широкую панораму действительности — прием, характерный для классического плутовского романа. Впечатление о принадлежности книги к этому старинному жанру усиливается названиями отдельных глав: «О том, как Жоао Эркулано приобрел (и потерял) хлеб свой насущный» «О том, как Жоао Эркулано служил Аграрной реформе и познал женщину, которую не познал», «Правда глаза колет», «О встрече Жоао Эркулано с двумя подругами и о том, чего не произошло», «Где зарыта собака?», «Игра зеркал», «Абсурдный гуляка в глупом городе, или Невероятная история о телефонной кабине», «Карла наедине с собой, пока премьер-министр пытается сформировать правительство в день рождественской индейки» и т. п.

По ходу повествования автор с репортерской последовательностью воссоздает или упоминает многие события и процессы (интриги реакции, взрывы бомб, забастовки, митинги, рост дороговизны и безработицы, разгул слухов и т. д.), ставшие португальскими буднями второй половины трудных 70-х годов Один из местных критиков, анализируя роман, справедливо называет его «Хроникой революции и контрреволюции» и выделяет в ней следующие сквозные мотивы, связывающие воедино внешне беспорядочное, «скачущее» описание двух переломных лет в жизни Жоао Эркулано: его участие в Аграрной реформе, его столкновение с подымающей голову буржуазией, его тревоги и сомнения, его встречи и разлуки и, наконец, постепенная «пролетаризация» героя и его приход в ряды коммунистической партии.

Наиболее ярко написаны страницы, посвященные жизни и работе Жоао Эркулано в зоне Аграрной реформы, в родной провинции Урбано Тавареша Родригеша — Алентежу, ставшей символом революционной стойкости сельского пролетариата Португалии, где Жоао встретил свою будущую жену, сельскую учительницу-коммунистку Этельвину. Тема Алентежу до и после революции — едва ли не одна из главных в творчестве писателя вообще.

В романе «Изопью эту чашу до дна» есть и сравнительно новые, ранее нехарактерные для писателя ноты. Главная из них — чувство горечи и возмущения перед лицом торжествующего буржуа-обывателя, опомнившегося от апрельского поражения и перешедшего в атаку на социализм. «Это была пора гниения,— пишет автор.— Фашисты уже поднимали свой голос в автобусах, в муниципалитетах, люди молчали... чувствуя глухую, обволакивающую угрозу огромной смирительной рубашки, которую готовили для города, для страны, для всего мира. Фашизм вновь горланил на перекрестках и даже сильнее, чем прежде... В Баррейру ненависть разгулялась вовсю: хозяин авторемонтной мастерской за рулем своего «мерседеса» ринулся на толпу рабочих, один из которых, тяжело раненный, попал в больницу...» Из главы в главу и автор, и его многочисленные персонажи выражают острое неприятие капиталистической реставрации. А когда одна из случайных «подружек» Жоао Эркулано через богатого дядю устраивает для него высокооплачиваемую должность, безработный солдат, глядя в «инквизиторское, без возраста и без улыбки лицо» капиталиста, вежливо, но твердо отвергает подачку. Символично и название этой главы — «Как солдат мерился силой с дьяволом».

Одной из самых существенных (если не главной) тематических линий нового произведения Урбано Тавареша Родригеша следует считать ненавязчивый, психологически убедительный показ того, как молодой человек, наш современник, в условиях разбуженной революцией страны проходит путь от стихийного бунтарства и сентиментальной слепоты к политическому и нравственному прозрению. Мысль о живительном влиянии революции на неокрепшие, но честные души заложена и в самом заглавии романа — «Изопью эту чашу до дна». В последней главе «Солдат революции» Жоао Эркулано обретает мир с самим собой и после трудных встреч и расставаний находит счастье с Этельвиной.

Новая книга давнего друга нашей страны Урбано Тавареша Родригеша, в которой конфликт между добром и злом воплощен в совершенно конкретных классовых и даже партийных силах, подкупает верой в человека, честностью при изображении положительных и отрицательных персонажей, теневых и светлых сторон нелегкой жизни в сегодняшней Португалии.

С. П. МАМОНТОВ

ПИСАТЕЛИ МАДАГАСКАРА — ДЕТЯМ

Автор этих заметок Эстер Рандриамамундзи — известная мадагаскарская писательница и переводчица советской литера-

[1] «О жорнал», 11/X 1979.

туры. Ее перу принадлежат ряд романов (последние по времени — «Флейта Солофо», 1975; «Дом без крыши», 1977; «Утро наступит», 1979) и многочисленные сказки, выходившие на Мадагаскаре в периодических изданиях и отдельными книгами

Сразу же после завоевания независимости в Демократической Республике Мадагаскар началось движение за всеобщую грамотность, однако в настоящий момент только пятьдесят процентов детей имеют возможность учиться в школе, так как в стране не хватает преподавателей. Долгие годы колониализма пагубно сказались на всех сферах жизни острова и не могли не затормозить развитие малагасийского языка и литературы. Преподавание в школах велось только на французском языке, в то время как в отличие от других африканских языков и диалектов малагасийский язык общеупотребим на всем острове — и это обстоятельство в значительной степени всегда способствовало единению нации. Образование было доступно ничтожному меньшинству населения, да и то проживающему в городах,— колониальные власти допускали учиться ровно столько людей и ровно в той степени, сколько требовалось для их обслуживания. И если наш язык сохранился как национальный и живой язык, единый для всей страны, и если малагасийская литература существует по сей день, то это оказалось возможным лишь благодаря школам, которые создавали миссионеры разных национальностей, где основой для обучения служил наш родной язык. Кроме того, сберечь малагасийский язык и литературу помогли и выпускаемые миссионерскими организациями периодические издания, где публиковались произведения наших писателей, в первую очередь предназначенные детям, а также очень популярные у нас народные сказки.

Какое же место в современной малагасийской литературе занимает литература, создаваемая для детей? Трудно назвать автора — в какое бы время он ни жил,— который писал бы только в расчете на детей. Это относится и к сказкам. Посвященные самым разным темам, они представляли интерес для людей разных поколений. И каков бы ни был их сюжет, к какому бы читателю ни попадали они в руки, их воспитательная функция не утрачивалась.

Вспомним народные сказки, которыми так богат наш остров. До колонизации, то есть до введения латинского алфавита, сказки и прочие произведения записывались с помощью арабского алфавита. Наиболее популярные позднее были напечатаны по-малагасийски, но уже латинскими буквами. Преподобный Л. Даль был первым, кто в 1878 году издал сборник малагасийских сказок, услышанных им в разных районах острова. В 1971 году вышло восьмое издание этой книги, включающей более восьмидесяти сказок, легенд, народных песен, загадок. Книга эта — незаменимое подспорье для изучения малагасийского языка и его дальнейшего развития.

Наиболее популярные сказки разнообразны по сюжету, поэтичны и богаты метафорами. Здесь и фантастические приключения чудо-ребенка Ибонии; и проделки двух знаменитых плутов, злоупотребляющих наивностью людей; и судьба детей, брошенных родителями; и история двух влюбленных — по легенде, они бросились в горное озеро Тритрива и превратились в два дерева, ветви которых переплелись. Деревья эти существуют по сей день, и если вы окажетесь на Мадагаскаре, гид с нескрываемым волнением поведает вам эту печальную историю. Другие сказки интересны тем, что являют собой попытку объяснить природные явления: из них мы узнаем о происхождении некоторых табу, в них рассказывается о взаимоотношениях между людьми или между людьми и животными. Сказки отражают народные представления о сотворении мира и человека, о том, почему собака стала другом человека, почему коршун охотится за цыплятами или почему кошка сделалась врагом крысы. Здесь же мы находим и загадки: «Режешь, а не больно» (волосы), «На земле не сохнет, а в воде не мокнет» (тень).

Сборник, изданный в 1947 году норвежским миссионером Жаком Фобле и включивший сто сорок сказок, их переводы на французский язык и комментарии к ним, назывался «Рассказы Бара». Бара — это название южного района острова и проживающего там племени. Сказки эти можно объединить по следующим темам: сотворение мира, законы общества Бара, колдуны, запреты и т. д. Персонажи этих сказок — члены типичной для острова семьи, животные или растения. В отличие от классических и современных сказок просветительское начало в них превалирует над морализаторским. Особенно это заметно в сказках, пытающихся объяснить то или иное явление или давно сложившийся обычай. Вечером на семейных сборищах их рассказывали старики, которых почитали как носителей мудрости предков. Эти сказки в народных театрах под открытым небом разыгрывались актерами и певцами, напоминавшими трубадуров. Подобные театры и по сей день очень любимы широкой публикой. Мне хочется подчеркнуть, что даже в самые давние времена, когда учебных заведений в современном понятии не существовало, сказки служили подлинной школой гуманизма, отражая философию и познания старших поколений. Сказки — это наше культурное богатство, вобравшее в себя чаяния народа и его представления о добре и зле.

Интересна и такая деталь. Имена сказочных персонажей всегда символичны — по малагасийским обычаям выбор имени определялся не случаем и не красотой звучания, имя всегда должно было что-то обозначать (это сохранилось и в наши дни). Имя может заключать в себе пожелание, волю или благодарность. Зачастую одно имя объединяет несколько идей — вот почему у нас встречаются имена, состоящие из 15—20 букв, так как они образованы из нескольких слов.

К старинным сказкам и легендам обращаются и многие сегодняшние писатели, под-

вергая их некоторой обработке и осовременивая. Иоанеса Ракотовао в 1961 году издала сборник под названием «Молоко с медом» (что означает совершенство и изобилие), в который включила тридцать сказок в стихах, по сюжетам напоминающих басни Лафонтена. Каждая сказка содержит урок или пример, достойный подражания, а две последние строки — мораль или совет.

Для детей работают и такие известные писатели, как Эмильсон Даниэль Андриамалала (автор десяти романов) и Элизабет Раваоривало, которая в своей обработке выпустила уже несколько ярко иллюстрированных книг сказок, причем не только малагасийских, но и сказок Андерсена. Кларисс Рацифандриаманана, поэтесса и романистка (многие ее произведения были удостоены литературных премий), также пишет сказки для детей, в сатирическом свете рисующие времена колониализма. Последний сборник ее сказок вышел в 1979 году.

Современные писатели в книгах, адресованных юным поколениям, стремятся воспитать в них любовь к родине, к свободе и уже с ранних лет приобщить к тем общественным проблемам, в решении которых им предстоит участвовать в недалеком будущем. Не разлучая детей с их извечными друзьями и спутниками — сказочными персонажами, добрыми животными, не лишая их естественных радостей, которые приносит общение с природой и познание ее законов, они тем не менее стараются приоткрыть им и реальную действительность со всеми ее трудностями.

Таких писателей довольно много, назовем имена лишь некоторых из них. В 1973 году вышел сборник стихов для детей известного поэта Жоржа Андриаманантены. Это подлинно народный поэт, поэт тружеников и обездоленных, воспевающий красоту простой, но полной забот жизни. Его стихи, в которых он ласково обращается к своему маленькому собеседнику, приобрели столь широкую популярность, что многие из них стали песнями.

Помимо авторских книг писатели издают сборники, в которых помещают как произведения, уже ставшие классическими, так и свои собственные. Подобные книги, зачастую включающие произведения, изучаемые в школах, полезны и учителям, и ученикам. Вот уже более пятнадцати лет выпускает такие сборники, очень популярные у детей от семи до двенадцати лет, Проспер Ражабелина. Его красочно иллюстрированные книжки сказок и коротких рассказов увлекательны и искрятся юмором.

Какие бы сюжеты и темы ни избирали писатели Мадагаскара прошлого и настоящего, главная цель у них всегда воспитательная. Каждый художник неизменно верит в свой долг способствовать воспитанию общества и завоеванию независимости во всех сферах жизни. Примечательно в этом плане творчество поэта Жана Наривони, многие годы пишущего для детей. Характерны даже названия стихов, входящих в его наиболее известный сборник «Моя трава»: «Мой родной язык», «Моя деревня», «Наши глаза», «Цветы Мадагаскара», «Папа и мама», «Песни друзей». Мне хочется привести последние строки из стихотворения Жана Наривони «Наши руки»: «Тот, кто хочет творить добро, пусть берет пример с наших рук».

Помимо произведений для детей малагасийских авторов у нас издаются книги зарубежных писателей, давно вошедших в сокровищницу мировой литературы: «Моби Дик» Мелвилла, «Маугли» Киплинга, «Робинзон Крузо» Дефо, «Том Сойер» Твена и другие.

Издательское дело развито у нас пока еще недостаточно, но дети получают необходимую для их развития литературу. Причем, несмотря на финансовые трудности, у нас делается все, чтобы стимулировать дальнейшее развитие малагасийской литературы. Только за 1979 год — год ребенка — было проведено три конкурса произведений детской литературы.

Сегодня, когда наша страна переживает небывалый подъем и все население с энтузиазмом стремится участвовать в нашем движении к прогрессу, малагасийская культура и язык, на котором ведется теперь обучение в школах, также вступают в пору расцвета. Однако это не означает, что наш родной язык полностью вытесняет иностранные: со второго класса начальной школы дети в обязательном порядке изучают французский язык, а с шестого класса в лицеях введено преподавание английского, русского, немецкого, итальянского языков. Развивать национальную культуру и искусство невозможно в отрыве от мировой культуры и ее лучших достижений.

ЭСТЕР РАНДРИАМАМУНДЗИ

«УОЛТЕР» ДЭВИДА КУКА

David Cook. Walter. London, Secker a Warburg, 1978.
Дэвид Кук. Уолтер. 1978.

Новый, третий роман Дэвида Кука (ему сейчас тридцать девять лет) может показаться необычным. В «Уолтере» речь идет об умственно отсталых людях. В нем рассказывается о печальных событиях, но общее впечатление от книги можно определить как просветленное. Во всяком случае, не сомневаюсь, что многие читатели у нас в Англии восприняли эту книгу именно так. Сразу же возникает вопрос: как этого удалось достичь автору?

«Уолтер» — роман реалистический. В нем воспроизведен довольно большой период времени — приблизительно в сорок лет. Действие начинается в 1923 году, незадолго до женитьбы родителей Уолтера. Сам же герой рождается лишь спустя шесть лет. Мать Уолтера, Сара,— продавщица в магазине тканей в небольшом индустриальном городе на севере Англии. Ее муж, Эрик, рабочий на ферме,— человек с нелегкой судьбой. Выросший в приюте для покинутых детей, он неуклюж, замкнут в себе. Физическая сторона брака оказалась для него мучительно трудной, потому что еще в приюте ему внушили, что он не сможет иметь детей. Описывая беременность Сары, Кук как бы невзначай отмечает врожденную патологию в семье Эрика. Эта деталь весьма важна: автор готовит читателя к тому, что дур-

ная наследственность может пагубным образом сказаться на ребенке. Так и происходит — Уолтер рождается неполноценным.

Та часть книги, где объясняются причины врожденной дефективности Уолтера, вызывает у меня сомнения как в эстетическом плане (уместно ли это в романе?), так и в научном (бывает ли так в жизни?). Однако, может быть, Кук и прав, когда вводит в текст это объяснение — тем самым он дает читателю хотя бы формальную опору, за которую можно уцепиться, знакомясь с трагической историей Уолтера.

Из-за умственной отсталости Уолтера родители не могут ни на минуту оставить его без присмотра. Порой тоска Сары становится столь невыносимой, что она начинает подумывать, как бы ей освободиться от сына-идиота. Однажды она бросает Уолтера на краю железнодорожного моста, по которому идет поезд. Но мальчик остается в живых — он уцепился за ограду и повис на ней. Больше мать не повторит попытки избавиться от сына.

В восемь лет Уолтер по своему развитию соответствует четырехлетнему ребенку. Кук подробно описывает существование умственно неполноценного человека. «Иногда из-за этого у него бывали сильные головные боли. Это было похоже... Он не знал, на что. Это было похоже на рыб, на аквариум с рыбами, которых было очень много,— они то метались из угла в угол, то медленно плавали, то соскальзывали куда-то вниз, как мысли или обрывки мыслей, как не связанные друг с другом слова, которые или же медленно плавали, или же метались, но никак не хотели соединиться вместе; иногда на мгновение наступало озарение, но затем снова все куда-то проваливалось. Мысли не хотели постоять на одном месте, так, чтобы он мог осознать и понять их. Он даже не мог проследить за ними, потому что сразу же начинали наползать другие мысли, но когда они, наконец, вытеснив, занимали их место, то столь же спешно увертывались от него, мерцающие, скользкие, неподдающиеся».

Я назвал жизнь Уолтера ужасной. Это действительно так. И все же ужас, который охватывает читателя на первых страницах, постепенно сменяется совсем иными эмоциями.

Уолтеру исполняется двадцать один год. Он поступает в лавку подсобным рабочим. Уолтер доволен — не только потому, что ничего более сложного и трудного он делать не в силах. Читатель понимает, что главное — в природной доброте героя, его желании бескорыстно помогать людям. Казалось бы, жизнь налаживается, но умирает отец. «Наутро после того, как Уолтеру сказали, что теперь его отец на небе с богом, мать разбудила его в обычное время, и он успел на автобус, на который всегда успевал. Кондуктор, как обычно, пошутил с ним, но Уолтер ничего не ответил. Он молчал. Уолтер, который так часто смеялся своим безудержным смехом, Уолтер, который так часто хихикал, Уолтер, который внушал людям, что они хорошие, потому что они таковыми не были, Уолтер, который утешал неуверенных, доказывая им, что не всякое безумие трагично,— Уолтер молчал, у него сегодня был выходной».

Последняя фраза очень важна для Кука. Именно здесь у читателя впервые начинает складываться иное отношение к книге, а с этим новым отношением приходит и более глубокое понимание основной цели писателя. Здесь происходит сопряжение двух планов — реального и универсального. Первый план — это рассказ о тяготах жизни Уолтера, это сдержанное, но от этого не менее сильное и страстное осуждение различных общественных институтов Англии, погрязших в коррупции, чиновников, ничего не делающих для облегчения участи людей, подобных Уолтеру.

Второй план — рассказ-притча о человеке, причем не просто человеке, но активном носителе добра. Кук взялся за одну из самых трудных художественных задач — за изображение хорошего человека. Такие люди встречаются в литературе столь же редко, как и в жизни. Правда, уже написав эту фразу, я подумал: «А может быть, в литературе они бывают еще реже?» В современном искусстве созданию положительных героев мешают причины, которые я, сам будучи романистом, сознавать сознаю, но точно сформулировать не могу. Не думаю, чтобы эти причины были лишь «технического свойства». Дело обстоит гораздо сложнее. Литературный герой, который сразу же невольно приходит на ум (хотя сравнивать с ним Уолтера рискованно),— это князь Мышкин. Рискованно, потому что образ, созданный Достоевским, — одно из величайших достижений мировой литературы. Уолтер и князь Мышкин — из разных художественно-философских рядов. Уолтер — лишь отблеск великого образа Достоевского. Но и взятый сам по себе, герой Кука — несомненная творческая удача.

Мышкин безумен; ненормален в общепринятом смысле этого слова и Уолтер. Но почему писателям понадобились именно такие ущербные герои, которые стали у них носителями идеала? И снова вспоминается Достоевский, и приходят на ум его слова об избранности идиота. Вспоминаются и другие «великие» безумцы: Дон Кихот, Пиквик, с которого, между прочим, «списывал» своего Мышкина Достоевский.

Дэвида Кука от Диккенса отделяет столетие. Но по-прежнему идеал добра существует для современного писателя только в странном, чуждом миру человеке. Уолтер, взгляд которого по-детски незамутнен, а в реакциях нет корысти, подходит к действительности без предубеждения. И потому его существование в мире невинно. Но именно своей невинностью он бросает вызов обществу. И потому для меня невинность Уолтера не просто технический прием, но содержательная сторона идеала.

Одна из сложностей, которая возникает при создании характера хорошего человека, состоит в том, что персонаж может получиться слишком хорошим, а потому нереальным. Есть и еще одна трудность: автору легко впасть в излишнее, художественно неоправданное восхищение своим персонажем, что происходит, например, с некоторыми героинями Диккенса. Именно

поэтому они нам кажутся невыносимо приторными. Однако Кук, работая над образом Уолтера, сумел избежать этой опасности. Автор правильно дозирует свое сочувствие, и в результате читатель верит в Уолтера, в его доброту. И, конечно, очень помогает Куку комическая стихия, она снимает безысходность.

Я уже отмечал, что слишком прямолинейное объяснение умственной отсталости героя дурной наследственностью может вызвать нарекания. Однако когда Д. Кук пишет о натуре Уолтера, в которой отсутствует зло, увы, присутствующее в большинстве его нормальных соотечественников, он вовсе не прямолинеен. Повествуя о нелегкой судьбе своего героя, писатель не довольствуется «средой и наследственностью» как факторами, раз и навсегда определяющими структуру человеческого характера. Мир таков, каков он есть,— мир сложен. Мир плох. Мир хорош. Уолтер слабоумен. Уолтер добр. Остальное — тайна.

После смерти отца мать Уолтера вынуждена одна присматривать за сыном. Вновь ее начинают одолевать приступы отчаяния. Как-то утром, подойдя к постели, чтобы разбудить Уолтера, и особенно пристально вглядевшись в лицо сына,— не только слабоумное, но и ужасающе безобразное, она обратилась к богу: «...в те часы, когда во имя твоей вящей славы я сидела на жесткой церковной скамье или молилась на коленях, я старалась забыть все, кроме твоего лика». Лицо Христа видится ей полным терпения и понимания. «Я никогда не верила тем твоим изображениям, где твой лик окружен ореолом. Это не так. Это не ты. В моем воображении ты был гораздо красивее, гораздо мужественнее. А человек ведь создан по твоему подобию». Она вновь взглянула на спящего сына. Неужели ты такой, как Уолтер? Разве Уолтер создан по твоему подобию? Разве он похож на тебя? Уолтеру двадцать семь, но разве он мужчина? Это насмешка — физически зрелое существо с умом ребенка. За что?

Когда умирает и Сара, Уолтера помещают в приют для дефективных. Эта часть книги, поражающая обилием ужасных подробностей, не превращается в кошмар только благодаря спокойствию и состраданию автора. Он продолжает развитие своей основной мысли: «Уолтер смотрел на окружающие его искаженные лица. Иисус создал этих людей так же, как он создал всех людей. Но эти люди были ошибкой Иисуса, и за каждого из них в школе ему поставили бы двойку. В мире, который оставил Уолтер, жили люди, которые умели танцевать, петь, играть на разных музыкальных инструментах, рисовать, некоторые делали это превосходно. Эти люди удались Иисусу, и за каждого из них ему бы поставили в школе пять с плюсом. Но ведь Иисус — совершенство. Так всегда говорила мама. Значит, он не должен был ошибаться. Почему же он сделал так много ошибок?»

Ошибки Иисуса, удачи Иисуса — люди редко выражают таким образом свое отношение к жизни, как это делают Уолтер и его мать. Воспринимаем ли мы жизнь как движение к темноте и небытию или, напротив, к свету и будущему? Мне кажется, Кук сумел здесь увидеть нечто важное, но сплошь и рядом ускользающее от внимания других. «Ошибки Иисуса» — эти неожиданные скачки в эволюции, порождающие существа изломанные, неполноценные, на которых мы, нормальные и благополучные, обращаем слишком мало внимания, о которых предпочитаем не думать, все они — неотъемлемая часть нашей действительности. И потому мы не имеем права делать вид, что их нет. Кук призывает нас взглянуть на этих людей с состраданием и вниманием: они имеют такое же право на существование, как и мы. Они имеют право на заботу и внимание.

Приют — жестокое, омерзительное место, где томится семьсот человек. Здесь царит грубый, извращенный секс. Однако мне кажется, что книга бы только выиграла, если бы автор не так откровенно и подробно изображал сексуальные моменты.

На Уолтера приют производит отталкивающее впечатление — и на читателя тоже. Но постепенно и здесь герой находит свое место; Уолтер видит, что он может облегчить жизнь своим товарищам по несчастью, и полностью отдается этому делу: кормит, моет, присматривает за ними. И делает это с любовью. Когда ему представляется случай убежать из приюта, он остается в нем: он не может покинуть несчастных. Люди, конечно, злоупотребляют добротой Уолтера. Но суть не в этом. Суть в самом Уолтере. Он несет добро и тепло тем, кому в этом отказано обществом.

«Шли годы. Улицы вокруг приюта становились все более похожими на те, что можно было увидеть в фильмах, которые показывали здесь по вечерам в среду. Они манили его, влекли к себе, но ненадолго. Казалось, между проектором и экраном протягивалась какая-то рука и напоминала ему, что все это только мечты. Реальность была здесь — в однообразном течении дней. Это был его настоящий мир. Так и должно было быть. И из него ему не суждено было выбраться».

УИЛЬЯМ КУПЕР

ЛОНДОН

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

МОНОГРАФИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ ДОРЫ БОНЕВОЙ

Издательство «Болгарский художник» выпустило в серии книг о современном изобразительном искусстве монографию Людмилы Живковой о творчестве художницы Доры Боневой, выставка которой недавно состоялась в Софии.

В монографии, отмечает газета «Работническо дело», подчеркивается яркий общественный пафос картин Доры Боневой, проявившийся не только в ранних композициях, посвященных Кремиковскому металлургическому комбинату, но и в более поздних и зрелых произведениях, которые утвердили за ней имя мастера психологического портрета и реалистических полотен, исполненных гражданского звучания, снискали ей известность художника, для которого помимо стремления к поискам в области формы и, в частности, в области композиции характерно также стремление к широким обобщениям.

На снимке: репродукция картины Доры Боневой — «Двойной портрет».

(Журнал «Болгария»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АЙРИС МЕРДОК — ДРАМАТУРГ

В Национальном театре, в зале «Оливье», в постановке Майкла Кастова идет пьеса Айрис Мердок «Искусство и эрос: диалоги Платона». В значительной степени, пишет рецензент

«Таймс литерари сапплмент», пьеса основана на философской работе Айрис Мердок «О приоритете добра над другими этическими категориями». В ней Айрис Мердок уделила большое внимание анализу философии Платона. Как показывает творчество писательницы последних лет (романы «Генри и Катон» и «Море, море»), идеи Платона по-прежнему, как и в 60-е годы, занимают ее.

Пьеса представляет собой монологи пяти действующих лиц (Платон, Сократ и трое их учеников) о назначении искусства и его воздействии на человека, о любви как о силе, рождающей творчество. Связь между монологами весьма отдаленная. Это позволяет рецензенту сказать, что в целом пьеса больше подходит для чтения, нежели для сцены.

Самой Айрис Мердок, как полагает рецензент, наиболее близки идеи Сократа, считавшего, что искусство совершенно своим бесконечным несовершенством, невозможностью высказать до конца всю правду.

СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Незадолго до смерти Шарлотта Бронте читала своему мужу А. Б. Николзу главы из нового романа, который она предполагала назвать «Эмма». В нем рассказывалась история девочки по имени Матильда Фитцгиббон. Мужчина, который назвал себя ее отцом, привез ребенка в школу-пансион. Директриса, думая, что Матильда — дочь знатных и богатых родителей, окружила ребенка всяческим вниманием. Однако довольно скоро выяснилось, что мистер Фитцгиббон бесследно исчез, и Матильда оказалась нищей, безродной девочкой. Сердобольные знакомые директрисы решили взять ребенка к себе и выяснить тайну ее происхождения.

На этом роман был оборван смертью Шарлотты Бронте. Николз считал, что в этом незаконченном произведении мало оригинального, что это скорее повторы и перепевы предыдущих произведений жены. Однако Уильям Теккерей, критик более суровый и взыскательный, высказал противоположное мнение и даже напечатал отрывок из романа в журнале «Корнхилл мэгэзин». Он сопровождал публикацию предисловием, в котором есть следующие строчки: «А может быть, когда-нибудь последняя страница этого романа будет перевернута и кто-нибудь осмелится дорассказать историю мытарств и злоключений маленькой Эммы?»

Пожелание Теккерея сбылось через сто двадцать лет. Некая дама, пожелавшая остаться анонимной, дописала роман Шарлотты Бронте. Рецензент «Таймс литерари сапплмент» А. Н. Уилсон

Английский режиссер Дональд Уилсон, известный советскому зрителю как автор многосерийного телевизионного фильма «Сага о Форсайтах», создал телевизионный десятисерийный фильм «Анна Каренина», посвященный юбилею Л. Н. Толстого. Съемки фильма велись в Англии и в Венгрии. Роль Анны с успехом сыграла актриса Николь Паджит (на фото).

(Еженедельник «Нувель литтерэр»)

высказывает предположение, что «некая дама», выступившая соавтором Шарлотты Бронте, та же незнакомка, которая несколько лет назад завершила «Сэндитон» и «Уотсонов» Джейн Остин.

А. Н. Уилсон считает, что «неизвестная» хорошо знает творчество Шарлотты Бронте. В написанной ею части романа возникают герои, напоминающие известных персонажей Шарлотты Бронте: например, муж, похожий на мистера Рочестера из «Джен Эйр»; много сходного и в обстановке: та же суровая школа, которую читатели хорошо знают и по роману «Джен Эйр» и по роману «Виллетт», та же малореальная романтическая обстановка, характерная для всех произведений Бронте. Роман хорошо читается. «Неизвестная» убедительно рассказывает историю Матильды Фитцгиббон, которая, как и предполагал в своем предисловии Теккерей, оказывается Эммой. Однако, продолжает критик, Шарлотта Бронте была великой писательницей, чего нельзя сказать о «другой леди». В романе досадно не хватает иронии, свойственной Шарлотте Бронте, нет блеска ее диалогов.

ВЕНГРИЯ

«МОЕ САМОЕ ЛЮБИМОЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Венгерское телевидение обратилось к пьесе известного венгерского писателя Йожефа Дарваша «Пьяный

На снимке: Аги Сиртеш и Мари Чомош в телевизионном фильме «Пьяный дождь».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

дождь». Она была написана по мотивам одноименного романа о роли интеллигенции в строительстве новой жизни и поставлена будапештским Национальным театром еще в 1963 году. И роман и пьеса вышли на русском языке в издательствах «Прогресс» и «Искусство».

Сам Йожеф Дарваш писал в свое время об этой пьесе: она «мое самое любимое драматическое произведение. В ней я пытался осмыслить, как мы жили, что руководило нашими поступками. Вся драма — как бы непрерывная очная ставка действующих лиц со своей совестью, современностью, с прошлым».

На снимке: Рафаэль Альберти беседует с Сильвией Коронель.

(Газета «Гранма»)

ВЕНЕСУЭЛА

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ — ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА

Во время своей поездки по странам Латинской Америки испанский поэт-коммунист Рафаэль Альберти дал интервью корреспондентке венесуэльской газеты «Трибуна популар» Сильвии Коронель.

«Рафаэль Альберти,— пишет Сильвия Коронель,— поэт, воинствующий коммунист, политический изгнанник в течение сорока лет франкистской диктатуры и депутат Парламента от КПИ на первых же состоявшихся после падения франкизма выборах, и в то же время он — человек из народа».

«Я не профессиональный политик, —говорит Рафаэль Альберти.— Но я поэт-гражданин, который не сторонится политики, а живет в ней. А поэт тоже помогает в политике, даже если он этого и не сознает. Конечно, деятельность «политизированного» поэта отличается от деятельности «химически чистого» политика. Но поэт куда более свободен в своих действиях, у него более широкий спектр воздействия на людей. Могу сказать, что я совершенно свободен в своей работе, но люди знают, что я верен своим идеалам».

ВЬЕТНАМ

ОПЕРА БЕТХОВЕНА НА ВЬЕТНАМСКОЙ СЦЕНЕ

В Ханойском театре оперы и балета состоялась премьера оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио», постановка которой была осуществлена с помощью музыкантов и артистов ГДР. Как отмечала вьетнамская критика, постановщики спектакля использовали все выразительные средства для воплощения идеи борьбы за свободу и справедливость.

Освоение труднейшего и совершенно нового вокального стиля оказалось сложной задачей для театра. Дирижер и режиссер провели с актерами важную работу, добившись главного: постижения особой инструментальной природы бетховенской вокальной мелодии. Исполнителям главных ролей — Ким Динь, Тхюи Ха, Дык Лок, Зя Кхань — удалось продемонстрировать драматизм бетховенской музыки, ее внутреннюю конфликтность, добиться подлинного накала страстей.

Постановка оперы «Фиделио» стала крупным событием в культурной жизни страны.

ГДР

«ГОСТИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Два года назад Берлинский театр имени Максима Горького поставил пьесу молодого драматурга Юргена Гроса «Матч», имевшую большой успех у зрителей. Недавно тот же театр показал новую работу Гроса «Гости в день рождения» (режиссер Вольфганг Кремпель).

...Родные старой коммунистки Хильды Гренке съезжаются к ней на день рождения. У ее детей своя жизнь, свои семьи, они давно уехали из старого дома, который когда-то предоставили её покойному мужу за заслуги перед государством. Сейчас Хильда живет в нем вдвоем с приемной дочерью. Дом для нее стал слишком велик, и она решила передать его государству под детский сад. По-разному относятся дети к ее решению, и в этой реакции проявляются их нравственные качества, их мировоззрение.

«Празднование дня рождения постепенно превращается в своеобразный экзамен,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» драматург Райнер Кердль.— Мать как бы бросает детям вызов, предлагая им подумать о том, как они до сих пор жили, и о том, какие идеалы у них сохранились, а какие они отбросили».

«Драматург не дает готовых ответов,— пишет журнал «Театер дер цайт».— Он предоставляет зрителям возможность разбираться в сложных вопросах, которые ставит».

«Свою пьесу Юрген Грос назвал «пьесой из народного быта» («Фольксштюк»),— пишет Эрнст Шумахер в газете «Берлинер цай-

На снимке: сцена из спектакля «Гости в день рождения». В главной роли Енни Грёльман, в роли ее детей Лотта Лёбингер и Йерг Гудцун.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

тунг».— Он следует традиции Брехта, который вкладывал в этот жанр свой смысл: стирание граней между возвышенным и бытовым в театре. Персонажи Гроса сочетают в себе и высокое и обыденное, они очень противоречивы и вместе с тем это по-настоящему живые фигуры. Я считаю, что новая пьеса «Гости в день рождения» — произведение, заслуживающее нашего внимания. Она показывает нам людей сегодняшнего дня, которые решают, как им жить дальше».

ИНДИЯ

ПАМЯТИ «СОЛОВЬЯ ИНДИИ»

Как сообщает газета «Джан юг», общественность индийской столицы торжественно отметила столетие со дня рождения выдающейся индийской поэтессы Сароджини Найду (1879—1949), которая вошла в историю индийской литературы как «Соловей Индии».

Проникновенный лирик, с непревзойденной силой воспевшая свою родину, Сароджини Найду оставила богатое поэтическое наследие, которое по праву считается гордостью и славой индийской литературы.

Видная общественная деятельница, соратник и ближайший друг Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру, Сароджини Найду принимала активное участие в национально-освободительном движении, сменив поэтическое перо на вдохновенное слово оратора.

По случаю знаменательной даты в Дели состоялся симпозиум, посвященный творчеству поэтессы, в работе которого приняли участие писатели и общественные деятели страны.

Симпозиум открыл вице-президент Индии М. Хидаятулла.

ИСПАНИЯ

ПРЕМИЯ НАДАЛЯ — 79

Одна из самых почетных литературных наград страны, премия имени Надаля, присуждена известному писателю Карлосу Рохасу за его новый роман «Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка спускается в ад».

Свою первую книгу К. Рохас опубликовал в 1957 году. За прошедшие с тех пор годы он выпустил более десяти романов, несколько литературоведческих книг, ряд эссе на историческую тему. Карлос Рохас неоднократно награждался премиями, среди которых — «Национальная» за роман «Аутодафе» и «Планета» за роман «Асанья». Творчество этого писателя — явление довольно необычное для испанской прозы последних десятилетий. Своеобразие Карлоса Рохаса — в органичном и неразрывном соединении истории с фантазией и вымыслом. Большинство его произведений основано на достоверных материалах, дневниковых записях, архивных материалах, свидетельствах очевидцев. Писателю удается переходить от документа к собственно повествованию совершенно незаметно для читателя, удивительно сочетать реальные факты с вымыслом, причем вымысел нигде не переходит за пределы исторической правды.

Творчество этого писателя отличается постоянством тематики: почти все его произведения тесно связаны с гражданской войной. О ней говорится в книгах «Диалоги для другой Испании» (1966), «Почему мы проиграли войну» (1970), «Десять персонажей перед судом гражданской войны» (1973); в романах «Асанья» (1973) и «Неизданные воспоминания Хосе Антонио Примо де Риверы». Связана с этой темой и новая книга писателя.

Роман «Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка спускается в ад» принадлежит к жанру так называемой исторической фантастики. Карлос Рохас «проигрывает» различные варианты жизни поэта: что было бы, если бы поэт остался в Мадриде и не поехал в Гранаду; если бы он провел в доме Росалесов, где искал убежища и был арестован, все годы франкистской диктатуры, а спустя сорок лет отказался выйти в незнакомый и чуждый ему мир (таких случаев было немало в Испании в начале 70-х годов); если бы он вместе с Мачадо уехал в эмиграцию; если бы сегодня, как Рохас и ряд других испанских писателей, зарабатывал на жизнь преподаванием литературы в университете США, и т. д. Как обычно, при работе над этим романом Карлос Рохас использовал дневниковые записи, воспоминания друзей поэта.

ИТАЛИЯ

ДРУЗЬЯ И СОАВТОРЫ ДЖАННИ РОДАРИ

Смерть на 59-м году жизни писателя-коммуниста Джанни Родари стала одной из самых тяжелых утрат итальянцев за последние годы. Проводить его в последний путь пришли друзья и соратники по борьбе, деятели культуры и искусства, педагоги, журналисты и полиграфисты, а также самые лучшие друзья Родари, его читатели и ученики — итальянские дети.

В море прощальных цветов самыми трогательными, самыми впечатляющими были, по свидетельству газеты «Паэзе сера», в которой работал Джанни Родари в последние годы, «цветы, выращенные самим писателем»: около гроба появилось множество детских рисунков, листочков из школьных тетрадей с небольшими заметками, стихами, сказками. В ряде римских школ ученики писали сочинения, посвященные памяти любимого писателя.

Дети всегда были не только почитателями его таланта, но и сотворцами его. Родари вспоминал, как в годы своего учительства он вызывал к доске по два ученика и просил с обеих сторон доски, независимо друг от друга, написать по одному существительному, а затем тут же, на глазах у детей, сочинял забавные истории на основе именно этих «спорных» слов. Истории иногда затягивались на несколько «устных выпусков». За год до смерти в интервью журналу «Иностранная литература» по поводу издания в СССР его «Грамматики фантазии» (в переводе Ю. Добровольской) Родари говорил о своем постоянном творческом контакте с детьми, «чтобы в непосредственном общении с ними придумывать истории не по своему писательскому вкусу, а по вкусу детей, с учетом их знаний, уровня понимания».

Это общение часто приводило к осуществлению ярких и необычных экспериментов. Так, несколько лет назад Джанни Родари создал пьесу под названием «История всех историй» по материалам «взаимного обмена» рассказами между студентами Академии драматического искусства и учениками начальной школы. Сказочные приключения героев этой пьесы — традиционных персонажей итальянской комедии дель арте — символизировали различные этапы жизни и развития детей. Спектакль, поставленный по пьесе «История всех историй» летом 1978 г. теперь уже бывшими студентами, начинающими актерами во главе с режиссером Джанни Фенци, стал знаменательным событием в театральной жизни страны.

В 1979 г. Родари вместе с другими детскими писателями, художниками, скульпторами (в их числе Марчелло Арджилли, Бруно Мунари, Эмануэле Луццати и др.) в творческом содружестве с учениками туринских начальных школ создал книгу под названием «Инвентафьяба», что можно перевести как «Сказкоизобретение», «Сказкосложение». Вышедшая в издательстве «Эмме Эдиционн» под редакцией Фердинанда Альбертацци (ему принадлежит идея этой книги) и Фиоренцо Альфиери, «Инвентафьяба» была посвящена Международному году ребенка. В нее вошли различные сказки, причем школьники в ней — подлинные соавторы Родари и его коллег — либо иллюстрировали произведения, созданные взрослыми, либо, наоборот, по рисункам, фотографиям, скульптурам сочиняли свои сказки.

КУБА

ФОРУМ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

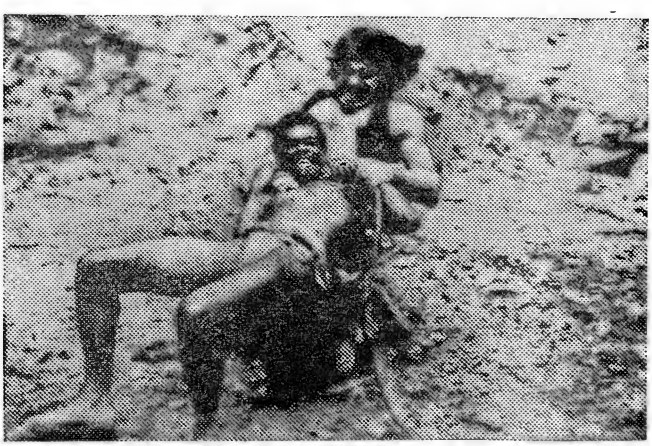
В Гаване был проведен I Международный фестиваль нового латиноамериканского кино.

«В самом представительном за всю историю континента форуме кинематографистов», по словам обозревателя газеты «Гранма», кинокритика Карлоса Галиано, приняли участие 336 кинематографистов латиноамериканских стран, в том числе Карибского региона, а также 300 представителей киноискусства и прессы других континентов.

На фестивале демонстрировались 60 художественных фильмов, 200 документальных и мультипликационных. Два авторитетных жюри: художественных фильмов, возглавляемое известным колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом, и жюри документальных и мультипликационных лент (председатель — выдающийся кубинский режиссер Сантьяго Альварес) — подвели итоги фестиваля. Его высшую награду — «Большой коралл» — поделили художественные фильмы «Полковник Делмиро Жоувейа»

На снимке: кадр из кубинского фильма «Малуала».

(Газета «Гранма»)



На снимке: кадр из бразильского фильма «Полковник Делмиро Жоувейа».
(Газета «Гранма»)

бразильского режиссера Жеральдо Сарно, обличающий хищнические устремления иностранных монополий, направленные на подрыв развития национальной экономики Бразилии, и кинолента кубинского режиссера Серхио Хиреля «Малуала», завершившая его трилогию о борьбе негров-рабов против испанских колонизаторов на Кубе и исторической роли их труда в освоении природных богатств этой страны (о фильмах «Другой Франсиско» и «Ранчеадор», в советском прокате «Охотник за беглецами», см. «ИЛ» № 7, 1977). Премии «Большой коралл» также удостоены документальная трилогия «Битва за Чили», созданная в эмиграции чилийским режиссером Патрисио Гусманом, и первый полнометражный мультипликационный кубинский фильм Хуана Падрона «Эльпидио Вальдес», адресованный детям.

Специальный приз жюри художественных фильмов присужден картине «Честная страна» венесуэльских режиссеров Ивана Фео и Антонио Льеранди. Премии им. Сауля Йелина Союза кинематографистов Латинской Америки удостоен первый хроникальный выпуск новостей дня, снятый кинематографистами недавно созданного Института никарагуанского киноискусства. «Раковину» — премию Союза писателей и артистов Кубы (УНЕАК) — завоевал фильм Хесуса Тревиньо «Кровные узы», рассказывающий о горькой доле «чиканос» — американских граждан мексиканского происхождения.

В заключительном слове министр культуры Республики Куба и президент фестиваля Альфредо Гевара сказал: «Гаванский фестиваль — важнейшая веха в истории киноискусства Латинской Америки. Он открыл новые горизонты в развитии творческих контактов и делового сотрудничества между ее кинодеятелями: и в оказании помощи слаборазвитым кинематографиям, и в прокате фильмов национального производства, вынужденного преодолевать засилье развлекательного иностранного кинобизнеса. Фестиваль положил начало систематическим киносмотрам нового латиноамериканского кино; следующий форум состоится в 1980 году».

В рамках фестиваля проводился симпозиум, посвященный роли средств массовой информации в борьбе с проникновением идеологии империализма в латиноамериканскую культуру.

ПОЛЬША

«ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ»

Так назвал рецензент журнала «Нове ксёнжки» Марек Клецель недавно вышедшую из печати книгу Шчепана Гонсовского «Современные польские драматурги». «Значение книги,— пишет рецензент,— в том, что она заключает в себе ценный познавательный материал, является как бы путеводителем по современной польской драматургии».

В книге два раздела. Первый раздел называется «Польская драматургия в 1945—1975 годах». В нем описываются важнейшие события в театральной жизни страны в хронологическом порядке, год за годом: премьеры, театральные конкурсы, дискуссии, приведены отклики печати на то или иное событие.

Второй раздел книги — «Портреты». В нем представлены тридцать семь драматургов, от Ярослава Ивашкевича и Леона Кручковского до молодых драматургов нашего времени. Каждая глава включает краткую биографию драматурга, список его пьес и спектаклей, поставленных по этим пьесам, анализ пьес с изложением их содержания. Главу замыкает библиография произведений драматурга.

Отдавая должное «единственной в своем роде» работе Гонсовского, рецензент, однако, ставит ему в укор некоторое упрощение в анализе и оценке творчества тех или иных драматургов.

«СОЛДАТ, ПОЭТ ВРЕМЕНИ БУРЬ»

Сборник воспоминаний «Солдат, поэт времени бурь»—о Кшиштофе Камиле Бачинском, талантливом поэте, погибшем во время Варшавского восстания 1944 года, когда ему было двадцать три года. О поэте рассказывают его друзья, близкие ему люди. Это третье, дополненное, издание вышло в краковском издательстве «Выдавництве литерацке» под редакцией Збигнева Василевского.

Интерес к личности молодого поэта настолько велик, что продолжаются поиски всего, что было им написано за его недолгую жизнь, тщательно пряталось в тайниках. Один из таких тайников был обнаружен в квартире родителей поэта. В нем хранилась маленькая коричневая тетрадка с надписью поэта: «Весна 1942 года. Избранные стихотворения. Оформил автор. Издано в одном экземпляре». В тетрадке были стихи, посвященные матери.

В Советском Союзе книжка стихов Кшиштофа Камиля Бачинского вышла в издательстве «Художественная литература».

ДВА НОВЫХ ФИЛЬМА КШИШТОФА ЗАНУССИ

Съемки двух новых фильмов Кшиштофа Занусси «Контракт» и «Constans» велись почти одновременно.

Телевизионный фильм «Контракт», как пишет в журнале «Фильм» Тадеуш Соболевский, является в какой-то мере продолжением темы, поднятой в предыдущих фильмах режиссера «Семейная жизнь» и «Защитная окраска» (см. «ИЛ» № 2, 1972 и «ИЛ» № 4, 1977).

Другой фильм, «Constans», был приурочен к XXXIII Международному фестивалю в Канне, где Кшиштофу Занусси была вручена за этот фильм первая премия за лучшую режиссуру.

Как пишет в еженедельнике «Культура» Болеслав Михалек, «этот прекрасный и простой фильм о молодом человеке, который хочет осмыслить свою жизнь, стать хозяином своей судьбы, явился полной противоположностью тому, что показывалось на фестивале. На фоне изысканных и блестящих работ мастеров мирового кино он покорял простотой и скромностью изобразительных средств. Психологическим вывертам, неврозам, кошмарам Занусси противопоставил искания человека, его потребность в правде и душевном согласии. На фоне интеллектуальных шарад, игры в парадоксы, скептицизма этот фильм прозвучал как живое слово о современном человеке».

На снимке: Нина Андрич, Кшиштоф Колбергер, Лилиана Гломбчиньская и Эдвард Любашенко на съемках фильма «Контракт».

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

ВЕЧНО ЖИВАЯ КЛАССИКА

Ион Попеску-Гопо, известный мастер мультипликации, автор нескольких фильмов по мотивам произведений Иона Крянгэ, снова обратился к творчеству замечательного сказочника. На этот раз он выбрал сказку «Дочь старухи и дочь старика», в которой, по его словам, дано оригинальное решение извечной темы ухода детей из семьи и поиска

На снимке: сцена из спектакля театра «Ноттара» «Кольца, серьги и фата». Роли исполняют Джилда Маринеску, Горацию Малэеле, Аида Каропол.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

ими самостоятельного жизненного пути. «Мне очень нравится эта сказка,— пишет И. Попеску-Гопо,— но глубина ее меня пугает... Работаю самозабвенно и думаю, что получится интересный фильм. Утром мне кажется, что я знаю, как его надо делать, а вечером меня охватывает страх. На следующее утро мне опять страшно, а вечером... Одно я твердо знаю: передо мною творение великого писателя».

Особым вниманием пользовались в минувшем году и произведения другого классика — И. Л. Караджале. «Нынешний театральный год прошел под знаком Караджале», — писал в еженедельнике «Ромыниа литерарэ» критик В. Сильвестру, который дал подробный анализ постановок «Потерянного письма» в театре города Оради, «Бурной ночи» в питештском театре. Лучшие постановки по пьесам румынского драматурга были показаны в январе 1980 года на ежегодной сессии «Культурного общества имени Караджале» в г. Крайове. Особенно высоко оценен спектакль театра «Ноттара» «Кольца, серьги и фата» в постановке Джордже Рафаэла.

США

ПОРТРЕТ НАЦИСТА

Дальтон Трамбо, один из ведущих сценаристов Голливуда, завоевал громкую известность накануне второй мировой войны, когда был опубликован его роман «Джонни дали винтовку» — страстное обвинение милитаризма, искалечившего жизнь рядового американского парня и тысяч его ровесников, которые воевали во Франции в 1918 г. В период маккартизма Трамбо наряду с другими прогрессивными деятелями американского кино подвергся преследованиям и смог вернуться к активной творческой работе только в конце 50-х годов. Тогда им и был задуман антифашистский роман «Ночь зубров», над которым писатель работал до своей смерти в 1976 г. Роман остался неоконченным; друг Трамбо, сотрудник «Лос-Анджелес таймс» Роберт Кирш, собрал все черновые записи, и книга вышла в свет, обратив на себя внимание как значительностью поднятой в ней темы, так и мастерством тех глав, которые успел написать автор.

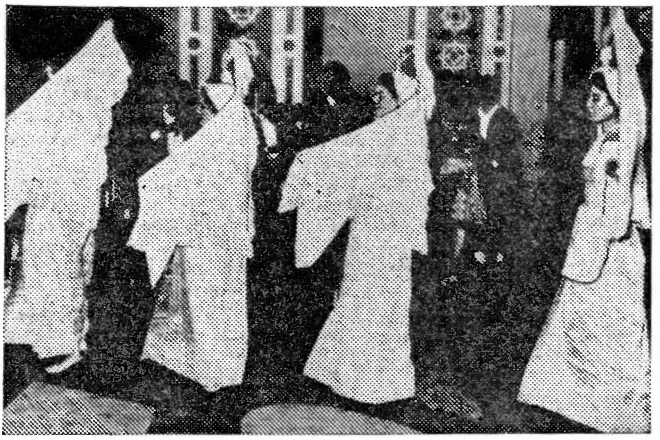
Замысел Трамбо состоял в том, чтобы создать многоплановый портрет нациста, безоговорочно принимающего человеконенавистническую идеологию. Герой романа Рихард Грибен, профессиональный военный, проделывает путь, типичный для прусского юнкерства, к которому он принадлежит. Уже в 20-е годы он стал последователем Гитлера и активно способствовал его приходу к власти, а затем сделал головокружительную карьеру в эсэсовских частях, получив назначение в управление концлагерями.

Писатель беспощадно разоблачает своего персонажа, упорно старающегося оправдать фашистскую теорию и практику «государственными интересами» Германии с помощью расистской демагогии.

«Лучший антивоенный роман» — так в свое время говорилось о книге Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». В 1933 году наряду с другими книгами выдающихся писателей она была брошена гитлеровцами в костер. В свое время роман был экранизирован выдающимся режиссером Льюисом Милстоуэном. Сейчас роман получил свое «третье» рождение в телевизионном фильме режиссера Делберта Манна.
На снимке: исполнители главных ролей Эрнст Боргнин и Ричард Томас.

(Журнал «Фильм»)

Трамбо успел довести действие романа примерно до середины. Главы, посвященные Освенциму, остались едва намеченными, хотя они должны были стать центральными в романе. Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» М. Мьюшоу отмечает, что даже по заметкам к этим главам видно, какой трагической силы обобщения мог добиться Трамбо в своем незавершенном романе. Хотя по недоработанной рукописи, конечно, нельзя судить о художественном произведении в целом, пишет критик, но «то, что мы прочитали, представляется впечатляющим и наводящим на глубокие размышления литературным документом, который скажет о самом Дальтоне Трамбо, пожалуй, не меньше, чем о персонаже, выведенном им».



Большой популярностью у тунисских зрителей пользуются выступления Тунисского ансамбля народного искусства. На снимке: выступление ансамбля.

(Журнал «Ас-Сакафа-аль-арабийя»)

ТУНИС

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЛЬ-ХАДЖА НАСРА

Журнал «Аль-Фикр» сообщает о новых книгах талантливого тунисского прозаика Абд аль-Кадера Бель-Хаджа Насра.

Недавно вышел его сборник, включающий рассказы «Холод», давший название всей книге, «Мое сердце стало голубым, как небо», «Восемь писем к «Т», «Некий мужчина полюбил некую женщину», «Семена, которые мы посеем в грязи», «Пропуск на площадь пыток», «Тощие кони», «Холера на верхнем этаже» и «Пять миллионов килограммов цинка в моем сердце».

Отмечая успех рассказов Бель-Хаджа Насра среди читателей, рецензент журнала указывает, что причина этого успеха — в тесной связи творчества писателя с жизнью, в серьезном анализе отрицательных явлений, встречающихся в тунисском обществе.

Вслед за сборником «Холод» писатель опубликовал роман «Ее величество». По словам обозревателя журнала «Аль-Фикр», в этом романе рассказывается история взаимоотношений мужчины и женщины, принадлежащих к разным социальным кругам, о противоречиях, с одной стороны, между ними двумя и, с другой,— между ними и обществом.

Роман «Ее величество» был удостоен премии на конкурсе, организованном муниципалитетом г. Туниса. Премия тунисского муниципалитета, отмечает обозреватель, присуждена впервые за три минувших года.

УРУГВАЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ САНТА-МАРИИ

Барселонское издательство «Альфагуара» выпустило в свет новый роман крупнейшего уругвайского прозаика Хуана Карлоса Онетти «Пусть говорит ветер».

Действующие лица романа — Диас Грей, Ларсен, Браусен и др.— уже встречались читателю на страницах предыдущих книг писателя. Так, Ларсен — герой романов «Верфь» (1961) и «Хунта трупов» (1970); Браусен и Диас Грей — персонажи «Краткой жизни» (1950); от имени Диаса Грея ведется также рассказ в повести «Для одной безымянной могилы» (1959).

Местом действия нового произведения Х. К. Онетти снова избрал Санта-Марию, город, созданный его воображением, но ставший почти реальным для читателей его романов. Безудержная фантазия писателя помогла ему создать уже в предыдущих произведениях своеобразную сагу о Санта-Марии. Теперь, как пишет рецензент мадридского журнала «Триунфо», Х. К. Онетти, возвращаясь к истории Санта-Марии, решил — после многолетнего перерыва — продолжить повествование о ее обитателях и тем самым придать этой «саге» завершенность.

Прошли годы, а в жизни героев почти ничего не переменилось: они по-прежнему испытывают неудовлетворенность собой и окружающим, тоску и уныние от безысходности существования, отчаяние одиночества... Действие романа не линейно: в него все время вторгаются новеллы-воспоминания, восстанавливающие по принципу ретроспекции какие-либо эпизоды более ранних книг; поступки и мысли персонажей тоже иногда воскрешают отдельные моменты сюжета, относящиеся к прошлому. Поэтому составить целостный психологический портрет того или иного героя можно, лишь имея представление о его предыстории.

Благодаря такой включенности последнего романа «Пусть говорит ветер» в общий цикл, посвященный Санта-Марии (хотя формально такой цикл не заявлен писателем), чтение его, по мнению критика журнала «Триунфо», требует как

бы нескольких этапов восприятия материала: после первого, в результате которого выстраивается общий сюжетный замысел, надо пройти через второй этап чтения, когда аналогия и соответствия будут осмыслены философски и за внешним повествованием откроются глубинные интеллектуальные ассоциации, сообщающие особую цельность книгам, созданным Хуаном Карлосом Онетти.

ФРАНЦИЯ

О ДВАДЦАТИ СЕМИ РАССТРЕЛЯННЫХ КОММУНИСТАХ

Книга Фернана Гренье «Мы из Шатобриана», изданная в 1971 году и ставшая с тех пор библиографической редкостью, вновь выпущена в свет издательством «Эдисьон сосьаль».

В 1941 году Фернану Гренье удалось бежать из фашистского концлагеря в Шатобриане. Вскоре он стал представителем коммунистической партии во Французском национальном комитете, созданном генералом де Голлем в Лондоне. В своей книге он рассказывает о двадцати семи коммунистах, расстрелянных двадцать второго октября сорок первого года в карьере близ Шатобриана.

В предисловии к книге Жан Марсенак пишет: «Фернан Гренье, участник и свидетель тех событий, о которых идет речь в книге, вложил в свое повествование весь жар души, всю свою преданность и умение рассказывать точно и достоверно».

В книге есть два ценных приложения. Во-первых, полное воспроизведение повести Арагона «Свидетель мучеников», написанной в феврале 1942 года на основе писем заключенных Шатобриана и собранных там материалов, которые были переданы поэту руководством Французской коммунистической партии. Текст Арагона передавался по лондонскому и московскому радио, был опубликован в прессе союзников.

Во втором приложении собраны материалы о деятельности «Друзей жертв Шатобриана», стремившихся добиться издания марки, посвященной памяти двадцати семи расстрелянных, а также создания телевизионной передачи, посвященной их жизни и смерти. Известно, что в этом деле им пришлось столкнуться с серьезными препятствиями, пишет Пьер Дюран в «Юманите», патриоты-коммунисты, расстрелянные в Шатобриане, были выданы оккупантам властями Виши, а именно: министром внутренних дел Пюшё, представлявшим в коллаборационистском правительстве крупных промышленников. В этом, по мнению П. Дюрана, кроется причина нежелания некоторых промышленных и финансовых деятелей напоминать людям о том, что произошло в 1941 году.

МАРГАРИТА ЮРСЕНАР — ЧЛЕН ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ

Впервые за 345 лет существования Французской Академии «бессмертным» членом избрана женщина — Маргарита Юрсенар. Писательница родилась в Брюсселе в 1903 году. С 1947 года до недавнего времени жила в США, приняв американское гражданство. М. Юрсенар известна как романистка, поэтесса, драматург, эссеистка, переводчица, обладающая огромной эрудицией. Наибольшую известность получили ее романы «Мемуары Адриана», «Творение в черном» — премия «Фемина» 1968 года,— «Северные архивы». В 1979 году в издательстве Галлимара вышла составленная ею антология поэзии Греции за двенадцать веков в ее переводах — «Корона и лира». Появление этой антологии было воспринято прессой как литературное событие. Недавно изданы ее «Восточные новеллы».

Андре Вюрмсер в своей статье в «Юманите», названной «Коронованные лиры», об избрании М. Юрсенар в члены Французской Академии подчеркивает «всесторонность служения культуре», которому посвящена вся деятельность писательницы. После избрания ее во Французскую Академию, став «бессмертной», М. Юрсенар перешла во французское гражданство.

В основу сценария телевизионного фильма «Клубок змей» лег одноименный роман Франсуа Мориака. Как отмечает критика, фильм очень точно воспроизводит атмосферу романа Мориака: провинциальную буржуазную среду, беспощадную борьбу за наследство, ненависть, порождаемую жаждой наживы. Известный актер Пьер Дю, исполнитель роли главного героя, сумел раскрыть замысел автора. Режиссер фильма—Жак Требута, сценаристы — Жан Шатене и Жан-Клод Шамбон.
На снимке: Пьер Дю в роли Луи.

(Еженедельник «Нувель литтерэр»)

ФРГ

«МИЗАНТРОП» МОЛЬЕРА — ЭНЦЕНСБЕРГЕРА

В западноберлинском театре «Фольксбюне» состоялась премьера пьесы под названием «Мольеровский Мизантроп Ганса Магнуса Энценсбергера».

На снимке: сцены из спектакля «Мольеровский Мизантроп Ганса Магнуса Энценсбергера».

(Газета «Франкфуртер альгемайне»)

Известный поэт и эссеист, пишет по этому поводу газета «Франкфуртер альгемайне», «выступает здесь не просто как переводчик. Перед нами драматургический пересказ... Энценсбергер взбирается на плечи классика и оттуда провозглашает: «Перевод по-настоящему лишь тогда имеет смысл, когда он передает естественность общественного звучания, то, что для Мольера подразумевалось само собой».

Персонажи пьесы сохранили свои имена и основные характеристики. Однако Энценсбергер перенес действие в современную ФРГ, наделив героев жаргоном, характерным для «среднего класса».

Постановку осуществил видный западногерманский режиссер Петер Цадек.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

У ЧЕШСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

В Праге вышел третий, последний том фундаментального труда «История французской литературы XIX—XX веков», осуществленного коллективом литераторов под руководством профессора Карлова университета Яна О. Фишера. Том охватывает французскую литературу с тридцатых годов до наших дней. Во введении подчеркивается значение первого рубежа, связанного с мировым экономическим кризисом, захватом власти в Германии гитлеровцами и победой Народного фронта во Франции. В первом разделе («Поиски пути в отчужденном обществе») ставится важная проблема «интеллигенция и революция»; под этим углом зрения рассматривается творчество таких писателей, как Жан-Ришар Блок, Леон Муссинак, Андре Мальро, Антуан де Сент-Экзюпери.

Основной раздел исследования — «Современная литература (после второй мировой войны)». За обстоятельным анализом литературы антифашистского движения Сопротивления следует проблема экзистенциализма, представленного творчеством Жана-Поля Сартра, Симоны де Бовуар, Альбера Камю. В разделе дается широкая панорама реалистической литературы, в которой выделены явления, связанные с концепцией социалистического реализма. Обстоятельно анализируются различные разновидности искусства романа (социальный, психологический, исторический, «роман воспитания»), творчество крупнейших поэтов (от Сен-Жон Перса до Жака Превера) и драматургов (от Жана Ануя до Армана Гатти). Специальная глава посвящена проблемам литературной критики. Большой научный интерес представляет заключительный раздел тома, где дается очерк франкоязычной литературы в Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Канаде, арабских странах, странах Черной Африки, на Антильских островах. Книга содержит обширную библиографию. Как и предыдущие тома, III том «Истории французской литературы XIX—XX веков» получил широкие отклики в прессе и стал заметным событием в развитии литературоведческой науки в Чехословакии.

СОТКАННАЯ ИЗ МУЗЫКИ И ПЕСЕН

Более полутора столетий не сходит со сцены чешских театров веселая, вся как бы сотканная из музыки и песен комедия Й.-К. Тыла «Фидловачка» (так в Чехии назывался в старину традиционный праздник цеха са-

На снимке: сцена из спектакля «Фидловачка». В роли пани Мастилковой заслуженная артистка Либена Астрова, в роли Лидунки — Галина Кубечкова.

(Газета «Руде право»)

пожников). Поставленная впервые в 1834 году в пражском Сословном театре, она сразу завоевала признание и симпатии зрителей. Патриотическая идея, демократизм, боевой оптимистический настрой делали ее своего рода поэтическим знаменем борьбы чешского народа против австрийского гнета. Этому способствовала и трогательная лирическая песня «Где моя родина?», исполняемая в пьесе слепым музыкантом Марешем. После возникновения самостоятельного Чехословацкого государства эта песня стала частью государственного гимна республики (композитор Франтишек Шкроуп).

Наряду с «Фидловачкой» вечно живым творческим наследием остаются и другие пьесы Тыла, в особенности его «Вольнящик из Стракониц».

Новую постановку «Фидловачки» осуществил в начале нынешнего года Государственный театр в Остраве.

ЧИЛИ

КРИЗИС ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

Выпуск книг в Чили непрерывно сокращался после прихода к власти фашистской хунты Пиночета, но за последние три года положение стало просто катастрофическим. Сейчас многие чилийские типографии заняты уже не печатанием книг, а изготовлением этикеток и ярлыков для торговых фирм.

По сообщению корреспондента агентства Пренса Латина из Буэнос-Айреса, председатель Чилийской книжной палаты Альберто Неуманн в отчете за 1979 год назвал всего 400 книг, включая также разного рода учебные пособия и технические издания. В условиях все ухудшающегося экономического положения спрос на книги падает. По всей стране с населением более 10 миллионов человек насчитывается только 17 книжных магазинов.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/VI 1980 г. А 11115. Подписано в печать 9/VII 1980 г.
Бумага 70×108¹/₁₆. 17 п. л. (23,8) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,75.

Тираж 480 000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 1883.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.